















**ТОМ  
ЧЕТВЕРТЫЙ**





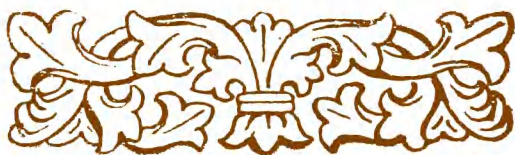
**В. КОСТЫЛЕВ**

**ИЗБРАННЫЕ  
СОЧИНЕНИЯ**

**ТОМ 4**

**ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1952**





В. КОСТЫЛЕВ

# ИВАН ГРОЗНЫЙ

ТРИЛОГИЯ

I

МОСКВА В ПОХОДЕ

ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1952



*Постановлением Совета Министров Союза ССР  
Валентину Ивановичу Костылеву за трилогию  
„Иван Грозный“ присуждена Сталинская премия  
второй степени за 1947 год.*



# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**





ДОРОГОМУ ВАСИЛИЮ ГАВРИЛОВИЧУ  
ГРАБИНУ И ВСЕМ СОВЕТСКИМ ПУШЕЧ-  
НОГО И ОРУЖЕЙНОГО ДЕЛА МАСТЕ-  
РАМ ПОСВЯЩАЮ

*АВТОР*



I



небе повис огненный столб над самым боярским усадьбищем.

Юродивые плясали и плакали.

Калики переходящие предрекали войну.

Монахи — конец света.

Хмурые старцы из деревенских — голод.

Поползли «ахи» и «охи». Умирать не хотелось.

Большое любопытство появилось к жизни.

И, как на грех, в вотчину боярина Колычева при-  
скакал из Разрядного приказа человек, молодой, дородный,  
с быстрым взглядом, слегка насмешливым. Назвал себя  
посланцем царя, дворянином Василием Грязным. Явился  
к владельцу вотчины, боярину Никите Борисычу, и стал  
расспрашивать о «верстании»: «сколь и кого поимянно  
выставит боярин своих людей в войско, коли к тому нуж-  
да явится».

Всколыхнулись деревни и починки колычевской вотчины. Азарт появился. Старики расхрабрились,—куда тут! Стали разглаговльствовать про старинные битвы. У молодежи глаза разгорелись: брала зависть, потянуло на волю, на поля бранные.

А тут еще подлил масла в огонь грязновский ямщик. Намекнул и на татар, и на Ливонию, и на Свейское государство. Ямщик бывалый, московский. Под хмельком дядя был, на слова чуден, а глазами плутоват; что наврал, что правда—разобрать трудно.

Как бы то ни было: ветром море колышет, молвою—народ; заскакало по избам колючее словечко.

Боярин темнее тучи стал. Ходит, ко всем придирается, на глаза лучше не показывайся.

Всего лишь год, как царь отпустил его на отдых после брака с молоденькой княжной Масальской. Чего бы лучше—на старости лет пожить чинно, уютно, на усадьбе, в супружеском уединении... И вот нате! Опять война! Опять в кольчугу, в латы да шлем! Приказ, ведавший военными делами, заработал. В Москве не спят!

Крепко призадумался боярин: как быть? Какой-то дворянин-зазнайка всюду нос сует, царской грамотой щеголяет. Черт его принес сюда!

Давно ли разошлись с казанского и Выборгского походов? Люди и кони еще путем отдохнуть не успели, и вдруг...

Э-эх, Никита, Никита! Сыновей у тебя нет. Убьют на войне—поместье отпишут «на государя», малую часть оставят супруге твоей, Агриппинушке, а так как она неплодна, вслед за ее кончиною и та малая часть уйдет «на государя» (все себе заграбастывает!).

Вот что будет, коли пойдешь на войну; а не пойдешь, откажешься...

Опять засверлили мозг боярина слова царя Ивана Васильевича: «Жаловати мы своих холопей вольны, а и казнить их вольны ж есмь».

Князей и бояр царь ни во что ставит! Подумать только! А вот такие, неведомого рода молодцы по уездам с царскими грамотами шныряют, бояр учат!

Целый месяц гостил Грязной в вотчине, считал людей, болтал с ними, будто равный; на половину боярыни Агриппины повадился ходить, рассказывал ей про Москву,—нет в вотчине человека, с которым бы он не точил ляды,

а потом уехал как-то сразу, тайком, без низких, по чину, поклонов и приветствий.

Вздумал Никита Борисыч наведаться к знахарке-вещунье, попросить ее, чтоб наколдовала «снетяжную болезнь», на войну бы не идти. А старуха проклятая отказалась да еще крикнула: «Вижу, что умереть тебе на плахе по цареву указу!»

Можно ли снести столь великое поношение? В омуте утопил старую ведьму. Сразу полегчало. Улеглось на сердце.

И вдруг новое беспокойство. Пришел на боярское крыльцо некий бобыль Андрейка и давай вопить на всю усадьбу: «Пошто утопил старуху? Царь покарает тебя! Один у нас ныне суд—царский. Сгубить нас токмо царь может, и никто иной!»

Орет, словно ума лишился, глаза вытаращил.

Любуясь, царь-государь, Иван Васильевич! Боярин не волен над своими же людьми! Кого ты охранил? Холопов и злостных бродяг! Посмел бы раньше этот навозный жук слово поперек молвить? Не иначе, как проклятый Васька Грязной наболтал народу про «судебник».

Никита Борисыч, как бы невзначай, старался выспросить у людей, о чем беседовал с ними Василий Грязной. Пытал, с божбою и целованием креста, боярыню Агриппину. Оказалось, Грязной спрашивал у старост: сколько земли в вотчине, что пахоты и что леса; вся ли пахотная земля обрабатывается; продает ли боярин хлеб на сторону, иль только засеивает для себя да для своих крестьян? О конях расспрашивал, о сене, об овсе, о скотине...

Агриппина божилась, клялась, что московский молодец говорил с ней только о царе, о царице и о святынях. Колычев сопел, глядя исподлобья подозрительно на жену. Она краснела, смущалась.

— Сам, батюшка-боярин, допустил ты того человека в терем, супротив моей воли. Не посмела я, раба твоя, перечить тебе...

— И ты, государыня, мысль иметь свою вольна, чтобы гостя уветливым словом на доброе изволение наводить... от лукавства его отторгать, христианской добродетели чувства ему внушать... Внушала ли?

— Внушала, государь, князь мой, внушала...

Агриппина задумалась.

— Жаловался он мне,—обижают его бояре, по малости его рода, и кабы не царь, давно бы ему быть на

плахе... Царь защитил его... И многих его товарищей царь-батюшка приглубил... служилых людей, незнатных, беспоместных.

Сердито насупился боярин Никита.

## II

Здесь — медведь; там — человек. Солнечный свет проникает сквозь щели в овин. Горят маленькие черные глазки, в них неподвижное упорство. Человек пытается избежать их. Он смотрит на мотылька: как весело резвится в золотистой полосе солнца, играет с мухами, сталкивается с ними, ловко увертывается и ускользает из глаз.

О, эти маленькие глазки зверя!

Пахнет сосновым лесом; за стенами бушуют птичьи стан. Тепло. Клочок синего неба проглядывает в широкую расселину над головою. Ночью буря сорвала солому.

Зверь лязгает железом, издает жалобное урчанье. Звук глухой, придушенный, ползущий из глубины, из нутра. Пасть сомкнута; шумно дышат розовые влажные ноздри; туловище покачивается из стороны в сторону.

— Лакать, чай, захотел? — тихо спрашивает прикованный к стене человек. Он молод, загорелый, широкоплечий, в белой заплатанной рубаше. Поднялся с соломенной подстилки, сутулясь, отступает к стене.

Неподвижно смотрят они друг на друга в глаза.

— Э-эх, поведал бы я тебе, как бобыль за жар-птицей охотился да и в капкан попал... Что наша доля с тобой? Хоть топись, хоть давься! И та не наша. Плохо, Тереха! Судьба дуреха...

Медведь, прислушиваясь к голосу человека, издает звук, похожий на стон.

— Не скули! Не подobaет! — оживился парень, глядя в глаза зверю. — Бог терпел и нам велел... Какой ты веры, не ведаю, но и ты — божья тварь. Да и такой же, как и я, бобыль — непашенный, безземельный...

Медведь положил морду на землю, выпустил когти... свергнули влажные белки.

— Так-то, милый! — вздохнул молодец, напрягая мускулы. — Пошто нас мать родила, не выдавши дна прекрасного! На посмея людям пустила по миру!

Медведь медленно поднялся, стал на задние лапы, замер.

— Ага, слушаешь! Так вот... Живем мы с тобой, яко святые... Во узах, во тисках, в подвижничестве... Владыка наш, боярин Колычев, сатане в дядьки записался.

Медведь заревел, грузно подался вперед. Тяжелым, едким духом пахнуло от него.

— Ты, идол! — попятился парень. — Сожрать меня хочел? Э-эх, кабы на воле, сошлись бы мы... Загрызешь — тому так и быть; побит будешь — шкуру с тебя сдеру...

Часто моргая глазками и раздувая ноздри, медведь рвался вперед. Цепь натянулась, вот-вот лопнет. Зверь принялся быстро ходить справа налево и обратно, косясь одним глазом на парня.

Скрипнул тяжелый засов, раздался голоса, двери распахнулись. Окруженный челядью, в сарай вошел сам владелец богоявленской вотчины — невысокого роста, тучный, бородатый, с курчавой седеющей головой. Одет в зеленую рубаху, опоясанную ремнем. С виду скорее прасол, нежели человек знатного рода, богатый вотчинник. По всей округе прославился он своею скупостью. Позади холоп с ведром и плетями подкрался к кадушке, врытой в землю, и быстро вылил в нее мурцовку — смесь воды, хлеба, лука и отрубей. Медведь принялся жадно лакать.

Колычев с любопытством следил за ним.

— Заколите барана утресь. Пускай попирует. — Колычев осмотрел всех с самодовольной улыбкой.

Обернувшись к парню, плюнул в него. Вытаращил глаза, сказал тихо, с злой усмешкой:

— Добро быть законником! Не так ли?

— Тяжко, государь-батюшка, на цепи сидеть! Пусти на меня медведя! Дозволь учинить с ним бой, потешить тебя, добрый боярин, с супругою твоею пресветлою... Лучше сгину в том бою, нежели томиться в неволе!

Колычев круто повернулся и, сердито стуча посохом, пошел из сарая. Снова заскрипел засов.

Андрейка видел в щель, как медленно, в хмуром раздумьи, уходил на усадьбу впереди своей челяди боярин Колычев.

.....  
Широкая сосновая просека ведет к боярским хоромам в два житья<sup>1</sup>. Они обширны, бревенчаты, с башнями и

<sup>1</sup> Два этажа.



многими лесенками. Узкие слюдяные окна открыты, видны ковры внутри, на стенах. Извне, по бокам окон, раскрашенные светлой зеленью резные столбики, а над окнами — «петушиная резьба». Крыши, высокие, покатые, обложены дерном для предохранения от пожара. Невысокая ограда с громадными воротами вокруг хором. У ворот — сторож с дубинкой.

Никита Борисыч родовит и знатен. Прославившийся на Студеном море своей праведной жизнью иннок Филипп — колычевского же рода.

Отогнав посохом зубастых псов, помолившись на икону, врубленную в ворота, Колычев проследовал к дому. На пороге опять помолился. А в постельной горнице и того больше. Сел на скамью и молвил:

— Агриппина, псы и те учуяли, чем подуло от Москвы...

Жена кротко взглянула на него, но сказать ничего не осмелилась. Когда боярин не в духе, всякое слово не по нем. Что ни скажешь — все не так. Она знает, что ему хочется, чтобы она отозвалась на его речь. Но нет! Поддаваться не след.

В страхе съежилась Агриппина. Маленькая, худенькая, в зеленом шелковом с серебряной каймой летнике, в крохотном бисерном кокошнике, она выглядела совсем девочкой. Густо нарумяненные, по обычаю, щеки казались полнее, чем были на самом деле. Она опустила ресницы, боясь взглянуть в лицо мужа.

— Чего же ты? Каши, что ли, в рот набила? Чего молчишь? Ай не слышишь? Кто виноват?

Агриппина вздохнула.

— Милостивый батюшка! Уволь! Мне ль мудрить?

— Уж не забыла ли ты московского щеголя?

Колычев некоторое время смотрел на нее подозрительно. Потом самодовольно улыбнулся. Никакого лукавства в ее лице он не подметил.

— Такой случай поймет и баба, — ухмыльнулся Колычев, отвалившись к стене и широко расставив ноги. — Царем-государем, — бог с ним, — великая обида учинилась на Руси. В каждой царской грамоте видим мы свое боярское посярмление. Всех валит в одно: и бояр, и дворян, и детей боярских, и попов, и посадских людей, и пашенных мужиков — «черный люд»... «Ко всем без отмены, чей кто ни буди»... Как то понять? Требуется царь, дабы все мы в дружбе жили, «меж собой совестясь, все за

один».. Как же это так? Стало быть, боярин и пашенный мужик вместе выбирать себе судей станут? Гоже ли то? А? Скажи на милость! Не обидно ли?

Для Агриппины не было ничего мучительнее, чем эти вопросы. Как ответить, когда и в самом деле она ничего не понимает в царских грамотах? Да и бояре-то плохо разбираются, что к чему. Запутались!

— Стало быть, Иван Васильевич по-божьему чинит сие управство? Стало быть, холоп, мужик и вотчинный владыка, князь либо боярин, — одно и то ж? Так, што ли? Ну, отвечай! Чего же ты? О чем думаешь?

— Батюшка ты мой, государь родимый! Бабий ум короток, где ж нам? — плачущим голосом взмолилась Агриппина.

— Еретики! Лихо вам! Лихо вам! Не быть по-вашему! — крикнул Колычев, погрозив кулаком в окно.

Лицо его покраснелось, глаза позеловели, голову он втянул в плечи, как рассерженный филин.

— Наша власть на молитве да на воинском дородстве возмужала. Попробуй, побори ее... Я здесь хозяин, — прохрипел Никита Борисыч. — Мы! А писака некий царю челобитную подал... «вельможи-де не от коих своих трудов довольствуются. Вначале же потребны суть ратаеве<sup>1</sup>. От их бо трудов едим хлеб». Слышь, что ль? Пересветов Ивашка сунул царю противу бояр челобитную! Все учат царя, а он слушает. Не к добру то. Бобыля все одно живым я из овина не выпущу... Вон князь Данила расковал такого-то... а он в Москву, со словом на своего же господина. Худо пришлось Даниле... Объярмили боярина. Тяглом объярмили в цареву казну. Чего молчишь? Аль онемела?

Агриппина была женщиной чувствительной, любила поплакать. Это выручало.

По щекам ее поползли слезы. Она уже пролила тайком от мужа не одну слезу, только не о парне, посаженном в сарае на цепь, а о том красивом молодце, который только что уехал из вотчины опять в Москву. Он такой смелый, такой сильный и ласковый. Как же тут не поплакать?

— Чего реवेशь? Почто жена, коли с мужем не советуется? С женою доброю, советливою пригоже сходиться.

---

<sup>1</sup> Ратаеве — крестьяне.

Ни яства, ни пития, ни греха ради пришел к тебе. Доброй беседы ради.

В ответ на такое решительное требование Агриппина тихо проговорила:

— Не ведаю, батюшка, ничего, и не слыхивала, и не знаю, токмо от тебя одного и жду поучения, государь Никита Борисыч...

Колычев, подумав, опять остался доволен смиренным ответом жены, поднялся со скамьи, помолился на икону, поклонился, сказав: «Надо бы кончить и с этим лаптем. Пойду!»

Она ответила на поклон, а после ухода мужа села на скамью и горько расплакалась. Пропала ее молодость! Так бы и помчалась туда, в Москву, вместе с ним, с московским гостем. Приняла бы грех на себя, а там будь что будет! Ради такого красавца не худо и пострадать.

Агриппина выглянула в окно. Сосенка топорщится яркой пушистой зеленью около самого наличника, а на ветвях, словно румяные яблочки, развесились яркочерные птички: одна вниз головою, другая вверх, а некоторые совсем кверху красным брюшком, уцепившись за сосновую шишку... Это любимая птичка Агриппины — клест. Вдали чернеет хвоя взъерошенных могучих древних кедров. Кукушка закуковала. Густой, пьянящий запах смолы пробудил в душе неясные, но приятные чувства. Агриппина вспыхнула, осмотрелась. Никого нет.

— Господи, прости меня! — прошептала со слезами.

Одна жизнь у нее — для мужа и людей; другая, глубоко запрятанная ото всех и почему-то всегда казавшаяся греховною, — для себя. Но все же верилось в то, что стоит попросить у бога прощенья, как грех снимется и ничего не будет, а на этом свете никто и не узнает, ибо есть ли тайны крепче тех, что живут в боярских теремах и остаются известными только одному богу!

Вот почему, увидев своего мужа, удалявшегося с толпою слуг, она стала усердно молиться о себе.

Никита Борисыч решил покончить с Андрейкой. Подобные вот молодцы и бывают причиною боярских горестей. Да говорят, что он больше всех шептался с тем московским человеком. Тогда берегись! Жди кистеня! Иные утекают в Москву, шаются там, болтают разные небылицы

про своих хозяев, а худая молва никогда до добра не доведет, особливо в нынешнее государственование. Есть и такие, что до самого Красного крыльца добираются, бьют царю челом, жалобы приносят. То—самое опасное. От разбойников, от худой молвы оборонишься, от царского гнева — никогда!

С такими мыслями Колычев подошел к овину. Осмотрел свою челядь. Сказал, чтобы с ним остались только двое: Сенька-палач и старый приказчик Онисим.

— Ну, убирайтесь! — замахнулся плеткой он на толпу дворовых.

Стремглав бросились они бежать на усадьбу.

Выждав минуту, Колычев приказал поднять засов. Сенька, здоровенный бородатый детина с опухшими раскосыми глазами, схватил засов, поднял его...

Прямо перед ним, у раскрытой двери стоял медведь... Цепь была сорвана, тянулась за ним, как хвост.

Первым пустился бежать сам Колычев, за ним Онисим, а позади всех Сенька-палач. Медведь стоял неподвижно, наблюдая за бегущими, а потом привскочил и помчался за людьми по просеке.

Оглянувшись, Колычев завопил на всю усадьбу.

Агриппина увидела в окно мужа, карабкающегося на ворота. Через некоторое время из кустарника выскочил медведь. Агриппина, вскрикнув, замкнула сени и окна. Спряталась в темный чулан, нашептывая молитвы, дрожа от страха.

Медведь прошел под воротами, обнюхивая воздух. Увидев кур, метнулся за ними. Куры с кудахтаньем бросились врассыпную. Некоторые перелетели через частокол. Зверь неторопливо тоже перелез через частокол.

В это время во двор вбежало несколько человек с рогатинами. Двое с луками. Они пустились через двор в обход. Сидя на воротах, грозно покрикивал на них Колычев.

Медведь, встревоженный шумом, скрылся в лесу. За ним побежали дворовые.

Убедившись, что опасность миновала, Колычев с достоинством слез на землю. Обтер лоб, помолился и, тяжело дыша, побрел домой.

Серdito стал он барабанить кулаком в запертую дверь. Послышался голос: «Кто там?»

— Да отворяй, что ли!

— Бог с тобой, батюшка! На тебе лица нет!— всплеснула руками Агриппина.

— Будто не видела!..— озадаченно взглянул он на нее.

— Ничего не видела... Ничего.

— Ты этак и своего боярина проспишь...

Никита Борисыч тяжело опустился на скамью, обтер рукавом пот на лбу.

— Уж лучше на войне помереть, нежели от лесной гадины...— промолвил он, отдуваясь, смахивая рукой ренье с шаровар.

Агриппина села за плетень, не осмеливаясь взглянуть на мужа.

Боярин хлопнул в ладоши. Появилась сенная девка.

— Покличь Митрия...— глухо произнес он.

Она поклонилась, выбежала на волю. Дмитрий — самый близкий дворовый человек к Никите Борисычу. Ему он поручал только особо важные дела.

Боярыня недолюбливала Дмитрия: он вздумал и за ней, за Агриппиной, следить. Часто Никита Борисыч запирался с Дмитрием в своей горнице. Они перешептывались целыми часами, и, как ни старалась она подслушать их разговоры, ей не удавалось ничего разобрать. Но ей всегда казалось, что разговоры их обязательно про нее. А теперь и вовсе... грех тяжкий за спиной...

Маленького роста, коренастый, рыжий, с острою длиною бородою, очень услужливый, Дмитрий обладал необычайной силой; в кулачных боях был для всех грозой. При Никите Борисыче он служил чем-то вроде телохранителя и пользовался большою любовью его.

Дмитрий побежал к дому.

Агриппина вышла кормить голубей на башню. Это было ее любимым занятием. Она вскоре увидела, как Дмитрий с плетью в руке быстро вышел из сторожки и побежал по просеке к медвежьему сараю.

. . . . .

Вечером пахло скошенной травой, нагретою солнцем. Синие сумерки окутали Боговляенское. Дворовые люди боярина Колычева, утомленные бестолковой беготней по лесу и криками хозяина, лежали на куче сена в сарае, робко перешептываясь:

— Ай да Герасим! Вот те и бобылек! Что сотворил!

— Как святым духом взяты! Либо вихрем.

— На брань захотели. Судостатов крушить. Мысли такая была.

— Кому воли не хочется? Вон «хозяин»<sup>1</sup> и тот ушел! Не стал нас ждать. А бобыли и вовсе... Чего им! На камушке родились, в круглой нищете.

Послышались громкие, тяжелые вздохи во всех углах.

— И надо же так! Крышу разобрал... Вытащил Андрейку... «хозяину» цепь обрубил. Обо всех позаботился. Улетели, что голуби... Вот и поймай их теперь!

— Игла в стог упала—знай пропала!.. Ха-ха-ха!

— О-о-ох, люди, люди! Спите!—кто-то сказал громко, с тоской.—Мы—тля! Дворы есть, пашня есть, а нечего есть. Сердечушко, братцы, горит!.. Иной раз боязно—не задохнуться бы! Так и жмет, душит. Спите! Ладно!

— Дело ясное. У курицы—и у той сердце. Сел бы и я на коня сивого и поехал бы во чисты поля!

— Кто разгадает, где они? Посылал Никита Борисыч верховых по всем дорогам, да нешто поймаеть?.. Сам пес, Митрий, гонялся, да ни с чем и возвратился... Теперь беда всем нам от боярина.

— Ничаво! Беда ум родит.

— Тише!—послышался тревожный шепот.— Не услышал бы кто. Спите!

— Звезды одни... наши сестры... не скажут!.. Святой Егорий, оборони нас, грешных... И-их, их!

Шепот стих. Клонило ко сну. В лесу кричала неясно, будто кошка; хрустели сучья под боком у сарая: может, заяц, может, еж! Их много в окрестностях... Жужжали, влетая стрелою в чердак, ночные жуки, косматые бабочки-бражники.

Огромная, пьянящая покоем тишина летней ночи брала верх. Вотчина боярина Колычева и лесные дебри погрузились в сон.

### III

Московскому собору тысяча пятьсот пятидесятого года Иван Васильевич говорил: «Старые обычаи на Руси поиспаталися». Царю было всего двадцать лет, а упрямства на старика хватило бы.

---

<sup>1</sup> Медведь.



После того и началось. Не миновало и богоявленской вотины. Диковина за диковиной!

Один государев судебник что шума наделал!

Конечно, и в прежние времена в волостях полагалось выбирать мужицких старост, а на судах присутствовать «судным мужам» из крестьян, но сильные родовитые вотчинники умели обходиться и без того. Теперь попробуй, обойдись!

На московском соборе царь и об этом помянул: «Земским людям лутчим и середним на суде быть у себя не велят, да в том зёмским людям чинят продажи великия».

Как сейчас, перед глазами Колычева гневное лицо молодого царя, грозившего послушникам жестоким наказанием.

Прошло пять лет. Царь тверд. Он и не думает отступаться. Напротив! Тот же Васька Грязной привез в богоявленскую вотчину новую грамоту, а в ней сказано: «На волостном суде быть крестьянам пяти или шести добрым и середним». А он, Колычев, коладуню-старуху сгубил безо всякого суда, своей властью и к тому же избивал бобыля Андрейку, вздумавшего грозить царем.

«Господи, спаси и помилуй!» Бобыль утек, а с ним и Гераська Тимофеев, его дружок. Обскакали на конях, обшарили холопы все леса и поля в окружности, а беглецов так и не нашли.

Дрожащими руками держал Колычев царскую грамоту:

«Всем крестьянам Богоявленского, Троицкого и Крестовоздвиженского сел vybrати у себя прикащиков, и старост, и целовальников<sup>1</sup>, и сотских, и пятидесятских, и десятских, которых крестьяне меж себя излюбят и выберут всюю землю, от которых бы им обиды не было и рассудить бы их умели в правде, беспосульно и безволочитно...»

Выбранных народом в черных государевых землях целовальников и прикащиков грамота строго-настрого запрещала утверждать местным землевладельцам: «И тех прикащиков, и крестьян, и дьяков для крестного целования присылати к Москве».

«Пресвятая богородица! Мужиков посылать в Москву! Да на кой бес они там нужны?»

Колычеву сделалось душно, словно потолок опускается все ниже и ниже и вот-вот совсем раздавит его.

---

<sup>1</sup> Целовальники — сборщики налогов.

— Господи! — прошептал боярин. — Да что же это такое?

Придя в себя, крикнул слуг, велел принести вина зеленчатого и заперся в одной из башенок своего дома.

Это было самое любимое место, где он уединялся со своими «ненстовыми» мыслями о царе...

На обитых казанскими коврами стенах красовалось дорогое оружие прародителей: мечи, сабли с насечкою, шестоперы<sup>1</sup>, усыпанные самоцветами, оперенные стрелы в саадаках, золоченые щиты, рогатины, шлемы, кольчуги...

— Ишь, побойчал, волчонок!.. Охрабрился не по совети!.. Узды нет!.. Все перевернул по-своему! — бессвязно бормотал боярин, опрокидывая чарку за чаркой. — Обожди! Оборвут тебе твой жемчужный хвост!

Мысли дикие, жуткие. Захотелось обратиться в черного ворона и улететь. Куда? На всей Московской земле — волоститель Иван. Улететь бы в Польшу, в Литву, в Свейскую землю. Туда, куда ушли многие именитые новгородцы...

В прежние времена был закон свободного отъезда в чужую страну, коли не поладил с великим князем, ныне и этого нельзя. Изменниками объявил царь всех «отъехавших»... А прежде то и за грех не считалось, мирно расходились. Разрешалось!

Да и на кого оставить Агриппину, землю, все богатство?

Дело сделано. Старуха убита без суда, а исчезнувшие из вотчины бобыли, как говорят, побежали в Нижний Новгород, да через него — в Москву. Буде так, — от царя правда не укроется.

Колычевых род добрый, богатый, древнейший, соплеменный роду Шереметевых. Прародитель Колычева — воин доблестный и славу великую воинскими подвигами стяжал. Ныне в Москве, в своем доме, живет родной брат Никиты — Иван Борисыч. Вельможа знатный и царской милостью в изобилии украшенный. Есть и ныне доброхоты. Не послать ли к ним гонда с грамотой? Не попросить ли в грамоте Ивана Борисыча переять мужиков?

Ой, нет! Прискорбнее не стало бы! Может, беглецы ушли на Украину, на рубежи, а не в Москву. Тогда сам на себя беду накликаешь.

---

<sup>1</sup> Шестопер — оружие вроде булавы либо кистеня. На утолщенной части — шесть перьев (железные выпуклые пластины).

Внизу, в светлице, Сеня-домрачей пел Агриппине любимую ее песню о том, как красавица-княгиня полюбила своего холопа и как Гамаюн-птица спасла от княжеского гнева и лютой казни того возлюбленного и снесла его в золотые чертоги, и как божественная Лада<sup>1</sup> сжалилась над тоскующей княгиней и соединила красавицу-княгиню с бывшим ее холопом, ставшим царем тридевятого царства, тридесятого государства. Никто с тех пор не мог мешать княгине любить парня, ибо он уже перестал быть холопом, сравнялся с царями и в царстве своем издал приказ в любви не разбирать званий — все одинаковы; и никто в том царстве не боялся никого, никто никому не завидовал, а жили все заодно.

На той свадьбе и я был  
И мед пил,  
По усам текло,  
А в рот не пошло,—

с улыбкою закончил свою песню хитруший Сеня-домрачей.  
— А уж и пригож был тот парень-холоп... В очах его камень-маргерит... Из уст его огонь-пламень горит.

Струны умолкли. Сеня внимательно взглянул на Агриппину. По ее щекам текли слезы. Глаза ее были обращены к иконе. Она тихо шептала что-то. Вдруг обернулась к нему и спросила:

— Далеке ли Москва? Поведай! Развей хворь-кручину, тоску мою!

— На коне — буде суток четверо, в лаптях — десять отшлепаешь... Да и кто такой? Дворянин, либо иной вольный, либо чернец — ходьба ровная, без оглядки — ходчее будет. Беглый али бродяга, не помнящий родства, дойдет ли, нет и в кое время — господь ведает.

Агриппина задумалась.

— Ну, ну, спой еще песню. Не уходи! — попросила она.

Зачесал свои длинные волосы на затылок, опять взялся за гусли курносый Сеня, вытянув шею, запел, часто моргая, под унылое бречанье жильных струн:

Спится мне, младешенькой, дремлется,  
Клонит мою головушку на подушечку;  
Хозяин-батюшка по сеничкам похаживает,  
Сердитый по новым погуливает...

— Будя! — вспыхнула Агриппина. — Иди! С богом!

---

<sup>1</sup> Лада — покровительница любви, брака.

Она открыла потаенную дверку в стене и вытолкнула его вон. Домрачей был маленького роста, весь пестрый, юркий. Он живо выскользнул на улицу, торопливо пошел к воротам усадьбы. Сверху загремел пьяный голос боярина:

— Сенька! Скоморошь! Подь сюда, лукавый пес!

Домрачей опрометью пустился бежать на зов хозяина.

— Кто я? — поднявшись с места, спросил Колычев опешившего Сеньку.

— Осударь ты наш батюшка! — бухнулся он боярину в ноги.

— Врешь! Холоп я. Питуха я бесовский! Говори «да», сукни сын! Говори!

Сенька лежал на полу, уткнувшись в ноги Колычева, с удивлением следя одним глазом за боярином.

— Ну, говори! — грозно крикнул Колычев, занеся кулак над ним.

— Да!.. — тихо и страшась своего голоса произнес домрачей.

— Вон! Вор ты! Все вы воры! — иступленно завопил боярин. — Вон, ехидна! Вон! В цепь! В колодки!

Сенька ползком скрылся за дверью.

Агриппина слышала, как испуганный Сенька шлепает босыми ногами, убегая по лестнице. Она легла в постель.

Какое несчастье, что бог не благословил ее ребенком! Передко по ночам ей грезится, будто рядом с ней лежит маленькое улыбающееся дитя; она его целует, ласкает. После такого сна еще хуже становилось на душе. Никита Борисыч постоянно упрекает ее: «Соромишься ты, соромишься!» Вину сваливает на нее. Но виновата ли она? Никита Борисыч говорит: «Не от человека-де зависит, зачать или не зачать», а сам бранит ее, что-де ее наказал бог «неплодством», не его, а ее.

— Чего для оженился я? — сердито ворчал он.

Житья не было от Никиты Борисыча; укорам, оскорблениям не предвиделось и конца.

Но... теперь? Если и теперь... Ведь и впрямь провинилась она перед боярином. Было! Было! Ох! Ох! Было!

. . . . .

Ветлужские леса. Густые заросли ельника и можжевельник; сосны, озера, топкие болота да мелкие лесные речушки, заросшие осокой. Несть числа им — извилистым, тинистым, зачастую очень глубоким. Рыбы всякой видимо-

невидимо. По ночам рыси мяукают, заслышав оленя; медведи, ломая деревья, деловито спуют в чаще, чувствуют себя здесь полными хозяевами. Болот много. Не отличишь их от зеленых полей. На бархатной поверхности цветочки манят к себе, соблазняют, но горе тому, кто вздумает поверить им: засосет с головой! По ржавым зыбунам змеи ползают с кочки на кочку. А на лесных озерах, в тростниках, беспечно дремлют дикие лебеди, перекликаясь с пухлыми лебедятами, да бобры греются на солнышке, высунув из воды свои мокрые, прилизанные спины.

В теснине лесных троп темно, сыро; пищат комары, горбятя, впиваясь в тело. Никак не отобьешься! Ежи свертываются в комки под ногами, мешают идти. Андрейка и Герасим с большим трудом пробиваются сквозь чащу, вснугивая стаи дроздов, лесных жаворонков и иных птиц. Жалобно, душераздирающими голосами перекликаются иволги.

Но страшнее всего леший. Его хохот, ауканье, свист и плач леденят душу. Ноги подкашиваются. Про него говорят, что он пучеглазый, с густыми бровями, зеленой бородой. Не дай бог с ним встретиться!

Особенно жутко в сюземах — любимое место нежити, самые глухие, непроходимые дебри. Тут столько лесной гнили, старых поваленных деревьев, всякой колючей путаницы и трухи, что даже лесные пожары здесь глоснут. Дойдет огонь до сюзема, опалит, очернит лесную крепость, а взять ее так и не сможет. Сила лешего сильнее огня.

Осторожно, с оглядкой, совершали свой путь через сюземы Андрейка и Герасим. Лезли через деревья и молились...

И все-таки страх перед Колычевым, боязнь погони сильнее всех иных страхов. Нет такого препятствия, которое могло бы остановить парней. Исколотые иглами, с испаряющимися валежником и порезанными осокою ногами, неудержимо движутся они вперед, к Волге. Ни одного жилища, ни одной деревеньки! Ночью — тишина, пронизывающая тело сырость и бледные, бесстрастные звезды.

У Герасима — нож. Он держит его наготове, им же пробивает дорогу. Андрейка все еще чувствует боль в руках от цепей; слаб еще он, не надеется на себя.

— Ничего! — утешает его Герасим, шествуя впереди. — Понадеемся на Дорофея — утро вечера мудренее, а придет Ларивон — дурную траву из поля вон!

Что страхи? Долой их! Лето. Июнь—розан-цвет. Самая пора быть в бегах. Поди, по всем дорогам на Руси тайком пробираются люди... Куда? К Волге! К Волге! Выйдешь на Волгу, все дороги там сходятся. Только бы скорее кончился этот проклятый дремучий бор!

Рано светает. Рано лес просыпается. Рано зверь приходит к ручью. Розовые зори зажигают росу.

Андрейка тоскует.

— Что о том думать, чего не придумать... Наше дело холощье, серое.

— Знаю, Герасим, да уж, видать, бог сотворил так: шуба овечья, а душа человечья... Ничем не заглушишь, щемит в груди обида!

— Пройдет! На войну захотел, поклялся до царя дойти, а ныне вздыхаешь! Дурень! Опомнись! Силища-то у тебя какая! Бурелом ты, а не человек. Не к лицу тебе плакаться.

После долгого пути, наконец, лес поредел, и блеснула залитая солнцем Волга. Широкая, спокойная, величественная.

Оба парня осенили себя крестным знаменцем.

— Она! — тихо, растроганным голосом произнес Андрейка.

— Она, братец, она... Гляди, какое приволье!.. Как хорошо! Чайки, гляди,—на самой воде! Пески разметались рудо-желтые... Гляди! А там, как щиты, стоят дубы стеною над обрывом...

— Слушай,—произнес Андрейка,—мой отец... сызмала... — и, не досказав того, что хотел сказать, он крепко обнял Герасима.

— Экой ты... пусти! Ребра трещат! Чего еще—отец? Болтай тут! О себе страдай, дурень!

Андрейка собрался с силами.

— Всю жизнь, почитай, думал о Волге, так и не увидел...

— А вот мы с тобой увидели... Ну, теперь помолимся. Чего дед не видит, то внук увидит. Молись. На святой Руси, авось, не пропадем...

Андрейка и Герасим опустили на колени и давай молиться. Они не знали никаких молитв, да их и никто не знал из крестьян. Молились о том, чтобы не догнала их боярская погоня, дойти чтоб благополучно до Москвы, царя бы увидеть и рассказать ему о злом боярине... Они



подбирали самые жалобные слова, стараясь разжалобить бога, чтобы обратил он свое внимание и на бедняков.

Заночевать пришлось в овраге на берегу; место без-опасное — глубокая впадина, заросшая густым орешником и березняком.

Единственным человеком, который подсмотрел за пар-нями, оказался старый рыбак, — тощий мордвин с насмеш-ливыми глазами.

— Аль хоронитесь? — вдруг просунул он голову сквозь кустарники.

Парни вздрогнули. Схватились за дубье.

Старик рассмеялся.

— Ого-ого-оо! Огонь без дыма не бывает. Знать, и впрямь тайное дело.

Герасим насупился.

— Помалкивай... Царево дело вершим. Слово несем.

Рыбак покачал головой: «так-так».

— А не боитесь? — спросил он и рассказал, что слы-шал про царя, когда царева рать возвращалась по Волге из Казани.

Княгиня Елена, мать царя Ивана, во время тягости, близ родов, запросила некоего старца юродивого, кого-де она родит. А старик тот, юродствуя, ответил княгине: «Родится у тебя, пресветлая княгынюшка, Тит — широкий ум!» В час его рождения по всей русской земле был вели-кий гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось. «Так родился наш государь Иван Василье-вич».

— Сам-то ты видел его?

— Будто видел, сынок, видел...

— Поведай толком, как то было.

Путая русскую речь с мордовской, старик рас-сказал:

Покорив царство Казанское, Иван Васильевич возвра-щался домой через Нижний-Нов-град. Много до той поры страдали нижегородцы от набегов казанских татар, а по-тому и радовались победе. Показались на Волге ладьи московского войска, затрезвонили на всех колокольнях, толпы народа сбежались на берега. Духовенство с кре-стами и иконами вышло навстречу царю. Едва царь сошел с ладьи, народ упал на колени, радуясь, что наступило избавление «от таковых змий ядовитых, от которых стра-дали сотни лет».

Два дня пробыл царь Иван в Нижнем, распустил войско, благодаря ратников за труды и подвиги, и отправился в Москву через Балахну.

Старик с гордостью поведал о том, что царь Иван любил мордву за верную службу. Проводниками у московского войска были мордовские люди. Особо угодил царю мордвин Ардатка. Его именем царь назвал город Ардатов. Да только ли Ардатов,— много и других городов и сел наименовал царь. Одарил царь и проводника Ичалку.

Старик хитро подмигнул и рассказал тихо, вполголоса:

— Недалече отсюда дочку я хороню... от нашего наместника. Приглянулась она ему, и велел он ее во двор свой свести, и сказал я в ту пору наместнику, будто утопла она... моя дочка... Дали два десятка батоков и с воеводского двора согнали меня. Она тут на берегу, в земляной норе... А что дале делать, не знаю.

Парни переглянулись. Стало быть, не они одни хоронятся от людей.

— Ладно, друг! Не горюй!.. Жди правды. Двенадцать цепей правда разорвет. Далеко ли она, твоя дочь-то?

— Недалече.

Андрейка вздохнул.

Герасим пошел вместе со стариком.

В соседней ложине, в землянке, на домотканной узорчатой холстине, покрывавшей сено, лежала девушка. Услышав окрик отца, она испуганно вскочила.

Герасим с удивлением и восторгом глянул на нее.

— Вот, прими,— сказал старик, протягивая ей хлеб,— добрые люди тут, недалече от нас... Тебе послали. Пожа-дели.

Высокая, стройная, чернобровая (ой, вот так девка!), одета в лиловую бархатную душегрею поверх длинного белого тушпана, расшитого широкими синими узорчатыми полосами на подоле. Простой белый кокошник. Она стала против Герасима, слегка наклонив вполоборота голову, так что ему не удалось уловить выражение ее лица. Тихо спросила, не оборачиваясь:

— Русский?

— Добрые люди, Охима... Не бойсь!

Дед сердито заговорил с ней по-мордовски. Она подошла к Герасиму и приветливо улыбнулась. Черные, как вишни, глаза смотрят дружелюбно; маленький рот слегка усмешливый.

— В Москву? К царю? — живо спросила она, взяв Герасима за руку. Парню стало жарко: эх, какие бывают! Тяжело вздохнул и, смутившись, ответил:

— С челобитием к царю-батюшке.

— Возьмите меня, — оглянувшись на отца, проговорила она по-русски. — Нельзя мне тут... Уходить надо.

Старик опять заговорил с ней на родном языке. Видимо, он ее журил за что-то.

— Иди, молодец, отдохни... — махнул он рукой Герасиму. — После покалякаешь.

Герасим быстро побежал по берегу к своему товарищу. Камни катились по нагорью к воде, несколько раз он цеплялся за коряги и падал, но всего этого теперь он не замечал. Волга притихла. Наступал теплый, синий летний вечер. Солнце опускалось за сосны. «Какая девка! Будь проклято это чудовище — наместник!»

Андрея клонило ко сну. Оставшись один, он помолился о благополучном исходе из нижегородских земель. Подстелил под голову зипун и приготовился вздремнуть.

Появился веселый, сияющий Герасим.

— Вот так дочь!.. Мордовка! Вот так чудо! Не могу я тебе и рассказать, какая! Колос наливной, ягода сада райского, не страшна с такой и мука вечная...

— Помолчи... Спать хочу.

— Андрейка! Чурбан! Она тоже в Москву... как и мы, видать, собирается.

Андрейка не отвечал. Он засыпал.

Герасим сел рядом, задумался: брать или не брать мордовку в Москву? Взять? С нею трудно будет скрываться от лихих людей, она свяжет их обоих. Не брать? Огорчишь ее, будет плакать (Герасим вспомнил ее глаза, ресницы, голос). Она может одна уйти, ее могут убить, звери растерзать... Можно ли допустить? Да и скучно будет без нее, двоим-то!

И так, и этак у Герасима получалось — надо взять!

По небу широко разметалась звездная россыпь. В лугах, заглушая один другого, стрекотали кузнечики. Герасим осторожно, боясь нарушить сон своего товарища, приподнялся, прислушался. Крадучись, пробрался через кустарник на берег. Где-то поблизости в тихой воде всплеснула крупная рыба. Разбежались круги по стеклянной глади.

Старый мордвин возился на берегу около челна. Увидав Герасима, он поднялся, молча стал следить за ним,

а когда тот приблизился к жилищу его дочери, старик сердито окликнул парня по-мордовски:

— Месть тива азгуньдят?<sup>1</sup>

— Ух, ты, старина, какой ты сердитый! А где дочь твоя?

— Спит она.

Сверху раздалось:

— Человек, иди!

Строгий, повелительно прозвучавший голос девушки приятно поразил Герасима. Старик замолчал и, как ни в чем не бывало, снова углубился в свою работу. Герасим вскарабкался по берегу к тому месту, где стояла Охима. Она взяла его за руку и отвела в сторону. Сели на большой камень над Волгой.

Теплая летняя ночь, запах скошенных трав. Далеко-далеко на той стороне Волги — тихие мерные удары колокола.

Охима рассказала Герасиму:

— Когда царь Иван с войском шел на Казань, то в Нижегородской земле, на реке Кудьме, была вот такая же ночь, как теперь. Поставили царю в поле шатер. И только обошел он становище, как увидел, что все спят, вернулся к себе в шатер, снял с себя меч, приготовился ко сну. Но когда он молился, услышал, будто около шатра кто-то ходит. На воле увидел он обласканную луной мордовскую девушку в одной рубахе. Была она подпоясана зеленою веткой. «Что тебе надо близ моего царского шатра? Идем ко мне!» — сказал царь. Он был совсем молодой, и его улыбка была такая, что девушка с радостью вошла к нему в шатер. «Великий государь, — сказала она, — твои ближние люди, — и назвала она их всех по имени, — умыслили тебя извести. Берегись их! Два дня осталось тебе жить, коли ты их не уничтожишь». Молодой царь крепко обнял ее и облобызал. Снял с нее зеленую ветку и опоясал ее дорогим золотым кушаком.

Враги ночью подкрались к шатру, чтобы извести царя, а царева стража, укрытая в шатре, выскочила и всех перехватала.

Мордовка пошла к себе домой, в деревню, но тут братья злодеев увидели в поле эту девушку, догадались, зачем она ходила в царский шатер, и убили ее.

---

<sup>1</sup> Что тут шляешься?

И когда царь узнал про то, горько сожалел о ней и велел похоронить ее по-царски. А на память будущим людям насыпать на ее могиле высокую-превысокую гору. И назвали ту гору Девичьей горой, а стоит она, эта гора, недалеко от Арзамаса.

Охима вздохнула.

— Та, бедная, которую убили и пояс у которой золотой унесли, была наша мордовская девушка, а звали ее, как и меня, Охима. И не будете жалеть вы, что пошли к царю с мордовкой... Царь знает мордву. Я правду говорю. Наш народ любит ваш народ. Наша нижегородская мордва царю служит, как и все.

Она замолчала. Волнение послышалось в ее голосе.

Небо потемнело, звезды стали ближе, ярче. Герасим сидел, очарованный Охимой, ее рассказом, летней ночью, вольной волюшкой...

Плечо Охимы прикасалось к его плечу, а кудри его щекотали ее щеки. Она не дичилась. Она рассказала ему то, о чем умолчал ее отец. Старый рыбак слукавил. Он умолчал, что Охима уже была во власти наместника, что он силою взял ее себе в наложницы и что она тоже «в бегах». Мордовские всадники похитили ее из кремлевского терема и вернули отцу. Но каждый день она со страхом ждет, что ее снова схватят воеводские холопы и увезут в нижегородский кремль.

— Эге!—вздохнул Герасим.—Вижу я, и впрямь тебе остается бежать с нами. Доколе будем терпеть, доколе будем страдать? А мы с Андрейкой и на войну попросимся. Приезжал в нашу вотчину один дворянин, много про войну говорил... смушал народ.

Охима смелая, она не похожа на прочих женщин, забытых, бессловесных. Прислушиваясь к ее мужественной речи, Герасим диву давался, как так могло случиться, чтобы такая смелая баба на Руси отыскалась. В богоявленской вотчине все бабы забытые, безгласные, а эта... Уж не оттого ли, што воеводской наложницей была? Как не пожалеть такую? Вот он, Герасим, ее обнял и поцеловал, и она не противится, притихла, такая теплая, ласковая...

А как она говорит о своих соплеменниках, с каким огнем в глазах осуждает неправду, чинимую мордве холопами наместника.

Герасим думал уже теперь о том, что хорошо бы Андрейке поспать покрепче и подольше. Так приятно

беседовать с Охимой наедине. Ее черные очи сверкают ярче звезд... Вот бы сесть с ней вдвоем в челн и поплыть вниз по Волге-реке. Позабыть все на свете!

Ох, ты, воля моя, воля, воля дорогая!  
Уж ты, воля дорогая, девка молодая...

— Пойдешь? Да? С нами пойдешь, Охимушка? — опьянев от первого же поцелуя, шепотом спросил ее Герасим.

— Зачем спрашиваешь? — прошептала Охима. — Ну что ж! Пойду! Посмотри, какая я! Не хуже вас!

#### IV

Много рассказов ходило в областях и на окраинах о Москве. Силу ее чувствовали на себе все в государстве. Были послушны ей.

Андрейка, Герасим и Охима, однако, подходили к Москве без всякого страха, с любопытством.

Дорогою слышали они и о боярине Кучке, что в древности раскинул на берегах Москвы-реки свое усадьбище, и о великом князе Юрии, сыне Владимира Мономаха, основателе Москвы, и о Кремле, построенном в лето тысяча сто пятьдесят шестое. И будто прежде Кремль был маленьким, деревянным и назывался «детинец», а ныне стал большим и каменным.

Пока же в окрестностях Москвы, кроме темного бора, небольших поселков и отдельных домишек, ничего не было видно. Широкая дорога, обросшая ельником и соснами. Деревья высокие, столетние. Мелькают болота, раскиданные в беспорядке избы, конны сена на полянах, коровы, ягнята...

Андрейка удивлялся — чёго ради на таком низком, грязном, болотистом месте построили Москву? Сосен да елей, можжевельнику что хочешь и в других местах, и комаров тоже.

Но вот лес кончился, слава богу! Дорога пошла по открытому месту в гору; на взгорье — ветряная мельница, поодаль — кучка бревенчатых домиков, деревянная остроконечная церковь. Начались посадки.

— Стойте! — сказал Герасим. — Помолимся, и айда на гребень.

Помолились. Осмотрелись кругом — ни души. Осторожно взойшли на гребень, внизу — река! Быстрая, неширокая.

— Вот те и на!—вздыхнул Герасим.— Где же Москва? Охима рассердилась:

— Всю дорогу поете... Эх, и послал же мне шайтан вас!

— Не ты ли сама, язычница, на грех нас навела? Кабы не твои глаза, не пошли бы мы с тобой. Шла бы ты одна,—сказал с досадою Герасим.

Охима посмотрела на него полусердито, полуусмешливо.

Полдень. На реке тихо-тихо. По брюхо в воде бродит теленок, подняв морду, проглатывает воду, обмахивается хвостом. Андрейка быстро разделся, сбегал вниз и бросился в реку. Герасим помялся-помялся, да и за ним. Охима отошла несколько в сторону, хотя и не было ничего зазорного в том, если бы и она разделась тут же. Купанье повсюду было общее. Охима тоже разделась и стала купаться.

Разбивая руками и ногами воду, она отплыла на середину реки, стала на дно. Сквозь прозрачную воду виднелись многоцветные камни и ракушки.

Громко и бедово запела Охима по-мордовски:

Если смотреть на меня спереди,  
Я как сильный хмель,  
Если смотреть сзади,  
Я крутая-прекрутая гора,  
Место для игры солища,  
Если смотреть с правой стороны —  
Я хорошая кудрявая береза,  
Место для игры белок.  
Если смотреть с левой стороны —  
Я широкая, ветвистая липа,  
Место для посадки пчел.

Оборвав песню, девушка весело рассмеялась тому, что она только одна понимает слова этой песни. Ее окликнули Герасим и Андрейка. Она с сердцем отвернулась. В ее мыслях—молодой дородный Алтыш Вешкотин, лихой наездник. Одарили его подарками царские воеводы под Казанью и увели с собою вивесть куда! Алтыш дал слово Охиме, Охима — ему: любить друг друга вечно. Свадьба расстроилась, увели Алтыша. Вот о чем хотела говорить с дарем Охима. Герасим и Андрейка не должны знать этого. Пускай думают, что думают. Она свою тайну ни за что не выдаст.

— Гляди, и не смотрит на нас и не откликается,—вздыхнул Андрейка.

— А на што тебе? Смотри, Андрей, остерегись!..

Герасим сердито покосился в его сторону. Тот сделал вид, что ловит стрекозу.

— Ну, ты, еретичка! Негодная!— приговаривал он, подпрыгивая в воде, а сам украдкой поглядывал на Охиму.

Она переплыла на ту сторону, отвязала чели, при-  
ткнувшийся к берегу в осоках, и повела его к тому месту,  
где разделась. Андрейка рванулся за стрекозой, полетев-  
шей именно в сторону Охимы.

— Лови!.. Лови!..— крикнул он истуупленно.

Герасим со злом толкнул его в спину так, что  
Андрейка скрылся с головой в воде. Отдуваясь, он обер-  
нулся к Герасиму и проворчал обиженно:

— Э-эх, помешал ты!.. Улетела! Не поймал!

Охима стояла во весь рост на берегу и смеялась.

— А ты вот что... Думай, как с царем встретиться.  
Останутся ли после того головушки у нас на плечах?  
А куда не след—не косись!..

— Ладно. Знаю я,— махнул рукой Андрейка.— Господи!  
Господи! Согрешишь с вами!

Все трое быстро оделись.

Вскоре переправились в челне на ту сторону. Здесь  
встретили толпу ребят,— шли купаться.

— Какая река?—спросил Герасим.— И скоро ль Москва?

— Река—Луза... Москва тут и есть... Вон, глядите!  
Аль слепые?

Сквозь деревья открылась чудесная картина раскинув-  
шегося на холмах златоглавого Кремля с его дворцами,  
зубчатыми стенами, соборами, башнями, а вокруг большое  
пространство, застроенное бревенчатыми домами и церк-  
вами, утопавшими в зелени.

Очарованные видом громадного города, нижегородцы  
долго молча любовались им.

— А где бы нам тут батюшку-государя увидеть? И  
что тут впереди за этим забором?—спросила Охима.

Самый старший мальчуган бойко ответил:

— Слобода, а вона—Китай-город, а уже тот—Кремль...  
В нем и есть дом государя. А вы кто же будете?

— С Волги мы... Издалеча.

Диву дались путники. Таких бойких, разговорчивых  
ребят в Нижнем, да и в Заволжье, не увидишь.

— Ну, бог спасет!—низко поклонился ребятам Герасим.  
Двинулись дальше.



Слобода ширилась; строений становилось все больше и больше, а вокруг них огороды и пустыри; такие же мужики и бабы, как и в Нижнем. При встрече отвешивают низкие поклоны, оборачиваются, смотрят вслед.

Впереди — высокий вал, бревенчатые стрельницы; в конце дороги — решетка, она поднята; страж, обняв бердыш, стоит тут же, на траве, у подошвы вала, дремлет. Герасим, Андрейка и Охима проскочили в ворота и, утлая в высокой траве и кустарниках, пошли мимо больших, богатых хором дальше.

— Москва! — в волнении перекрестился Герасим, оглядывая красивые каменные стены с бойницами. Перекрестился и Андрей. Охима с любопытством на них посмотрела.

На широкой дороге поскрипывали телеги, а около обоза тихо следовали верховые. Трудно разобрать: не то татары, не то еще какие-то. В косматых шапках, в цветных штанах, обвешанные оружием, они невольно внушали страх всем попадавшимся им навстречу. На поклоны не отвечали.

Слышен был благовест многих церквей, говор толпившихся у кабаков людей, звуки свирели. Нарядные хоромы мешались с мелкими бревенчатыми избенками; некоторые из них были курные, срубленные прямо на подзавалье, с волоковыми окнами под потолком для пропуска дыма, похожим более на щели, чем на окна. На крышах кое-где торчали деревянные дымницы. Из подворотен выбегали псы. Андрейка отгонял их дубиной, оберегая Охиму.

— Э-эх, кабы теперь поспать! — громко вздохнул он. — Гляди, с меня уж и лапти слезают. Пожалей меня, Охимушка!

Усталость давала себя знать, и лапти, в самом деле, пришли в негодность. Одежка тоже поизносилась. Правда, Охима несколько раз в дороге стирала рубахи и онучи себе и парням, но от того ведь одежда не станет новее.

Большие и малые деревянные дома кое-где стояли укрывшись в палисадниках и в серебристых березовых рощицах. В тенистых местах блестели большие лужи, похожие на пруды. В них копошились утки с утятами. Медленно и сонно плавали гуси и лебеди. Мальчишки шумели, ловя лягушек. По сторонам — поля, всполья, пески, пышные, зеленые, усеянные яркими цветами луга.

Почти у каждого пятого дома под боком ютилась часовня. И всюду бесчисленное множество колодцев, «журавлями».

Прыгая через канавы и лужи, путники подошли вплотную к высокой кирпичной стене. Внизу, у подошвы ее, лежали козы, псы и бродяги.

Герасим спросил волосатого человека с подбитыми глазами, где пройти в Китай-город.

Волосатый плюнул, гадко изругался, покраснел от злости и ничего не ответил.

Из кучи тряпья донесся бабий голос:

— Иди дыру в ограде под Миколой... Блажной! Нищий!

Псы затаивали, взбеленились.

Герасим нащупал нож. Бродяги лениво повернули головы в сторону Охимы. В их глазах было мутно, невесело. Однако язык шевельнулся, чтобы сказать непотребное.

Андрейка шепнул Герасиму:

— Кабы теперь шестопер... почесал бы я их.

— Умолкни! — сурово отозвался тот, покосившись с тревогой в сторону бродяг.

Ускорили шаг. Дошли до каменной башни со сводчатыми воротами и, пройдя их, очутились на тесно застроенном месте. И справа, и слева лари, часовни, церкви. Деревянная, из бревен, мостовая. Вдоль стены ходят стрельцы, в железных шапках, в красных кафтанах, с пистолетами в руках. Молча следят за проезжими и прохожими.

— Устал, други! — вздохнул Андрейка. — Никак не пройдем ее. Вот так Москва! Велика и богата, не как у нас, в Нижнем...

Герасим опять: «Молчи, держи язык за зубами».

Андрейка надумся. Первый раз за всю дорогу обиделся на Герасима. Охима — на стороне Андрейки. Она стала замечать, что Герасим зря нападает на товарища, к делу и не к делу ворчит на него. Девичье чутье ей кое-что подсказало. Ей стало жаль Андрея.

Улицы постепенно становились чище и оживленнее. На каждом перекрестке столб с иконой, а около него нищие, дети, голуби. Сновали метельщики, прихорашивая деревянные мостовые, поднимали тучи пыли, вспугивали голубей и ворон. За канавами по бокам дороги вытянулись длинные ряды лавок, харчевен. Пахло паленным мясом, салом и рыбою.

Конные стражники разгнали плетью толпы кабацких ярыжек, пьяниц, любителей поиграть в зернь<sup>1</sup>.

Чем ближе становился Кремль (уже ясно были видны широкие золоченые купола соборов и башен), тем больше стало попадаться воинских людей, особенно стрельцов. Монахи бродили по улицам робко, с опаской оглядывались и поминутно крестились.

Царь строго-настрого повелел приставам и стрельцам следить за монахами, чтобы «не чинили поруки уставу Стоглавого собора<sup>2</sup> и не предавались бы пьянственному питию и вину бы горячему». Даже сквернословить было запрещено. А ходить нагими, мыться вместе с бабами и вовсе каралось плетью.

В Китай-городе курных изб почти не встречалось. Окруженные огородами с плодовыми деревьями и ягодными кустами, высились нарядные бревенчатые хоромы. Широкие сени и выкрашенные узорчатыми рисунками лестницы. В маленькие окна виднелись зеленые изразцовые печи, иконы, кое-где развешенные по стенам сабли, доспехи...

Путники с любопытством старались заглянуть внутрь домов. Увы! Высоко, не дотянешься. Старушка-нищенка, просившая милостыню под окнами, пояснила: в Китай-городе живут бояре, князья да богатые купцы.

А вот и Кремль! Грозный, неприступный, с высокими в несколько рядов зубчатыми стенами и еще более высокими башнями и соборами.

Вблизи Кремль совсем ошеломил нижегородцев. Думали, их нижегородский кремль — невиданное и неслыханное чудо. Аи вона что!

Герасим и Андрейка отстукали несколько земных поклонов. Охима прошептала что-то по-своему, по-мордовски. На щеках ее заиграл румянец, словно нашла она своего любимого красавчика-Алтыша. На самом деле она стыдилась при спутниках молиться по-своему.

Обширная торговая площадь перед Кремлем, называемая «Пожаром», потому что некогда место это выгорело (Красная), была загромождена палатками, ларями, распряженными лошадьми и телегами. Пестрая толпа клочкотала здесь. Гудошники, блинники, сбитенщики, медвежатники-

<sup>1</sup> Игра в кости или в зерна.

<sup>2</sup> В 1551 году 23 февраля съезд духовенства в Москве («Собор слуг божиих»).

поводыри сновали в толпе наехавших в Китай-город принарядившихся крестьян. Крики, свистки, ржание коней, колокольный звон оглушали.

По торговым лоткам раскинуты шелковые материи, алтабасы, турецкие ткани, узорчатые шпринки, кружева. У Охны глаза разгорелись. Она отделилась от Герасима и Андрея, остолбенела перед развернутыми кусками материи, точно околдованная. Дыхание сперло в ее груди. Глаза заблестели. Ноги будто железом скованы.

Герасим вместе с Андрейкой едва не потеряли ее из виду. Они шли к кремлевской стене, думая, что и она с ними. Оглянулись — ее нет. С трудом разыскали.

— Экая ты, чего прилипла? — заворчал Герасим, взяв ее за руку. — Идем. Да ну же! Ишь, растаяла!

Она отдернула руку, нахмурилась.

— Охимушка, не упряжься! Уйдем отсюда, — ласково погладил ее по плечу Андрейка. — Не прольщайся алтабасами...

Она не обратила внимания и на его слова.

Пришлось обоим силою оттащить ее от лотка с красным товаром.

— Да какая здоровая! Никкак не сдвинешь! И чего ты там увидела? Дура! К царю идешь, забыла?

— А ты чего цапаешь? Чего цапаешь? — сердито закричала девушка; в голосе ее была досада, печаль и даже слышались слезы. Она со злом стукнула Герасима по спине.

— А может, ты потерялась бы? Одна осталась!

— И пускай! Без вас бы дорогу нашла...

Успокоившись, все трое тихо направились дальше.

Около стены глубокий ров, наполненный мутною водой.

Слепила белизна стен Кремля, освещенных ярким солнечным светом.

Налево, надо рвом — мост, ведущий в кремлевские ворота.

— Идем туда, — толкнул своих спутников Герасим.

— Не пустят, пожалуй, — почесал лоб Андрей. — Да коли не пустят, через стену полезем...

— Эка расхрабился! Их тут три стены... Не голубь, чай! Да и через ров как переберешься?! В нем, гляди, сажен десяток с пятком буде.

Все трое вошли во Фроловские ворота<sup>1</sup> беспрепятственно.

---

<sup>1</sup> Спасские ворота.

В одном из кривых переулков огромного, богатого Кремля беглецы наткнулись на горбуна-чернеца. Он был ласков и на слова не скуп, расспросил парней — чьи они, откуда и зачем идут к царю. Андрейка поведал ему, как его мучил боярин Колычев. Чернец вздыхал, качая головою, ужасался. Назвался иноком Самуилом.

— Так будь же милостив, добрый человек, отведи нас в царевы палаты...

Лицо инока стало печальным, он тяжело вздохнул, скорбно покачал головою.

— Увы, чада мои, не легко то! Грозен наш батюшка-государь, осподь с ним! Не примет он вас, в темницу ввергнет... в железо обрядит... пытать учнет...

Парни переглянулись... Как же так? За правду, за челобитье — в темницу?

Горбун задумчиво погладил бороду и тихо молвил:

— Ступайте, голуби, за мной. Поведу вас к доброму государю, двоюродному брату цареву, ко князю Володимеру Андреевичу Старицкому... Поведайте ему горе свое, и приголубит он вас и царя Ивана Васильевича попросит за вас, горемышных.

— Ну, что ж! Веди, добрый человек, к тому доброму князюшке, к болезному заступнику, помоги нам, несчастным.

Горбун повел их через площадь к небольшому тенистому саду. Широколиственные, могучие клены окружали богатый дворец с узорчатыми слюдяными окнами, обведенными резною отделкою.

У ворот стояла хмурая вооруженная стража в панцырях.

Горбун сказал что-то непонятное рябому усатому воину, — тот пропустил странников внутрь двора. Но только вошли они во двор, как Самуил мигом исчез, будто сквозь землю провалился.

Охима прошептала:

— Чую нелоброе.

Герасим улыбнулся.

— Всего-то ты боишься! Никому-то ты не веришь!

И только что Андрейка захотел тоже посмеяться над Охимой, как их окружили вооруженные люди и плетью погнали к низкому бревенчатому сараю. Герасим и Андрейка пробовали отбиваться, но, получив сильные удары палкою по голове, притихли. Всех троих втокнули в сарай и заперли.

Ночью в темницу явились с фонарем приземистый, скуластый человек, стал допрашивать узников: кто они, откуда, на кого несут слово царю. Он слушал ответы парней, беспокойно грабля белками и кусая свои громадные черные усы.

— На Колычева?.. На Никиту Борисыча? Ах, проклятые! — злобно произнес он как бы про себя и плюнул сначала в лицо Андрею, а затем Герасиму.

Андрей не стерпел, сорвался с места, сгреб в свои могучие объятия обидчика, повалил его, потушил фонарь. Герасим и Охима помогли парню. Надавали усатому туманов, связали его, заткнули рот тряпкой и, закрыв дверь, тихо выбрались в сад. Засуетились, нащупывая место, где бы можно было перелезть через ограду. Но только что Герасим с товарищем очутились на воле, как в усадьбе князя поднялась тревога. Охима не успела выбраться наружу. Осталась внутри двора.

На улицу выбежала толпа сторожей в погоню за парнями. Они бежали им в обход, размахивая бердышами.

Андрейка и Герасим призвались кричать о помощи.

Из ближайшего проулка неожиданно выскочили верховые стрельцы. Княжеская стража обратилась в бегство.

Стрельцы окружили парней. Один из всадников слез с коня и близко подошел к ним. Удивленные до крайности, Герасим и Андрей узнали в нем Василия Грязного, того самого дворянина, который приезжал в колычевскую вотчину.

Грязной расспросил их, как они из тех далеких краев попали в Москву и что с ними приключилось здесь, в царском Кремле. Герасим толково, по порядку, все рассказал и про Охиму напомнил, которая осталась во дворе князя Владимира Андреевича.

Снова вскочил на коня дворянин Грязной и повел свой отряд к воротам княжеской усадьбы. Одного стрельца оставил караулить беглецов.

Охима была освобождена из княжеского плена. Она бойко шла, окруженная всадниками, и весело смеялась.

Грязной приказал парням и Охиме следовать за ним. Через огромную кремлевскую площадь отряд двинулся к большому государеву двору.

Андрейка шел вслед за стрельцами и обтирал кровь на щеке.

— Дьявол, всю харю искарябал! — ворчал он. — Шу, уж я ему ребра помял... Жирный какой, лешай!.. Знать, балованный... Не как мы!

— Я тоже его погладил... — усмехнулся Герасим. — Куда вот теперь-то нас ведут?

— Лишь бы жизни не лишили... Погрешить охота! — вздохнул Андрей. — Повеселиться в Москве.

Охима подарила ласковый взгляд Андрею (уже не первый).

Грязной был доволен всем случившимся. Когда-то и он служил у князя Владимира Андреевича. Зная, что государь недолюбливает князя, он перешел на службу к царю, чем и доказал свою преданность Ивану Васильевичу. С тех пор он был поставлен царем как бы в охрану к князю. На самом деле обо всем доносил, что узнавал о нем, царю. И вот теперь... «Будет потеха!» — весело и озорно подсмеивался он, поглядывая на своих пленников.

## V

В кремлевских хоромах царского советника, благовещенского попа Сильвестра, много цветов, много солнца, много людей, тихие разговоры.

Придет ли какой наместник, либо воевода из уезда, — тотчас же к Сильвестру; вздумает ли кто из вельмож обратиться к государю, непременно побывает у Сильвестра: «в духе или не в духе Иван Васильевич, худа бы не вышло от того челобитья?» (Кстати, не лишнее поискать и заступничества всекляного советника.) О многом толковалось у Сильвестра. Много у него было «своих людей», подслушивавших, что говорят на базарах, в церквях, в кабаках... При царском дворе у него тоже были «свои люди» — доносили обо всем, что слышно было и что делалось в царских хоромах. Особенно следили за царицей. Каждый шаг, каждое слово царицыно становились известными в этом доме. На всю Москву была знаменита «сильвестрова келья».

В этот день ее посетил один новгородский поп, с которым когда-то давно, в юности, дружил советник.

— Здравствуй, отец Кирилл! Каким ветром тебя занесло? — облобызав земляка, приветствовал его высокий, худошавый Сильвестр.

— Дорогой мой, батюшка Сильвеструшко!.. Да какой же ты стал! О господи! Десять зим тебя не видывал.

Подобрел, а гляди, ряса-то... ряса... шелковая! А крест! Дай поцелую его.

Иоп поклонился, облобызал крест, а кстати и руку Сильвестра.

— Такова милость божия. Убогий пришелец из Великого Новгорода стал первым советником у царя. Тесен путь, ведущий к жизни. Всё от бога.

Иоп рыдающим голосом воскликнул, крепко обеими руками ухватившись за руку Сильвестра:

— Да господи! Кто же того не думал? Ведь ты же у нас один такой... Во смиренни — удалой, в тихости — орел! Сызмала не силой ты брал, а умением... Молчал, а народ слушал тебя болес глаголющих. Сильвеструшко! Родной! Дай наглядеться на тебя!

Сильвестр свысока обзиревал попа с легонькой усмешкой.

— Полно, друже! Полно, смиреннием бо служу царю и святой церкви. В кротости — дальше от пропасти. Вспомни царя Давида и кротость его.

— Илюхо мы грамотны, батюшка! Неучены. Так живем, по привычке.

— Сказывай, друже, почто прибыл в Москву?

— Истинный бог! Токмо к тебе! С поклоном.

— Чего ради? — нахмурился Сильвестр.

Иоп приблизился к его уху и прошептал, сморщив от волнения лицо:

— Трепещут торговые люди! Богачества стали бояться! Москвы остерегаются... Нарядили меня к тебе: просить, батюшка, умаливать. И то уж народ новгородский приуныл... Горько и торговым людям. Волпошки им нет прежней. А тут, не дай бог, война, да еще с Ливонией. В наш край войско погонят. Испокон века наши купцы заодно с немцами. Выгоду от них имеют. Москва с ними не ладит, а наш купец ладит. Как же быть-то, Сильвеструшко, ужель ты забыл? И што будет? К добру ли то? Заступись за земляков, за торговых людей, при случае!

Сильвестр в задумчивости поглаживал свою жиденькую бородавку. Карие пронидательные глаза смотрели на попа холодно.

— Кто подослал тебя ко мне?

— Родичи твои и земляки, премудрый Сильвеструшко! Новгородские люди прислали!

— Помни, земляк! По человечеству я — равный вам, может, и хуже вас, но... как советник великого князя, не



могу я стать на одну половицу с вами, с тобой... Прискорбно видеть советнику государеву, чтоб дела его были добычею мышей. Ты меня назвал орлом, но достойно ли орлу ютиться в одной норе с мышами? И не пожрет ли он их? Со мной лукавить опасно. Не попам и гостям<sup>1</sup> новгородским пещись о судьбе царства, а богу и великому князю. Москва супротив немцев, и новгородские гости должны также. Москва растет, и вы должны помогать ей, а не мудрить лукаво. Москва — мать городов. Уходи и помалкивай, что был у меня. Я мог бы отдать тебя на пытку... Но бог тебе судья! Отпущу без спроса. Уходи и больше не бывай! А землякам передай: пускай одолеют алчность и гордыню!

Поп растерялся, в страхе попятился, кланяясь Сильвестру до самого пола.

— Прости, Сильвеструшко, прости! Не знал я, батюшка... не знал!

Сильвестр с укоризной в глазах покачал головой.

— Бедные! Приходят ко мне, земляками моими величаются, поминают дни отрочества, глядят мне в очи, а того не знают, что большая польза им была бы от беседы с простым смердом, нежели со мной. Я смотрю на тебя — и не вижу тебя, слушаю — и не слышу тебя. Не земляки мне нужны, а дела большой правды, коей служат сыны великой силы, люди, отрекшиеся не токмо от земляков и родного города, но от матери, отца, жены и детей. Несчастный! Передай новгородцам: Сильвестр — верный слуга московского великого князя. Нужды царства для него выше нужд кичливой толпы новгородской. Идти, я отведу тебя в чулан, там и ночуй, а завтра утресь, зятемно, уходи от меня... вернись в Новгород. Бог с тобой!

Поп поклонился, почесал за ухом и с красным недоумевающим лицом, тяжело вздохнув, кротко последовал за Сильвестром.

Оставшись один, Сильвестр опустился на колени перед аналоем, на котором лежали крест и евангелие, и принялся усердно молиться.

Постучали в дверь.

Вошел Адашев Алексей. Стройный, крепкий, высокого роста, краснощекий молодой человек. Помолится и он. Взгляд какой-то растерянный.

<sup>1</sup> Гости — купцы.

Облобызались.

— Ну, что поведаете, брат?

— Войны с Ливонией не мишуешь. Аминь!

— Ого! — покачал головою Сильвестр. — Да может ли то быть? Ужель?

— На обеде в Большой палате<sup>1</sup> был я... Слышал, как великий князь беседовал с казацким атаманом. Говорил он с ним о том, много ли всадников дадут казаки.

— Н-ну?..

— И тут он прямо сказал о войне... Висковатый уже и грамоту новую, мол, сготовил...

Сильвестр тяжело вздохнул:

— Лишние мы стали? Без нас обходятся? А? Мамка Агафья донесла, будто Иван Васильевич молвил: «Восхитил поп власть. Завел дружбу со многими мирскими, сдружился с Алексеем, опричь меня именем моим править хотят... Мне же оставили токмо честь «председания»...

Адашев усмехнулся.

— Изменчивый нрав... опасный. Не пойму я государя. То весел, добродушен, то лют и несговорчив.

— Кто ныне... около него?

— Худородные дворяне оттеснили всех, да дьяки по-солские... да иноземцы, да нехристи... Народу нового много нахлынуло. Вчера к трапезе званы были две тыщи татар... Шиг-Алей с ними и казаки. Напились. Песни во-своему выли.

Сильвестр остановил испытующий взгляд на Адашеве.

— Ты был?

— Был.

— Тебе неча, Алексей, роптать. Ты в чести у царя, а братенек твой Данила и вовсе по сердцу царю... большой воевода. Гнев на одну мою голову!.. Постоянно так. Найди близ царя человека, кой не осуждал бы меня ему в угождение! Злословие стало обычаем, и кто может удержаться, чтоб не потешить царя поклоном на меня? И ты... мой друг... удержишься ли? Не искусишься ли? Иван Васильевич своим приятством и лаской многих покорила... И людей моей стороны. Он умеет.

— Но, отец Сильвестр... И к тебе царь явной оналма не кажет. А кто за глаза поносит тебя, тот боится тебя.

---

<sup>1</sup> Грановитая палата.

кто хвалит тебя в глаза — тот лукавит... Тебе неча бога гневить. Ты силен!

— Чем я провинился перед Иваном Васильевичем? — продолжал Сильвестр, как бы не слыша Адашева. — Не уразумею! Буде спорим мы? А в споре каждый и прав и виноват. Он упрекнул меня, что держусь я старины, и сказал ему, что некоторые новины разрушали царства. И я первый боролся за новины, за те, кои разумнее старых, поистрепавшихся обычаев. Болею я о государстве, а не о себе. Много ли мне надо? Я не искал ни славы, ни богатства, как и ты. Чего хотим мы? Сделать сильными и царя и царство. По ночам стала сниться мне плаха, а утром я иду к нему и говорю, чтобы не забывал он своего божьего призвания. Говорю смело, угрожаю ему божьим наказанием. На его лице тоска, но я не могу скрывать того, в чем вижу правду. Не могу, ради страха, льстить юному владыке... Таков путь честных правителей — либо путь, ими избранный, либо темница и смерть. Мудрый человек должен огорчаться тем, что он бессилен сделать добро, но не огорчаться тем, что люди хулят его, неправедно судят о нем... И ты, Алексей, не лести Ивану Васильевичу, не делай тем самым хуже государству.

Адашев пожал плечами, покраснел.

— Жизнь наша коротка, но в этой краткости человек может сделать свое имя вечным... Его будут благословлять отдаленные потомки... Только о том и молю я господа бога, чтоб прожить мне свой ничтожный век в правде, достойно и нелицеприятно. И кто упрекнет меня в лести? Кто более меня примет царю? Да и кто может обмануть государя? Не знаю человека прозорливее Ивана Васильевича.

— То-то!

Улыбнувшись ласково, Сильвестр похлопал Адашева по плечу.

— Бог благословит тя на добрые дела! Против Ливонской войны, видать, нам не сдержать великого князя. Как горный поток, неудержим он в своем намерении. Но мы с тобой должны взять на попечение дела не воинские, но обыденные, они важнее для нас и друзей наших, нежели ратные дела. Пускай будет царь занят войной... Запомни: излишнее стремление к достижению чего-либо одного делает человека слепым ко всему другому. Государство

нуждается в нас с тобой. Будем зоркими и сильными в уездах и городах... Ну, а что князь Андрей Курбский?

— Не унимается... хочет с царем говорить... Теперь о ногайской орде. Новое задумал. С Литвой и Польшей свары боится. Не хочет. А я буду стоять в стороне. Не вмешиваться до поры до времени. Не перечить царю. Приказы его исполнять без прекословия.

Долго беседовали Сильвестр и Адашев о том, какие последствия для бояр и дворян будет иметь эта страшная война; Сильвестр высказал большое беспокойство за Новгород. Война может опять противопоставить Новгород Москве, навлечь царский гнев на тамошнее купечество, поссорить Новгород с исконными друзьями его — лифляндцами и шведами. «Да минует нас чаша сия!» — вздохнул Сильвестр.

Перед уходом Адашев сказал:

— Об одном еще хотел я тебе доложить. Приключилось неладное. Беда случилась с Владимиром Андреевичем! Стража его перехватила вчера доносчиков, беглых мужиков из колычевской вотчины, не хотят допустить их до царя, а Васька Грязной отбил их... Государю все станет известно. Он и так косится на колычевский род. Жалко и князя Владимира... И без того уж он в опасности... А эти щенки, льстецы—Грязные, Басмановы, Вешняковы, Субботины, Вяземские, Кусковы, имя же им легион,—только того и ждут, чтоб распалить сердце царю против брата Владимира... Грязной — чистый разбойник... И в вотчину к Колычеву неспроста ездил... Подтачивает, как червь, боярский сан.

— Сил новоявленная орда дворян вся такая. Своею дерзкой удалью они неспроста тешат царя. Ладно. Попомню. За Колычева постоять надо... И без того много зла кругом! Почто губить человека? Лиха беда одному податься, как навалится горе и на другого и на третьего. Положим конец злобе, Алексей! Образуем царя! Изводить надо доносчиков втихомолку, без шума.

Перед расставанием Сильвестр и Адашев снова облобызались.

. . . . .

В покоях князя Владимира Андреевича Старикого, двоюродного брата Ивана, полумрак. Неугасимая лампада едва теплится перед большим образом Перукотворного спаса.

— И кто такие думные дворяне? — уныло, скрипуче звучит голос Евфросинии, матери князя. Она совсем утонула в глубоком кресле.

Около образов, из сумрака, выступает хилое лицо самого князя. Оно бледно, глаза блестят, кажутся лихорадочными, болезненными.

— Такова воля его милости, Ивана Васильевича... Он ввел в Боярскую думу дворян и дьяков.

— Робок ты, Владимир, робок! — вздохнула княгиня Евфросиния. — Остановил бы его... Обида всем от него. Охрабрись!

— Был я храбр по твоему наущению в дни Иоанновой болезни... собирал бояр и детей боярских на своем дворе, денег немало роздал им, а потом... все присягнули не мне, а царевичу Дмитрию... И я перед царем остался посрамленным, виноватым... Надругался над общою скорбью, слушая вас, и теперь нет веры мне... Дворяне в ту пору оказались честнее нас, честнее бояр... И теперь сильнее они, а не мы. Во все кремлевские щели набились худородные, будто тараканы... И вот в Боярскую думу влезли и там теперь сидят, как и мы. Такова царская воля... Что поделаешь? Сами мы виноваты.

— Гибнем! Слыханное ли дело, чтоб дворяне сидели в думе! — крикнула рассерженная княгиня. — Креста на них нет... Святую древность, старину дедовскую попирают они своими сапожищами... Что им старина? Что им благородство предков? Из ничтожества явились они! Кто их отцы? Кто их деды? Царями и то недостойны были у нас слушать!

Голос Евфросинии постепенно превращался в громкий, озлобленный крик, пугавший самого князя.

— Тише! — шептал он, махая на мать руками. — Тише! Погубите нас! Остановитесь!

— Трус! — прошипела старуха, утонув еще глубже в кресле. — Хотя бы король образумил этого беса.

— Король? — громко усмехнулся князь Владимир. — Вон князь Ростовский Сема хотел сбежать в Литву с братьями и племянниками... Продался Августу, открыл ему все государевы тайны, все выдал, что знал, чернил Ивана и Русь, сидя в Москве, отослал в Польшу своего ближнего — князя Никиту Лопату-Ростовского, — все делал для короля, а что после? Сами же бояре за измену приговорили его к казни... А государь, красуясь добротой, пожа-

дел его, простил, отменил казнь. Вечный позор Семке, и только! Вот тебе и король. Опасно надеяться на Литву.

Тяжело вздохнула старуха-княгиня.

— Э-эх, как вы все близоруки! Не верю я доброте его! Хитрит он! Для показа все это. Оставляет врагов живьем для сыску же! А тебя боится. Знаю, боится!

— Чего бояться меня?—тихо засмеялся Владимир Андреевич.— У меня токмо сотня воинов, у него — все русское войско.

— У тебя друзья — все царские советники и воеводы. О тебе богу молятся и бояре, и священство, и черный люд; заволжские старцы, сам Вассиан за тебя, Ивана проклинает... Князь Курбский за тебя, вместе с нестяжателями<sup>1</sup> заодно. Многие князья за тебя, а за него кучка ласкателей бояр, вроде Воротынского и Мстиславского, и толпа холопов — дворянская голь, подобная перебежавшему от нас к нему Ваське Грязному... да еще митрополит Макарий, выживший из ума дед...

— И все-таки, матушка, их много больше... И народ его больше знает, нежели меня.

Во время этих слов князя раздался негромкий стук в дверь. Мать и сын вздрогнули. Дверь распахнулась, и в палату вошли друзья князя Владимира Андреевича, некогда ратовавшие перед народом за возведение его на престол вместо царевича Дмитрия, — князья Дмитрий Федорович Телепнев-Овчинин-Оболенский (прозванный при дворе «Овчиной»), Михаил Петрович Репнин — волосатый, свирепый человек, наводивший ужас на своих дворовых, Александр Борисыч Горбатый-Суздальский, Петр Семенович Оболенский (Серебряный), Владимир Константинович Курлятев, боярин Иван Петрович Челяднин, Телятьев и многие другие князья и бояре.

В палате стало сразу тесно и душно.

Отдуваясь и вздыхая, князья помолились на иконы, затем отвесили низкие поклоны приподнявшемуся с своего места князю Владимиру Андреевичу.

— Милость божия да будет с вами, государь Владимир Андреевич и добрая княгиня, государыня наша, Евфросиния Андреевна! Бьем мы вам челом! — сказали князья.

<sup>1</sup> Нестяжатели — последователи старца Нила Сорского, восставали против монастырского землевладения и всякого иного обогащения церкви.

Владимир Андреевич попросил своих гостей садиться. Вдоль стен на скамьях ошунью усаживались князья-бояре.

Первым заговорил князь Семен Ростовский, заговорил тихо, полупшепотом:

— Государь, Володимир Андреевич, обсудили мы, бояре, поведать тебе о случившейся беде... Сею ночью царский прихвостень, Васька Грязной, со стрелецкой конной стражей отбил у твоих людей колычевских мужиков, кои утекли из вотчины со словом на своего господина Пикиту Борисыча... Выходит — ты укрыватель, колычевских родичей бережешь!

Ростовский подробно рассказал о ночном происшествии.

Владимир Андреевич испуганно-удивленным голосом воскликнул:

— Мои люди? Захватили? Но я ж ничего не знаю! Кто им приказал?

Общее молчание было ему ответом.

Владимир Андреевич вскочил с своего кресла и стал взволнованно ходить из угла в угол.

— Брат простил мне мою вину, отдал мне во владение Дмитров, Боровск, Звенигород, а я буду самоуправство чинить над государевыми людьми? Не вероломство ли это? Кто приказал? Я ничего не знаю!

Когда князь успокоился, стал говорить Михайло Репнин. Поглаживая широкую бороду, он метнул гневный взгляд из-под нависших бровей.

— Буде, государь! Не кручинься! Кто приказал, не ведаю, но похвалить того надобно. Живыми бы в огне сжег я таких бродяг. Бегают жаловаться на бояр, в угоду дворянам и посадским сплетникам, а не чувят того, что из боярской кабалы попадут в пину, худшую... Крест целую, что оное так и будет!

— Кое мне дело до смердов! Не хочу я мешаться в боярские распри! Боюсь обмана и измены! Не вы ли все меня в цари тянули и не вы ли присягнули Ивану? Все отреклись от меня! Один я остался виноватым. Не верил я старцу Вассиану... усомнился... Говорил он мне, чтоб сторонился я Сильвестра, и Адашева, и митрополита... Правду сказал он, что все они верные псы царские... Пенадежны. Москве преданы.

Рывкнул Михайла Репнин:

— Я не отрекся от тебя! На заволжских старцев не полагайся, Вассиан ума лишился. На попах помещался.

Неуверенными голосами выкрикнули то же самое и другие бояре. Неуверенными потому, что в словах князя Владимира была большая доля правды: многие, испугавшиеся царя, стали сторониться князя.

Опять поднялся с своего места князь Ростовский. Тихим, вкрадчивым голосом он заговорил, подобострастно вытянув свое худое, с остроконечной рыжей бородкой, лицо:

— Плохо будет нам, коли мы сами от себя станем отрекаться. Ой, плохо! И со мной ведь случилось не то же ли? Писал я королю о заступничестве, меня обнадёживали, а как узналось все, и я в опале оказался — никого из бояр около себя не увидел. Королю ведомо, что один князь Ростовский — в поле не воин. И выходит: нам всем надо стоять заедино. От Ливонской войны отговаривать царя не след. Пускай воюет. Немцы его проучат. При той тягости выше цена будет боярам и всем его недругам. Да и королю легче будет пригрозить Ивану Васильевичу, чтоб не возносился. А внутри царства, по уездам, мы волю можем взять большую. В том нас поддержат и заволжские старцы... И Сильвестр с Адашевым. Беседовал я с ними.

Слова князя Семена Ростовского сначала звучали укоризной, а затем, перейдя в шепот, приняли тон увещательный. Бояре склонились с своих мест, приложили ладони козырьком к уху, чтоб лучше слышать.

Князь Владимир перестал ходить из угла в угол, внимательно вслушиваясь в слова князя Семена, который продолжал:

— Литва нам зла не желает... Тамошние вельможи-магнаты подобной тесноты и поругания не видывали и не слыхивали... Король обещает и всем нашим отъехавшим боярам и князьям великие угодья и вотчины и почет высокий. Мой родич Лопата-Ростовский о том мне весточку тайно прислал. Живется ему там много лучше, нежели на Руси. И он пишет, чтоб никто царя не отговаривал от войны с Ливонией, а помогали бы Ивану Васильевичу в его походе, — то будет к лучшему... Где же нам спривиться с немцами? Силища!

После этих слов Семена Васильевича долго длилось всеобщее молчание. Где-то раздался шум. Все вздрогнули, опять переполошились.

Первым подал голос Михайла Репнин.



— Будь что будет! — махнул он рукой с усмешкой, прищмокнув. — Война Иваншке даром не пройдет!

— Не робей и ты, князюшка, — донесся ободряющий голос Евфросинии, — бог правду видит. Он, батюшка, долго терпев, но придет время — разразится гроза... Истребит, кого следует... А почему среди бояр не вижу я Андрея Михайлыча?

Ответил князь Курлятев:

— У Сильвестра он с Адашевым сегодня. Дело у них тайное. О погайском походе задумали. Готовятся к беседе с царем. Андрей Михайлыч другую войну выдумал... В степях воевать, у Крыма и Перекопа.

Ростовский вскочил, перебил Курлятева:

— Не гоже так! Не надо! Пускай Ливония!.. Она сильнее! Я пойду к отцу Сильвестру, остановлю их.

— Степная война того губительней! Не надо Ливонии!

Разгорелся спор, во время которого Владимир Андреевич то и дело вскакивал и в отчаянии махал руками.

— Тише! Тише! Худа бы не было!

Разошлись в полночь, поодиночке, крадучись.

В заточении, в глухой монастырской келье, где единственные сожители человека — пауки и крысы, можно много думать, неторопливо перебирая четки из рыбьих зубов. Куда торопиться? Зачем? Пускай там, за решетчатыми окнами, идет жизнь торопливая. Пускай! Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья, тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит с себя великие страхи перед земными страданиями.

Сгорбленному, седому старцу, которому никогда не суждено быть свободным, никогда уж не разгуливать по кремлевским площадям, никогда не бывать в царевом дворце и не собирать, как встарь, около себя народ горячими, словно уголь, палящими сердце словами, ему, обреченному на смерть в монастырском каземате древнему, столетнему иноку, жаль человечество. Он считает себя счастливее самого юного отрока.

Как путник, преодолевший трудный путь восхождения на вершину высокой горы, он оглядывается с улыбкой назад, туда, вниз... Все пройдено! Путь кончается! Он знает каждый перевал, каждую тропинку этого пути, он

знает, какие острые камни ранят ноги, знает землю, которая, если на нее твердо ступить, увлекает путника в пропасть, откуда нет возврата. И только ему ведомо, добравшемуся до этой загадочной вершины, что такое радость, горе, счастье, честь и слава; он знает больше того! С грустной улыбкой смотрит он на все Московское государство, на его бояр, на священнослужителей — князей церкви, на воевод и всякие чины служилых людей.

Государство, как и человек, должно идти осторожной ногой по тропам вселенной, чтоб не уподобиться Византийскому царству, которое соскользнуло в пропасть. Царьград пал от меча пришельцев-турок... Рушилось греческое православие!

Москва! Подумай об этом! Иди без гордыни по своей гробе! Ныне тебе сулят стать Третьим Римом. Московский государь хочет принять престол римских кесарей... Дело великое, но бог выше царей... Не забывай о том, Иван Васильевич! Не гордись! Подумай, достоин ли ты стать на место великого Константина! И зачем тебе Третий Рим? Не слишком ли ты возвеличиваешь Москву?

Во дворцах не могут рождаться такие беспристрастные мысли, какие бродят в голове сидящего в темничной келье, ожидающего своей кончины старца.

Знает он и о том, что такое власть. И он шил этот пьянящий напиток. Он хорошо помнит его сладость. Видел он владык, их слабости, их ничтожество. Его не привлекают великокняжеские милости, ибо видел он их! Вкусил их обманчивую сладость! И когда захотелось восстать против неправды... эта неправда оказалась сильнее его. Она бросила его в тюрьму, но не затушила огня злобы к противникам... Горе защитникам неправды!

На желтом, сморщенном лице старца суровое упрямство. Он ни у кого ни разу не просил снисхождения, он презирует жалость. В его старческих движениях мягкая грация уверенного в своей силе вельможи, который вот-вот выпрямится, отбросит на затылок копну длинных седых волос, вытянется во весь рост и властной рукой укажет всем своим недругам, чтобы они распластались у его ног. Из-под нависших седых пучков выглядывают бодрые, насмешливые голубые глаза. Кто же поверит, что этому старцу столько лет?

Да, он был вельможей, он — узник-старец Вассиан. Это он вступил в спор с Иосифом Волоцким, игумном

Волоколамского монастыря, тянувшим церковь под стопу государя, это он восставал против монастырских богатств, монастырского землевладения... Он поднял великую бурю в государстве, и за ним пошла толпою боярская знать. Бояре на память выучивали его писания, ведь они также за то, чтоб у монастырей не было вотчин. Вотчины — достояние только князей и бояр. Не к лицу инокам гоняться за землями и усадьбами, как это делают царские прислужники — иосифляне. Благословенна память старца Нила Сорского, великого нестяжателя!

Вассиан знает, что имя Нила Сорского стало странным.

Чем сильнее становится власть царя, тем страшнее для людей и его, Вассиана, имя.

От него уже давно отреклись в угоду царю все его родные и друзья, и он молится каждый день о них, прося у бога им прощение за их малодушие, за грешную трусость.

И вот однажды в сумраке, когда за окном спускался вечер и когда только что возжег старец свой светильник перед иконою Нерукотворного спаса, в келью тихо вошел царь Иван Васильевич.

Он ласково взглянул на старца, подходя к нему под благословение. На нем был зеленый длиннополый кафтан и красные с золотыми узорами сапоги на серебряных подковах.

Вассиан не шелохнулся. Царь поднял голову, выпрямился.

— Не хочешь? Ну, бог с тобой! — улыбнулся он. — Вот вздумалось мне, старче, побывать у тебя, соскучился я по мудрому слову, — тихо произнес Иван Васильевич, усаживаясь на скамью. — Давай совет держать.

— Чего ради великому князю с мертвецами советовать? Инок мертв, а сидящий в темнице и того горше.

— Почто порочишь иноческий чин? Издрезле владыки не только советниками иноков имели, но и помощниками в государственных делах. И по сей час все мы читаем писания Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила, Максима Грека, Макария, нашего духовного отца, и твои...

— Писаний много, но не все божественны суть. Иосифляне борются с нами, заволжскими старцами, не ради господней правды, не ради чести священного сана, а ради выгоды, ради стяжательства. Не только царь, но и

черный люд, смерды, повинны перед богом разбираться: кая — заповедь божия, кое — отеческое наставление, кое — человеческий обычай, корыстью подсказанный. Писание надо испытывать...

Глаза старца, холодные, непокорные, сверкали из-под густых седых бровей гневно.

— Евангелие и Апостол правдивы суть. Найди же там, где указано было монастырям, чтоб иском и церковно-служителям владеть в вотчинах?

Царь поднялся, почти прикасаясь головою к потолку, тяжело вздохнул и, как бы напрягая память, потер ладошкою лоб.

— Евангелие и Апостол — для души, — промолвил он, — многого там, однако, не сказано. То самое земные владыки и их духовные отцы должны досказать... Христова вера без власти — что есть? И ныне, при падении византийского владыки, московскому государю надлежит стать опорою церкви. Разве неведомо тебе, что немцы да их попы возымели спесь христовым именем и мечом все славянские племена в своих рабов обратить? Себялюбие и жадность их, прикрываясь святительской проповедью, покоряют славянские земли хищным аломанским<sup>1</sup> князьям... Христианство без меча подобно мотыльку без крыльев... И церковь божья, коли в бедности станет да от власти отойдет, — может ли она заморским попам помешать в их еретическом захвате?.. Немецкие попы да князья и к нам змеею подползали в прошлые времена, и до сего дня лютуют они на побережья Западного моря и обращают в свою веру латышей да эстов... И не они ли христовым именем истребили славное племя полабских славян и воинственных ливов? Церковь и царь — сила!

Лицо Ивана покрылось красными пятнами, в голосе звучали досада и раздражение.

— Вам, проповедникам нестяжательства, многое неведомо; вы — более себялюбцы, нежели иноки-стяжатели, вотчинновладельцы... И в Заволжье ушли от мира и прячетесь в скитах и дебрях во имя себялюбия. Истинный священнослужитель не может улаяться от тягостей царства, в коем его церковь. Не может не почитать государя и не принять из рук его дары земные, ибо царь — защи-

<sup>1</sup> Германским.

га веры, царь — божий воевода на земле. Вы не любите своей отчины.

Вскочил со своего места и старец. Громко выкрикнул прямо в лицо царю:

— Пастыри должны до смерти стоять за правду! Государь не судья в духовных делах! Дело духовное — дело совести! Не жить на чужой счет должны христовы подвижники, а питаться трудом рук своих! Изыми вотчины у монастырей, заставь их богу молиться за тебя без выгоды!.. Обманывают они своими молитвами и бога и тебя!

— Уймись, старче! Смири свою гордыню. Перед тобой стоит твой государь. Садись!

— Коли так, могу ли я садиться прежде, нежели сядет царь? — упрямился старец.

Иван Васильевич покачал головой, оглядываясь по сторонам с насмешливой улыбкой.

— Опомнись, Вассан! Будто бы тут келья, а не Болгарская дума... Не забыл еще ты мирских обычаев. Добро, друже! Будь по-твоему — сяду!

С этими словами царь сел на скамью.

Сел и старец.

— Ответствуй, правдивый человек: коли я послушаю тебя и отниму у монахов и бельцов их владения, не ополчатся ли в ту пору они на меня?

Наступило молчание. После некоторого раздумья старец сказал:

— Ополчатся, ибо они — хищные стяжатели, себялюбцы. Ради выгоды славят тебя.

— Подумай, добрый пастырь, где же христианскому царю искать опоры, коли заволжские пастыри откачнулись от царя да коли иосифляне откачнутся от него же? И кто ж будет венчать русских владык на самодержавное царство? Кто будет оборонять их власть?

Растерянная улыбка сменила злость, бывшую до сего на лице старца.

— В Византийской империи патриарх не подчинялся императору... Церковь была свободна от воли государя... — громко, самоуверенным голосом ответил старец. — А тебя царьградский собор святителей еще и царем не признал и не признает! Напрасно ты того добиваешься.

— Оттого-то Византийская империя и пала, что волей государя пренебрегли там. От одного погиб и сам византийский император, — задумчиво глядя в сторону красного

огонька светильника, тихо, спокойно произнес Иван Васильевич. — Знай, друже, ты и все заволжские старцы опасны не столь государю, сколь родной земле, а иосифляне покуда полезны сколь земле, столь и государю. Кого же мне выбрать из вас?

— Воли твоя! Мы не просим у царей милости! Не надо! Нрав твой непостоянен и свиреп, часто ты говоришь о любви к богу, а человека, близ тебя стоящего, ненавидишь, но не любящий брата своего, которого видит, как может любить бога, которого не видит? Опасен ты одинаково сколь полезным тебе, столь и вредным своим прислужникам... Слышал я, будто уже и на Сильвестра, на попа-иосифлянина, сторонника своего, ты нападаешь? А уж кто больше-то старался возвеличить имя твое?

Иван Васильевич внимательно посмотрел на старца.

— Вассиан! — сказал он. — Почитаю я тебя за прямогу слова... Нет ничего опаснее льстецов, лицемерных ласкателей. Как в море камней много множество — и малых, и средних, и великих, и желтых, и белых, и черных, и всяких иных, — так же много способов у льстеца к расположению в свою пользу всемогущего начальника. Искатель места и тепла близ царского трона ни одного камешка в житейском море не оставит без того, чтоб не воспользоваться им... Сильвестр, пока был моим учителем, не льстил мне, а когда я захотел сам править, он стал мне внушать, будто всякая умная мысль, всякое дело добрее для государства, им мне подсказанное, будто это изшло от меня... Увы! Я не хочу таких благодеяний от своих холопов... Коли я знаю, что разумное и полезное исходит от холопа моего, то я награждаю его, возвышаю за службу, но Сильвестр привык, чтобы я жил его головою, и теперь меня, бородатого, хочет делать похитителем его мыслей, хочет в моих глазах моего же унижения... Я тебя держу в заточении за твою смелую прямогу, а как же мне наказать ближнего советника, коли он хочет, лести ради и обладания первенством в государстве, меня сделать вором его мыслей, его дел?

Иван порывисто поднялся с места и прошелся, тяжело дыша, по келье.

— Тесно мне стало среди моих советников, душно! Не попусту пришел я к тебе... Слово жесткое хочу слышать, стосковался я по нем. Честолюбцы задавили меня. Страшно, старче, быть царем! Заволжские нестяжатели

счастливее меня... Они отошли в сторону, заботы их — в поругании нисифлян. А у меня две великие заботы. Одна — быть справедливым, другая — познать людей окрест себя. И то и другое надобно мне, чтоб вершить дела, полезные нашему царству... Люди постоянно чего-то ждут от правителя. Один требует больше, другой меньше, а есть и такие, что хотят обладать всем... Как вот тут всех насытить? Бояре негодуют на монастыри, на иноков, получающих из моих рук земли; священство восстает против бояр, «слепых богатын»; черный люд жалуется на тех и на других, а ливонские немцы возмнили уж, будто разруха пошла в нашей земле, — перестали дань платить, нападают на наши рубежи, хватают и грабят едущих к нам из заморских стран мастеров... Немцы наглеют с каждым днем... А мои советники думают-гадают только, как бы им ближе к царю место взять... Вот о чем страдает душа моя, старче, вот чего ради мое непостоянство, злоба и иные слабости... Все заботятся только о себе.

Васसान покник головой, тяжело, по-старчески сопя носом. В окно из сада проник отблеск заката. Шмыгнула крыса под пол у самых ног царя. Оба молчали. Усталое, с передышками, заговорил старец:

— Нет такого владыки, который победил бы лести. Не верю я и тебе, Иван Васильевич, но не по сердцу мне и твой Симлевстр, и Алешка Адашев, и иные тож, никого я вас не люблю, а особенно не люблю твоего митрополита Макария... Губит он церковь... Отвращает ее от лица господнего. Под твои стопы тянет ее... волю дает монахам... Главный наставник он расхитителей, тунеядцев, питающихся мирскими крестьянскими слезами... На что не способны они, дабы вымолить у вельможи село либо деревнишку, жестокосердные они притеснители своих крестьян. Бояре, те, что с тобою не в ладах да в немилости твоей, — прямее, честнее твоих церковных князей... Слушай их!

Подозрительный взгляд бросил царь в сторону Вассана.

— Ответь мне, старче! Захотели мы, чтоб угодники божии и святые божественные иконы, чтимые в разных бывших уделах нашего царства, стали почитаться по вся места на Руси одинаково. Ведь Володимирская божия мать, писанная святым евангелистом Лукой, была приве-

зена нашими родителями из Владимира в Москву и почитается в Москве всею Русью. В иконостасе соборной церкви Успенья пречистой богородицы мы собрали иконы присоединенных нами к Москве уделов... Почему же заволжские старцы, и ты с ними, восстают против сего? Открой тайну?

Вассиан нахмурился.

— Не пытай меня, государь! Не считаешь ли ты меня за такого же стяжателя, как близкие твои бояре? Скоро я умру, лукавить мне нечего перед тобой и ни в каких заговорах я отроду не бывал. Скажу тебе совестью — народ так привык, чтоб молиться своему святому, народ не верит не только чужим воеводам, но и чужим иконам... А вы отняли и это у него.

Иван Васильевич стал еще подозрительнее. Голос его сразу сделался холодным, суровым.

— Все вы валите на народ! И бояре, и Курбский, и твои заволжские старцы постоянно пугают меня народом, когда им сказать нечего. Моя воля, чтоб священство помогало мне, но в мои дела не вмешивалось. Когда бог освободил израильтян от плена, разве он поставил во главе их священника или многих советников? Нет! Он поставил им одного Моисея, как бы царя. Аарону же внушил священство, не дозволив ему вмешиваться в гражданские дела. Но когда Аарон отступил от этого, то и народ отпал от бога. Точно так же Дафан и Авирон вздумали себе восхитить власть — и сами погибли, и лютое бедствие навлекли на весь Израиль. Не бойся, не допущу я попов к власти. Нет царства, которое не разорилось бы, будучи в обладании попов, но и отказаться от них царям не след.

Старец весело рассмеялся:

— Вижу, батюшка Иван Васильевич, как горько обманывают себя носифляне! Вижу, что сами они себе готовят могилу, возвеличивая цареву власть над церковью!.. Горько восплачутся потом! Может статься, что я уже не увижу сего, умру, но так будет. Сами себе они готовят деспота. Аминь!

Царь молча поклонился и, сердито хлопнув дверью, вышел из кельи. Старец с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед.

Увидев около ворот обители чернеца с громадною секирой, Иван Васильевич ударил его по плечу:



— Крепче сторожи! Не пускай никого в келью к старцу Вассиану... Головой отвечаешь... Вот тебе мой царский приказ.

## VI

Курбский, получив на то разрешение, вошел в государевы покои. Иван в шелковом полосатом халате, подпоясанный по-татарски кушаком, сидел у окна. Задумчиво глядел он на дворцовую площадь, там собирався на торжище народ, бродили козы по склонам холмов, пощипывая траву. Скрип дверей и шаги Курбского вывели царя из задумчивости. Он оглянулся.

— Дозволь, государь, слово молвить.

Иван зевнул и сказал с улыбкой:

— По вся дни мы говорим с тобой, тоже и с отцом Сильвестром и Адашевым, но благости божией немного вижу я ныне в беседах тех. А было время, мы понимали друг друга, и книжною мудростью своей ты согревал меня...

— Великий государь! — начал Курбский с жаром. — Не томи себя... Неправ ты, государь. Тот же я, что и раньше, но ты не слушаешь меня.

— Для того ли божиним изволением помазан я, чтобы думать чужими головами? — сощурив глаза, посмотрел Иван в упор на Курбского. — Дивлюсь я, князь, — сколь слепы вы при толикой мудрости!

Курбский пожал плечами и принялся с горячностью доказывать: опасно-де воевать с ливонцами; война может поссорить Москву с Германией, Польшей, Литвою и Швецией. Не лучше ли напасть на ногайцев?

— От бога великий мор послан на ногайскую заволжскую орду, — говорил Курбский, — зимою скот весь ногайский от стужи попадал, сами ногаи мрут, что мухи, и хлеба у них нет. Оставшиеся в живых видят явно посланный на них гнев божий. Пошли они для пропитания к Перекопу. Господь и там покарал их: от солнечного зноя засуха и безводие. Где прежде текли реки, не стало воды. На десятки локтей в земле едва можно достать ее. За Волгой осталось того измаильского народа едва ли до пяти тысяч, а было множество его, подобно песку. На Перекопе пожирает их моровая язва, и ныне не будет и десяти тысяч всадников. Так, я думаю, настало время

христианскому государю отомстить басурманам за кровь братьев, оградить себя и свое государство от нечестивых на вечные дни.

Курбский замолчал. Иван сидел за столом, опустив голову на руки, что-то шептал про себя. Потом, устало повернувшись в сторону Курбского, спросил:

— И прочие воеводы думают так?

— Истинно, великий государь! Но не стало ныне примоты и смелости в людях, украшенных некогда бесстрашием.

Иван улыбнулся, похлопал по руке Курбского:

— Добро, князь Андрей!.. Люблю тебя за правду. Труссы не должны быть опорой царского трона. Что же ты хочешь от меня? Говори смелее, не бойся... Не такой строптивый я, как болтают.

Курбский некоторое время мялся в нерешительности. Потом, ободренный добродушием царя, сказал:

— Великим умом своим, государь, ты, я вижу, постиг то, о чем я хочу просить тебя... Паки я паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю... Наш долг перед богом — уничтожить без остатка ногайцев и крымских татар, а на запад нам ли ломиться? Что в нем? Еретики! Пагуба!

— Благодарю, князь, — кренко обнял Иван Курбского, — вижу твое нелицеприятие. За воинскую честь и доблесть тебя не оставляю... Теперь же покинь меня, посижу один сего ради да подумаю над твоими словами... и над советами твоих друзей.

Курбский земно поклонился и вышел из царской опочивальни.

После его ухода Иван долго сидел в раздумьи. Мысли опять о том же. Ох, эти докучливые мысли! Они преследуют его, царя, постоянно. Временами слабеет вера в себя, в свои силы. Затеяно дело великое, а где выход? Так бывает с путником, идущим в горах. Одолев один перевал, он думает спуститься в место ровное, просторное, где можно отдохнуть. Но нет! Перед ним новая гора, опять он на вершине, и куда ни глянешь — везде горы, горы и пропасти, и не видно дороги ровной, без подъемов и спусков... Может быть, Курбский прав? Может быть... Не отстать ли? Не уехать ли с Анастасией и детьми за море? Их много... Ой, как много этих непрошенных добрых советов!.. У них своя правда, многие из них за

нее согласны пойти на дыбу и умереть, а иные токмо о себе помышляют, и пока они явятся открытыми врагами,— сколько зла могут сотворить как правители, как всемогущие хозяева крестьян и холопов!

Тяжело вздохнув, Иван поднялся с кресла, помолился на икону и отправился в царицыны покои.

Анастасии недужилось. Она поднялась с постели, бледная, исхудавшая. По лицу ее пробежала ласковая улыбка. Глаза, черные, печальные, смотрят страдальчески. Одна из мамок, Феклушка, рассказала ей утром, что в эту ночь под ее, царицыным, окном какая-то курица пела петухом. Люди хотели поймать ту курицу, а она обратилась в черного ворона и улетела в ту сторону, где садится солнце. Вещунья-старушка, которую привели к царице сениные боярышни, объяснила:

— Не к добру то. Если царь-батюшка пойдет войной на закат солнца, к морю,— не послушает советников,— приключатся великие недуги с ним и с тобою, и смута страшная поднимется в государстве.

Иван молча смотрел на Анастасию нежным, скорбным взглядом.

— Печальница моя по вся дни! Поведай, что с тобой поделилось? Бледна ты и худа, как того не было вчера и позавчера... Не сглазил ли тебя кто, не обеспокоил ли кто, моя горлица?

Анастасия через силу приободрилась: она дала себе слово ничего не говорить мужу о курице и обо всем, что слышала от дворни. Больше всего Иван боялся колдовства. Она знала, как Иван мучается наедине, услышав что-нибудь колдовское. Анастасия всегда старалась успокоить его, хотя сама и недолюбливала Сильвестра и Адашева, хотя втайне и мучилась опасением за жизнь царя.

Сила «сильвестрового хвоста» велика. Многие служилые люди ставлены Сильвестром и Адашевым. Не скоро от них освободишься.

Что сказать царю? Ведь и сам он все это знает. Знает и ничего пока не может сделать, ибо еще не набрал такой силы, чтоб одолеть их.

— Лекарь был?— тихо спросил Иван, усевшись в кресло.— Аглицкий или свой?— пытливо взглянул он на стоявшую в углу мамку.

— Аглицкий, батюшка-государь,— в страхе пролепетала старуха.— Аглицкий...

— Удались! — кивнул царь в сторону мамки.

После ухода старухи он, глядя на жену, тяжело вздохнул. Ему казалось, что царица хворает неспроста, что кто-то виноват в том.

— Цари, короли, их жены и дети во все времена недужили кому-либо на радость... И теперь враги радуются моему горю. Вида не кажут, лицемеры, и, стоя у трона, вздыхают. Окаянные, вселукавые души! Прикрываются добродетелью и любовью, а сами... Сатана перед крестным знаменем отступает и исчезает вовсе, а они, лукавые, крестным знаменем и именем Христа прикрываются. Хуже они самого сатаны!

Анастасия участливо вглядывалась в лицо мужа. Она не могла сдержаться, спросила:

— Чем ты разгневан, государь?

Иван тоже многое скрывал от царицы, щадя ее здоровье, но тут не вытерпел и, подозрительно оглядевшись кругом и плотно прикрыв двери, сказал:

— Упрекают меня мои первые вельможи — не советуюсь с ними, слушаю шепоты будто бы ласкателей. А сами о турецком султани и подумать не хотят... Великий Солиман золотыми буквами грамоту пишет мне о дружбе, а я пойду разорять ханскую землю, Крым? Не хотят понять они, что погибель в безводных степях ждет войско. Добравшись до Крыма, едва половину войска приведешь туда, да какого войска! Голодного, убогого, усталого.

— Батюшка-государы! — сказала Анастасия. — Велика власть твоя, и сердце твое любовью к государству напоено. Побереги себя, не будь подобен огню, себя сжигающему. Бог мудрее нас. Он укажет своему помазаннику путь в делах земных.

Иван нахмурился.

— Огонь для того и есть, дабы гореть. Земной правитель повинен до смерти стоять за родное дело. Бывают дни, когда хотел бы я обратиться в сыроеда-волка, чтобы загрызть своих благодетелей. Вот была бы потеха! Нет такой казни, коя могла бы достойною наградою быть многим из них...

На губах Ивана мелькнула злая улыбка.

— Что ты, батюшка! Христос с тобой! — испугавшись, замаякала на него руками Анастасия. — Помолись господу богу... Да простит он тебя!..

— Ну, вот, ты и поверила!

Тяжело поднялся с своего места Иван. Штоял в раздумьи перед иконами, а потом порывисто осенил себя крестом, земно поклонился иконам.

— Экие мысли! Прости, господи! Смягчи, владыко, гнев мой!

И, обратившись к жене, мягким голосом сказал:

— Бойся, Анастасия, толкать меня на убогий, прискорбный путь. Не отвращай меня из жалости от более достойной дороги. По ней прошли мой дед и отец со славою.

— Но ведь ты, батюшка, не снесешь обид и опасностей... Тебя погубят!

Анастасия опустила с постели ноги, взяла мужа за руку:

— Не сердись, государы! Это я так...

Она была прекрасна в эту минуту. Иван прижал ее руки к губам. Затем отошел от нее и, отвернувшись к окну, тяжело вздохнул.

— Помогай! Не по душе мне место малое, место тихое... Неужто до сих пор ты не поняла меня? Помни: царица ты! Нам ли с тобой бояться обид! Пустое! Бог требует возвеличить и прославить дело рук моих предков. Могу ли я довольствоваться помыслами честолюбцев? Не они ли у одра моего, в дни педуга минувшего, хватались за скипетр, бороды друг другу драли из-за первенства? Я не забыл. Помню! Дивуюсь, Анастасия! Ужели ты забыла? Не случилось бы ныне того, что прежде, чем я на них руку подниму, умертвят они нас с тобой? Господь помешал им однажды. Помнишь? Я остался жив, выздоровел. Но если бы умер? Они истребили бы друг друга и стубили бы родину. Один мужик сказал мне: «Царь да нищий — без товарищей». Но так ли это? Нет! Я велел выпороть мужика. Больно было слышать такие слова. Не товарищей, так слуг верных царь всегда волеи иметь.

Он быстро зашагал из угла в угол по комнате.

— Не тоскуй, царица! Рушится упрямство поганое! Расстегнул ворот у рубахи, прислонился к косяку окна.

— Душно! Демон давит!.. Ох!

Царица вскочила, накинув на себя голубой шелковый халат.

— Молись, молись, Иванушка! Не думай! — прошептала она, набожно сложив руки на груди. — Стань на колени!

Иван вытянулся во весь рост.

— Не страшись! Найду я в себе силы держать ответ перед богом и народом. Найду силу, чтоб раздавить непокорных!

Анастасия испуганно сказала:

— Грешно, батюшка, не гневи господа, послушай меня!..

— Я — божий слуга на земле. Они — мои рабы! Не должны ли они молиться за божьего слугу? Они будут послушны мне, а я их послушание принесу в дар всевышнему. Я очистил монастыри от блуда, пьянства и лихоимства, очищу и души ближних слуг от лицемерия и гордыни.. Я поклялся в том святой троице и не нарушу клятвы. На площади дал я народу клятву — в строгости и справедливости судить и стоять за государство. Помнишь? Я не нарушу клятвы.

Анастасия глядела на мужа, и ей было жаль его. Она никогда не была за него спокойна. Ей всегда казалось, что вот-вот с ним должно что-то случиться. Он как бы искал опасностей, шел навстречу грозам.

— Неразумно умереть, не испытав всех сил своих!

Иван словно не видел жены и думал о чем-то другом, а не о том, о чем шел разговор. Глаза его загорелись. Очнувшись, осмотрелся кругом подозрительно.

— Никого нет? Да! Да! Ложись! Буду молчать. Язык не должен забегать вперед. Какая ты красавица! Только зачем ты такая хворая? Тебе сила тоже нужна. Ведь и ты им не любя. Спльвестровы прислужники сравнивают тебя с царицей Евдокией, гонительницей Иоанна Златоуста..

Раздался стук в дверь.

Иван вздрогнул, отшатнулся от жены. На носках подошел к дверям, приставив глаз к потаенному оконцу. Стук повторился.

— Входи! — строго сказал царь.

— Батюшка-государь! Дозволь молвить слово холопу твоему! — низко опустив голову, произнес постельничий Игнатий Вешняков.

— Говори.

— Из Нижегородского уезда пришли мужики.

— Чьи?

— Колычевские. Их отбил Грязной у стражи князя Старицкого.

Лицо Ивана Васильевича потемнело.

— Стража князя Владимира Андреевича перехватила колычевских мужиков? — тихо и грозно спросил царь.

— Так, великий государь! Они не хотели допустить беглецов пред твои царские пресветлые очи. Василий Грязной со стрельцами отбил.

— Слышишь, Анастасия? Братец-то мой какой храбрый! Колычевских мужиков полонил?

— А зачем то ему?

— Со словом на своего боярина шли они на государев двор, царица-государыня!

Царь отошел к окну, чтоб не было видно его волнения. Глубоко вздохнул.

— Обласкайте странников с пути-дороги, накормите, напоите их, а от нашего двора — никуда! Держите с милосердием. Явите пристойное. Ступай с богом.

Поклонившись до земли, Вешняков удалился.

— Увы! — покачал головою Иван. — Упорствуют князи. Стоят на дороге. Трудно Володимиру отказаться от того, что задумал он. Простил я его, но веры у меня нет ему. И почему Володимиру быть царем? От последнего сына моего деда родился он. Андрей Иванович не был наследником. Мой отец, Василий, наследник деда Ивана. Какая же вина моя перед ним? А он и по сие время в обиде на меня и бояр, что отреклись от него.

Большой, сильный Иван наклонился над женой, прошептал:

— Не быть по-ихнему... И я не сплю. Все перед царевым судом будут равны... Рабы божии станут моими рабами. И бояре, и князи, и дворяне, и мужики. Так будет!

Иван тихо рассмеялся, поцеловал жену.

Из соседней светелки к нему подбежал маленький курчавый мальчик. Стал играть серебряными бляхами на халате. Это трехлетний царевич Иван. Сегодня отец подарил ему крохотный железный шлем — не потешный, а заправского дела. Царь надел его на головку ребенка и с улыбкой стал любоваться сыном.

— Ты воин? — спросил он мальчика.

— Я матушкин! — храбро ответил тот.

Царь добродушно рассмеялся. Анастасия, лежа в постели, тоже засмеялась.

— Благодарю отца! — сказала она царевичу.

В ответ на это ребенок низко, чуть не свалившись с ног, поклонился отцу.

— На войну пойдешь? — спросил отец.  
— Пойдешь... — ответил царевич.  
— На Крым аль на Ливонию?  
— Пойдешь на... — Мальчик растерялся и убежал опять в свою светелку.

Царь засмеялся:

— Царевич и тот скрывает свою мысль...  
— Полно, государь!.. — улыбнулась Анастасия.

В нижних покоях Вешнякова поджидал Грязной.  
— Ну, как встретил ту весть государь? — шепотом спросил он спустившегося вниз товарища.

— Спокойно. Осилил гнев.

— А сказал ты...

Не успел Грязной договорить, как на лестнице послышались тяжелые шаги царя.

— Тише! — сжал руку Грязного Вешняков.

Царь сошел вниз и удивленно остановился против Грязного.

— И ты здесь?

— Здесь, великий государь! — молвил Грязной, став на колени. — Прошу прощенья, что дерзнул я прийти без твоего, государева, зова.

— Поднимись! Слушай! Изловите начальника стражи князя Старицкого. Поймайте его в ночное время, хитростью завлеките.

— Слушаем, государь!.. Слово твое царское для нас то же, что слово божье, милостивый батюшка! Что прикажешь, то и сделаем. Ни отца, ни матери не пощадим, коли к тому нужда явится...

Слова Грязного понравились царю. Он похлопал его по плечу.

— Добудь разбойника... Попытаем его.

В полдень Вешняков доложил царю, что нижегородские мужики бьют челом, просят милости царской за самовольство и за приношение «слова» на боярина Колычева и его друга, наместника нижегородского.

Андрейка, Герасим и Охима пали ниц, когда вышел царь.

— Буде!.. — услышали они над собой строгий голос.



Не вставая с колен, они приподнялись, чтобы увидеть царя. Большие серые глаза его выражали любопытство. Одет он был просто: в суконном коричневом кафтане, в темносиних шароварах, запряганных в красные сафьяновые сапоги. Он был молод, высок ростом, строен, с светлыми, гладко зачесанными волосами. Небольшая бородка, пронизывающий насковзь, острый взгляд, орлиный нос делали лицо его необыкновенным. Он приветливо улыбнулся.

Смущение и страх нижегородцев прошли. Парни смело рассказали о крутости колычевского нрава, о боярском несправедном, самочинном суде без старост, без ценовальников; о том, как утопил боярин старуху-знахарку, и за что ее сгубил.

Царь спросил, всю ли свою пашенную землю запахивает Колычев и гонит ли хлебные обозы в Нижний и на Волгу для продажи.

Герасим ответил, что боярин запахивает самую малую часть пашенной земли, чтобы накормить только себя и своих людей, холопов и крестьян, и в продажу ничего не дает и никакого не прилагает старания, чтобы вся пашенная земля давала хлеб, крестьян своих и то теснит хлебом. И выходит, что боярин Колычев живет не по совести, а как «собака на сене».

— Был ли в колычевской вотчине наш посланный Василий Грязной и что он говорил людям? — спросил царь, испытующе вглядываясь в лицо парней.

— Был царский посланник. О войне он народу, батюшка-государь, баял, о сборе ратных людей. А как уехал, еще лютее сделался Никита Борисыч. Тут он старуху и утопил, и этого парня на цепь посадил... Лютой он у нас, особо во хмелю...

Иван терпеливо выслушал жалобы парней.

Вешняков низко поклонился царю и хотел было увести челобитчиков, но царь остановил его:

— Обожди, — и, обратившись к Охиме, спросил ее:

— Ну-ка, девка, что скажешь?

Она улыбнулась. Осмотрел ее с головы до ног, ободряюще кивнул ей:

— Эк, ты какая!

Охима рассказала царю, как наместник теснит мордву, как волостели и прикащики жестоко расправляются с мордвой, чувашиами и черемисами. Не пускают их в Ниж-

ний, а пустив, облагают данью, кою взыскивают насильно, батожем, себе на кормление. Охима сердито закончила:

— Худо станет воеводам и волостелям, коли бушевать учнет народ... Неправда ихняя на них же и скажется...

— Ого! — усмехнулся царь. — Бойка! Пугаешь!

Охима поведала царю, как наместник принудил ее силою быть его наложницей, и о том, что не ушла бы она из Нижнего, кабы не боялась попасть в руки воеводы. Не покинула бы она своего старика-отца одного, без ее помощи и заботы.

Глаза Охимы, казалось, еще более почернели, расширились от негодования, щеки разрумянились, высокая грудь ее тяжело дышала. Девушка приблизилась к царю, сложив свои руки, умоляюще и со слезами в голосе сказала:

— Покарай их, государы! Казни их! Проклятые они! Шайтаны!

Вешняков подскочил к ней, хотел оттолкнуть ее от царя, она с силою оттолкнула его самого так, что он едва не упал.

Лицо Ивана стало холодным, сердитым.

— Так ли ты говоришь, не по злобе ли? Не хочешь ли ты, ради мордовской выгоды, оговорить наместника?

Охима коснулась самого больного места в государевых делах. Совсем недавно утихли в Поволжье бунты среди черемисов и татар. Царь много ночей не спал, проводя время либо в советах с вельможами, либо в собственных размышлениях.

Ведь не кто иной, как черемисы, приходили к царю, просили его принять их в свое подданство, и вдруг... Вон и кабардинские черкесы шлют своих послов, просят принять их в русское подданство. Стало быть, они не против Москвы. В чем же дело?

А бояре и Курбский князь, посланные для розыска и судных дел, винят во всем народ, самих татар и черемисов. Заодно с боярами и мурзы, и купцы татарские, многие князи и купцы черемисские... Винят свой же народ! С их рукоприкладством бояре грамоты привезли. А в тех грамотах под клятвою по мусульманской и языческой вере сказано, что-де виновен сам простой народ. И что зря, мол, царь освободил его от пошрины и всякой государственной тяготы.

И вот простая девка, мордовка, винит именно бояр

и воевод, стало быть, и Курбского. Кому верить? Мордовку посчитать за лгунью? Но он сам хорошо помнит, как и мордва и черемисы помогали ему в Казанском походе. Они даже спасли его от смерти.

Охима, как бы угадав мысли царя, еще более горячо, еще громче сказала:

— Отсеки мою головушку, царь-батюшка, коли говорю неправду... У меня был мой любимый Алтыш Вешкотин... На царевой воинской службе он ноне... Что скажет Алтыш? Кто не знает, что воевода держал меня в своем терему? Нехорошая я! И не скрою того теперь я от своего Алтыша... Расскажу ему всю правду... Пускай лучше убьет меня, нежели мне обманывать его!

Царь задумчиво спросил:

— Имя твое?

— Охима.

— Не страшись, не убьет! — и, обратившись к Вешнякову, царь приказал: — Поставь на работу ее к Федорову... Окрестите. Язычница она...

Царь спросил Андрейку:

— Твое имя?

— Андрейко Чохов, батюшка-государь, отец наш родной! — ответил парень, став на колени. — Добрый наш государь!.. Хочу пушки лить! Помогите умудриться ратному огневому делу.

— А ты?

— Герасим я, Тимофеев... Будь милостив, батюшка-государь! Тож хочу быть ратником...

— К дьяку Ивану Юрьеву веди! — произнес царь. — Посадить на воинскую службу, но не в одно место... Тому, — царь указал на Герасима, — под рукою Воротынского... на рубеж. А того — на Пушечный двор... Учините всем им расспрос в приказе. А за побег из вотчины накажи смердов батошьем, чтоб не бегали самовольно из поместий, не чинили непослушания господам... Смерд должен знать свою меру.

Парни, стоя на коленях, смиренно выслушали слова царя.

Иван подошел к Охиме, погладил ее по спине.

— Тебе ли унывать? Ишь ты! Крепка! Никак не ушибнешь... — И, обратившись ко всем, ласково сказал:

— С богом! Служите честью! Не имейте зла на своих владык! А ты, Игнатий, накажи и вакорми их, да сведи

к протопопу... Пускай покаются во грехе... очистят душу от злобы против господ...

Тем и кончилась встреча нижегородских беглецов с царем.

После свидания с нижегородскими беглецами царь Иван, войдя к царице, сказал с хитрецей в глазах:

— Слушай! Коликия бы досады ни чинили мне наши честолюбцы, а не одолеть им меня... Когда умру я — погубленный врагами, силою, аль по-христиански, своею смертью,—держава моя тверда будет и перушима. Немало верных людей у меня, новых, дерзких, готовых сложить голову за царя. Один звездочет-мудрец сказал: «Что бы ты ни делал, распознай — сколь полезно то земле твоей». Вижу, что народился я божьим изволением на царство... И что в делах моих его воля, ибо иду я правильным путем.

Царь рассказал Анастасии Романовне о беседе своей с колычевскими холопами, о том, на какую работу посадил он их.

— Любо слушать дворянина, но не грешно царю послушать и мужиков. Монахи, странники, иноземцы и всякие челобитчики сказывают о великих неправдах в моем государстве, знаю... Посылаю бояр для розыску и спросу в дальние грады и села и николи не нахожу правды в их доношениях. Теперь буду посылать по деревням не бояр для сыска, а иных людей... Опречь них. То будет ближе к правде, как вижу я... Бояре Колычева прикрыли бы, а Васька Грязной не пожалел боярина... Чую, наплел чего и не было,—усмехнулся царь,—но все же открыл глаза мне на многое...

Сел в кресло и несколько минут сидел, оцепенев от нахлынувших на него мыслей. Потом сказал:

— Все изменить надо, но не легко то! Надо обождать. Опасно уподобиться Самсону, повалившему столбы капища и похоронившему себя под ними.

Лицо его покрылось красными пятнами, глаза заблестели мрачным торжеством, и несколько раз он тихо прошептал: «Опречь них».

Заплакал царевич Федор. Из соседней горницы прибежала мамка.

Иван встал с кресла, подошел к люльке, склонился над ребенком, потрепал его за ручонку... Мамка стала опрашивать ребенка. Иван помог ей... Пришла кормилка,

села около царьцы. Анастасия требовала, чтобы ребенка кормили у нее на глазах, в ее опочивальне.

Царь в хорошем расположении духа вышел от царьцы.

Глубоко в подвале, под царским дворцом, помещался пыточный каземат, обложенный камнем, тщательно выбеленный, чисто подметенный, с изображением на стене громадного глаза, неотвязно следившего за каждым, кто находился здесь.

В одном углу широкий горн, таганы. В другом — дыба. На особых палках — в порядке размещенные сковороды; ременные, с железными набалдашниками, бичи; железные когти, круто изогнутые, острые, ярко начищенные кирпичом; разных калибров клещи, серые от постоянного каления, и множество игол для вонзания под ногти; ножи, пилы.

Все это содержалось с явной заботливостью и усердием.

Высокого роста, сплошь бритый, безусый, безбровый кат<sup>1</sup>, вывезенный из Литвы, по-хозяйски прибрался в застенке, ожидая прихода царя. На нем новая желтая рубаха и кожаные штаны, засунутые в красные сафьяновые сапоги.

Не торопясь он разводил огонь под одним из таганов.

В темном коридоре, недалеко от пыточного каземата, слышится полный ужаса и отчаяния голос человека. То начальник стражи князя Владимира Андреевича. Прошлой ночью его поймали государственные люди, в то время, когда он шел из Чудова монастыря с богомолья, от полунощницы. Подстерегли Василий Грязной и Вяземский со своими стрельцами.

— Эй, уймись, божий человек!.. Нехорошо! — высунувшись из двери каземата, крикнул кат. — Чи реви, чи не реви — не поможись. А после накукуишься удовольь...

Коварная усмешка скользнула по лицу ката.

Вопли заключенного усилились.

Кат махнул рукой, вновь вернулся к огню.

Тепло шло от тагана, угли и железо раскалились, едкий дым щекотал ноздри, стало клонить в сон. Кат сладко зевнул.

Вдруг позади него послышался шум. Он вздрогнул,

---

<sup>1</sup> Кат — палач.

приподнялся. Из темного коридора, освещенный отблеском огня, на него глядел царь Иван, одетый в черный кафтан. На голове его была черная тафья-ермолка, усыпанная драгоценными камнями.

Кат низко поклонился царю.

— Очнись, праведная душа!—раздался тихий, усмешливый голос Ивана.

Из темноты вышли два дюжих стрельца. Обратившись к ним и к кату, царь сказал:

— Испытаем плоть, разум, сердце и душу того холопа. Ведите.

Оставшись один, Иван вытянул из-за пазухи спрятанный под черным кафтаном крест, помолился на него, поцеловал.

— Ты руководишь меня светом твоим,—прошептал царь,—деяния мои прими во славу твою!

Там, в черноте подземелья, послышался дикий вой, возня.

Иван прислушался, улыбнулся. Сел у тагана, стал греть руки.

Возня и шум усиливались, и, наконец, в каземат ввалились стрельцы, без шапок, растрепанные, ведя за вывернутые назад руки усатого, широкогрудого человека, все лицо которого было в синяках и кровоподтеках.

Увидев царя, он крикнул задыхающимся голосом:

— Батюшка-государь, Иван Васильевич! Помилуй!

Царь сделал рукою жест, повелевающий стрельцам уйти. Они вышли, а приведенный ими узник пал ниц перед царем.

Кат с деловым видом подошел к полке, снял с нее небольшую железную лопаточку и сунул ее в горячие угли, а на таган поставил чашу с маслом.

— Поднимись, собака!—толкнул ногою царь валявшегося на полу узника.

Тот послушно поднялся на коленях.

— Обладай!—повелительно сказал царь Иван кату, кивнув в сторону узника.

Кат мягко, на носках, подошел к трепетавшему от ужаса начальнику княжеской стражи и, приподняв его, поставил на ноги. А затем принялся неторопливо, называя его ласковыми именами, снимать с него кафтан и рубашку. Оторвав пуговицу, кат покачал головою, положил себе в карман.

— Дай мне ее!—строго сказал царь.

Кат вынул из кармана пуговицу, отдал царю, который, повертев ее в руках, сказал:

— Литовская...

Нагнулся, тщательно осмотрел одежду узника.

Кат озабоченно возмлся около своей жертвы.

Иван Васильевич сел на скамью, внимательно следя за действиями ката.

У начальника княжеской стражи зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Когда он был обнажен по пояс, кат провел своей ладонью по его спине, погладил, с каким-то особым, деловым видом пошлепал по телу. И с выражением удовольствия на лице отошел в сторону, стал ждать приказа царя.

Поднялся с своего места Иван Васильевич.

— Сказывай! Веруешь ли ты в бога, творящего чудеса, не знающего в гневе пощады и в милости исполненного щедрот?

— Верую, великий государь, верую...— еле шевеля от страха губами, прошептал допрашиваемый.

— Знаешь ли ты царя, воцарившегося на Руси божьим изволением, единого скипетродержателя, владыку, владычествующего и всеми правящего?

— Знаю,— послышался в ответ робкий шепот.

— А коли так, чего же ради ты на расправу своему князю увлек моих людей, шедших ко мне с челобитием? Стало быть, твой князь выше царя, коли он может бросать в темницы царевых рабов? Отвечай!

Глаза Ивана глядели в упор на княжеского холопа.

Царь выхватил из-за голенища плеть и с силою ударил ею княжеского стражника по лицу.

— Ты молчишь! Окаянный лстец! Подобно своему хозяину, упрятал ты змеинное жало... А кто того не знает, что спрятанное жало — горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится. Ну, мы ее будем того ждать. Вырвем жало, покуда оно не вышло наружу...

И, кивнув головой кату, царь сказал:

— Тронь!

Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника...

Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду ката, оттолкнул его к стене.

— Стой, собака! — громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекопилось зло-

бою.— Не шевелись! Отвечай! Кто бывает у твоего князя и о чем болтают?

— Не ведаю, государь!—простонал узник.

— Может стать, тебе неведомо и кто велел тебе захватить колычевских мужиков?

— Матушка-княгиня, Евфросинья, она... она... посылает нас! Князю то неведомо.

Иван некоторое время стоял в раздумьи. Видно было, что он доволен остался ответом своего пленника.

Кат суетился около огня, нагревая большие железные когти.

Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене.

Нахмурив брови, Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его.

— Отвечай, кто из бояр и князей наибольшие добродетели князю Володимиру?

— Князья Репнин, Ростовский, Курлятев, Телятьев... А о чем болтают, нам немочно знать... В хоромы нас не пускают...

— Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помиую тебя?

— Стану, батюшка-государь, стану, по гроб буду верен тебе,—со слезами на глазах принялся креститься пытаемый.

— А коли не сдержишь слова?

— Отсеки мне головушку в те поры, отец наш родной... В огне сожги, спали на угле!..

— Клячешься?

— Клянусь!

— Выжги ему на груди крест, чтоб не забыл своей клятвы... Многие клянутся, отрекаются от злоумышления и измены и скоро о том забывают, а ты, глядя на крест, припоминай свою клятву... Вспомни батюшку-царя...

По лицу Ивана Васильевича скользнула насмешливая улыбка.

— Великий государь!..—снова завопил княжеский страж.—Запомню я и без того!.. Запомню!

— Самый тягчайший клятвопреступник под пыткой употребляет слова сладчайшие, но я давно перестал тому верить...

Кат уже накалил докрасна небольшой железный крест...



Подойдя к узнику, он ласково попросил его лечь на скамью навзничь. Тот покорно выполнил это,— лег, закрыл глаза.

— Молись!..— приказал царь.— Ежели праведник отступает от правды своей и делает беззаконие,—он губит душу, а беззаконник, ежели обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду,—к жизни возвращает душу свою... Аминь!

В это время кат ловко выхватил из огня щипцами раскаленный крест и приложил его к груди пытаемого...

Царь строго смотрел на корчившегося перед ним от страшной боли человека, часто осеняя себя крестным знамением и нашептывая едва слышно молитву.

Через некоторое время кат смазал грудь пытаемого согретым маслом. Запахло паленым мясом.

— Оставайся слугою князя, будучи моим верным рабом...

И, хлопнув в ладоши, царь вызвал стрельцов.

— Отведите его к Василию Грязному...— сказал он, указывая на лежащего на скамье княжеского стражника.

Все низко поклонились уходившему из каземата царю.

## VII

День двадцатого июня был приемным днем царя.

В Большой палате, на скамьях, полукругом у стен тихо сидели бояре, думные и ближние люди, окопичьи, стольники, стряпчие и многие приближенные царем к своей особе; дворяне сидели рядами в прилегавших к палате покоях. Бояре в богатых златотканых одеждах и высоких горлатных шапках. Сидели все они неподвижно, храня глубокое почтительное молчание. Палата как будто была наполнена неживыми существами, и можно было слышать малейший шорох. Никто не приветствовал входивших в палату гостей.

Около царя стояли рынды в белоснежных шелковых кафтанах, держа в руках топоры.

Пола приемной палаты были устланы дорогими узорчатыми коврами.

Царь Иван сидел в широком вызолоченном кресле. На нем была бархатная, обшитая парчою, желтая одежда, унизанная множеством золотых блях и драгоценных камней. Золотая корона, осыпанная алмазами и жемчугом, была у него на голове. Перстни с бриллиантами покры-

вали его пальцы. В правой руке он держал золотой массивный скипетр с двуглавым орлом.

Царь принимал прибывших через Швецию шотландцев. Они с отменной ловкостью отвесили поклон, размахисто салютуя своими широкополыми в перьях шляпами. Старший из них вышел вперед, заявил, что шотландцы — народ испытанный, воинственный, готовый служить каждому христианскому государю. Они докажут это, если его величеству угодно будет взять их на государеву службу. Они могут быть воинами, размыслами<sup>1</sup> и мастерами пушечного дела.

Иван внимательно выслушал витиеватую, почтительную речь их. Приветливой улыбкой он ответил на поклоны рослых, курчавых шотландцев. По его лицу видно было, что ему нравится воинская выправка заморских гостей. Особое внимание уделил он старшему из них, стоявшему совсем близко около него. Когда тот закончил свою речь, царь Иван приказал толмачу узнать его имя.

— Джонни Лингетт, — ответил он, с достоинством откинув голову.

Широкоплечий детина, голубоглазый, с большим прямым носом и маленьким женским ртом. На верхней губе чуть-чуть виден пушок. Взгляд простой, слегка наивный.

Царь Иван с любопытством всматривался в лицо бравого шотландца. Потом сказал толмачу:

— Спроси, как же так можно, чтобы честный воин служил каждому государю? Мои воины служат только одному государю — мне. И не почтут ли они то изменой?

Толмач перевел шотландцу вопрос царя.

Джонни Лингетт, весело улыбаясь, переглянулся со своими товарищами, а затем с легким поклоном ответил:

— Не «каждому государю», но только христианскому.

Иван Васильевич усмехнулся.

— Толмач, скажи ему: христианские государи проливают кровь христианскую же, и не менее, нежели мусульмане и язычники... И не христианский ли король Франции вошел в союз с Солиманом, называющим христиан «собаками»? Веры разные — меч один и тот же против христиан.

Выслушав толмача, шотландцы стали втупик: что ответить? Смутились.

---

<sup>1</sup> Р о з м ы с л — инженер, архитектор.

Царь нахмурился.

— Ну?! — нетерпеливо постучал он посохом об пол.

— Мы уже давно не были на родине... Мы не знаем ничего о Европе, — ответил юноша.

Царь покачал головою, а затем подробно расспросил их, кто и к чему привычен.

Бояре с трудом сдерживали зевоту. Расспросы царя утомили их. Михаил Репнин кусал губы, щипал себя, чтобы побороть дремоту. Ростовский думал о несостоявшейся сегодня, вследствие царева приемного дня, медвежьей охоте. У Курлятева болели зубы, он усердно приглаживал языком больное место десны, еле-еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Самое утомительное было для бояр присутствовать при приемах Иваном Васильевичем иностранцев. Им казалось это пустою забавою «молодого, честолюбивого венценосца».

Царь завел речь об изобретенных в Италии двадцать лет назад пушках-фальконетах, именуемых в Москве «волконейками» или «соколками». Ему хотелось знать: какие дальнобойные пушки шести-семи фунтов имеются за границей, чтобы можно было такие пушки возить на спине коня, при себе?

Толмач не успевал переводить вопросы царя, чем вызвал его неудовольствие. Велено было позвать другого толмача. Они стали вдвоем осыпать вопросами шотландцев, оказавшихся людьми, сведущими в пушечном деле. Они охотно поведали царю о новых пушках, какие им приходилось видеть в других странах. Особенно заинтересовался царь рассказом их о кожаных пушках, которые изобретены в Швеции. Крепкая медная ствольница обволакивается кожей; можно стрелять двумя, либо тремя ядрами сразу.

Шотландцы, по требованию царя, нарисовали на бумаге углем устройство этой пушки.

Царь поблагодарил и велел Адашеву принять их на государеву службу; милостиво протянул свою руку, которую поочередно и облобызали шотландцы.

По уходе шотландцев царь долго рассматривал нарисованное ими на бумаге. Вдохнул, покачал головою и убрал чертеж в карман.

На смену шотландцам с шумом, с сабельным звоном явились атаманы казаков: донских, гребенских, терских, волжских и яицких. Были вызваны они царем для беседы о предстоящем походе.

В пестрых одеждах, в широких шароварах, подпоясанные зелеными и красными кушаками, с кривыми турецкими саблями и ятаганами на боку, усатые, чубатые, воняли они в палату. Во дворец никому не дозволялось являться с оружием. Казакам царь это разрешил.

— Бьем челом, великий государь!..—громко сказал любимец царя атаман Павел Заболоцкий. Он высоко поднял правую руку, в которой держал громадную косматую шапку. Оглянулся, крикнул товарищам: «Гей!»

Казаки низко поклонились, звеня цепочками, четками и оружием.

Чубатые, седоусые атаманы с лукавой усмешкой изпод сумрачно нависших бровей осмотрели неподвижно сидевших на скамьях бояр.

Царь Иван поднялся со своего места (с шотландцами беседовал сидя) и тоже низко поклонился казакам.

— Здоровы ли, атаманы?

— Живем, великий государь, и богу за тебя молимся,—бойко ответил Заболоцкий.

Снова общий поклон.

«Разбойники, чистые разбойники!—думал Михаил Репнин.—Душегубы! С нами никогда царь не бывает так ласков, как с этими бродягами!» Сильвестр, вскинув очки на небо, вздыхал, что заметили многие из придворных. Адашев глядел с надменностью на толпу атаманов. Зато веселые, задорные улыбки появились у дворян, и особенно выделялось лицо Василия Грязного. Неожиданно встретившись взглядом с ним, Михаил Репнин побагровел, насунился. «Сволочь! Пес!»—мысленно обругал он Грязного.

Коренастый, широкоплечий атаман Заболоцкий—старый рубака. На его красивом черкоусом лице следы сабельных ран. В темносинем казацком кобеляке, опущенном бобром, в малиновых суколенных штанах и сафьяновых сапогах с золотыми украшениями,—он выделялся богатством своей одежды среди других атаманов. Его руки сверкали от множества дорогих перстней. У пояса кривая турецкая сабля в бархатных малиновых ножнах с позолотой.

— Великий государь!—громко произнес Заболоцкий.—Казацкие сотни с берегов Дона, Волги, Яика, Терека и с Гребня быют тебе челом служить верно! Наслышаны мы о хотении твоём, государь наш Иван Васильевич, видеть нас и слово свое царское молвить нам. Великая радость

от сего в казачьих станицах... Буди к нам милостив, великий царь! А мы не забудем добро твое.

Поклонился царю Заболоцкий, а вместе с ним еще и еще сделали низкие поклоны и все другие его товарищи.

— Храбрые атаманы! — воскликнул царь с воодушевлением. — Господарь молдавский Стефан сказал про моего деда: «Он дома сидит и спит, а владения свои увеличил; а я, ежедневно сражаясь, едва могу защитить свои пределы». Наши соседи, ливонские немцы, посчитали и нас спящими... Десятки лет не платят долга и, к тому же, — пытаются загородить от нас моря и иные царства. Обманывали немцы моего, блаженной памяти, родителя, великого князя Василия, а ныне обманывают и меня. Обещают то, чего не могут сделать. Немцы не одни. Врагов у нашего царства немало. На них-то и понадеялись немецкие вельможи... Надо ли нам терпеть?! Ужели кони наши охромели, сабли заржавели, копыта притупились? Ужели мы не пойдем на защиту поруганных наших святых церквей и в тихости склоним головы перед бешеными псами? Казаки! Единой веры мы с вами, единой крови — к кому прилепиться? Не слушайте краснословцев, осуждающих распрю с Ливонией... Наш гнев — гнев божий!.. Вседержителю угодно, чтоб наказал я лютерских еретиков проклятых, захвативших в древности земли наших предков... и надругавшихся над нашими людьми... Мне ведомо, что славный казачий вождь Дмитрий Иванович Вишневецкий зовет казаков воевать с Крымом, с нехристями-мусульманами... Но то от казаков не уйдет... Победив немцев, прилепившись к морю, мы сделаем себя еще более сильными! И крымские нападатели не устоят в те поры перед нами. И коли казачество будет прямить нам и пойдет на Ливонию заодно с Москвой, то и царь доброхотством его пожелует и дела ваши незабвенны станут. Казачество же, со славою, помощью божией и царской, поразит врагов своих и на востоке, и на юге, и на западе... И ныне, ради победы над немцами, да будет наш союз и дружба нерушимы!..

Последние слова царь громко сказал на всю палату. Говорил он так, что у некоторых казаков выступили слезы.

Заболоцкий поднял руку; застыли подвятые руки и над головами остальных атаманов.

— Клянемся, батюшка-царь!.. Клянемся служить правдою!

Палата содрогнулась от мощного восклицания казачьих начальников.

Царь стоял довольный, раздумавшийся, кланяясь с ласковой улыбкой. Глаза его восхищенно смотрели на казаков, которые низко поклонились и походкой степных всадников, переваливаясь, мягко, на носках, выходили из палаты.

Позднее, в «меньшей» палате, где хранились итальянские, латинские и немецкие книги и шутейные сказы доминиканцев, царь Иван принимал людей порубежного бережения и засечной стражи с южных окраин<sup>1</sup>.

Сопровождал порубежников знатный боярин, третий местом в Боярской думе, один из любимцев царя, князь Михаил Иванович Воротынский.

Вошедшие долго молились на иконы. Перед каждым образом горели лампы. Пахло маслом и церковными благовониями. Палата была небольшая, уютная, убранная коврами и шелковыми тканями.

Иван Васильевич сидел в кожаном кресле. Он был в добром расположении духа. Распахнув кафтан, надетый на голубую шелковую рубаху, неторопливо посматривал он на ратников. Лицо его было приветливым, глаза искрились добродушием.

Помолившись, порубежники низко, до земли, поклонились государю. Воротынский назвал каждого по имени и рассказал, из какой кто окраины.

Внимательно выслушивал царь боярина, оглядывая каждого ратника с головы до ног.

— Господу богу угодно, дабы позаботились мы об украинной дозорной страже,— сказал царь, выслушав Воротынского.

Царь объявил, что ныне настало такое время, когда родине отовсюду грозят враги. И назвал он немцев, Литву, крымцев, ногайцев, шведов, османов.

— Берега нашего царства велики и плохо оборонены... Дед мой, Иван Васильевич, да и отец мой, Василий Иванович, немало порадили бережению нашей земли. И мне надлежит беречь и землю, и народ наш по мере сил моих и милосердия всемилостивого господа бога. Иван, великий

---

<sup>1</sup> Пограничная охрана.

дед мой, многожды посылал слуг в иноземные крулевства добывать розмыслов, стениных, башенных и палатных мастеров... И крепости ими сложены устойчивые и для боев пригожие. Но засеки и до сих дней немногую согреты ласкою государей. Почли нужным мы послать на засеки розмыслов, кои укрепят их прочкою защитою. Засечную стражу надобно оснастить нарядом и всякою иною утварью, а людей одеть и одарить конями и милостию нашею украсить. Храните рубежи царства пуще глаза, будьте усторожливы, бдите ежечасно, дабы враг не вторгнулся в засеку! В недолгом времени прикажу я Разряду созвать боярских детей с украин, станичных голов и старшин казацких, и всех людей сторожевых, засечных, начальных в престольный град Москву... На общем соборе рассудим мы, с божьей помощью, как то сделать, чтобы чужестранцы на государевы украинны войною безвестно не приходили, а станичники были бы сильнее и усторожливее, нежели то было до сей поры... И из нашей земли без царевых грамот никого не пускать. Учиним мы тем собором приговор о станичной и сторожевой службе, какою она должна быть... Передайте о моем царском слове своим товарищам по всем путям...

Царь тут же приказал Воротынскому разъяснить порубежникам, пока, до боярского приговора, как они должны охранять землю.

Воротынский строгим голосом объявил, чтобы сторожа на условенных местах стояли, «с коня не сседаая», разъезжали бы по два человека направо и налево. Где и как сторожить, укажут ближние воеводы. Огни разводить не в одном месте: если кашу сварить, в другой раз уже готовь пищу в ином месте. В одном и том же месте огня разводить не след. И там, где полднели, не ночевать, а где ночевали—не полднели. В лесах не ставиться. Стоять там, откуда было бы хорошо видно окрестности на далекое расстояние. Увидев врагов, отсылать гонцов в ближайшие города. И если будут такие сторожа, которые, «не дожидаясь себе отмены», уедут с своего поста, и «в те поры от воинских людей государевым украинам учинится война,—тем сторожам от государя, царя и великого князя быти казненными смертью. А тем сторожам, что лишнее простоят, не получив смены, платить по полтине в день на человека».

Еще стороже Воротынский сказал о том, что «если ста-

ничников или сторожей воеводы или головы кого пошлют дозировать на урочищах и на сторожах<sup>1</sup> и если узнается, что они стоят небрежно и неусторожливо и до урочищ не доезжают — хотя прихода воинских людей и не будет, то все же тех станичников и сторожей за то бить кнутом».

Долго объяснял Воротынский, как должна вестись сторожевая служба на рубежах. Все засечные головы и их товарищи слушали молча, тихо, ловя каждое слово боярина и робко, искоса, поглядывая на царя, который сидел в кресле, опершись головою на руку. Он не глядел ни на кого, погрузившись в раздумье. Лицо его стало хмурым. Вдруг он быстро поднялся, перебив Воротынского:

— Михаил Иванович! Накажи воеводам настрого, чтобы лошади у сторожей были хорошие, на которых бы, увидев врага, можно было ускакать. Худых коней на засеки не отпускать. Не исполнят того, — ляжет на них гнев государев... Отпиши!

Все, что сказал станичникам Воротынский, — все это давно обсуждено царем, и не раз, с ближними боярами и воеводами.

— Яви свою ревность в деле, и я поставлю тебя хозяином рубежей... Великую честь и великую власть ты приемлешь, — сказал царь Воротынскому.

Отпустив станичных голов и всех других станичников, царь Иван остался наедине с боярином.

— Тебя я не ставлю в ряду с иными. Ты тверд нравом и не ищешь того, чего не заслужил; родовитостью не кичишься и своей доблестью не превозносишься, как иные, даже самые ничтожные... Ты все требуешь от себя, а не как другие, требующие все от своего государя. Но нет в мире владыки, который бы во всем мог осчастливить человека...

— Полно, отец наш, батюшка-государь! — низко поклонился князь. — Мы ли, рабы твои, тобою не осчастливлены?

— И хотел сказать я тебе еще: согревай свою заботою малых сих, боярских детей и дворян. Они юны. У них долгий путь к славе, и на этом пути многое могут сотворить они в пользу государства. С Курбским ты не ладишь... Знаю. Одначе Андрей Михайлович — мужественный

---

<sup>1</sup> Сторожи — наблюдательные пункты пограничной охраны.



воин. И не все возведен мною князь в сан боярина. И на луговую черемису ходил он тем годом, и в Дикое Поле выступал под Казугу, ожидая там крымцев, и в Кашире был... Почетом немалым он уважен в войске... Нельзя государю того не видеть. Верю, что и ты не отстанешь от него и лвишь на рубежах усердие не меньшее. Будь прямым, как был, а на милость мою полагайся... Ты, да князь Иван Федорович Мстиславский, да еще есть у меня из бояр, прежде и ныне родством славных и службою царю верных. Места ближние в Думе крепки за ними...

Воротынский еще раз низко поклонился царю. Он был невысок ростом, широк в плечах, крепок; в сабельном бою равных себе не имел. Темные кольца волос непослушно сбивались на лоб.

— Паки глаголю: не гнушайся малых людишек, худородных, незнатных. На рубежах они будут служить правдою, а мы не забудем их. Многие холопы мои не могут обуздать свои гордые помыслы и безрассудное хотение, — не будь таким!

Царь положил руку на плечо Воротынскому.

— Появился на нашем дворе беглый мужик из нижегородских пределов. Простил я его за тихость и ревность к правде. Он послан к тебе. Гони его на ливонский рубеж. Поди, там ныне весело! А скоро будет и того веселее... Не соскучится!

Царь тихо рассмеялся.

— Не унимаются ливонские князи... Просят мира, а сами нападают. Церкви, вишь, все наши разрушили в Риге, Юрьеве и Ревеле. Бьют моих купцов, хватают в полон наших девок, секут головы моим людям... Иноземных гостей к нам не пускают. Сатана ум их помрачил. Ливонские земли — извечно русские. О том мои дьяки и воеводы не раз отписывали магистру. И послы его приезжали к нам. Но дани, что требуем, до сих дней так я и не вижу от немцев. Подождем еще, потерпим. Терпение — великий дар!..

Немного подумав, он с шутливой улыбкой спросил:

— Скажи мне, князь Михайло, обладаю ли я тем даром?

— Не холопу судить о своем господине, великий государь! — смущенно развел руками Воротынский.

— Ну, добро! Како мыслишь о походе, что задумали мы?

— По вся места моя сабля прольет кровь твоих врагов, государь.

Иван молчал. Видно было, что ответ Воротынского не вполне удовлетворяет его.

— Ливония или Крым?—настойчиво спросил он.

— Ливония!—ответил князь.

Оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Воротынский—спокойно и смело. Царь—испытующе.

— Так ли?

— Так.

— Буде поедешь на рубеж, оставь нам, по обычаю, крестоцеловальную грамоту.

— Да будет так, великий государь!—низко поклонился Воротынский.

— Иди с богом! Верши!

Князь вышел. На площади он остановился, помолился на соборы, облегченно вздохнул.

Иван наблюдал за ним в окно. Он весело рассмеялся, когда увидел, как боярин обтирает пот на шее и лице и как заторопился по двору.

. . . . .

Прежде нежели отправить Герасима в засеку, князь Воротынский сдал его на обучение копейщикам.

На просторном месте, в Лужниках, вместе с другими парнями, стали обучать его копейному делу.

Высокий, похожий на цыгана, смуглый, с вьющимися черными волосами, стрелец держал в руках длинное увесистое копьё. Такие же копы, но только покороче, были розданы и всем обучающимся парням.

Стрелец прохаживался по лужайке вдоль шеренги молодых воинов и громким, грубым голосом говорил:

— Засечник—што муха: была бы щель, там и постель, а где забор, там и двор. Засечник спит, а одним глазом за околицу глядит. С копьём, как с бабой. Крепко держит в руках. Не расстается. А латы копейщику подобаюг легкие, чтоб не тяжелы были... Засечник—конный человек. Латы с брюхом не гожи ему. Латы шток не ниже пояса были, и везде плотно к телу. Не так, как в прежние времена, с великими брюхами делали, кои больше беременным женкам, нежели воину пригодны... Смекайте! Чего губы растрепали?

Будущие засечники и копейщики растрепали губы

именно оттого, что с большим вниманием слушали своего учителя. Все, что говорил стрелец, Герасиму было очень ново и чудно.

— Наручи всякому гожи, но штоб не долги были. От посеку, от камня, и от стрел, и иных невзгод надобно железные шапки иметь. Внимай дале! Навострий уши!

Стрелец некоторое время хмуро осматривал ряды своих учеников. В глазах суровость повелителя. Герасим замер: даже дышать ему боязно стало.

— После того, гляди, покажу я вам, как владеть копьем красно и гоже против недругов... — торжественно произнес стрелец. — Гляди!

Он поставил перед собой копьё.

— Коли копьё так, возмись за него правою рукою в том месте, которое против ноздрей твоих, чтоб палец твой вверх по копыю лег, и правою ногою немного наперед стой, а левою немного назад. Ну, делай!

Ратники вразброд выставили правую ногу вперед, а левую назад: копыя у них склонились в разные стороны. Стрелец сердито ударил по затылку отстающих, крича: «Ступи! Ступи!» Герасим тоже получил подзатыльник, несмотря на то, что старался со всем усердием.

— Примечай! Примечай! Проворь! Проворь!

Герасиму всегда казалось, что нет ничего проще, как драться копьём. Дома он хорошо владел рогатиной. Она очень похожа на копьё, — стало быть, и им тоже легко владеть! Двух медведей заколол он на Ветлуге рогатиной, безо всякого учения, а тут, выходит, не так-то просто...

Много времени понадобилось молодым ратникам, чтобы кое-как научиться копьё подымать, ставить да носить.

— Когда копьё обими концами ровно на плече лежит и захочешь его острием кого уложить, — ты его подыми с плеча и дерни правую руку с копьём назад!

Обливаясь потом, яростно размахивая копьём, стрелец проделывал упражнения, разя мнимого противника. Затем молча смотрел на своих учеников, смотрел как-то недоверчиво.

— Смекнули? — отрывисто спросил он.

— Смекнули! — последовал нестройный ответ.

А голос неумолимого учителя звучал с нарастающей силой воодушевления:

— Всякому воинскому человеку надобно в копейном деле гораздо примечать, как леших бить. Прямо перед

собой копые уложи и недругу острие в горло или в очи устави... Чтоб польза учинилась, бей со всей силой!.. Не зевай! Плохой копейщик хотя высоко в лицо острие и устави, но недруг легким обычаем копые рукою вверх или в сторону собьет. Смекайте! Смекайте!

— Сmekнули, добрый человек! Сmekнули!

— Второе: когда ты копые недругу прямо в брело уставишь, которая есть лучшая установка, тогда крепко острие повороти, чтоб лучше шло. Смекайте!

— Сmekнули, добрый человек! Сmekнули!

Стрельцу по душе было, что его зовут «добрым человеком». Это еще более воодушевляло.

— И хоть пушки, порох и огненный бой у нас и есть,—сказал он с усмешкой,—но без копейщика не побьешь недруга! Пригожее копейного дела ничего не пай-дешь. Великую силу против конных и пеших людей копейщики чинят!

Две недели с утра до вечера обучали Герасима воинскому делу в Москве. Никуда из лагеря не пускали и, наконец, отправили с большим воинским обозом на ливонскую границу.

Когда Герасим, плотно усевшись в седле на своем коне и крепко сжав в правой руке копые, ехал по полям и лесам, он с гордостью чувствовал себя настоящим воином.

Скоро и он станет на рубеже и будет наравне с князьями, дворянами и боярскими детьми сторожить родную землю. Солнечные лучи, как ему казалось, светили ярче, чем всегда, зелень была свежее, птицы полевые и лесные громче обыкновенного перекликались веселыми песнями и щебетали, словно бы в честь его, засечника Герасима. Этот путь к ливонской границе явился для молодого воина радостным праздником, которого никогда не забудешь.

Однажды утром царь Иван в своей государевой рабочей комнате, окна которой выходили к Москве-реке, разбирал вместе с Алексеем Адашевым, осадным головою Щелкаловым, боярскими детьми, дворянами и дьяками Поместного приказа дело о раздаче земель служилым малого чина.

— И буде такожде,—сказал Иван Васильевич, строгим взглядом оглядывая всех,—незнатный, худородный, коли

он в службе синовен и государю полезен, хотя бы и худородный дьяк, и уездный писец, и малый стрелецкий начальник, и незнатный сын боярский либо дворянин, пускай, кто бы он ни был,—сравнен станет окладом земли в равной доле с князем и боярином. Порухи от того государю не изойдет, а польза великая явится.

Присутствовавший здесь один из любимцев царя, боярин и храбрый воин, прославившийся своими подвигами под Казанью, Алексей Данилович Басманов, почтительно поднявшись с места и поклонившись царю, сказал:

— Великий государь и отец наш, Иван Васильевич! Мудростью воинского твое царствование, будто солнцем, озарено. Знатность и богатство издревле в чести и холе. Твой глаз, государев, проникает не только в верхнее оперение древа, но и в корни, сидящие в земле и невидимые иному глазу. И потому я, раб твой и слуга, яко многие подданные твои, чувствую и вижу то великое благо, кое несет нашему народу таковое верстание... Кому не ведом тяжкий труд губных старост, денно и ночью страдающих о порядке в твоём, государевом, царстве? Кто не знает городовых прикащиков, берегущих благосостояние воинства на рубежах? То ж самое скажу я и о засечных прикащиках. Кого не восхищает великий труд и искусство толмачей, — без них ж ни порубежное, ни полевое воинство обходиться не может! И многие подобные малые чины, забытые в иное время, ныне твоею царскою мудростию, как обновленные маслом светильники, к службе возгорятся... Кто, кроме мудрого, украшенного любовью к воинству государя, позаботится у нас о малых сих?

Алексей Басманов, уже немолодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без заискивания, в лицо Ивана Васильевича.

Глядя на него, вдруг осмелели и другие дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычаев знатности и родословности, а людей меньшего рода не честит.

В этих речах, хотя и осторожных, слышалось все же недовольство боярскими порядками верстания землею служилых людей. Василий Грязной, к тому же, закончил свою речь словами: «Ты, государь, как бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь!»

Иван Васильевич терпеливо выслушал пестрые, полные подобострастия слова созданных им на совет служилых

людей. Однако сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что Дума создавалась прежними великими князьями из «стародавних честных родов» и много пользы принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и храбрых, доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать «с государева доклада и со всех бояр приговору».

На совете были определены земельные оклады: дьякам, подьячим, губным старостам, городовым прикащикам, ключникам, осадным головам, засечным прикащикам. Большие всех царь назначил оклад толмачам — от ста пятидесяти до тысячи четей<sup>1</sup>.

Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и «фарсовского»<sup>2</sup> языков Кучук Устакасимов, мало дать и тысячу четей земли. Иган Васильевич очень хвалил этого толмача.

Составлен был длинный список по земельному верста-нию. Царь велел дьяку прочитать его во всеуслышание и затем спросил:

— Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело и не учинили ли обиды какой?

Все, стоя и низко кланяясь, благодарили его за доброе внимание к себе.

После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москве-реке тихо плыла рыбацья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетал с жужжаньем шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным щелчком сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и стремглав полетел напрямик к Тайвинской башне.

Проводив его глазами, царь сел в кресло и, взяв список, стал внимательно читать только что записанное дьяком на бумаге.

## VIII

Из дальних болот через Трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами, поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу — огороды, слободские стрее-

---

<sup>1</sup> Четъ —  $1\frac{1}{2}$  десятины.

<sup>2</sup> Персидского.

ния, бревенчатые церкви, колодцы «журавлем»; на левом — Пушечный двор, Кузнецкая и Оружейная слободы.

Андрейка приблизился к Неглинке, чтоб попасть в Пушечный двор. Сюда послал его из Разряда дьяк Иван Юрьев.

Недолго стоял в раздумьи на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел мелкую ладью с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня.

Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоколом, за ним видны главы храма Софии-Премудрости.

Андрейку окликнул угрюмый воротник<sup>1</sup> с копьем:

— Эй, вихрастый! Ходи сюды! Чей?

— Тож, что и ты, — государев.

— Перекрести харию!

Андрейка усердно помолился на храм.

— Кайся! Чего ради в слободу залез? Черовен час — и железа на мостолыжки... кузнецы рядом, — ехидная улыбка мелькнула на заросшем, косматом лице воротника.

— Не спесивься, Афоня, не на того напал нове! — огрызнулся, выпрямившись, Андрейка. — Сам батюшка-царь послал меня. Лицом да пушкарем буду. Вё, гляди!

Андрейка вытащил из-за пазухи грамоту.

— Не умудрил осподь! — смиренно попятился изумленный смелостью парня воротник и копьё убрал с дороги.

— Веди в пушкарскую избу.

— Ладно. Шагай — лаптой не теряй.

Едкий дым стлался по земле. Защищало в горле и глазах.

— Ого! Заслезило! — рассмеялся воротник. — Засопел?

Андрейка вытер рукавом глаза.

— Дух чижолый! — закашлялся.

— Э-эх, овечка! Вон гляди! Ямы... печи...

Пустырь. Ни травинки, ни кустика. Песок, трудно идти. Деревья голые, почерневшие. Место неровное: норы, бугры, камни, дрова... Кое-где смердит дым, а где и огонь вырывается. Оголенные до пояса, покрытые копотью, возятся около ям и бугров люди. И многие из них лопатами вскапывают и бросают в желоба темнобурные куски болотной руды. Ни на землю, ни на глину не похожа.

— У-ух, дядя! Народа-то што! — невольно вырвалось у Андрейки. В сильном волнении он огляделся кругом.

<sup>1</sup> Воротник — сторож у ворот.

Около ям кирпичные вышки. Рядом колеса, похожие на мельничные. На воротах канаты, перекинутые через перекадину.

Парень, вконец озадаченный, схватил за руку воротника.

— Куда привел?

— Иди, иди!

Чем дальше, тем труднее становилось дышать и труднее двигаться среди угля, железа и дров. Поднялся такой шум, что невозможно стало слышать голос соседа.

Солнце в этом чаду выглядело тусклым, желтым, словно блин, плоским кругом.

В пушкарской избе сидел немолодой угрюмый боярин, а около него — чудно одетый, не по-московски, безбородый иноземец.

Андрейка вручил боярину грамоту.

Боярин пристально осмотрел парня, неодобрительно покачал головой.

— Семейка! — крикнул он. — Дурень!

Из-за перегородки выскочил стрелец с бердышом. Задрал барашковую шапку: татарское лицо, косоглазое, озабоченное.

— Возьми, — указал боярин на Андрейку. — Сдай Григорию... С государева двора-то.

Парню показалось, что боярин недружелюбно покосился на него.

Стрелец ткнул Андрейку кулаком в бок. (Ничего, парень «в теле».)

— Пластайся! Клапайся! Боярин Телятьев!

Андрейка стал на колени, до земли поклонился боярину.

— Лезут к царю! — услышал он позади себя ворчливый голос Телятьева.

Вдоль высокого частокола, в щели которого видны разбросанные во множестве по пустырю пушки, Семейка повел Андрея.

— Отколь? — спросил он.

— С-под Нижнего... С Волги... Безродный.

— Царь-батюшка, стало быть, послал тебя?

— Сам батюшка-царь... Точно.

— Н-ну! — Семейка с удивлением оглядел Андрея. — Смелой ты. Не убоился?

— Струхнул малость... Да зря.

— Своими глазами так и видал его, батюшку?

— Своими. Как тебя. Зоркий! Крепкий!



Стрелец перекрестился.

Андрейка снисходительно посмотрел на него. Любопытство, с которым Семейка расспрашивал про царя, было ему забавно. Андрею было приятно, что его расспрашивают про дворец, царя, беседу с ним.

Семейка вздохнул:

— Э-эх, кабы мне побывать у царя-батюшки! Я бы ему рассказал. Все бы до ниточки поведал бы.

— Али челобитье какое?

— Лютый народ объявился... И отколь они взялись?

— Про кого же ты? Кто такие?

— Ой, брат! Поживешь—сам увидишь. Боярин Телятьев—медведь, а около него—шакалы. Они хоть и маленькие, да кусачее медведя. У них не вырвешься. Гляди, они и медведя сожрут. Хуже бояр народ обьярмили.

— Ну! Про кого же ты?

— Обожди! Узнаешь. У нас так ведется, что изба веником метется. Говорю про дворян. В избе народ видел?

— Видел.

— Вот они и есть. И каждого сам царь посадил в свободу. Неродовиты, да сердиты! Возьми вон Грязного, Кускова, Курицына, Афанасия... Кто они? Иные просто казаками были, а иные из дворян. А этот Грязной—сухая коза в сарафане, Никита Елизаров—тож. Григорий Плещеев из холопов же... Испомятил их царь за Казань... Много их. Народу не легче от них.

— Пошто он на меня глазищи тарашил? Боярин-то?

— Постоянно так, когда сам царь присылает. Боярину то не по нутру... Вперед не лезь! Того хуже едят. Чай, знаешь: жалует царь, да не жалует псарь. Испокон века так-то. Коли наверху похвалят, жди на низу горя...

— Пойми, дядя! Хочу пушкарем быть! Душа не терпит. Готов все снести, лишь пушкарем быть.

— Вона што! А Телятьев посылает тебя к плотникам да к дровосекам.

Андрейка притих. Зато стрелец, оглядевшись с опаской, молвил:

— И во всем у нас подобное: царь так, а бояре этак. Думаешь, царь не ведает?

Андрейка тоже огляделся кругом.

— Ведает,—прошептал он стрельцу в самое ухо.—Конюх под крестом клялся нам. Царь сам боится бояр.

Весь народ в Москве будто про то знает. Но есть люди верные у него. Не выдадут.

Беседуя, не заметили они, что подошли к Неглинке. На реке несколько мельниц. Кузнецкий мост кишит народом. И под мостом на бревенчатых перекладинах сидят люди, поправляя мост. По берегу бегают малого роста человек в синем кафтане. Кричит, грозит дубиной.

— Вот он — Григорий Грязной, брат Василия Грязного... Не слышал ли? — тихо спросил стрелец. — К нему тебя послали.

Андрейка подумал: «Не тот ли, что на цыгана похож? Нет! Не тот!»

Увидев Андрея, Григорий Грязной закричал:

— Чего рот разинул?

Семейка рассказал все, что знал об Андрее.

Грязной сразу притих.

— Добро, братец, хватай топор... секи дрова. На воду тебя не пошлю. Робь на суху. Дрова дубовые. Пушек для. Да не мельчи.

Андрейка поклонился, поднял с земли топор, на который ему указал Грязной, и, перекрестившись, начал работать.

Семейка опрометью побежал обратно в Пушкарскую слободу.

Повыше Неглинки, на горе, бушевала огнями и железом Кузнецкая слобода. Дымили горны, мелькали молоты, кричали сотни людей.

К Андрею подошел плотничий староста.

— Видать, резвый!

— Такой я, какого господь бог народил... Не наша на то воля.

— У кого она ноне, воля-то? Живем и все чего-то ждем. Течем, как ручьи...

Андрейка поморщился. Не понравилась ему кислая речь старосты.

Он не выдержал и сказал:

— Ручьи падают в реку, а река, она большая, и конец ее в море укрывается, а море того больше. Не напрасно живем. Мыслию имеем. На то и родились мы, чтоб жить.

Староста вздохнул со смирением. Андрейка подметил смущение на его лице: что? испугался?

Староста, видимо, хотел, как и многие другие, посулать о теперешней жизни, повздыхать о былых временах.

— Не худо понимать! Што бог велит, то и царь делает,— строго сказал Андрейка. Он повторил не раз слышанное им.

Староста удалился. Около моста мелькнула дубинка Грязного.

. . . . .

Андрейка недоволен был, что его послали не туда, куда он хотел. Он вернулся к литейным ямам. Тянуло в пушкарскую избу попросить боярина, чтобы его отослали к пушкарям.

Вот где жара! Одно — смотреть со стороны, другое — очутиться здесь, внутри. От жары и чада сперло дыхание. Пылали сотни огней в земляных печах, обжигал руду. По желобам медленно тянулась жидкая масса расплавленной бронзы. Обнаженные до пояса, красные от огня и загара, литцы то скрывались, то снова появлялись в клубах красновато-черного дыма. Остатки отработанной руды серыми, рябыми кучами загружали пустыри. Лагая по ним, Андрей увидел много мужиков, спросил, что делают. Оказалось, очищают мотыгами железную руду «от пустой породы». Рядом обжигали эту руду. Дальше из железной руды выплавлялся чугун. Чугун отливали в «пытыки», или «свиньи», для дальнейшей обработки.

В стороне множество людей подносили к литейным ямам землю, другие просеивали ее, третьи таскали воду в кадушках, поливали землю, она шипела, дымилась белым паром. Тут же бугры песка, известки, глины.

Все это вызвало в Андрейке такое любопытство, что ему захотелось обо всем расспросить рабочих людей, но... он боялся, как бы от того не получилось худа для него.

Он старался не показываться на глаза, прячась за кучами железа и чугунных ядер, наваленных в соседстве с литейными ямами.

Он залюбовался ядрами, покрытыми серой пылью и копотью. Одни побольше, другие поменьше. Попробовал поднять: гладкие, увесистые.

Появились с носилками и тачками оголенные до пояса татары. С плетью в руке шел за ними длинноусый, морщинистый мурза. За кушаком у него блестел громадный серебряный кинжал. Татары стали накладывать ядра на носилки и относить их в сторону.

Андрейка счел за благо поскорее убраться с этого места.

На большой площади, недалеко от церкви, множество кузнецов опиливают уже отлитые пушки, сверлят дула и загалы.

Тут к Андрею подошел караульный стрелец, подозрительно осмотрел его.

— Чего бродишь?

— Царем послан учиться пушечному литью.

— Царем? А чего понимаешь?

— Понимаю то, что понимаю...—ответил Андрейка, отвернувшись.

— Ого, да ты поровист!—Стрелец рассмеялся, но вдруг остановился, прислушался к продолжительному вою сигнальных рожков. В Пушкарской слободе поднялась суматоха.

Стрелец снял шапку, перекрестился.

— Неужто опять царь?—Сервался с места и побежал вдоль берега Неглинки к храму Софии-Премудрости.

Туда же беспорядочно бросилась бсжать и толпа литов, кузнецов и плотников. Недолго думая, побежал за ними и Андрейка. Ударили в колокол на вышке близ храма. Голубиные стаи взметнулись над слободой. Собаки подняли бешеный лай на побережье.

Забилось сердце от волнения у Андрея.

Около храма Софии уже толпился народ. Расчищая путь царскому выезду, впереди ехали верхами четверо стремянных стрельцов. У каждого из них на луке седла барабаны, видом в полушарье, в которое они и колотили, что было мочи, короткой деревянной палкой с набалдашником. Позади гарцевали четыре всадника татарской конницы с копьями в руках. А затем следовал царский возок, обитый зеленою тканью с золотыми узорами. Его тянули дугом шесть серых, в яблоках, лошадей. Поезд замыкали боярские дети верхами на вороных аргамаках.

Около храма Софии царский поезд остановился. Соискочившие с коней боярские дети открыли дверцу возка, став рядом по обе стороны пути, где царь должен был пройти в церковь. Выскочившие из церкви служки раскинули ковер по земле около возка, протянув его до самых церковных дверей.

Царя на паперти встретило духовенство.

Пробыв недолго внутри храма, Иван сошел в слободу, окруженный боярскими детьми и стрельцами. Сотники и дьяки, низко кланяясь, приблизились к царю. Он расспросил их о том, как у них идет работа.

На нем был простой зеленый кафтан, а на голове бархатная скутафья.

Он зашагал впереди всех, осматривая готовые, но еще не отделанные окончательно пушки. Тут только заметил Андрейка, что царь был едва не на целую голову выше всех окружавших его людей,— плечи высокие и широкая грудь. Руки и ноги громадные,—настоящий великан!

Подозвав к себе пленного шведа Петерсена, давно жившего в Москве и обрусевшего, царь, немного сутулясь, обратился к нему:

— В нынешние времена,—поведал мне один заморский гость,—огненное оружие льют не токмо из бронзы, но и из красной меди колокольной, али из желтой меди да из олова... За крепчайшую и лучшую мать то почитают. И растапливают ее в печи, и очищают гораздо. Слыхал ли?

— Слыхать слышал, но не видывал, твое государское величество...—ответил швед, низко поклонившись.

— И нам бы испробовать подобное. Вижу я из слов и писаний иноземцев, мудрые люди там, хитрецы великие... Но не перехитрить им моих людей! Обождите, скоро повезут и мне медь всякую. И то укрепит наш Пушечный двор, но...

Царь не досказал. Брови его сурово сдвинулись.

— Покуда Ливония не будет покорна Москве, заморская торговля мало даст. От нас ждут многого. Скоро скоро иссякнет божье терпение! И мое тоже.

Во время беседы царя с Петерсеном Андрейка протискался к царю, упал ему в ноги.

— Батюшка-осударь!—только и успел он произнести, как на него набросились стрельцы, чтобы оттащить его. Боярские дети обнажили сабли. Татарская стража склонила копыя.

Все замерли.

Царь сделал жест рукой, чтобы не трогали парня.

— Как смел ты, дерзкий, лезть к царю! Откуда дерзость твоя?—ткнул он его ногой в плечо.

Андрейка со слезами в голосе воскликнул:

— Обманули тебя! Не пушкарь я, а дровосек!

— Безумный смерд! — и, подозвав Телятьева, сказал: — Накажи!

Боярин велел взять Андрейку под стражу.

Опять увидел парень перед собою юркого Григория Грязного.

— Каиново племя! — грубо схватил он Андрейку.

Царь продолжал беседу со шведами. Он велел принести затинную пищаль, вылитую по новым чертежам. Долго любовался ослепительной гладью металла внутри ствола. После того внимательно осмотрел готовые пушки, затем простился со всеми и снова сел в возок. До самых ворот Пушечного двора провожала его толпа дворян и мастеров.

Андрейку бросили в темный чулан, где полно было грязи, пауков и крыс. Он слышал, как трезвонили колокола, гудели дудки, провожая царя. Вот к чему снился в эту ночь колычевский сарай и медведь на цепи!

Теперь парень раскаивался, что полез к царю, да еще на людях. Могут ли понять его горе царь, бояре и дворяне? Они высоко: Андрейка кажется им букашкой, которую они в любое время могут раздавить. Бог знает, может, и он, Андрейка, коли получил бы такую власть, раздавил бы многих, а в первую очередь боярина Колычева и этого проклятого Гришку Грязного. Андрейке тоже было бы непонятно боярское горе... Но никогда бы он, Андрейка, не стал карать людей, кои хотят стать воинскими людьми. За что же их наказывать? Он бы, Андрейка, выслушал тех людей, и боярина Телятьева посадил бы в чулан, а не такого, как он, Андрейка. О, если бы он был царем! Он бы судил людей справедливо, по-божьи. Всякого, кто бы ему мешал, он убивал бы жестоко, без сожаления. Повинную голову с плеч долой. Царь должен быть добрым, справедливым, к народу милостивым.

Мысли о том, что хорошо бы стать большим господином, мелькали не только в голове Андрейки, и не только ему хотелось творить суд и расправу на земле так, чтобы беднякам, тяглым людям, бобылям и всему народу было хорошо.

Десять лет назад в Москве были смутные дни. Малые посадские люди восстали на бояр Глинских, родичей матери царя, и на всех других вельмож, ища правды. Об

этом прослышали и в богоявленской вотчине. И нашелся один парень на селе, а звали его Капитонкой, который собрал людей и повел их, чтобы боярина Колычева порешить. Ладно, во-время дядя усакаал в Нижний, а то бы не одобровать ему. После того Капитонка ушел в лес, а с ним людей два десятка с рогатинами и топорами. Чудной был Капитонка! Бывало, курицу не зарежет. Блажной на удивление, всех жалеет, всякую тварь. А тут, словно креста на нем не стало, начальных людей и знатных господ рубил безо всякой жалости. И много правдолюбцев в те поры в лесах развелось. Мужики их не боялись, а когда воевода изловил Капитонку и голову ему срубил. по всем деревням и селам плач был великий, будто помер родной отец, либо брат. Многие, ведь, мужики думали так же, как Капитонка.

Испугался и царь тогда; сказывали монахи — на площадь к народу выходил, будто даже сказал, что «от сего страх виждо в душу мою и трепет в кости мои». Царя-то никто и пальцем не трогал. Зря испугался.

Вспомнил Андрейка, как при встрече царь сказал ему, Герасиму и Охиме, чтобы они не помнили зла на Колычева. И теперь глубоко призадумался парень: кого же боится царь — народа или бояр? И почему-то ему подумалось, что народа он не боится, а боится бояр. Вот и теперь — за что разгневался на него, Андрейку? И тут показалось парню, что делает он это не ради гнева, а ради угождения окружавшим его начальникам. Какой же это царь?!

Всю ночь не спал парень, раздумывая, как бы людям добиться правды в государстве.

«Пошто томлюсь? — тянулось у него в мозгу. — Пошто держат меня в этом чертовом погребе, в этой паучьей берлоге? Да еще, гляди, и батогами бить учнут. На съезжий двор поволокут, а там известно: либо кнутом, аль огнем, либо дыбой... Без молитвы, без покаяния богу душу отдашь! Обидно!»

.....

Утром Андрейку наказывали батогами; били так, что он до своего чулана, куда его снова ввергли, едва дошел. На съезжей он видел многих людей, которых били: кого батогами, кого кнутом, видел он и таких, которых привешивали за ноги к дыбе. Навсегда, кажется, останутся в памяти налитые кровью глаза, свесившиеся космы волос,

синие ноги и руки, стоны. А эти проклятые черти тянули за руки несчастных книзу, к земле. Ах, как хотелось Андрейке в ту пору вскочить, убить наповал мучителей и снять с дыбы мужиков!

Так и решил: поведут его еще раз на съезжую, чтобы пороть, он выхватит саблю у стрельца и перебьет всех катов.

Вечером чулан снова отперли. Пришел десятский и объявил Андрейке, что получен приказ освободить его и отвести на обучение к свейскому мастеру.

Избитый, в синих рубцах, Андрейка послушно побрел за десятским.

— И что же вы со мной делаете? — сказал он дорогой. — И как же вам не грешно?

— Э-эх, куманек, живи себе молча, лучше будет, — усмехнулся десятский.

— Гляди сам. Живого места нет...

— Худо, братец, худо! Что делать?

Свейский мастер, которого все звали Ола, встретил приветливо. Он был хотя еще и не старый, но уже сед как лунь. Голубые глаза смотрели ласково. Андрейка ободрился, подошел к нему.

— С богом! Ходишь себе! Ничего! — сказал Ола.

Было у Петерсена под рукою несколько мужиков. Тоже молодые, сильные ребята.

Один спросил тихо Андрейку:

— Окрестили?

Андрейка не понял вопроса. Тогда тот же мужик сказал:

— Новичков всех так. Ты не один.

Андрейка сердито огрызнулся. Ему хотелось забыть о кнуте.

— Зашибленное заживет, а телячий хвост все одно языком не станет.

Швед начал усердно учить Андрейку литью и ковке пушек и ядер.

Все пушки осмотрели молодые пушкарки, а с ними и Андрейка.

Швед разделил орудия на полевые и мортиры. Первые он назвал «польными делами», вторые — «делами огненными».

Он рассказал, что пушки льют в нынешние времена большей частью из бронзы, но лучше было бы их лить из красной меди.



— Она крепче, лучше,—объяснил он молодым пушкарям,—но ее мешают завозить в Москву немецкие, шведские и польские пираты.

Далее он показал, как из глины делают формы, как их укрепляют железными обоймами, как формы смазывают салом и вкапывают в землю.

Ола Петерсен рассказал и о лигатурах, или составах металла, и о том, как испытывать состав, как пушку делить на части, о банниках из кожи и щетины, о железных кованых, о свинцовых и каменных ядрах и о многом другом.

Пушкари внимательно слушали его.

Смешным показался им рассказ шведа о древних воинских машинах. Андрейка, смеясь, слушал про то, что древние пушки были овцам и козлам уподоблены, а назывались совсем чудно: катапультами, балистами и скорпионами. Стены каменные разбивали ими. А было то две тысячи лет назад. И придумали их греки. Машины те строились бревенчатые, громадные. Заряжались катапульты каменными ядрами, а иной раз бочками со змеями. Падая на землю, бочка разбивалась, и из нее расползались змеи. Люди, защищавшие крепости, в испуге разбегались.

Швед показал на маленьких палочках, как строились те машины и как из них можно было палить.

Молодые пушкари, слушавшие рассказ Ола Петерсена, в том числе и Андрейка, еще более смеялись, когда узнали, что вместо фитилей и пороха действовала воротяжка, на которую воины туго накручивали канаты из воловьих кишок. Стреляли из катапультиков и балистов в неприятеля и всякою дохлятиною, вроде дохлых собак и кошек.

Пушкари далее поняли из слов шведа, что то была война гишпанского короля с измаильским народом — арабами. Испанцы осаждали город Алхезирас, но арабы стали в них стрелять огнем из какой-то неведомой трубы, а из огня вылетало железное ядро и побивало испанцев. Они разбежались, думая, что с арабами заодно сам дьявол.

Веселый смех парней и бородагых слушателей заглушил слова шведа.

Петерсен, довольный тем, что его так внимательно слушают, сказал:

— Москофский человек... меня понимает... Дьявол, нечистый дух,—швед с насмешливой улыбкой плюнул,—нет,

неправда! Огонь — селитра, мешай уголь, зажигай — и летит. Фот и фся чудиса! Фот и фся дьявол!

После того он показал Андрейке и другим пушкарям фальконет, привезенный по приказу царя боярским сыном Дыковым из Италии.

Петерсен укоризненно качал головой:

— Не то, не то... Э-т-та плохой пушка! Фя! Наш московский лучше... — он пригнулся, присвистнул, вытянул руку «вверх, будто показывал, что вверх полетело ядро... — Паф! Паф! Паф!

Успокоившись, швед заговорил о менее понятных Андрейке вещах. Он говорил, что огненное оружие проверяется измерением, «математ-тикой».

— Не наугадь! — замахал он руками, сморщившись. — Ни! Ни! Какой! Огненное оружие стреляет в пропорции длина и его крепость... К заряджению протиф ядра линии быфают... И подолги и покоротки фылиты. Не думай — доле пушка будет, доле и стреляет! Нет! Надо математик... Пушечное ядро должно фидеть перфоначально крепость... Пушку беречь надо, как... мать, жену, точь... Ядро, как солото... Язвин или дир не можно... Кнутом буду бить! Царю скажу!

Когда уже стемнело и все литцы, кузнецы и пушкари разошлись, Петерсен отвел Андрейку в сторону и тихо, с улыбкой, сказал, что царь вспомнил о нем, Андрейке, и велел выпустить его из чулана, а ему, Петерсену, приказано быстрее обучить его пушкарскому делу...

## IX

Среди деревянных хибарок Никольского прихода Андрейка без труда разыскал большой, о двух жителях, каменный дом Печатного двора. Таких домов немного в Москве, разве только у самого Ивана Васильевича. Царь на что скуп, а тут не пожалел никаких денег для этой нечистой силы. А зачем и чего для — никак никто понять не мог. Диву давались люди: на кой леший Москве сия чудная хоромина! Поп Никольской церкви во хмелю расхрабрился и с амвона проклял «сатанинский чертог» да еще внушал богомольцам подальше от него быть и мимо пореже ходить. Митрополит Макарий сослал за это попа на Соловки.

Старец Вассиан Патрикеев и заволжские старцы тоже всяко поносили Печатный двор, хулили царя, который,

мало того, устроил «справную палату» при Печатном дворе. Старые монастырские рукописные книги стали исправлять. Посягнули на вольную запись монахов.

Не нашлось охотников идти туда и на работу.

— Чур меня! Чур меня! — прошептал Андрейка, подойдя к дому. Большие деревянные ворота с кровлей. Постучал в них. Пока дожидался, заглянул через щели в частокале на слюдяные оконницы в подклети. Они были плохо завешены. Залаяли псы, просунув морды в подворотню.

— Эй, кто-о-о? — лениво окликнул привратник.

— Государев человек с Пущечного двора.

— Пошто? Ай?

Андрейка постучал кулаком в тесину:

— Пусти! Не чванься!

— Эк-кай ты! Шайтан!

Ворота приоткрылись.

Старик-татарин с бердышом в руке укоризненно качал головой.

— Мир вам, добрые люди! — произнес приветливо Андрейка, проскочив в ворота.

— Э-эх, горох хоть и прыток, а опоздал — щи сварили.

Андрейка рассмеялся. Захихикал и старик.

— Кого тебе?

— Девка тут. С Нижнего-града коя... Проведать бы.

Старик почесал лоб, как бы припоминал:

— Стал-лыть, есть так. Есть. Обожди! Пойдем!

Опустив лезвие бердыша, татарин торопливыми шагами подвел парня к крыльцу. Андрейка трепетал: молиться или нет? Бесова хоромина! Не грешно ли?

— Н-ну! Чего же ты? Иди, ежели. Моя пошла.

Жутко стало. Не стерпел, прошептал молитву. Забегали мурашки.

Поднявшись в сени, робко сунулся внутрь. «Батюшки! Бежать! Бежать обратно! Что же это такое?» — от страха ноги подкосились: изба не изба, церковь не церковь — не поймешь. Большущая палата, а в ней страшные, похожие на дыбу, ворота с тремя перекладинами, вертятся со скрипом громадные деревянные винты, а среди палаты многие узкие столы... Большие ящики какие-то на тех столах, а в ящиках клетушки; бородатые дядьки согнувшись, шепчут про себя, будто колдуют над этими клетушками, перебирают пальцами что-то! И вот в самом

углу Андрей увидел Охиму: сидит около столика, палкой мешает в ступе и тоже будто что-то шепчет.

Около каждого дядьки чернец... читает вслух что-то непонятное. Визг и скрип винтов, выкрики монахов — ой, жутко! Помяни, господи, царя Давида!

Боролатые дядьки искося, сурово поглядели на Андрею. «Чур, чур меня!» — зашептал парень. Такими страшными показались ему эти угрюмые бородачи.

Один из них поднялся, расправил руки, зевнул.

Андрейка в страхе напряженно следил за ним. Вот... обернулся — владычица-богородица! — пошел прямо на него, на Андрею. «Свят, свят!.. Чур, чур!» Высокий, худой, в чернецкой рясе... Глаза прищурены.

— Добро, отрок, — услышал Андрейка тихий, ласковый голос, — чего для пожаловал к нам?

Глаза человечьи, голос незлобив, смирен.

Андрейка ободрился, ткнул пальцем в сторону Охимы:

— К ей пришел! К той!

Дядька рассмеялся.

— Обожди. Ахмет, отведи-ка его.

Приивратник вывел его во двор и через заросли щепкого кустарника повел в глубину сада, в самый отдаленный его угол. Там среди листвы затерялась крохотная избушка. В нее-то и ввел парня старик.

— Сядь-ка тута. Обожди.

Оставшись один, Андрейка внимательно осмотрелся кругом.

Изба по-черному. Потолки в копоти. В оконце лезут разросшиеся лопухи и какие-то крупные желтые цветы. У глухой стены койка, чисто опрощенная. В углу икона. Парень усердно помолился. Здесь было тихо и прохладно. Не так, как на воле.

Все же одному сидеть было здесь боязно. Вот-вот в дверь вломится нечистая сила. Ведь не даром же на посадах такой слух идет! Чертоги и в самом деле ни на что не похожи. А боролатые дядьки — истые колдуны, и промысел их — колдовской, еретический. Охиму, видать, они уже околдовали, вещуньей ее, поди, сделали.

Андрейка пожалел, что не взял с собой топор либо дубину.

«Э-эх, не попусту люди дивуются на царя! — думал он. — И на кой понадобилась ему сия чудесня? Лучше бы кабак построил либо храм. Бояре за то осерчали на царя, — болтают в слободе, — а божины отцы, попы и монахи,

дером-дерут: «Сжечь бесову хоромину, да и только! Изобидел нас царь-государь. Сатану поселил во святом граде!» Ужели врут? Ужель напраслина? Ах, господи, какая распутица в умах! Царь так, боярин этак, монах ни так, ни этак! А черному люду и вовсе хуть ложись и помирай. Там — воевода, кнут, здесь — черти, бояре и дворяне, а на том свете и вовсе ад кромешный. Дуреха мордовка, чертовой кумой стала! Не убежать ли?»

Но только что Андрейка подошел к двери, как за спиной у него раздался ласковый голос Охимы:

— Андреюшко! Долго же не видать тебя. Уж и лето скоро минет, а ты... Чего же ты пятишься от меня?

— Да, — сказал парень дрожащим голосом. — Тебе ни почем, а мне... Ты — нехристь, тебе все одно... а я...

— Была такова, а ныне окрестили и меня, — вздохнула она.

Охима усадила Андрейку на скамью, сама села рядом, обняла его и весело рассмеялась:

— Да ты чего дрожишь? Дурень!

— Недобрая славушка про вашу избу... Ой, худа!

— Брешут на посаде... Не верь! Нивесть чего плетут.

Рассказала она, что знала сама о Печатном дворе. Царь Иван Васильевич гневается на писцов-монахов: пишут-де божественные книги с изъяном, путают: кое недописывают, кое переписывают, вписывают свое, что на ум взбредет и даже поперек государю; в церквах по-разному одну и ту же книгу читают, где как писана... Осерчал царь на писцовое бесчестие. И ныне в Москве книги будут не писаны, а печатаны. По вся места одинаково. Зачинатели сего дела — Иван Федоров, дьякон от Николы, и при нем другой, Петр Тимофеев Мстиславец. Вот они-то и работают. Сам батюшка митрополит Макарий — защищает у нас.

— А ты болтаешь про нечисть — засмеялась Охима. — Убогие молеельщики не хотят работать тут. Царю неволя пришла брать в это место татар да мордву. Велика ли в том беда. И мы послужим.

— Чего же ты сама-то тут делаешь?

— Краску дроблю и варю, избу мою, прибираю.

— Краску? — удивленно разинул рот Андрейка. — А старики?

— Не! Не старики... — покачала головой Охима. — Молодые еще.

— Ладно. Бес с ними! Чего они?

— Набирают. Э-эх, малый! Все одно не поймешь. А коли знать хочешь, пойдем к хозяину. Он те растолкует. Поучись у него уму-разуму. Есть такие, ходят, любопытствуют. Мудрый он и богомольный.

Охима схватила Андрея за руку и повела его в печатную палату, подошла к Ивану Федорову и что-то ему сказала на ухо. Он обратился лицом к Андрею, поманил к себе. Парень набрался храбрости, приблизился.

— Видимое тут, — обвел рукою вокруг себя Федоров, — есть божия милость, его святая воля к просвещению нашего разума. Царь-государь, великий князь Иван Васильевич, умыслил изложить печатные книги, подобно греческим, веницейским, фригийским и иным государствам. А мы, смиренные слуги его, усердие приложили к тому, дабы постигнуть ту премудрость.

Федоров рассказал внимательно слушавшему его парню о том, как царь просил немецкого цесаря Карлуса о присылке ему мастеров печатного дела.

Немецкий Карлус уважил прошение царя Ивана Васильевича и выслал мастеров, но Ливония задержала их, не пустила в Москву. Царь сильно разгневался на ливонцев, как говорят ближние вельможи. Написал он о том же и дацкому каролусу Христиану. Тот отослал в Москву своего мастера Ивана Миссенгейма, но потребовал обращения русского народа в лютерскую веру. И когда царь узнал, что в Москве есть свои мастера, он zelo возрадовался. Дацкого человека с почетом отослал обратно к Христиану, сказав, чтобы лютерскую веру король держал при себе.

Иван Федоров произнес это с самодовольной улыбкой и вынул из ящика с позолоченной крышкой грамоту царскую и прочитал ее Андрейке. Царь приказывал устроить дом «от своего царской казны, где бы печатному делу строиться и нещадно дать от своих царских сокровищ делателям на благо печатному делу и их успокоению».

Царь писал:

«Надобно нам своим умом жить, ни аглицким, ни свейским, а своим».

Чтение грамоты было громкое, напевное, торжественное. Все помощники Федорова перестали работать, стоя слушали грамоту и крестились.

Федоров взял под руку парня, подвел его к ящику с

ячейками, наполненными крохотными чурочками, и, вынув из ячейки одну из этих чурочек, тоненьких, плотных, показал ее парню.

— Глянь! Бери!

Парень взял ее. Вырезанная фигурка. Залюбовался.

— То буквица, — с гордостью в выражении лица произнес Федоров. — «Веди!» А то — «како», а то — «пси». А всего того три десятка с девяткой. Се — дерево, а то — свинец.

Федоров показал другую буквицу, маленькую, но потяжелее первой. Андрейке так она понравилась, что он потряс ее на ладони, любуясь ею. Хотел попросить себе, да побоялся. Сам Иван Федоров, видимо, страшно дорожил этими буквицами. Он взял их из рук Андрея и положил обратно в ячейки. После того он, держа в левой руке небольшую деревянную коробочку, стал укладывать туда буквицы.

— От, глянь! Слово божие в ту пору слагаю. Кладу, что к чему надлежит. Из буквиц слепится: «бог-вседержитель». Чуешь?

— Чую.

Андрейка с изумлением смотрел на плотную свинцовую строку, которая будто бы говорила: бог-вседержитель.

Опять мутные мысли! Опять стало не по себе.

— Глянь! Се тягость — давилка именуемая. По обычаю, ее крутим.

К потолку от пола шли брусья, а на них перекладины: две перекладины пронизал толстый деревянный винт. Его, пыхтя, ворочали, а приделанная к нижней части винта доска насадала на лоток с набором буквиц, лежавший на столе.

Потом опять стали вертеть, но уже кверху; доска со скрипом снова поднялась, и Андрейка, к своему великому удивлению, увидел, что подложенная под доску бумага покрылась письменами.

На лице его вспыхнул румянец. Глаза заблестели. Куда девался и весь страх. Любопытство брало верх.

— Дай-ка мне! — сказал он, протягивая руку к листу. — Унесу с собой.

Федоров в ужасе замахал на него руками:

— Отхлынь! Што ты? Упаси бог! Батюшка-царь строго-настрого приказал! Никому ни единого листа! Здоровы у тебя ручищи!

Андрейка обиделся. Очень хотелось ему унести этот листок и показать пушкарям. То-то все диву дадутся! Так и шарахнутся в разные стороны, когда узнают, что то — из «бесовой хоромины».

Теперь уж у самого Андрейки явилась охота попугать нечистой силой товарищей, да и посмеяться над ними, а потом поведать им обо всем.

Долго еще водил по Печатному двору Иван Федоров Андрейку. Спускались и вниз, в подвал, смотрели словолитню, где было еще труднее дышать, чем у литейных ям. Душил едкий сизый туман, в глубине которого полыхали огни очагов.

Ивану Федорову было приятно удивлять парня.

— Ну, молодец! Уйдешь от нас, сказывай там, в Пушкарской, мол, нет никакой нечистой силы на Печатном дворе. Святого Апостола там-де печатают. А кто клеветает, того побей. Эвона, какой ты! Бей без жалости! Царь-батюшка и то не гнушается нами. По ночам приходит к нам, милостью своей согрел всех нас, грешных. Змеинное лукавство недругов царских не щади, отрок! Буде имя господне благословенно всегда, ныне и вовеки!

Охима ждала в избе Андрейку. Раздобыла кувшин с брагой, поставила две суеи. Поправила густые черные косы, надела еще две нити бус. Стала она сразу какая-то другая, как заметил Андрейка, непохожая на прежнюю. Он сказал ей об этом, она рассмеялась.

— Не скушлива ты, видать?

— Не! Не скушлива! — покачала она головой.

А сама наливает брагу: себе первой, ему потом.

Выпили.

— Ой, Охима, не узнаю тебя!

— Обожди, узнаешь... — рассмеялась.

— А што Алтыш скажет?

— Жив ли он? Не знаю. Алтыш хороший!

В дверь постучали. Открыла. Чернец — молодой, румяный, с русыми усиками и большими розовыми губами. Охима толкнула его в грудь и заперла дверь. Смешно было, как он, постояв немного, нерешительно поплелся среди крапивы, то и дело оглядываясь назад.

— Кто такой?

— Повадится овца не хуже козы. Докука!

— Ой, берегись, Охима!



— Не Охима, а Ольга! — Она весело рассмеялась.

— Чего же ты смеешься?

— Ольга я — для Печатного, а как мордовка была, так мордовкой и буду, а богу вашему молиться не стану. Не надейтесь! Чам-Пас велик! Ваш бог ему ни брат, ни холоп. Не хочет он его! Никак не хочет! Не скаль зубы. Чего скалишь? Вчера я видела нашу нижегородскую мордву, в царском войске много их... Никто против батькиной родной веры не хочет идти. На войну идти не боится, — против батькиной веры ни за что!

— Ждешь, гляди, поджидаешь Алтыша?

— Коли и вернется — не будет Алтыш. И его, чать, окрестили либо в Алексея, либо в Ивана. Наша вера на огне не горит, на воде не тонет и на земле не сохнет. Крести не крести — батькиной вере не изменим. А наместник в Нижнем Лизаветой меня назвал. Не наша воля. Хлебни-ка лучше браги!

Она раскраснелась от волнения, наполнила брагой обе сулен.

— А ты, Андрюша, все такой же: ясен, как солнышко, как звездочка, как серебряна денюга. О Герасиме я не думала я, и думать не хочу. О тебе поминала. Сама не знаю с чего! Много людей в Москве, много шума, а ты наш, нижегородский. Одинешеньки мы с тобой на чужбине.

— Герасим тоже с наших мест.

— Дерево ты, а не человек. Сказала — не хочу Герасима! Русский бог с ним! Мордовский бог с тобой и со мной! Ай, как я ждала тебя! Какой ты хороший! Высотою ты с дуб, красотою с цветок. Люблю таких!

Она опять указала пальцем на сулею и звонко рассмеялась.

— Сулея моя говорит: возьми меня!

Андрейка, слегка захмелевший, затрясся от смеха, хотя самому было удивительно, отчего же он смеется, а главное: «возьми меня!» Их, ты!

Андрейка от удовольствия потер ладони, и скромное слово у него сорвалось, ветлужское. Охима слегка шлепнула его по спине.

— Эти притчи я слыхала! Дорогой наслушалась! Попридержи язык! Дурень! Взгляни на небо — месяц... и звездочки...

Андрейка воскликнул ревниво:

— Тебе бы теперича Алтыша!

Охима отвернулась от него. Андрей смутился.

— Чадунско безумное — вот што!

— Любишь Алтыша? Я его убью! — тихо проворчал Андрей, нахмурившись.

— Ох-хо-хо! Какой удаленький!

Охима обернулась, посмотрела в лицо парню с ласковой улыбкой и обняла его.

— Зачем убивать? Пускай живет.

Андрей крепко сжал ее в своих руках. От запаха ее теплой, смуглой шеи у него закружилась голова. Пряди волос прикасались к лицу Андрейки, словно ласковое дуновение ветерка.

— Ласточка! Гляди на месяц. Будто мы с тобой одни в Москве. Никого нет. Токмо ты, девственница, я... да месяц!

— Алтыш пускай живет... — прошептала она.

— Пу-с-ка-а-й! Чам-Пас с ним! Жи-вет... — шептал Андрей, сжимая еще крепче Охиму. — Зачем хорошему человеку умирать! Пускай живет!

— Тише, медведь! — подернула она плечами.

— Не сердись, око чистое, непорочное!

— Говори, говори, Андрейка! Я слушаю.

— Шестьдесят дариг на тебя не променяю.

— Говори, милый... говори! Я слушаю.

— Малинка, солнышком согрета!

— Го-во-ри!

— Твои уста горячей теплой банюшки!

— Давно бы так! Разиня! Всю дорогу я ждала твоей ласки.

— Ах, господи! Что же я раньше! Не люблю я баб за это — никак не поймешь! Да и Герасим, дылда, мешал... бог с ним!

— Русский бог с ним! — смешливым шепотом повторила Охима. — А мордовский с нами... Чам-Пас хороший, добрый, он все прощает. Не как ваш. Ваш сердитый. Што ни сделай — все грех, все грех! Наш добрый. Не препятствует.

Охима поцеловала Андрейку.

— Ты да я! И месяца теперь не надо... Ни к чему! — бессвязно бормотал Андрей. — Аленький цветочек мой!

Браги в кувшине не осталось ни капли. Косой бледный луч осветил часть стола, на котором лежало монисто из серебряных монет, бусы и золоченые сулей.

В окно видны только освещенные месяцем грушевидные главы Николы да высокие, оголенные ветрами березы...

Однажды поздно вечером, когда Андрейка, крадучись, уходил от Охимы, из крапивы вдруг выскочила черная худая тень, испугав до смерти парня.

Приглядевшись, Андрейка узнал того самого чернеца, который заглядывал в хибарку к Охиме и затем исчезал.

— Ты чего как бес перед заутреней? — грозно спросил Андрейка.

— Добрый человек! — жалобным, каким-то противным голосом заговорил чернец. — Давно хочу сказать я тебе, христианская душа, не кланяйся красоте женской, не поддайся на красоту, не возведи на нее очей своих. Многие погибли красоты женской ради... Бежи от той красоты, яко Ной от потопа, яко Лот от Содомы и Гоморры...

Андрейка размахнулся, — монах снова оказался в крапивнике.

— Знай, ворона, свои хоромы! — сердито проворчал Андрейка, перелезая через забор.

Чернец высунулся из крапивника и крикнул вслед парню:

— Ужо тебе! Вспомнянешь меня! — И погрозил кулаком. Обернувшись лицом к жилищу Охимы, тихо, с тяжелым вздохом сказал:

— Истинно рекут на посаде: «Девичий стыд токмо до порога, коль переступила, так и забыла!» Ох, ох, сколь греха кругом!

## Х

В 1508 году хитрый правитель и опытный полководец Ливонии магистр Вальтер фон Плеттенберг заключил с Москвою перемирие на пятьдесят лет. И Москве и Ливонии это было выгодно.

По договору немцы обязались выплачивать Москве ежегодную дань. Плеттенберг признал право России на некоторые земли и города, самовольно отторгнутые у нее Ливонией.

Договор бережно хранился в московском Кремле. Нередко Москва напоминала магистрам о долгах, но немцы ее не выказывали желания платить долги. Напротив, они всегда и везде старались причинять Москве вред.

Еще в 1539 году епископ дерптский сослал «неведомо куды», немца, пушечного мастера, хотевшего уехать на работу в Москву. А в 1549 году немец Иоганн Шлитте, оказавший некоторые услуги московскому правительству, был схвачен в Ливонии и посажен в тюрьму. Он вез с собой в Москву, с согласия германского императора, мастеров и ученых, пожелавших работать в России.

В паспорте, который был выдан Шлитте императором Карлом V, говорилось: «Мы благословили и дозволили упомянутому Иоганну Шлитте, по силе этого писания, во всей нашей империи и во всех наших наследственных княжествах, землях и волостях искать и приглашать разных лиц, как-то: докторов, магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, золотых дел мастеров, плотников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить церкви, копачей колодцев, бумажных мастеров и лекарей, и заключать с ними условия для поездки к великому князю русскому ни от кого невозбранно, во уважение к просьбам, обращенным к нам и к нашим предшественникам отцом нынешнего великого князя, блаженной памяти великим князем Василием Ивановичем и нынешним великим князем».

Шлитте, однако, два года просидел в немецкой тюрьме, а на его письма германский император даже не ответил. Можно было думать, что германский император выдал эту грамоту «для вида», а втайне одобрил поступок ливонских немцев.

Только одному мастеру удалось вырваться из тюрьмы, да и того ливонцы схватили у самого российского рубежа и отрубили ему голову.

Глубоко огорчило все это в ту пору юного царя Ивана. Но, не желая ссориться с Ливонией, он ласково принял в 1550 году ливонских послов для возобновления истекшего сроком договора о перемирии.

Царь Иван согласился продолжить его еще на пять лет, имея желание за это время проверить твердость слова немцев. На приеме он упомянул послам о разорении русских церквей в Ливонии, хотя, по прежнему договору, было дозволено России иметь их для приезжих русских купцов. Он потребовал, чтобы эти церкви немедленно были восстановлены и чтоб отныне немцы не мешали свободному сношению Москвы с заморскими странами. И почему дерптское епископство, исстари платившее вели-

ким князьям дань во Пскове, теперь не платит ее? Царь Иван настаивал, чтобы Дерпт возобновил свои платежи, ибо ливонские власти не должны забывать: Дерпт—русский город Юрьев, а не немецкий.

Послы уехали смущенные, растерянные, не зная, радоваться им или плакать. По приезде домой они передали требования царя епископу дерптскому Иодоку фон Рекке. Епископ был родом из Германии—вестфалец. Человек хитрый, ловкий, он сразу понял, что над Ливонией нависает гроза. Фон Рекке выступил с резким осуждением правов Ордена. А немного спустя, изверившись в исправлении изнеженных, беспечных рыцарей и видя их раздоры, которые постоянно происходили между духовными и светскими властями в Ливонии, тайно заложил епископские владения и уехал обратно в Германию.

Ливонцы говорили:

«Наши деньги пошли в Вестфалию по суку и по воде: там им привольнее, чем дома. Там господа наши построили себе богатые дома, крытые черепицами, а прежде у них в нашей земле были дома, крытые соломой. Вестфалия обогатилась, а Ливония погибла».

Прошло время. Срок и нового договора истек.

В мае 1554 года в Москву опять приехали ливонские послы. В этот раз немцы предлагали заключить с ними мир на пятьдесят лет.

Их принимали глава Посольского приказа Алексей Адашев и дьяк Михайлов. Они напомнили послам о дани, которую не платит Дерпт.

Послы с таким видом, как будто об этом впервые идет речь, спросили:

— За что дань? Ни о какой дани мы ничего не знаем.

Адашев строго, с достоинством сказал:

— Ливонская земля—древняя вотчина великих князей, и немцы должны платить дань. Об этом вы должны знать.

— Ливония никогда не была покорена русскими,—удивленно пожали плечами послы.—Дань можно брать только победителям с побежденных, а известно, что немцы в прежние времена вели большие войны с русскими и мира такого не заключали. Они были независимы от русских, и в прежних мирных условиях никогда и не упоминалось о дани.

Тогда дьяк Михайлов развернул перед ними договор Плеттенберга с Иваном Третьим.

— Вот ваш договор. Здесь вы найдете то, о чем вы забыли. До сих пор государь, по своему долготерпению, ждал, что вы вспомните свои обещания. Но так как вы не хотите платить дань, то ныне государь не станет подписывать мира, пока вы не исполните крестного целования вашего и не выплатите своего долга за все года, что не платили.

Послы пали духом.

— Мы в старых наших писаниях не находим, чтобы великому князю платилась дань, и просим, чтоб все осталось по-старому, а перемирие продолжалось,— просительным голосом заявили они.

— Чудно вы говорите!— ответил Адашев.— Неужели в ваших немецких старых писаниях ничего нет о том, как ваши праотцы незваны-непрощены пришли из-за моря в Ливонию и заняли эту землю вероломно, силою, и много крови славянской пролили? Не желая большего кровопролития, прародители великого государя дозволили немцам на многие века жить в Ливонии, с тем, чтобы за то они платили дань. Неужели вам сие неведомо? Предки ваши в своем обещании были неисправны и не делали того, что следовало. Тогда вы должны за них исполнить их обещание, а если не дадите охотой, то государь возьмет дань сам, своею силою. Терпению его наступил конец.

Послы испугались, стали божиться, что ничего не знают о дани.

Адашев с укоризной громко сказал:

— Так-то вы помните и соблюдаете то, что сами написали и своими печатями запечатали! Целые сто лет и больше прошло, а вы и не подумали о том и не постарались, чтобы потомки ваши с их детьми жили спокойно! Если же вы теперь все еще упорствуете, то мы вам напомним, что с каждого немца вам надо платить по гривне московской, или по десять денег в год.

Послы просили отсрочки в ответе, пока они не получат указа от своего правительства.

Адашев настаивал на немедленном заключении нового договора. Ливонские послы именно от этого-то и хотели избавиться. Но после решительных слов Адашева и Михайлова согласились.

Царь поручил новгородскому наместнику князю Дмитрию

Палецкому подписать с ливонскими послами новый договор, не находя для себя достойным подписывать его собственноручно.

Снова возник вопрос о разоренных церквях и о притеснении русских купцов в Ливонии. Выплатой дани договор обязал один Дерпт с его волостью. Епископу надлежало в течение трех лет собрать дань по немецкой гривне со двора за все недоимочные годы и впредь выплачивать условленные деньги постоянно, каждый год. А буде того он не соблюдет, то сам гермейстер ливонский, архиепископ рижский, все епископы и немецкая власть обязаны принять на себя выплату дани.

Русским купцам предоставляется свободная торговля. Русскому человеку разрешалось ездить по какому угодно пути и в любую сторону сворачивать с дороги. Ливония обязана была пропускать всех едущих к царю и от него иностранцев. Чиновники не должны брать с них никаких пошлин за проезд. Немецким людям московское правительство дозволяло беспрепятственно как въезжать в русскую землю, так и уезжать из нее.

Срок перемирия — пятнадцать лет.

Прошло всего лишь три года, а немцы уже снова дерзко нарушили все пункты договора.

Магистр Вильгельм Фюрстенберг, после кратковременной войны с Польшей, тайно заключил с королем польским и великим князем литовским Сигизмундом-Августом оборонительный и наступательный договор, направленный против Москвы.

Случилось это в сентябре 1557 года.

Царь Иван сильно разгневался на Ливонию, получив это известие.

Вместе с Анастасией он много молился в дворцовой церкви.

— Никто меня в иные времена не посрамлял и не обманывал так, как оные безумцы! — говорил царь жене гневным голосом. — Немцы услаждаются беззаконием, которое закует их же самих в цепи. С такою душой, что у правителей Ливонии, можно привести в шаткость любое царство и повергнуть в убогость любой народ.

. . . . .

Стаи галок кружились над куполом Василия Блаженного.

В предвечерней синеве застыли длинные розовые гряды облаков, между ними остатки косматых, когтистых, темно-бурых кусков разорванной тучи. Гроза сошла; прохладнее стало и тише.

На кремлевской стене, близ Фроловской башни, прогуливаются царь Иван и ратман<sup>1</sup> Нарвы Иоахим Крумгаузен. Его царь сегодня не отпускает от себя ни на минуту, и хотя строго-настрого запретил допускать иноземцев не только на кремлевскую стену, но и близко к стенам, однако, этого купца он сам тайно, чтобы никто не увидел царя вдвоем с простым немцем, привел сюда.

Крумгаузен считался крупнейшим негоднянтом. Вся Германия знала его, а в торговом городе Любеке он был первым человеком. Немало всего повидал он на своем веку. Долго жил в Москве, воспитывал даже здесь своих детей, точно так же, как и еще один близкий Ивану немецкий гость — Ганс Пеннедос. Через них Иван приобрел много друзей среди немецких и ганзейских купцов: Георга Либенгауера из Аугсбурга, Германа Биспинга из Мюнстера, Вейта-Сенга из Июрнберга, которому покровительствовал сам Альбрехт, герцог Баварский; были в связи с Иваном и крупнейшие прусские купцы — Герман Штальбрудер, Николай Пахер и многие другие.

Здесь, на кремлевской стене, обвеваемой приятным ветерком, врывавшимся между каменных зубцов, Иоахим Крумгаузен, почтительно обернувшись лицом к Ивану Васильевичу и слегка наклонясь, тихо говорил:

— Великие государи всех стран бывают благодарны вседержителю, когда их народы сближаются торговыми добрыми делами. И, я так думаю, первую помехою тому ныне на Западном море — свейская гордыня, свейские пираты и покровитель оных, сам свейский кениг... а за ними Англия.

Иван пристально посмотрел на Крумгаузена. Лицо нарвского ратмана было печально. Царь говорил:

— Господу богу угодно испытать мое терпение... Много обид видим мы от немцев. Крымцы, турки и поляки, и ливонские магистры не радуют нас соседскими добродетелями. Явственные ласкатели на словах, они редко бывают причиной нашей радости. И нет среди них более лживого и коварного соседа, нежели ваши немцы. (Об Англии

---

<sup>1</sup> Р а т м а н — правитель города (гражданский).



царь не сказал ни слова, как будто и не слышал упоминания о ней).

Крумгаузен покачал головой в знак сочувствия.

— Великий государь! Многие убытки понесли от этого несогласия торговые люди немецких земель, желающие жить со всеми в мире, но более всех подвергает нас опасностям в Балтийском море все же английское и швейцарское соседство. Его величество Фердинанд, немецкий император, не внял роптанию иноземных государей и склонился на сторону любекских купцов, позволил нам ездить в твое государство и возить вам и серу, и железо, и медь, красную и зеленую, и свинец, но...

Иван нахмурился.

— Знаю. И про швейцарских правителей знаю. И они поживились от нас. Швейцарского короля Густава я наказал. Не он ли десять лет назад писал архиепископу рижскому, чтоб тот не пропускал в Москву иноземных людей, кои имели охоту послужить нашему государству? Не он ли поднимал Марию Английскую, датского короля, Польшу, Орден и всех латынян против меня? Но Мария написала мне о лиходействе Густава и прислала мне посланников дружбы. Густав вопил на весь мир, якобы настало время оттеснить наше государство к Уралу. Но я наказал его, отбил в Финляндии наши древние вотчины до Выборга. И послов его с перемирием не принял. Он торговал мясом,—пускай с Новгородом имеет дело, с моим воеводой. Недостойно дарю с мясником на одну доску становиться. Карелия и Ингрия, то бишь Карельская и Ижорская земли, со всеми прилегающими к оным местами издревле принадлежат нам. То и сами швейцарские правители не могут отрицать. Тоже и немцы. В московских летописях издревле значатся города: Сыренск, ныне именуемый Нейшлосом, Юрьев, ныне носящий имя Дерпт, Колывань, именуемый Ревелем, наш старый город Костер стал Олденторном, а Ругодив — Нарвой... и не я ли хочу иметь в Нарве свободное купечество? Немцы нам мешают повсеместно.

Царь повысил голос. Крумгаузен стих. Он хорошо запомнил историю с Шлитте. Он знал, что разговор этот неминуемо натолкнется на воспоминание о том печальном происшествии, которое едва ли не главною причиною послужило к разногласиям между Москвой и Ливонией.

Иван взял Крумгаузена под руку,— доставив тем самым немцу величайшую честь, приведшую его в удивле-

ние,—и пошел вместе с ним вдоль по стене... На красивом молодом лице царя легли черты глубокой задумчивости. В такие минуты он выглядел старше своих лет. И вообще, как уже заметили многие иностранцы, Иван бывал «неровен до неузнаваемости».

Раздумывая об этом, Крумгаузен не заметил, как царь вдруг отошел от него к одной из крепостных пушек и стал со всех сторон осматривать ее.

— Честь и слава Аристотелю фрязину<sup>1</sup>,— сказал, поглаживая пушку, Иван,—за совесть деду моему послужил... Кабы мне бог послал такого! Великим размыслом и zelo парочитым пушечником был. Честные руки, хотя и иноземец. Мы не охочи быть на поводу у иноземцев, но от благого не отказываемся.

На лице его появилась улыбка.

— Многое множество иноземцев, ваше царское величество, готовы стать на службу Москве...

Царь пристально посмотрел на Крумгаузена. Видно было, что царь волнуется. Опять он дотронулся своею рукою до руки спутника.

— Многие почитают нас за прямоту и силу нашу, но многие ли примят нам? Многие ли платят добром за доброту нашу? И слово свое держат, как держим мы? Про нас болтают за рубежом, будто глаза мы выкальваем иноземным размыслом, взамен благодарности. Пугают добрых людей, чтобы не ехали к нам...

Немного помолчав, царь продолжал:

— Пришел к нам на подворье молодой беглый... Покаялся и слово принес на своего владыку, на холопа нашего Колычева. А ныне стал он мастер изрядный. Смышлен и остер. Ловчее многолетнего старца в пушечном деле, познал многие кузнечные и литейные диковины. И знаешь ли, у кого он научился?

Крумгаузен с любопытством спросил:

— Коли то не тайна, поведай, государь.

— У пленного шведа, взятого под Выборгом. Повелел я воеводам того шведа одарить щедро и к вере нашей не нудити, а пушкаря мастера поставить десятником на Пушечном дворе. Мои враги — либо глупцы, либо воры-из-

---

<sup>1</sup> Инженер и архитектор итальянец Фиоравенти, приехавший на службу в Москву в царствование Ивана III («фрязин» — означало итальянец).

менники. Друзья — разумные и честные, но не смелы, робки... Я помогу им быть смелыми, а они помогут мне побороть врагов. Есть и у нас свои люди, мастера превосходные. Дайте нам срок, а там... Бог не без милости!..

Царь умолк. Лицо его покрылось красными пятнами. Брови зашевелились. Он стал подергивать плечом — признак разгневанности. Остановился в пролете между каменными зубцами стены и стал жадно вдыхать свежий воздух.

Крумгаузен отвернулся, как бы не примечая волнения царя.

— Солнце село, — сказал царь, — пора молиться да ко сну приготовить себя. Побродили мы с тобой вдосталь. Моя воля ведома тебе, образумь ливонских своих земляков, верши задуманное... Московский царь не обойдет достойных. Поезжай домой, кличь купцов... Говори с ними! Слободу для вас построим богатую. За доброе я добром и плачу.

Вернувшись во дворец, Иван Васильевич долго брезгливо мыл руки, проклиная немца, а потом перед иконами молился, прося прощения у бога за то, что осквернил себя беседою с немецким торгашом, да еще наедине.

На берегу Яузы, в небольшом бревенчатом домике, обнесенном высоким частоколом, ночью происходил совет. Собрались прибывшие в Москву из Германии и вольных ганзейских городов немецкие купцы. Все сошлись на том, что надо просить императора Фердинанда образумить Ливонию, спасти ее от гибели. Царь зело гневается на нее. Не мешает склонить императора на союз Москвы с Веной, ибо не пришло еще время войны с царем, а торговые и иные дела дадут немцам знание сей страны и прочую выгоду.

Лица купцов, освещенные колеблющимся пламенем свечи, были озабочены.

Баварец Биспинг писал. Иногда, отрываясь от письма, он с большою горячностью доказывал своим соплеменникам, что много неправды пишут в Европе об Иване Васильевиче. Противники сближения империи с московским царем всегда выставляют как причину — его варварство, упорство, жадность и прочее.

Все это далеко от истины. И тут же Биспинг заговорил о жестокости английской королевы Марии, которую сам народ называл Марией Кровавой. Крумгаузен упомянул об

испанцах и о римских папах... Под диктовку товарищей Биспинг написал:

«... московский царь — верующий христианин. У него самые благие намерения, и если ему приходится прибегать к жестоким и крутым мерам, то только оттого, что он окружен дурными людьми. Лишь стоит установить с царем дружественные отношения, и от него добьешься многого, чего и ожидать трудно. Всем известно расположение царя к немцам. Каспар Эберфельд может подтвердить, что царь намерен просить у герцога Клевского руки его дочери для царевича. Рат Мюнстера хочет восстать против этого. Боятся вредных для себя от того сближения последствий, — не повредит ли то его торговле. Царь обращается с пленными всегда кротко, очень мягко. Напрасно о том худое болтают в Европе. Пленники-иноземцы расселяются им на мирное жительство по разным городам и не уничтожаются. Им позволено заниматься торговлею, ремеслами и даже поступать на государственную службу».

Крумгаузен просит добавить к этому:

«...и сожаления достойно, что, вопреки согласию императора, любекские и ливонские власти не допустили до Москвы саксонца Шлитте с мастерами и учеными, выписанными в Москву царем Иваном. Многие из любекских и других купцов и ратманов считают то большою ошибкою. И непонятно, чего ради в продолжение многих лет ливонские, датские и шведские каперы мешают сношениям Москвы с Европой... Но дело еще не потеряно. Император может заключить прочный союз с царем, который всегда к этому стремится. Что же касается военной силы и денежных средств, то их у московского царя больше, чем у всех немецких князей вместе. А какой прекрасный замок в Москве, какие великолепные каменные дворцы и соборы! И едва ли по величине найдется город, который мог бы сравниться с Москвою...»

Крумгаузен улыбнулся:

— Добавьте: «А русские девицы, кстати сказать, всех превосходят своею красотою и не имеют себе подобных».

Все рассмеялись, и не потому, что Крумгаузен увеличил красоту русских девиц, а потому, что хорошо знали слабости седеющего хитреца Иоахима!

— Неисправимый гуляка! — укоризненно покачал головой угрюмый Вейт-Сенг.

Сальная свеча догорала. Под окном оживился сверчок. Где-то поблизости сторожа с поспешностью, очнувшись от сна, нестройно ударили в железные доски, вторя бою часов на Фроловской башне.

Письмо кончалось просьбой, обращенной к императору, о снаряжении в Москву посольства с предложением дружбы и военного союза. Говорилось в письме о том, что у Ивана Васильевича завязалась большая дружба с Англией и что этому надо помешать. Нельзя допустить, чтобы образованная в Лондоне «Московская компания» заняла первенствующее место в торговле. «Пусть Англия ведет торговое плавание через Студеное море, а мы будем торговать через Балтийское».

Так заканчивалось письмо.

Свеча погасла, где-то поблизости церковушка звала к заутрене.

. . . . .

Этой же ночью во дворце царь собрал всех своих любимых дьяков Посольского приказа во главе с Иваном Михайловичем Висковатым и Андреем Яковлевичем Щелкаловым. Дело обсуждалось наиважнейшее, равное объявлению войны Ливонии: царь приказал составить «последнее письмо» ливонскому магистру Вильгельму Фюрстенбергу. После долгих разговоров и горячих, полных негодования речей Ивана Васильевича было составлено следующее письмо:

«...Вильгельм, магистр ливонский, и архиепископ рижский, и епископ дерптский, и другие епископы, и все жители Ливонии! Вы прислали к нам своих послов, знатных мужей Иоанна Бокгорста и Отто Гротгузена, Вальмера Врангеля с его спутниками, с повинной головой, чтобы мы помиловали великого магистра и архиепископа дерптского и других епископов и всех жителей Ливонии и приказали бы нашим наместникам в Новгороде и Пскове заключить с ними мир по старине. Но мы приказали нашим наместникам не заключать мира ради вашей несправедливости и хотели искать на вас вашу неправду. Но Иоанн Бокгорст, ваш посол и товарищ, обещал нам, что великий магистр и архиепископ рижский, и епископ дерптский, и все жители Ливонии исправят их неправду, очистят русские церкви и церковные земли, позволят торговать нашим гостям и купцам ливонскими и заморскими всякими товарами, кроме

оружия: что епископ дерптский соберет дани и все оставшееся неуплаченным за все прошедшие годы, с каждого человека по немецкой марке, и пришлет нам эту дань в три года мира. И что впредь епископ будет выдавать беспрекословно нам эту дань и без всяких стеснений будет пропускать из-за моря из всех земель людей, желающих поступить к нам на службу. И что вы ни в каком деле ничем не будете помогать королю польскому или великому князю литовскому, о чем ясно написано в перемирной грамоте. Наши наместники в Великом Новгороде и Пскове целовали крест на перемирной грамоте, приложили к ней свои печати для нашего посла Терпигорева, для того чтобы по этой грамоте вы справедливо решили все дела с нами и нашими наместниками, как написано в грамоте. Но до этого часа вы не уладили еще ни одного из всех этих дел ни с нами, ни с нашими наместниками. И мы, чтобы не проливать христианской крови, часто напоминали вам письмами, чтобы во всех делах вы честно исполняли перемирную грамоту, оставили бы ваши несправедливые и лживые речи и признали бы свою вину, чтобы не проливалась невинная кровь. Но вы не обратили внимания на наше помилование, и нашу охранную грамоту вы взяли только затем, чтобы затянуть дело. Так как вы ни во что ставите божеские законы и всякую правду и, несмотря на крестное целование, пренебрегли нашей милостью, то, ради справедливости нашей, мы намерены призвать на помощь всемогущего бога и отплатить вам за ваши неправды и нарушение крестного целования, насколько нам поможет всемогущий господь. Мы, христианский государь, не радуемся пролитию невинной крови — ни христианской, ни неверной. Пролита кровь будет не ради нашей, но вашей неправды, знайте это! Поэтому теперь, ради вашей неправды, мы покажем вам нашу великую власть. Этого моего слугу, которого я посылаю вам, вы, по перемирной грамоте, не задерживайте, а отправляйте его назад. Писано нашим величеством, при нашем дворе, в городе Москве, в ноябре 1557 г.»

. . . . .

В приходе Максима Исповедника, что у Варварского съезда на «аглицком дворе», напряженно склонившись над бумагами, сидело несколько длинноволосых английских купцов. Постигали русский язык. Трудно давалась наука. Самое

легкое слово, которое быстро усваивалось: «М-о-с-к-о-у-в-а». Его они повторяли десятки раз с блаженной улыбкой. Сэр Томас Грин, сам удивившись на себя, как-то сразу выпалил целую фразу: «У Москау мног-га ле-сса!..» И неистово после того закашлялся. Его товарищи думали, что он подавился, постукали его по спине. Обливаясь потом, поданные королевы Марии изо всех сил тужились выговорить необходимые им русские слова, но напрасно метался язык во рту,— и зубы мешали, и горло оказывалось ненужным. Трудно! А нужно. Ведь в этой отдаленной от Англии стране можно многим попользоваться. Страна обширная и богатая.

Увы! Тревога! Немцы начали окружать царя! Многие из ганзейских и иных немецких купцов прекрасно говорят по-русски. Хитрущие! И когда только успели? Верные люди передавали, что склонить они хотят императора Фердинанда... на союз с Москвой! Русский язык весьма большую пользу оказал им. Даже с самим царем Иваном Васильевичем ведут они беседы без толмачей. Не обидно ли членам лондонской «Московской компании», «открывшей Московию»?!

На стене, под стеклом в золотой раме, чернела писанная ломаными извилистыми буквами с хвостами продолговатая царская грамота. Только одну ее наизусть пока и выучили торговые люди; в ней говорилось:

«Мы даруем полную волю и право производить всякого рода торговлю свободно и покойно, без всякого стеснения, препятствия, пошлин, налогов, стеснительных форм и прочее».

Она давала англичанам право вольно жить и ездить для торгова повсеместно, где они пожелают, заводить лавочную торговлю в гостиных дворах, строить дома, принимать русских людей к себе в работники, брать с них крестоцеловальную запись в добром выполнении работы, наказывать их, увольнять при нарушении клятвы и брать на работу других людей.

Много всяких иных привилегий дано царем английским купцам. Только из-за того, чтобы самому, своими глазами, прочитать грамоту о дарских милостях,— и то стоит научиться русскому языку! А ведь задумано большое дело: объехать все города и богатые торговые села в России, договориться с тамошними купцами. Выгода предвидится большая.

Пока дела идут так себе, ничего. Студеное (Белое) море принимает в свои воды только английские корабли. Весь

северный край уже знает английских торговых людей. Лды Северного океана вовсе не так страшны для того, кто хочет выгоды для себя. Правда, доблестный мореплаватель сэр Уиллоуби так и не доплыл до Двины — замерз со своими спутниками близ берегов Лапландии, но ведь он был первый... Старший кормчий плавания Ричард Ченслер, поплывший в Московию вслед за ним, уже оказался счастливец. Одоление морей и океанов не достигается без жертв. И купец, так же как и воин, покоря неизведанные страны, всегда должен быть готов погибнуть за свое дело. Так самим господом богом устроено. Только дикарь этого не понимает, а просвещенный купец давно уразумел это, а потому и цели своей добивается.

Именитый лондонский торговый человек Ричард Грей по дороге в Москву тоже застрял, но только в селе Холмогорах, и по другой причине: весьма соблазнила его вологодская пенька. Таких канатов, какие производят русские мужики в Холмогорах из этой самой пеньки, в Англии и не видывали. Раньше Англия получала канаты из Данцига, теперь будет получать из Холмогор. Эти лучше немецких. Ричард Грей уже начал строить канатную фабрику на берегу Северной Двины, с милостивого согласия царя Ивана Васильевича. Нельзя же сырую пеньку возить в Англию, — это обошлось бы дорого и места на кораблях пенька заняла бы много. Ричард Грей с приятелями рассудил, что выгоднее построить канатную фабрику в Холмогорах и возить в Англию готовые канаты, нежели заваливать корабли пенькой. И он не ошибся.

О севере России английский купец не беспокоится. Связь налажена, британский купец там прочно засел, но... не перехитрили бы немецкие купцы англичан где-либо в другом месте. Это тревожит.

Вот ведь, поди ж ты! Немцы уже научились говорить по-русски. Иоахим Крумгаузен по-московски говорит не хуже, чем по-немецки. И потом... Прибалтика! Что-то уж много немцев налезло через Нарву в Ивангород! Не дай бог, коли они захватят торговлю новгородскую и псковскую!

— То... маш-ш-ш... ний пфтида! — наклонившись над исписанной каракулями бумагой, с хмурым упрямством твердил скорняк — рыжий Аллард. — Гу-усь! Гу-усь!

Он зажал уши, чтобы не слышать разговоры своих соседей. Его мечта — скупить в России целые корабли домашней птицы, разных зверей, особенно бобров... Надо



знать название каждой птицы, каждой зверюги. Задача немалая! Какое счастье, что завязали торговлю с Москвией!

Товарищам угрюмого бородача Георга Киллингворта казалось, что он их долбит молотком по голове, так звучал его басистый голос, с усилием сотню раз повторявший: «Ваше царское величество!». (Во время приема во дворце царь обратил внимание на его пышную громадную бороду и тихонько шепнул о том митрополиту Макарию, который сказал: «Божий дар!»)

К вечеру в избу вбежал старшина английского торгового посольства в Москве Дженкинсон. Он был взволнован. Скороговоркой сообщил он своим землякам, что только сейчас в Кремле на стене Крумгаузен целый час беседовал о чем-то с царем Иваном Васильевичем. Ни одного иностранца царь не допускает на кремлевскую стену, а тут сам пригласил. Разговор был тайный, и, конечно, не обошлось без того, чтобы Крумгаузен не наговорил чего-нибудь на англичан.

Что делать? Каким образом оттеснить немцев от царя Ивана Васильевича? Ведь они хотят посорить Россию с Англией. Давняя их мечта.

Вокруг этого вопроса разгорелись горячие споры. Кто говорил, что надо усилить надзор на Балтийском море, уведомив о том Англию. Пускай пошлют к берегам Скандинавии и Ютландии, а также и в Балтику побольше вооруженных кораблей, которые бы топили немецкие разбойничьи суда, идущие в Россию. Другие советовали натравить на немцев польских и шведских пиратов. Это будет удобнее и стоит дешевле. Третьи советовали подкупить ближайших вельмож царя, с тем, чтобы они отговорили его от войны с Ливонией, которая, повидимому, должна непременно произойти. Не лучше ли царю развить мореплавание по северному морскому пути, проложенному уже из Англии в Россию? Ведь это же его мысль, его, царя Ивана Васильевича! Не он ли так радовался прибытию первого английского корабля в бухту св. Николая! Конечно, Балтийское море... путь короче... лучше... но... немецкие пираты!..

Дженкинсон с возмущением высказался о ганзейских купцах, которые еще не оставили мысли быть первыми торговцами в России: немало они мешали Англии, немало теснили Швецию, но все же они лезут, не сдаются. Вот и Крумгаузен — не кто иной, как агент Ганзы. Надо этому

положить конец. Ни Москве, ни Англии пользы от немцев нечего ждать.

Дженкинсон задумался после своих горячих негодующих слов о немцах и о том, как с ними бороться.

Усевшись за общий стол, он тихо сказал:

— Предвижу, друзья! Великая борьба будет между нами и немцами из-за Москвы.

Поздно ночью разошлись английские торговые люди по домам, поклявшись друг другу не выпускать из своих рук превосходства в торговых делах с Россией.

. . . . .

Иван Васильевич разговаривал с Анастасией о торговле с иноземцами.

— Можно ли почесть друзьями немецких купцов? — задумчиво произнес он, сидя в кресле около расположившейся на покой Анастасии. — Они превозносят мои добродетели превыше истины. Они лицемерно закрывают глаза на мою немощь, на мои окаянства... Они лгут, ради своей выгоды, там, где, по-божьему, следовало бы говорить правду обо мне. Хитрецы и лицемеры! Стало быть, мы понадобились им. Не верю я им! Что ты скажешь, государыня?

Анастасия, облокотившись на руку, приподнялась на подушке. Лицо ее выражало тревогу.

— Веру свою не умыслили бы нам немцы вчинить? — вопросительно глядя на царя, произнесла она.

Царь рассмеялся.

— Веру мы не покупаем и не торгуем ею, но то правда, что купцы заморские меняют королей, меняют веру, меняют рабов на лошадей и собак, и, пожалуй, кто-нибудь знатно разбогател бы, сменив нашу веру в государстве на латынскую или на лютерскую. Папские люди уже пытались, да токмо более пытаться не будут. Я хорошо плачу иноземцам, ратным людям, они служат мне, а коли вздумаю умалить лепту мою, — они продадут свой меч иным государям.. и будут поносить меня. Сегодня славил, завтра отрекутся от того, ради хулы и клеветы. Изгнанники — купцы и послы — уехали за рубеж, великую небылицу возводят на меня, но ничего не пишут о себе, како ползали они, ради выгод своих, у моих ног. Род неверный, коварный.

— Гони их! Не надо нам таких! — раздумываявшись от гнева, сердито сказала Анастасия.

— Не можно так! — покачал головою Иван, тяжело вздохнув. Ричард Ченслер помог мне в дружбе с королевой англичкой. Яким Крумгаузен — ратман Нарвы, купецкий вожак; в ином деле он сильнее меня. Он мне нужен, и я ему. Либенгауер, Биспинг и многие другие аломанские купцы — лгуны и лицемеры, но без них захиреет любой владыка. Они мочны свести меня с императором более, нежели ангелы мира.

Иван поднялся, стал ходить из угла в угол дарицной опочивальни. Анастасия знает, что царь не прочь сблизиться с Карлом и он же боится этого сближения. Она много раз видела мужа — то в бешенстве проклиняющего немцев и расхваливающего англичан, то все же отдающего предпочтение немецким купцам и ругающего англичан.

Лицо Ивана стало сумрачным.

— Все пригоже делать ко времени, а царям надлежит все делать во-время... Холоп проспит лишнее, — ему плеть, а государь коли проспит, — сделает несчастным все царство, особливо имея таких соседей, как немецкие рыцари!..

Анастасию клонило ко сну. Царь заметил это. Подошел к ней, нежно погладил большою рукой ее голову.

— Спи. Не стану докучать тебе. А все же нам с немцами воевать придется.

Иван крепко поделовал жену и ушел в свои покои.

Там он развернул на столе карту Ливонии, присланную ему одним купцом из Голландии, и в глубоком раздумьи склонился над ней.

## XI

Декабрь. Снег и холод часто сменяются оттепелью. Южные ветры в полях обнажили кое-где землю.

В один из таких дней по бревенчатым мостовым, скользким от мокрого снега и грязи, из Пушкарской слободы потянулся превеликий караван.

Осадные большие пушки на длинных колесницах, запряженных десятками лошадей, покачивались на широких лотках. В лучах солнца сверкала их начищенная бронза. На пушках верхом сидели с фитилями в руках тепло одетые пушкари.

Сбежавшийся на улице народ с уважением и страхом взирал на суровых, загадочных под нахлобученными шело-

мами, пушкарей. По бокам телег тихим шагом ехали верховые.

Орудий много — и полевых, и полковых: двойные пушки (с двумя жерлами), крупные василиски и гаковницы, чеканенные молитвами, и гауфницы, они же дробовики, на них чеканка: «Иван Васильевич — царь всея Руси», и широкодульные мортиры. На телегах более мелкие орудия: среднекалиберные пищали, прозванные змейками, малокалиберные короткие фальконеты. Около них пушкар с железными вилами-подставками.

Часть орудия кованая, остальные — литье.

Андрейка ехал на вороном коне около большого наряда. Он должен был участвовать в огневой потехе не только как мастер-литец, но и как пушкарь. С гордостью поглядывая он на длинную вереницу движущихся возов с пушками.

Из-под самых ног коней разбегались куры, озорники-ребятишки. Тявкали неистово собаки, спрятавшись в подворотни. Много труда стоило возницам сдерживать коней, чтобы они и телеги не сползли в канавы.

Грузно, шумно тянутся воза с громадными ящиками. В них каменные, железные и свинцовые ядра, прозванные — иные «соловьями», иные «девками», иные «воинами». Около них мастера пушечного дела, русские и иноземцы, тоже верхами на конях.

Зеленые бочки<sup>1</sup> — в татарских арбах с сеном.

Воздух оглашается трубами, рогами, бубнами... За воеводами везут громадные медные барабаны, набаты. В каждый набат бьют восемь человек.

Вспугнутое войском, взлетает с деревьев воронье. Тучей носится оно, иступленно каркая, словно стараясь заглушить весь этот шум.

Обозы с народом уже в поле. Рогатка остается позади.

. . . . .

Под звон соборных колоколов на белом аргамаче выехал из Кремля высокий, бравый царь Иван Васильевич.

Его сопровождали: юный младший брат его Юрий Васильевич, князь Владимир Андреевич, князя Курбский, Шуйский и Воротынский, Глинский, Адашев Данила и многие другие, на испанских и турецких скакунах.

---

<sup>1</sup> Зелёе — порох.

Царь одет в теплый стеганный кафтан, расшитый золотом, и высокую с орлиными перьями мурмолку. Она опущена сободем, усыпана жемчугом и дорогими камнями. Князья в теплых, богатых зипунах.

Но вот царь остановил коня на Красной площади. Князья выехали вперед, построились по-трое в ряд, а впереди них пошли колонны стрельцов в красных охабнях, по пяти человек в шеренге. Каждый стрелец нес на левом плече пищаль, держа в правой руке фитиль.

По пути следования царя сустились старосты и пристава, разгоняя юродивых, нищих и непотребных женок.

Лицо царя было задумчивым. Иногда он вдруг переводил взгляд на толпу и начинал с любопытством рассматривать сбежавшихся сюда из Гончарной и Конюшной слобод обывателей. Низко, до земли, кланялись посадские люди царю, обнажив головы.

Вельможи гарцевали браво, ловко управляя конями, как истые наездники. (Не прошли даром состязания с татарскими всадниками, что устраивал Иван Васильевич на Луговой стороне!)

Перейдя по льду реку, царский поезд двинулся через захолустную слободу Котлы. Здесь и подавно из всех ямских, монастырских и жиледких дворов повывезли любопытные.

К месту маневров помчались ертоульные (передовые всадники, разведчики), чтобы возвестить войску о прибытии государя.

Царь выехал в поле впереди всех.

Воеводы дали знак. Загудели трубы, загрохотали набаты. Войско застыло около пушек, издали завидев царственного всадника. На убранный парчою и коврами помост, с секирами в руках стройно вошла стрелецкая стража. Соскочив с коня, быстро поднялся и царь Иван. А с ним брат его Юрий, князья Владимир, Курбский, Воротынский и Мстиславский, затем Данила Адашев и принятый царем на службу к военному делу казанский царек Шиг-Алей. Все другие помчались на свои места к войску.

Среди поля—одна на другую сложенные глыбы льда; рядом несколько бревенчатых домов, набитых землею; вдали—наподобие людей чучела.

Приготовления к пальбе еще не окончились.

Войско широко растянулось по всему полю до самой сосновой рощи. На левом крыле были размещены маленькие

орудия; ближе к правому они становились все крупнее и крупнее. Позади пушек, у коновязи, виднелись распряженные кони, телеги, белели только что раскинутые шатры.

Андрейка слез с коня, подошел к мастеру Топоркову.

— Давай осматривать туры. Воевода Телятьев приказал! — крикнул Топорков.

Туры были неодинаковы. Одни больше, другие меньше. Топорков и Андрей попробовали, хороши ли кольца, крепко ли их опутывает плетенье из ивовых лоз, достаточно ли навалено земли и щебня к плетенью, не прощипывает ли землю неприятельским снарядом.

— Плохо водой смочили, — сказал Топорков, — земля не гораздо села. Хорошая поливка землю крепит.

Стрелецкий десятник, под чьим присмотром возводились туры, виновато оправдывался.

— Не взглянул бы Иван Васильевич!.. Мотри!.. Плохо-ти будет. Запаса земли да щебня у тебя немного. Заделывать пробоины чем?

Андрейка осудил бойницы: много пустоты меж туров для пушечных дул.

Сигнал к стрельбе.

Поднялась суматоха. Замелькали длинные фитили. Люди торопливо носили к пушкам ядра.

Андрейка, подтягивая стеганные порты, бегал около мортир, следил, верно ли кладут зелье под каменное ядро, в кармане мерка — небольшой лубяной коробок. Мортиры, около которых он остановился, должны были разбить одну из ледяных глыб.

Первый залп вышел не совсем ладен. Ядра перелетели через лед. Андрейка с сердцем плюнул, ругнулся, велел еще подсыпать зелья, легонько пригнуть дуло. Второй залп раздробил в мелкие куски четыре громадные льдины. Обливаясь потом, Андрейка тут же начал опять помогать пушкарям наводить дуло.

Разбить дом, наполненный землею, было потруднее. Пушкари вздыхали, поглядывали в сторону царского помоста с тревогой.

Они выбрали крупные мортиры весом по триста фунтов. Заложили в них ядра. Андрейка велел всыпать пороха по четыре фунта под каждое ядро. Насыпали осторожно, чтобы не потерять ни крупинки.

Сося, вразвалку подошел воевода Телятьев. Покачи-

вая неодобрительно головою, следил он за работой пушкарей.

— Вы, дрыгуны! У меня штоб в крышу, а ни куды! Сам батюшка-государь взирает на ту избу, бейте!

Пушкарки и Андрейка ползали на коленях по мокрой земле, стараясь лучше прицелиться.

Раздался выстрел.

Крыши на избе как не бывало. Бревна съехали набок, земля взлетела вверх, клубы пыли расползались, черные, густые.

Царь весело рассмеялся. Он указал рукою на эту мишень, проговорил Курбскому на ухо:

— Кабы все так! Одари!

Курбский сошел с помоста, сел на коня и поехал узнать, какие пушкарки разбили избу.

Телятьев, размахивая хворостиной, бежал вокруг пушкарей. Он был красный от волнения.

— Крушите! Разнесите ее! Ну, ну, ну! Живее, живее!

Андрейка оттолкнул пушкарей, постучал деревянным молотком по стволу орудия. Телятьев, ругнувшись, стал совать гранату, торопился.

— Постой, воевода!— сердито выдернул из его рук ядро Андрейка.

Телятьев позеленел от злости.

— Прочь, холоп!

Парень смело отстранил его.

— Стой, боярин! Не видишь? Ядро не гоже... Прежде, нежели наряжать, его подобает осматривать, а тут три щелинки, три морщинки видны... Гляди! Разорвет! Неладно из литья вышло. Сенька, давай другое!— крикнул он товарищу.

Телятьев отнял ядро у Андрея, намереваясь сам заряжать. Тот вырвал ядро обратно. Телятьев схватился за саблю.

— Боров проклятый! Я тебя проучу!

В это время около них остановился на коне князь Курбский.

— Стой, князь!— крикнул Курбский.— Зачем бряцаешь?— спросил он.

Телятьев рассказал князю Курбскому, какое оскорбление нанес этот холоп ему, воеводе и князю Телятьеву.

— Кто разбил избу ту?

Пушкарки указали на Андрея.

— Чего ради ты ослушался князя?

— Негоже то ядро. Рябое оно, худо слито. Воевода кладет его в мортиру. Воспротивился я, чтоб не сгубить пушку, да и людям смертоубийства не учинить.

— Бери ядро... пойдем к царю. Да и ты, князь, пожалуй к государю. Спор ваш мне люб и требует доброго прилежания, чтобы рассудить его. И к поучению сие полезно.

Курбский медленно поехал вперед. Телятьев за ним. Позади их с ядром деловито шагал Андрей, сердито посматривая на толпу ратников, разинувших от любопытства и удивления рты.

Прежде чем допустить боярина и пушкаря на царский помост, Курбский испросил на то разрешения у царя. Получив его, он ввел на помост князя Телятьева и затем Андрейку, который, увидав царя, опустился на колени.

— Поднимись!—ласково кивнул ему царь.

Курбский доложил Ивану, как все было.

— Слушаю тебя,—обратившись к парню, произнес царь.

— Взгляни, пресветлый государь!—Андрейка показал ядро.—Негладкое литье, морщина! Годно ли оно для наряженья? Коли ядро не совершенно круглое, пушку в дуле разрывает.

Царь Иван нахмурился.

— Что скажешь ты, боярин?—спросил он Телятьева.

— Видел и я то ядро, но не нахожу к тому причины, чтоб не стрелять им.

Насмешливая улыбка скользнула по лицу царя.

— Суждение твое, Кирилл Максимович, мудрее суждения пушкаря, на то ты и воевода. Покажи нам пример, как без болезни тем ядром палить... Клади его в пушку своими руками, а мы посмотрим. Иди!—и, обратившись к Курбскому, сказал:—Проводи!

Телятьев побледнел, но, поклонившись царю, гордой поступью сошел с помоста, сел на коня и поехал рысью к своим турам, провожаемый недобрый взглядом царя. Только два дня тому назад царю донесли о хуле, которую произнес Телятьев у князя Владимира, негодуя на государя.

Андрею было приказано остаться на помосте.

— Государь,—молвил, кланяясь до земли, парень,—не мочно то, да и наряда жаль. Мортира та новая, и твое имя царское на ней чеканено.



Иван Васильевич рассмеялся:

— А боярина Телятьева тебе не жаль? Мортира любя тебе, а князь?

Что ответить?—Андрей не знал. Покраснел.

Царь стал серьезен, отвернулся. Выстрелы следовали один за другим. Иногда раздавался залп сразу десятка пушек. Дрожь пробирала кое-кого из бояр от этой пальбы. Андрейка видел, что царь с большим вниманием любит происходящим разгромом ледяных изб. И это было приятно Андрею. Стало быть, царь Иван понимает его, пушкаря, который тоже любит стрельбу и старается быть лучшим из пушкарей и мастеров. Да! Мортиру жалко, а неразумного боярина не жаль! Бог с ним! Бояр много, а пушек—ой, как мало!

Курбский вернулся к царю с донесением: пушку разорвало, а князя Телятьева шибко ударило. Унесли его и положили в шатер. Царь повернул голову в сторону Андрейки. Несколько минут испытующе смотрел ему в лицо, а потом спросил с плохо скрываемой улыбкой:

— Кого же тебе жаль: князя или пушку?

Андрейка теперь не мог кривить душой. Его сердце наполнилось злобой к Телятьеву.

— Пушку!—не задумываясь, ответил он.

Царь расхохотался. Князь Курбский сердито покосился на парня.

— Скажи Юрьеву,—обратился князь к Курбскому,—пускай выдаст молодцу в награду пятьдесят ефимков... А чтоб вежество<sup>1</sup> соблюсти—и десяток плетей отпустил ему, этому ершу. Бояр надо уважать. Пусть то запомнит смерд!

Курбский сделал рукой знак Андрейке, чтобы он уходил. Андрейка вернулся к своему месту на стрельбище, красный, озадаченный. За что же плети? После того и ефимкам рад не будешь.

На поле ни ледяных глыб, ни домов—все обращено в прах. Теперь затинные пищали били по чучелам. Одно за другим падали чучела. Меткие выстрелы пищальников оживили Андрейку. Любо ему было смотреть, как треплет ветерок космы расстрелянных чучел. Одно только, как заноза, сидело в сердце: обида на царя.

После того пускали вверх «греческий огонь».<sup>2</sup> Огнен-

---

<sup>1</sup> Вежество — добрый порядок, приличие.

<sup>2</sup> «Греческий огонь» — подобие ракет.

ные шары высоко в поднебесьи с оглушительным треском лопались, и тучи золотистых звездочек, падая вниз, медленно таяли, не долетев до земли.

В толпе любопытных на окраине стрельбища было много иностранцев: купцов, мастеров, приезжих людей. Все они с удивлением смотрели на огневое искусство москвитов. Дженкинсон после этой шутейной стрельбы расхваливал в толпе иноземцев и царя, и войско.

— У русских,—говорил он,—прекрасная артиллерия. Нынешний царь Иван Васильевич превосходит всех своих предшественников в твердости и отваге.

А в Посольской избе написал письмо на родину, в котором говорил:

«Нет христианского государя, коего больше бы боялись и больше любили, чем этого. Его величество принимает и хорошо вознаграждает иностранцев, приезжающих к нему на службу, особенно военных».

Расходясь по домам, чужеземцы перешептывались, что царь забавляется не зря,—теперь ясно, что Москва готовится к походу. Говорили они между собой и о силе и могуществе московского царя и о том, что, конечно, виденное ими далеко не все, чем обладает московский царь.

В этот вечер Иван Васильевич ужинал у себя в покоях с царицею и ее братом, степенным, богобоязненным Даниилом Романовичем Юрьевым. Невысок ростом, худ, с жиденькой бородашкой.

За ужином царь, смеясь, рассказал Анастасии, как проучил он Телятьева и каким молодцом оказался колычевский мужик, убежавший из вотчины.

Ужин прошел в веселой, бодрой беседе. Из слов Ивана Васильевича было видно, что он остался доволен стрельбищем. Об одном пожалел царь — в войске мало хороших пушек.

Самому бы поездить по чужим странам да посмотреть своими глазами, какие там пушки, и как их делают, и как они бьют! Посланный за границу князь Лыков с товарищами, правда, кое о чем разведal и фальконеты государю из латинских городов привез, но этого мало. Да новому строю и способу боя хотелось бы у иноземцев поучиться. Многое одряхлело... и многое народилось вновь.

Иван задумчиво, как бы про себя, сказал:

— Есть мудрые мужи, способные царю благой совет давать. Есть мысли старейших, до нас живших, нетленные. Ими питаемся. Никакие драконы блудомыслия, никакие измышления пустоглагольников не могли погрязнуть им, но... кто скажет мне: где сильны мы сохранением старого завета, соблюдением древнего порядка и где мы слабы им? И все ли новое, хотя бы оно было лепо и сверкающе, государству на пользу? И все ли оно божье, а не колдовское? Высокое достоинство советников правителя и сила их разума в познании меры. Ущерб старому в иное время так же прискорбен, как и неприятие нового. Воздержание и возжелание не живут согласно. А я слаб. Каюсь! Страсти сильнее меня.

Данила Романович и Анастасия ничего не могли сказать в ответ на речь царя.

Анастасия держала на коленях царевича Ивана в племени, с которым он не расставался.

Царица видела выражение растерянности на лице мужа и думала, как бы перевести разговор на другое. Но разве можно? Иван Васильевич любит, чтобы она была его советницей.

— Батюшка-государь! — нарушила она молчание. — Господь бог — лучший советник владык. Он развеет волшебство и укажет путь к правде.

Иван Васильевич улыбнулся, ласково кивнул ей, как бы одобряя ее слова, но от Анастасии не укрылась усмешливость в глазах его. Да, она знает, что царь не получил ответа на свои мысли и что он втайне посмеивается над ее словами, но не хочет обидеть ее.

Иван указал Даниле Романовичу на сына:

— А ну-ка, Данила, поставим его в большой полк! Обрядим его в броню, дадим меч, посадим на коня и объявим: «Царевич поведет войско!»

Все рассмеялись.

Иван сказал:

— То-то потеха стала бы! Бояре лютее льва рыкающего ошетинятся! Ярмо и в том увидели бы! А надо бы. Жаль — мал он!

Анастасия сняла шлем с сына, прижала царевича к груди:

— Пустое! Не дам я его! Поставь своего Курбского.

Иван, наливая в сулею из кувшина брагу, усмехнулся:

— Послушать бы, о чем без дая, у себя дома, говорят мои князья! А я знаю, что более всего толкуют они о роде своем... Кто кичится тем, что произошел он от князей ярославских, кто-де прямой суздальский владыка, иной кричит: во мне течет кровь князей смоленских! Сатана слушает их речи и радуется: то Сигизмунда-Августа пальцем поманит к вам на землю, то крымского Девлета, то свейского, то немецкого, то Солимана. А князькам недосуг—они делят Русь на княжества и спорят, кто кого старше... Дальше своих уделов ничего не видят. Государство им не нужно.

Немного подумав, царь добавил:

— Не надобно им силы царства! Родословие им превыше всего. Император германский либо король свейский больше наших князьков думают о нашем государстве.

Иван Васильевич с горькой усмешкой покачал головою и тяжело вздохнул.

— Донес мне Владимиров человек, будто боярин Телятьев хулил меня, что царь-де отнял все, не велит бегать от одного государя к другому, царь приказал сидеть им на месте и верою и правдою служить... править тем, над чем поставлены. Вольность! К татарскому игу привела та вольность! А ныне, узнал я, новгородское вече они прославляют. Блудные сыны и лукавцы! Новгородская вольница—не сестра им и не опора нашему царству. Славят они ее назло мне. А Сильвеструшко им потакает. Новгородский попик себе на уме. Всю ночь Сильвестр вчера пировал у князя Владимира.

Иван нахмурился.

— И решил я поставить вождем над войском не Курбского и никакого иного русского князя, а татарина Шиг-Алея. А в придачу к нему пойдешь ты, Данила. (Данила Романович встал, поклонился и опять сел.) Да дядька пойдет... Михайла<sup>1</sup>. Князей посадим полковыми воеводами. Государю не род нужен, не знатность, а служба. Мишка Репнин отказывается идти под рукой Басманова. Князьку-де постыдно слушать недавнего дворянина. А Басманов к огневому бою приучен лучше, нежели князь Репнин. Князь Куракин не хочет стать рядом с Павлом Заболоцким. Но кто же из князей может равняться по искусству конного боя с казаком Заболоцким! Пускай татарин начальствует!

---

<sup>1</sup> Михаил Глинский — дядя царя (по матери).

над ними. А царевича, мать моя, мы побережем. Будет время, повоюет! Много у нас, русских, врагов! И внукам и правнукам хватит. Чем будем сильнее, тем больше врагов явится.

— А я пойду!— крикнул царевич, крепко прижатый к груди матерью.

Царь расхохотался.

— Что скажешь, Данила?

Данила Романович встал, поклонился:

— Царскую доблесть и достоинство видим мы в царевиче с младенческих лет. Любовь великого царя к сыну— залог счастья всея Руси.

Иван поднялся, взял царевича на руки и крепко его поцеловал. Курчавый, черноглазый мальчик погладил ручками щеки отца и сморщился: «коючие».

Анастасия с материнским восхищением смотрела на сына.

Охима день ото дня все сильнее привязывалась к Андрею. Она теперь и подумать боялась, что когда-нибудь ей придется расстаться с ним. Между тем приготовления к войне происходили у всех на глазах. Шла упорная молва о близком выступлении войска в поход. Прежде Охима никогда не вникала в разговор о войне, о царе, о Ливонии—теперь ловила каждое слово, которое говорилось на Печатном дворе. Иван Федоров и Мстиславец любили поговорить и поспорить обо всем, касавшемся государевых дел. О будущей войне с Ливонией они говорили как о хорошем, нужном деле. Федоров негодовал на ливонских рыцарей, задержавших книги, краску и станки, выписанные царем из Голландии для Печатного двора. Он говорил: «Давно бы мы напечатали Апостол и не только Апостол, но и многие иные книги, кабы из-за моря перевезены были нужные станки. А тем, что их нет, великий урон учинился и всем государевым делам, ибо печать во многом бы помогла государеву правлению, и не творилось бы столь великой разногласицы в областях и уездах по государеву делу, и все стали бы знать: как нужно жить, как богу молиться и как народом править...»

Охима видела, как Иван Федоров и Мстиславец плакали, узнав, что пемцы перехватили заморские товары для Печатного двора.

Война обязательно будет! Охима теперь уже в том не сомневалась, но... Андрей!

Он ежедневно приходил к ней и уходил, когда на звоннице Николая колокол ударил к утрене, а в окно начинал проникать розовый ответ зари.

«Ах, Андрей! Если ты долго не приходишь, то как будто и солнце меркнет, и зелень садов за окнами вянет, и весна не весна, и лето не лето, и осень не осень, и зима не зима! Околдовал ты меня, одутал чарами волшебными, словно рыбку, что попадает в сети к рыбаку. Она трепещет в тех сетях, а силы не имеет, чтоб разорвать их и уйти на волю, в водяное царство!»

В таких размышлениях повседневно мучилась Охима, ожидая Андрея.

И в этот вечер ее волновали те же мысли, но только теперь уже не лето: вместо зелени—голые сучья в снегу, все побелело за окнами, и недолго стал день, и рано темнеет, и колокол бьет к утрене в глубокой темени. И Андрей уходит очень-очень рано, не видя зари; и она провожает его тоже в холоде и темени, когда несносно скрипят половицы и хрипло лают псы, не узнавая в темноте Андрея.

Андрей в этот раз пришел невеселый. А когда он, мокрый, весь в снегу, раздевался, на улицах били набаты и пронзительно завывали рожки.

— Со стрельбища! Измучился,— тихо проговорил он. — Пушку разорвало. Жалко мне.

Охима обняла его. Чем она может одарить его, кроме своей любви? Нет у нее ни вина, ни яств никаких, сама живет кое-как. Одна любовь! Но Андрею больше ничего и не надо. Он сам принес ей краюху хлеба и вареного мяса из Пушечной избы. Не было для Охимы наибольшего счастья, как только слушать Андрея. А он любил рассказывать ей о своем пушечном деле, о том, как научился он ковать и лить пушки. Сам царь похвалил его.

Андрей мечтал сварить большую-большую пушку, чтобы влезло в нее такое ядро, каким сразу можно сбить любую башню, пробить любую стену и уничтожить сотни врагов.

Охима, лаская его, нежно шептала, что нет на свете такого человека, который разуверит ее в том, что ее Андрей не сделает такую пушку. Ее Андрей способен еще не на такие дела; ее Андрею надо было бы родить-

ся царем, а не крестьянином, не мастером литейного дела и не пушкарем. Пригожее Андрея и на лицо никого не найдешь на всей земле, а потому он и сможет, только он один, сделать такую пушку.

Она так расхваливала своего друга, что тот начинал своей широкой ладонью, пахнувшей ворванью и дымом, зажимать ей рот.

— Буде. Твой Андрей не токмо царем, но и хорошим пушкарем не бывал, да и, бог ведает, будет ли! Война покажет, гождь ли я в пушкари. И не надо, Охима,— не стели, не мели, не ври, не плети. Хочу я быть дюжим литцом, а покедова—ягненок бесхвостый, вот кто я! И как обидно, коли убьют меня и умру я, не оставив после себя пребольшущей пушки.

— Оставишь! Оставишь!—утирая слезы, сказала Охима.— Пошто умирать? Не надо о том и говорить. А на войну я тебя не пушу!

— Пустишь. Я такой, как и все. Не отстану от товарищей. Люди—Иван, а я—Иван, люди в воду—и я в воду, а тут война. Да штоб я остался в Москве и сидел бы в литейных ямах, а товарищи будут там воевать?! Нет, Охима, хоть и люблю я тебя, а от войны николи не отступлюсь. Штоб Андрей сидел тут супостатам в утеху? Николи!

В избу постучали.

Охима вскочила, оправилась, отворила дверь.

Вошел Иван Федоров.

Страхнув с себя снежок, обтер ноги о половик. Помолвился, вздохнул.

— Вашему сиденью!—приветствовал он.

— Добро пожаловать!—ответила Охима.

Пушкарь почтительно вскочил со скамьи. Иван Федоров сел. Стал расспрашивать Андрея о стрельбе из наряда у Калужской рогатки, о том, видел ли парень царя-батюшку.

Андрей рассказал о стрельбании и о том, как Телятеев погубил пушку и как царь Иван велел наградить его, Андрейку, пятьюдесятью ефимками.. (О плетях умолчал, не желая срамить себя перед Охимой.)

С большим вниманием выслушал его Федоров, а потом, ласково улыбнувшись, сказал:

— Вижу я, парень ты смышлекый, не пропадешь. Наш царь мудрый, по люди около него пехорошно. Соблазном

его окружают. Ну, да бог поможет ему отгородиться от них.

Он завел беседу о войне, сказал, что и сам бы взял меч и лук и пошел бы к ливонскому рубежу, да царь его с Печатного двора не пускает.

— Как народ-то? Охоч ли до войны?

Андрейка ответил: нет ни одного человека при наряде и в Пушкарской слободе, чтоб боялся войны с Ливонией. Все наслышаны о том утешении, что чинит немец русскому человеку: разоряет его церкви, мучает православных, не пускает заморские корабли, грабит московское добро на суше и даже землею владеет древнерусскою, а не своей.

— Коим голосом рывкает,— сказал усмехнувшись Андрейка,—таким и отравкнется. Наш меч—их голова! Пришло, стало быть, такое время. И кто должен, тот повинен платить.

Иван Федоров остался доволен беседою с Андреем.

— Да благословит тя господь!— И поклонившись, дымок вышел из горницы.

Охима во все время их разговора с любовью и гордостью следила за Андреем, а когда остались одни, она обняла его.

— Лучше тебя никого нет!

Только что она это сказала, как в избу вломился какой-то человек с двумя стрельцами.

Андрейка вскочил озадаченный. Сердце его затрепетало. Сразу догадался, что это пришли за ним. И когда ближе подвинулся к вошедшим, то узнал Василия Грязного. Это он пришел со стрельцами за ним, чтобы вести его на съезжую.

— Эге!— рассмеялся Грязной, глядя на Охиму.— Иль не во-время? Так вот ты где, молодчик, скрываешься! Спасибо добрым людям, указали, а то бы мы тебя и не разыскали.

Охима поднялась, бледная, испуганная.

В отблеске сальной свечи сверкнули ястребиные глаза незнакомого ей человека.

— Пушкарь меток... ай, меток! Ай, меток!— с ехидной улыбкою качал головой Грязной, дерзко оглядывая Охиму.

— Провались! Чего зенки таращишь?

— У-у!.. Ты сердита!— Ястребиные глаза масляно заблестели.



Андрейка обнял Охиму, проворчав:

— Полно! Не кручинься! Вернись.

— Вернешься ли?—сказал со злой усмешкой на губах Грязной. Охима заплакала.

— Не реви, горлица! Царские плети не позорище для холопа, а награда. Ну, ты! Петух! Оторвься от своей клуши! Гей, ребята, веди его!

Стрельбы набросились было на Андрея, но он их отпихнул и сам быстро вышел из избы.

Охима заплакала, рванулась за ним, сбила с ног двух стрельцов.

Но... было поздно.

Андрей, стрельцы и Грязной—все потонуло во мраке.

Охима, ослабев от тоски и ужаса, прижалась к косяку двери. Было холодно, сыро и темно кругом. Ее трясло, как в лихорадке. Она не заметила в темноте, что рядом с ней, совсем рядом, притаившись за углом избы, стоял преследовавший ее чернец, который и привел сюда Василия Грязного.

. . . . .

Утром царь собрал в Большой палате бояр и воевод. Как всегда, бояре в хмурой робости, переминаясь с ноги на ногу, бросали исподлбья вопрошающие взгляды на царя: в духе ли? Все изучено: все складки и морщиняки на лице Ивана Васильевича, и как держит руки, когда спокоен, и как сложены пальцы, коли сердит, и какой посох в руке... На все—приметы. В этот раз ничего дурного, предвещавшего гнев, не замечено. Опустился в кресло на возвышении мягко, не порывисто. После того с царского разрешения заняли свои места и бояре. Рядом с царем, пониже его, сел митрополит. С другой стороны—его младший брат Юрий Васильевич, тихий-тихий, болезненный юноша, а за ним князь Владимир Андреевич, беспокойным взглядом обводивший бояр.

— Бояре!—сказал царь.—Бог наш, вседержитель, вразумил нас поднять победоносную хоругвь и крест чествой, в веках непобедимый, на великую брань с лютыми врагами нашими, немцами, разоряющими православные храмы, оскверняющими лютерским лаем наши святыни, пападающими на наших людей на рубеже и многая скверны сотворившими во зло и хулу нам, еретически прикрываясь крестом.

— Бояре! Настало время поднять наш меч веры и правды. Чего ждать от того царства, коим правят вероломные обманщики и разбойники, лютерские и латинские попы и монахи? Честные люди не имеют силы в той стране, чтобы побороть коварство рыцарей. Лифляндские воеводы строят себе замки, чтоб в них запирались. От кого? От своего же народа. Всемогущий бог повелел с врагом биться в открытом бою, не щадя себя, коль родина пребывает в опасности. Укрываться в замках и ждать, коли на тебя нападут,— нехитрое дело! Вчуже им земля, вчуже им и чухна, над коей они власть имеют. Нет совести—нет и порядка и силы! Бог наказал их! Нет у них доброго, любящего свой народ правителя, ибо нет у них и своего народа. Все чужое, краденое. Как рой чужд без матки не может быть, а рассыплется, так и народ без правителя. Рыцарство не страшно нам! Государства, грабежом живущие, тлению подлежат, не должны жить! Именем господа бога, вседержителя мира, я поднимая московское знамя брани. Завтра наши люди из конца в конец земли русской услышат царское слово, зовущее на битву. Князья-воеводы! Двинем наше непобедимое войско в посрамление вражеской гордыни! Да благословит нас господь бог на то великое дело!

Тишину нарушили только тяжелые вздохи бояр.

Митрополит сидел, низко опустив голову, пока царь не сказал:

— Слушайте! Праведный владыка церкви господней совершит в соборе великое моление.

— Да будет так! Аминь!—воскликнул митрополит, быстро вставая с своего места.

Поднялись, как один, с своих мест и бояре.

Царь кликнул воевод, поставленных вождями ополчения.

На середину палаты браво шагнули: Шиг-Алей, Данила Романович, Михаил Глинский, Курбский, Данила Адашев, Серебряный, Иван Шуйский, Алексей Басманов, Бутурлин, Куракин, Заболоцкий и другие.

Они приблизились к царскому трону.

Митрополит поднял руки вверх:

— Восклищайте господу всяя земли! Торжествуйте! Веселитесь и пойте! При звуке труб и рога торжествуйте перед царем-господом! Да шумит море и все, что наполняет его! Да плещут реки, да ликуют горы перед лицом господа, ибо он идет судить землю! Он будет су-

дигь вселенную праведно и народы — мудро! Меч правды и силы да будет благословен!

Митрополит умолк, поклонившись царю, затем Юрию Васильевичу, князю Владимиру Андреевичу и боярам.

Царь и бояре ответили ему низким, смиренным поклоном.

— Помните, крепостей пока не осаждают, промыслять врага в поле. Делайте не то, чего хотят ливонские князи. Не щадите врага! Пускай устрашатся, восплачутся и потеряют надежды. Ратуйте во славу России, детей и внуков наших!

Воеводы слушали царя, склонив головы.

После того в палату вошли рынды в белоснежных, обшитых серебром кафтанах, как на подбор — красавцы-юноши. В руках у каждого было знамя.

Началась церемония вручения знамен полковым воеводам. Каждый воевода, принимая знамя, целовал руку царю и угол полотнища у знамени, а затем вместе со знаменем подходил к митрополиту под благословение.

Над Москвою расплывался грозным гудом мощный благовест соборных кремлевских колоколов.

## ХII

Герасим, посаженный на землю у ливонского рубежа, быстро обжился там, стал своим человеком.

Вдоль ливонской границы немало разверстано было насечной стражи, переброшенной с южных окраин государства. Зорко охранялись рубежи Московского государства не только от татар по берегам Оки, но и от Литвы, Ливонии и Швеции. Больше всего было рассеяно здесь боярских детей и дворян, вновь испомещенных и щедро одаренных царем, чтоб верно служили.

Именитый воевода, князь Василий Путятин, был назначен головою пограничников.

«Украинной» знати многое было не понутру. Ведь здесь приобретался почет только «за усторожливую службу»: превыше всего ставилась сторожевая «справность», а родовое превосходство не пользовалось здесь установившимся почетом.

Земли, полученные дворянами за военную доблесть, тут почитались достойнее родовых земель.

И многие природные вельможи вздыхали, что по ми-

доси батюшки-царя на высшие должности поднимались люди военными и сторожевыми заслугами, а не родом.

Герасиму нарежали участок земли в двадцать пять четой.

На рубеже не опасались того, чтобы «не смешать знатных с поповыми и мужичьими детьми, и холопами боярскими, и слугами монастырскими», однако, кто познатнее, все-таки коровил держаться в стороне от незнатных, неродовитых станичников, которых звали «севрюками».

Староста того участка засеки, куда был посажен Герасим, сын боярский Еремей Еремеев, оказался тоже человеком простым, из захудалых дворян. Со всеми умел ладить и ко всем у него находилось доброе слово. Раньше он тоже служил кем-то при царском дворе.

Посланный Иваном Васильевичем для смотра «украинной» службы князь Енгальчев у многих за «худую службу» на засеках земельные оклады «убавлявал», а в Еремеевской станице многим «прибавлявал».

Один дворянин пожаловался Енгальчеву, что-де его брат службою равен, а получает больше, что он беден оттого. Енгальчев произвел следствие. Выяснилось: брат этого дворянина охраняет рубежи ревностнее, чем жалобщик.

Енгальчев заявил при всем станичном сходе:

— Великий государь Иван Васильевич не за бедность верстает дворян землею, а за доблесть в государственной службе. Бедняки пускай просят милостыню, а служилые люди добывают себе благоусердием. А коли ты еще пожалуешься, то мы вовсе спишем твою землю на государя.

. . . . .  
Луна серебрила большое поле и рощу на холме. Герасим точил копье. Привязанные к частоколу кони дремали, низко опустив головы. Мягкая, темная, полуснежная ночь клонила и самого Герасима ко сну. В теплом стеганом тегиляе да в кольчуге поверх него—словно на пуховой постели.

Догорали последние сучья в костре. Граненый накопчик копья при вращении вспыхивал ярче огня—острее не наточишь! Пламя костра золотило сложенную из новеньких бревен сторожевую вышку. Наверху стояла Параша, дочь псковского стрельца. Высокая девушка в

теплой, опушенной мехом шубке. Каждый раз, когда Герасим в карауле, она тайком от родителей привозит ему верхом на коне из пограничного стана вареное мясо, хлеб. Он мог бы и сам все это захватывать с собой, когда едет на сторожку, да... лучше пускай она привозит. Недалеко! Да на коне! Да притом же из ее рук вкуснее как-то.

Параша смотрела вдаль, где освещенная луной снежная равнина словно колыхнется, и словно не снег там, а волнистая поверхность большого-большого озера.

— Слезай, девка, не увидали бы! — позвал ее Герасим.

Да и она сама знает, что надо уходить, — женщине на сторожке, да еще у караульного места, быть не полагается. С какою бы радостью она осталась здесь, чтобы быть около Герасима, слушать его сказки, пошевеливая копыем уголья в костре!

— Ты меня гонишь? — говорит она, чтобы оттянуть время.

— Полно, Паранька! Не притворяйся! Что вчера же отец твой говорил? «Лучше козу иметь на дворе, нежели дочь. Коза по улицам ходит — млеко в дом приносит...»

— Перестань! — замахала на него руками Параша.

— «...а взрослая дочь, — смеясь, продолжал Герасим, — если учнет часто из дому исходить, то великий срам и отцу, и матери, и всему роду принесет...»

— Видать, надоела я тебе! Вот и говоришь... и насмеяешься.

— Чего там! Отец бы не заметил. Стыдно мне! Он, как перо, летает... Не ждешь его, а он тут как тут. И тебе худо придется.

Параша опустилась по лесенке вниз. Положила руку на плечо Герасиму.

— С той поры, что у нас ты в стане и как узнала я тебя, мне все думается, будто от меня ты что-то скрываешь. Уж не женат ли ты?

— Христос с тобой! Уймись! Глупая ты, а еще псковская, городская... Ужель не видишь — время-то какое! Может, жив сегодня, а может, завтра меня и не будет... Во Пскове о войне токмо и разговор.

— Смотри, грешно тебе будет, коли неправду рассказываешь! — вздохнула Параша. — И без войны мы тут сегодня живы, а завтра... один господь бог ведает, что с нами будет... Эх, чем удивил, парень! На берегах царства

всегда так... И отцы наши так жили, и деды так жили... Прех роптать! В барской неволе — сам говоришь — куда хуже!

Герасим залюбовался высокою, мужественною стрелецкой дочерью. За ее бесстрашие, ловкость, набожность и спокойный ум и полюбил он ее. Еще в детстве, маленькой девочкой, по рассказам людей, она уже была в плену у польских воевод и слышала звон сабель над собою, когда ее отбивали и увозили на коне обратно в крепость... Параша и стреляла, и саблей рубилась, как стрельцы. Выросла в воинских таборах порубежья. А вместе с тем, у кого еще есть на свете такой нежный, закрадывающийся в самую душу голос? У кого есть такие честные, умные глаза? А эти белые, шелковые, такие ласковые руки!

Герасим вздохнул.

— Грех роптать, Параша, правда. Сегодня трава растет, а завтра и ее нет. Так говорят здесь. Помнишь, — впервые ты ко мне сюда пришла, здесь кузнечики стрекотали, трава была, а теперь снег и стужа... И волки воют по почам.. и ветры пригибают колья в засеке, и о войне разговоры, а мы...

Опять усмешка на лице Параша.

— Когда цветок растет, а с ним играет солнце, думает ли он о снеге? Смешной ты! Не надо думать о том, чего нет, думай о том, что есть... У нас во Пскове да в Новгороде люди не такие... Жалобиться грех!

Герасим поднялся с бревна, на котором сидел, схватил копьё. Прислушался. Почудился конский топот. Притаилась и Параша. Нет ничего! Померещилось.

— Ступай... Садись скорее на коня! — шепнул Герасим. — От беды!

Параша ежится, смотрит на него с улыбкой. Он должен ее обнять.

— Для нас нет снега, нет зимы, а батюшка с матушкой благословят нас... Знаю я, — прошептала она.

Заткнув за кушак полы шубки, девушка ловко вскочила на коня, хлестнула его и вскоре исчезла из глаз.

Герасим снял шапку, перекрестился, посмотрел на сигнальные шесты с пучками сена — в порядке ли они — и пошел к коню.

«Неужели ошибся?» — думал Герасим. Он так ясно слышал конский топот. Нет ли и в самом деле кого?

Не подстерегает ли кто? Время тревожное. К Искову каждый день идут толпы воинских людей из Москвы и других городов. Ливония чувствует беду. Враг хитер и коварен. Змеєю он стелется по земле, незримо ползает в полях и долинах и вдруг коршуном налетает там, где его меньше всего ждут. А ныпче и вовсе приказ дан — не ждать, когда враг нападет, а самим выходить за рубеж и шарить по ямам и рощам «языки», ловить их и тащить на аркане в засечный стан.

Герасим сел на коня. Крепко сжал копьё, примкнув древко к стремени, и переехал пограничный ров. Конь сильный, горячий, легко берет всякие препятствия. Царь еще и еще раз строго-настрого наказал воеводам давать станичникам наилучших коней. Воеводы ближних крепостей должны быстро узнавать от гонцов о наступлении врага.

Герасим свято повинуется приказам даря и военачальников. Он полюбил службу. Вот почему люди бегают из барских вотчин сюда, на рубежи Московского государства! Про тех беглецов ведают и сам дарь, да не наказывает их. Ходят слухи, что в «городовые казаки» хочет дарь обратить перубежную стражу. Вот куда пошло! Никто из засечников, бывших беглых, гулящих людей, не томится в тоске по родной деревне. Умереть в бою, гоня врага от своей земли, самому богу угодно, а поместиться под батогами на боярской конюшне — черту! Теперь даже не верится, чтобы такое существовало. А как хорошо понимаешь, что значит своя, родная земля, сидя на коне у врат государства. Здесь, в ночной тиши, на страже, ясно, как крепко ты связан со своею землею, как дорога она тебе! И кажется, что шепчет она: «будь верен мне до конца».

Громадная снежная равнина, залитая лунным светом! Отсюда начинается Ливония. Кажется, что и конь ступает с тем же чувством гордости и сознания своей силы, с каким он, Герасим, повернув коня, смотрит через ров назад, на свою землю, туда, где осталась его вышка, станица, Параша. Ведь там же и Москва, и Андрейка, и храмы, и деревни... Вся Русь там! Сердце трепещет от волнения у Герасима. Он ласково гладит теплую шелковистую шею Гедесона, величает его нежными словами, разговаривает с ним, как с человеком.

. . . . .

Параша в раздумьи опустила поводья. Конь пошел тихим шагом вдоль рубежа.

Отец говорит, что не время теперь думать о замужестве. Но как же не думать, когда не видишься с Герасимом день, а кажется—год. Раньше так не случалось. Люди казались все одинаковыми и в Пскове, и в стане у рубежа. Суетные, хитрые, погруженные в торговлю и богомолье псковские люди. И стар и млад думает только о наживе. В стане служба! Только служба и сплетни! Бедняки... тихие, смиренные, боятся слово сказать.

Герасим какой-то иной, не похожий ни на тех, ни на других. На стороже—он думает только о службе, а на отдыхе поет песни, рассказывает сказы о жар-птице, о волшебниках и любит странствовать по окрестным полям и лесам и думать о том, что должно быть впереди... По его словам, жизнь должна быть иной! Какой-то деревенский парень, кто он—неизвестно, но он поймает эту жар-птицу, и тогда настанет правда, а кривду забьют в колоду и спустят на дно морское, привязав к ней тяжелый камень. А до моря недалеко, и к морю будет продолжен путь.

Говорил он о правде и кривде красиво, и щеки его покрывались румянцем...

Параша знает, что Герасим думает не о себе, а обо всех. И любимая поговорка его: «Терпение и труд—все перетрут!» Он так верит в то, что терпение и труд когда-то должны уничтожить все горести, что и Параша невольно начинает верить в это же.

А на вид суров и смотрит исподлобья, но душа такая, какую могут иметь только честные, добрые люди. И богу он горячо молится, с верою. Это главное.

Вот какой человек Герасим! И найдешь ли другого такого? Да и не надо его искать! Судьба сама посылает его ей, Параше. Никого не надо! И отцу и матери он пришелся по сердцу!

С такими мыслями девушка, сама того не замечая, отъехала далеко от дороги, и когда очнулась от своих мыслей, то никак не могла понять, куда она заехала. Вокруг была снежная пустыня да сбоку рвы и бугры.

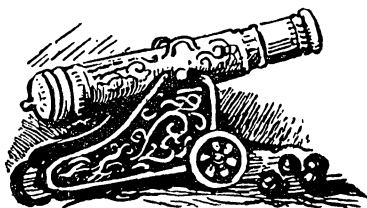
И вдруг позади раздался шум. Не успела она опомниться, как несколько человек окружили ее, схватили за поводья коня и повели его в соседний овраг. Она начала кричать, хлестать нагайкой приблизившихся к ней людей,



но ничто не помогло. Ее стащили с коня, связали...  
В овраге были другие кони.

Дальше началась бешеная скачка, замелькали кустарники, деревья...

Крепко связанная веревками, переброшенная через седло, Параша потеряла сознание.





**Ч А С Т Ь**  
**В Т О Р А Я**







I



авно Москва не видала такой вьюги: снежные вихри сокрушительным потоком неслись по кривым посадским улочкам, срывая соломенные и тесовые кровли, ломая деревья, засыпая снегом бревенчатые стены строений, заборы, мосты, сторожевые вышки.

Съехавшиеся из разных уездов воинские люди с трудом пробивались сквозь снежную муть бурана.

Приказ царя явиться из поместий «конными, людными и оружными» выполнил и боярин Колычев.

Закутавшись в меховую доху, он всю дорогу дремал в удобном, обитом лосевою шкурою, возке и только на окраине Москвы, проклиная войну, вьюгу и новые порядки, вылез наружу и велел подать ему коня. С трудом взобрался на него, ворча, сгорбился в седле, съежился от холода. Хриплым голосом крикнул, чтобы к арчаку седла

привязали маленький набат. Там что бы то ни было, а боярский обычай соблюсти надо. Позор — ехать боярину через толпу, не разгоняя ее, не давая ударами в набат знать о себе, о своем великом чине.

Позади Колычева — несколько саней с оружием, броней, лагатами, едой. За обозом на побелевших от инея конях двигалась дружина. Верный слуга Колычева, Дмитрий, к делу и не к делу покрикивал на отстающих. Иногда он подъезжал к развалившимся и подозрительно поглядывал на мужиков, сопровождавших обоз. Ведь там, под рогожами, битая птица, вареное мясо, кадушки масла, меда, караваи хлеба, сухари.

Вступая в Москву, Колычев и все его люди набожно помолились.

— Господи, господи! Узри мучения раба твоего Никиты! — прошептал Колычев, задыхаясь от порывов ветра.

Одно утешало: дружинники его — мужики дородные, отчаянные, — авось, отстоят, коли боярин в беду попадет. И оружие — дай бог каждому! В новеньких обшитых лосиной кожей сздаках луки крепкие, тугие и стрелы легкие с острыми железными наконечниками; есть копья и даже одна пицаль. Турские и казацкие сабли — у всех. Пятеро в латах, семеро в кольчугах, десяток в тегиляях. У всех — наручи, на головах шлемы и железные шапки. Чего же еще? Порадел батюшке-царю сколь сил хватило. В дальние места посылал за железом и саблями. Немало своей казны пораспряс на то дело. «Лучше было бы откупиться, — раздумывал Никита Борисыч, — да как это можно? Никакие деньги не помогут. Ах, Агриппинушка!.. Бог ведает, что с ней теперь? Тяжелой оставил ее. Без меня, гляди, и долгожданное дитё народится!.. И увижу ли я то дитё, благодатию господнею ниспосланное за мою великую любовь к Агриппинушке?»

Грызет раскаянье: «Все так много и так часто упрекал ее за «постыдное неплodство»! Бедная, горькая лебедушка! Прости! Обижал я тебя, сомневался, скаредными словами во хмелю обзывал! Эх, какие все бабы несчастные!»

Чем дальше оставалась позади родная вотчина, тем виноватее чувствовал себя боярин Колычев перед женой, и час от часу сильнее становился страх его перед будущим.

Повернув коня, боярин с растерянным видом пропу-

стил мимо себя обоз и конную челядь: смогут ли его люди защитить его?

Из-под косматых малахаев невесело глянули на него глаза ратников.

— Забыли, братцы?—приветливо спросил он.

— Не! Ничаво!—равнодушно прогудело в ответ.

Колычеву ответ показался недружелюбным. Всю дорогу старался он быть со своими людьми ласковым, заботливым, не как в усадьбе, и вот поди ж ты! Скрепя сердце одаришь их добрым словом, а вместо спасибо: «ничаво!» Вот тут и надейся на них! А как не кормить? Уж если возьмет голод, тогда и вовсе появится голос. На войне холоп молчать не станет. «О, война!—размышлял охваченный тревогой Колычев.—Страшна ты боярину не токмо врагом, но и рабом!»

Снег слепил глаза. Буря оглушала внезапными порывами, даже думать становилось трудно. Обозные кони увязали, и всадникам приходилось слезать с коней, вытаскивать сани из сугробов.

В эти промежутки Колычев доставал из кожаного мешка, висевшего у него сбоку, баклажку с вином и, перекрестившись, прикладывался к ней с особым прилежанием, пока не успокаивалось тоскующее нутро. Неторопливо затем убирал Колычев баклажку снова в сумку и долго после того причмокивал и облизывался. «Господь бог не забывает рабов своих!»—отмахиваясь от снежных комьев бурана, успокаивал он сам себя.

На большой дороге к Китай-городу стало легче. Путь пошел утоптаннее, уезжаннее. Виднелись следы многих коней, солома кружилась в воздухе, глянцебитые полозья от полозьев проглядывали местами сквозь наметы снега.

До слуха вдруг откуда-то издалека, вместе с порывом ветра, долетел грохот пушечного выстрела.

Колычев икнул, почесал затылок: мурашки пробежали по телу.

Встречные одинокие всадники проносились мимо, не кланяясь,—видимо, дарские гонды. Простой народ останавливался, отвечивал поклоны боярину. Колычев снисходительно кивал головою в ответ. На Земляном Валу, предчувствуя близость Кремля, он остановил свой обоз. Крикнул что было мочи:

— Тянись! Прямись! В бока не сдавайсь! Копья не клони!..

Объехал своих людей, остался доволен. Царь любит порядок. Глаз его зорок. Неровен час—оплошность какая! Беда! Не токмо боярином,—не быть тогда и звонарем, и пономарем, пропадай тогда головушка! Весь в своего леда. Покойный Иван Васильевич Третий тоже крут был. Не попусту прозвали его «Грозным»<sup>1</sup>.

У Цокровских ворот стража преградила путь. Из караульной воеводской избы, путаясь в широкой, длинной шубе, вылез боярин. Поклонился Колычеву. Тот ему:

— Спаси Христос!

— Бог спасет!

Подскочили люди, помогли Колычеву слезть с коня. Круглый, как шар, в косматом тулупе, Колычев облобызался с боярином. Старые друзья! Князь Семен Ростовский да Никита Колычев в Казанском походе в ертоульном полку<sup>2</sup> служили. Однажды князь Семен спас Колычева от татарского ятагана. Дружба старинная!

— Войди-ка, погрейся...—сказал Ростовский, ведя под руку Никиту Борисыча в караульную воеводскую избу.

— А вы ожидайте, не ходите покуда!—пихнул князь в грудь одного из стрелецких людей, хотевшего войти в избу.

Когда Колычев и князь Ростовский остались одни, оба сели на лавки друг против друга. От волнения они не могли промолвить ни слова. Слезы покатались у них по щекам.

— Семен... князюшка!—плаксиво воскликнул Колычев.

— Никита... друг!—рыдая, произнес Ростовский.

Оба в отчаянии мотнули головами, не в силах продолжать дальше.

— Давай помолимся!—порывисто стал на колени Ростовский. Колычев мягко скатился на пол. Горький шепот полился из их уст.

Молитва немного успокоила обоих. Вытерли слезы. Сели друг против друга.

— Так это что же такое, куманек? Опять капель на нашу плешь? То на царя перекопского, то на татар ногайских, то на царя казанского, а ныне на кого?—простоном Колычев.

<sup>1</sup> Иоанн III был также прозван боярами «Грозным».

<sup>2</sup> Ертоульный полк—отряд легкой конницы, шедшей впереди войска. Нечто вроде разведчиков. Введен в русское войско во время Иоанна III.

— На магистера ливонского... на немчина.. какого-то... Штоб ему!

— Пошто он нам? Пошто,—туда его бес! Иль мало нам своей свары? Иль не хватает нам земли?

— Наш блажной Дема не любит сидеть дома. О море, вишь, взалкал. В реках да озерах мало ему воды.

— Што ж наши-то молчат? Князь Андрей Михайлович, поди, в чести у него? Што же он? Сильвеструшка? Олешка Адашев?

— Прямиковое слово, что рогатина.. Не слушает никого царь!—Князь Ростовский тяжело вздохнул.— Болел ведь, да вон видишь, таких и смерть не берет... Живучи, осподь с ними. А уж на что бы лучше нам Владимира-то Андреича!.. А?

— Да нешто такого похоронишь? Суховат. Жилист. Могуч. Да что же это я?.. Во, на! баклажку!.. Отведай моего винца-леденца...

Ростовский достал с полки два кубка. Наполнил их. Выпили.

— А как там Петька, нижегородский наместник? Видел ли?

— Властвует,—усмехнулся Колычев.— Девоч портит. Плотию наделен неистовою. Там у нас свои цари... своя воля... Поклон шлет он Курбскому.

— Говорил ты с ним?

— То ж одно, как и мы. Плюется, клянет новины. А народ так и прет к нему. На брань просятся... Худородные носы задрали. Взбеленились бесы и у нас в лесе. Изжога опасная у дворян появилась. Не к добру то.

— Сколь ведешь?

— Два десятка мужичья с двумя. Буде! Просилось боже того. Да куды их! Мне на шею? И то—двумя более положенного.

— Под кого станешь?

— Меньше Данилки Романова да Басманова Алешки мне быть невместно. Мои родичи нигде ниже оных выскочек не стояли. В древности ихние деды по запечью сидели, а мои в бою бились...

— Ну, веди!.. Убери баклажку. Неровен час... Слушальщиков много у него. Никому верить нельзя. Осподь с тобой!

Оба вышли на волю.

— Эй, Агап, отворяй ворота!..



Колычев со всем своим обозом и ратниками медленно проследовал дальше по улице в Китай-город.

Время перевалило за полдень.

Теперь стал ясно слышен кремлевский благовест. Народ по улицам бродил толпами. У многих в руках рогатины, копыя. Повсюду стрелянные<sup>1</sup> стрельцы в красных охабнях. Вид деловой, озабоченный. Наводят порядок на площадях.

Буря уgomонилcя. Просветлело. Лишь слегка выужило.

Стало видно Кремль, грозные каменные стены с бойницами, главы соборов; Фроловскую, Никольскую и другие башни.

Колычеву вспомнилось детство. Оно прошло в Москве. Было время, когда жилось беззаботно. Катался по улицам в нарядных саях, запряженных цугом. На Воробьевы горы и в окрестные рощи да в монастырь всей семьей ездили под охраной стаи конных холопов. Отец Никиты— Борис Колычев— никогда никого не боялся. На все у него была своя воля. Незнаком ему был страх. Иван Третий любил его.

И возрадовалось и встревожилось сердце боярина, когда прошлое поднялось в памяти. Москва, широко раскинувшаяся на холмах и долинах со своим каменным златоглавым Кремлем, с просторными заботливо изукрашенными резьбой арками, переходами и башенками, хоромами и дворами, была так дорога, так близка сердцу Никиты Борисыча, что он не мог не всплакнуть. Отец в былое время твердил ему, что Москва подобна Риму, что стоит она на семи холмах, что Москва— святой город и будет вечным городом. Москва будет превыше всех городов! Так много воспоминаний при виде всех этих домиков и храмов! И так приятно вновь видеть все эти ямы, овраги, пестрые городища, поля, полянки, кулижки, студенцы, пруды, сухощавы или сущевы, болота, лужники и всякие иные местечки!

Все это радовало боярина Никиту, одно удручало: растет, богатеет Москва, крепнет в ней царское самоуправство, а иные славные города, гнезда удельных князей, и даже Новгород Великий и Псков теряют уже свою силу и власть и становятся вотчинами московского великого князя и царя всея Руси.

---

<sup>1</sup> Верховые стрельцы.

Поневоле призадумался: надо ли радоваться этому благоденствию Москвы? Не задавит ли она окончательно вотчинный быт?

Только десять лет прошло с той поры, как она пострадала от большого, невиданной силы, пожара, и вот опять повсеместно выросли новые дворцы, церкви, терема, избы, а в них набились какие-то новые люди. Лишь кое-где развалины сгоревших домов напоминают о пожаре, о старой жизни. Глубоко, стало быть, ушли в русскую землю корни Москвы!

Зря бедный отец радовался московской силе. Посмотрел бы теперь, что делается.

На Красной площади Колычев встретил еще одного своего старого товарища — князя Пронского, низкорослого, носатого старика. Слезли оба с коней, низко поклонились один другому, троекратно облобызались и со слезами в глазах смиренно поделились своими тайными мыслями о начатой царем войне с Ливонией.

Князь Пронский тоже расспросил про нижегородского наместника и про нижегородских вотчинников: как-де судят они о новой войне, а потом шепотом посоветовал сходить к князю Михаилу Репнину.

Никита Борисыч с особым удовольствием поведал старому другу, что на Волге никто из вотчинников и сам наместник войну не одобряют. Все — против. Одно худородное дворянство да дьяки чему-то радуются. Радуются тому, что-де вольности будет боле, надеются земляники себе понабрать: из-под боярского надзора повылезти, стать в войске в один ряд с вельможами, пить вино из одних сосудов, молиться одним же иконам, дышать одним воздухом в крепостях и в шатрах. Вотчинникам и во сне не грезилась придуманная царем война. Не светило, не грело, да вдруг и припекло. Поохали, повздыхали. Шумно сорвалась с деревьев стая вороны — напугала. Разошлись.

Никита Борисыч повел свое войско в Разряд, чтобы разведать, где и к какому полку пристать и куда двигаться дальше.

На Красной площади сразу чувствовалась близость войны. Среди столпившихся подвод, людей с трудом пробивались вооруженные с ног до головы всадники. Колычев, чтобы расчистить себе путь, неистово колотил в набат. Толпы посадских, монахов и мужиков в страхе шарахались в стороны. От людей и от коней шел пар, пахло овчиней,

пбтом, конским навозом... Из-под косматых шапок и трехухов на боярина Колычева смотрели, как ему казалось, злые глаза. В этой тесноте и толчее чудесным образом изловчались петь свои песни неугомонные скоморохи, тренькая на домрах. С ними соперничали, из сил выбиваясь, костлявые странники и хриплые, басистые псы.

Иногда воздух оглашал свист кнута, и кто-нибудь из толпы, закрыв руками лицо, начинал стонать, изрыгая проклятья. Это городовая стрелецкая стража наводила порядок, чтобы не мешали ратникам идти в Кремль.

Колычев повел своих людей через замерзшую Неглинку в Чертольскую слободу, ко двору брата, Ивана Борисыча. «Разрядный приказ подождет»,—решил он, а проведать о московских делах у родного брата нелишне.

Никита Борисыч не ошибся: услышал он от брата весьма важные для себя новости. Иван Борисыч рассказал ему, что до царя дошло, будто он, боярин Никита Колычев, не соблюдает царские указы и что царь zelo разгневался на него, и если б он, Никита, не явился в Москву со своими людьми, плохо бы ему пришлось. Дьяк Юрьев говорил, что государь Иван Васильевич приказал доложить ему: явится ли из Заволжья со своими мужиками боярин Никита Колычев? А всему причиною этот окаянный Васька Грязной. Он и князя Владимира Андреича подвел.

Иван Борисыч подробно рассказал брату о захвате великокняжескими стражниками его, колычевских, гулящих людей и о том, как Грязной отбил их у стражи и привел к царю. А Вешняков — льстец придворный — тоже заодно с Грязным. Помог ему.

Иван Борисыч столько тревожного наговорил своему брату, что у того и голова закружилась, и страшно стало показаться на глаза царю. «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!»—шепнул он, слушая брата.

## II

Колычев был принят царем.

Желал увидеть Ивана Васильевича согнувшимся под тяжестью забот, растерянным, ищущим сочувствия и поддержки у вотчинников,—а увидел его молодым, бодрым, веселым, с осанкою настоящего владыки. За эти пять лет, которые Колычев провел вдали от государева двора, Иван Васильевич сильно возмужал, стал полнее и

даже ростом казался еще выше, в глазах появилась у него гордая самоуверенность.

Приняв поклоны и приветствия от Колычева, царь величественно указал ему на скамью.

— Слухом земля полнится, князь,— медленно говорил он, похлопывая ладонями по локотникам кресла,— боятся, будто неладно у вас, в нижегородских землях. Вотчинники якобы чинят поруку моим порядкам... в мой обиход вступаются... бесчестно оклаживают своим оброком государевых подданных, не могут отстать от кормления... Москве хлеба скупятся посылать...

Колычев, славившийся своею трусостью, настолько растерялся, что никак не мог сразу ответить царю. Заикаясь, краснея, наконец, он сказал:

— Не ведаю, великий государь, како... Малый чин яз!.. Поруку яз не творю... И не мыслю яз, чтоб кто осмелился...

Дальше у него не было сил говорить. Он встал и низко поклонился царю.

— Храни тебя, осподь, наш добрый владыка! Молимся мы там, в лесах, за тебя.

Иван улыбнулся. Глаза его смотрели ободряюще.

— Стало быть, напраслину возводят люди на моих нижегородских холопов? А я кое о ком и хуже того слышал, да верить тому не решился... А еще я хотел спросить, гневаешься ли ты на лукавство Ордена? И радуешься ли царской грамоте о походе на лукавых немецких рыцарей? Преисполнен ли ты и прочие нижегородские дворяне бранным усердием к одолению врага?

Не успел царь договорить, как Никита Борисыч сорвался с своего места и, красный от волнения, воскликнул:

— Гневаюсь! Возрадовался! Преисполнен! И прочие холопы твои, государь, также! Ждут не дождутся в поход идти!

— Крест целуешь на том?

— Целую, батюшка! Клянусь добрым именем покойных родителей и всех в бозе почивших предков,— все радуются той войне и благословляют имя твое! И никогда яз столь счастлив не был, как в сей час, егда услышал о твоей царской воле наказать супостатов...

Иван проницательным взглядом следил за Колычевым, и тому показалось, будто царь все видит и знает, что на уме у него, у Колычева.

— Был ли в Разрядной избе?

— Еду, государь.

— В кой полк?

— В сторожевой, государь.

— К князю Андрею Михайловичу?

— Истинно, государь.

— Добро! Курбский — премудрый вождь. Но, одначе, мыслю я, Никите Колычеву не статья быть у Курбского, а надобно ему быть в Большом полку под началом Даниила Романыча.

Колычев задумался, покраснел.

Иван Васильевич пытливо посмотрел на него.

— Что? Аль не родовит начальник? Сраму боишься?

Колычев вскочил, поклонился.

— Я? Нет! Ничего... великий государь! Твоя воля — божья воля.

— Силен тот правитель, что имеет подобных слуг, — сказал Иван с усмешкой, кивнув ему головою. — Истребленные в древности царства гибли от строптивости вельмож и непослушания их престолу. Каждый неповинующийся губит свой дом, валит столбы, на конх кровля... А кровля бережет от холода, дождя и зноя... Разумно ли валить ее? Служи своему государю правдою!

По окончании беседы царь сказал:

— А темерь пойдем-ка в мою столовую горницу, побразничаем.

Колычев не на шутку перепугался. Ему показалось, что царь хочет его отравить.

Ровко, на носках, трясясь всем телом, он последовал за Иваном Васильевичем.

Когда вошли в столовую горницу, Никита Борисыч едва не упал в беспамятстве от испуга. Из-за стола посреди комнаты, уставленного золотою посудой и яствами, поднялось длинное, сухое, в перьях чудовище и, раскинув свои громадные оперенные руки, крепко обняло Никиту Борисыча и поцеловало.

— А я давно ожидаю вас с царем к себе в покои, — пискливо, тоненьким голоском проговорило чудовище. И оттого, что его тоненький голосок не соответствовал громадному росту, стало еще страшнее Колычеву.

Царь низко поклонился пернатому чудвищу.

— Здорово, райская птица!.. Бьем челом тебе, угощай нас с дальней дороги.

Никита Борисыч окончательно растерялся, в страхе уцепившись за рукав царского кафтана.

— Не бойся. Райские птицы приметели ко мне во дворец, чтобы о рае небесном напомнить боярам... Кому же в раю быть, как не такому праведному боярину, как ты?

Царь рассмеялся.

— Ну-ка, райская птица, прокукуй: сколько лет жить на белом свете боярину Никите Колычеву?

Пернатое чудовище прокуковало один раз.

— Что так мало? — пожал плечами с удивлением царь.

— А долго ли пировать на белом свете царю всей Руси Ивану Васильевичу? — спросил он.

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!.. — усердно закуковало страшн-лище.

Двадцать... тридцать... пятьдесят... шестьдесят...

— Довольно! — стукнул об пол своим посохом царь Иван. — Довольно царю и того... Не правда ли? Я не завистлив.

— Не от нас то, государь, зависимо... — пролепетал Колычев.

— Так ли? Подумай: некая малость и от царя зависит? Не так ли?

— Выше бога и государя никого нет.

Пернатый подхватил Колычева под руку и с силою увлек к столу.

— Эй, не упирайся, боярин!.. — говорил царь, шутливо подталкивая Колычева посохом сзади.

— Садись! — крикнуло чудище, усаживая Колычева на скамью.

Царь и пернатый сели тоже за стол.

— Великий государь, — со слезами в голосе взмолился Колычев, — как мне быть? В Разряд мне надобно! Отпусти меня на волю. Устал яз с дороги, да и в бане бы помыться, и святым угодникам в Кремле поклониться, о тебе молитву вознести...

— Пускай ответит тебе «райская птица»... Умишком я слаб. Где мне бояр учить! — сказал Иван.

Заговорил пернатый, потянувшись через стол к Колычеву:

— Добрый боярин! Не уходи! Не обижай меня. Побудь малость! Сам батюшка Иван Васильевич не гнушается моим теремом, а ты чином помельче... А и должен ты

знать, что мы сегодня справляем с дарем и тобою тризну по убиенной в твоей вотчине старухе-колдунье... Она не дает мне по ночам спать... Просит помянуть ее и царский Судебник...

У Никиты Борисыча потемнело в глазах. Словно сквозь сон он почувствовал, что ему суют в рот кубок с вином: потеряв всякую волю над собой, он выпил вино; за этим кубком другой, третий... Он слышал громкий хохот царя, видел его могучую фигуру перед собой, но разобраться в том, что творится с ним, Колычев никак не мог.

Наконец царский шут снова взял боярина под руку и в самое ухо ему пропищал нечеловечьим голосом:

— Недосуг мне с тобой пировать... Уходи от меня... И ты, Иван Васильевич, тоже уходи... Попировали и буде! Теперь ко мне по ночам не посмеет прилетать проклятая колдунья... Поминки знатные вышли у нас.

— Ну, пойдем, боярин, гонит нас с тобой «райская птица»... Недосуг ей, вишь.

Царь и Никита Борисыч вышли из терема шута.

После того Иван Васильевич милостиво расстался с Колычевым.

— Не рассказывай никому о «райской птице», — угрозил он на боярина.

— Никому, государь... Клянусь!

Очутившись на воле, Никита Борисыч с облегчением вздохнул и долго, с невиданным усердием, молился на кремлевские святыни, а потом заплакал. Обидно! Большого оскорбления и придумать трудно. Стыдно кому рассказать об этом. Шут издевался над боярином, и боярин безвинно претерпел столь великое надругательство. Господи, господи, до чего дожили! Но едва ли не еще большее оскорбление — идти в поход под начальством Захарьина. Да если об этом узнают Репнины, Ростовские и все другие именитые бояре, — они отрекутся тогда от него, от Колычева Никиты, да и родной брат станет сторониться его.

Уж лучше умереть, чем повиноваться Данилке Романову Захарьину.

Колычев невольно вспомнил о своих тайных прегрешениях перед царем. Ведь и он, Никита, во время болезни Ивана Васильевича ратовал за возведение на престол Владимира Андреевича и тоже был против покойного Дмитрия-даревича. И Судебник он не хотел признавать, и эту

новую войну проклинал, и царя тоже... И вот бог его наказал. Лукавил, обманывал—перед богом не скроешь! А царь уж не столь лютый, как о нем говорят. Посмеяться любит, подурачиться, он еще молод. «Пройдет с годами! Да и трудно с ним бороться. Пожалуй... того...—вдруг мелькнуло в голове Колычева,—не перекинуться ли на сторону царя? Уж не такой он плохой, как про него говорил князь Ростовский! Да и князь Пронский тоже, да князь Репнин. Избаловались князюшки тут в Москве, бог с ними! Царь избаловал их!.. Благоденствуют, не то, что я!»

Неприятное чувство какое-то, похожее на зависть, кольнуло сердце.

Большой бревенчатый дом Разрядного приказа был окружен розвальнями, возками, спешившимися всадниками. В комнатах Разряда происходила шумная толчея. Спорили, ругались с приказными дьяками прибывшие из уездов обвешенные оружием боярские дети и дворяне. Дьяки грозили пожаловаться царю; обливаясь потом, рылись в столбцах, в книгах. Распределяли дворян по статьям, «што кому дать» за службу. Разберешься ли скоро-то? Их ведь двадцать пять статей! Хитрая штука — по достаткам подводить дворян под статью. Многие в обиде, кричат, грозят, побольше вымотать норовят. Казначей-дьяки чинно принимали деньги от тех, кои откупались от похода; считали серебро, насупившись; писали платежницы гусиными перьями; дворянам, уходившим в поход, давали жалованье. Откупавшихся было немного, больше из тех, кому недужилось. Пугали слухи, что царь-де потом будет просматривать «десятники» и по этим спискам станет судить о воинском послушании.

«Пернатое чудище» не выходило из головы Колычева. «Пресвятая богородица, какие страсти!»

Колычев теперь был еще больше настороже. Он знал, что такое Московский Разряд. Не этот ли приказ «всем разряжал, бояры и дворяны, и дьяки, и детьми боярскими, где куды государь укажет». Шуметь тут и паче не годится, пуще того — приезжему. Дьяки нередко наговаривают и то, чего не было, а уж коли обидишь их, тогда... Бог с ними со всеми! Дьяку Колычев привез пятнадцать битых курочек в дар, о чем и шепнул в его волосатое ухо.

Дьяк важно изрек: «Повремени!»



Колычев стал осматривать внутренность новой Разрядной избы.

Просторно. Зеленые изразцовые печи хорошо натоплены. Узкие узорчатые слюдяные окна приятно ласкают глаз. «Вот бы мне в терем такие-то... Агриппинушке бы!» Стены убраны казанскими коврами и боевыми хоругвями. Мечи и сабли, отнятые в боях, развешены по коврам. Все это никак не напоминало прежде бывшей Разрядной избы. Там было грязно, тесно, темно, холодно, и не стояло этих громадных полок с книгами и ящиков со столбцами.

Дьяки держались ныне важно, степенно. Не хихикали и не юродствовали, как встарь, не лезли назойливо за посулами, а получали таковые чинно, тихо, в глубокой тайне. Перед князьями не пластались, как раньше. Они были грамотны, писали бойко и легко, на удивление многим боярам, которые с трудом выводили на крестоцеловальных грамотах свое имя.

Как все изменилось за эти шесть-семь лет после казанских походов! Приказов стало больше. На всякое дело — приказ. Вот так царь! Все перевернул по-своему!

Колычев тяжело вздохнул. А как дьяки важно говорят с дворянами да с боярскими детьми! С боярами потише, да только и на них не глядят, а кланяются обидным рывком... Ужель им так недосуг встать да в ноги боярину поклониться? («Впрочем, прости, господи, царь-батюшка знает, что делает!»)

— Ну, боярин, честь и место! — сказал дьяк, отвесив поклон Никите Борисычу. Тот, до крайности довольный этим, с поспешною охотою ответил дьяку поклоном же.

Сначала сел Колычев, потом дьяк.

— Курей в избу ни-ни! — прошептал он боярину на ухо, сел, покашлял. — Ну, как живешь?

— Тшусь государю-батюшке послужить своею кровию!.. Радуюсь кровь пролить за царя-батюшку!

— Добро! Сколь привел?

Колычев рассказал все, что полагалось, о своих людях.

— Взглянешь ли?

Дьяк махнул рукой и с хитрой улыбкой посмотрел на Колычева. А тот подумал: «Много я холопов повел... пятток бы отбавить». Но тут же вспомнил «первотое чудище» и царя.

Выйдя из Разряда, Колычев увидел толпы пеших ратников, которых вели стрельцы...

— Чьи?—спросил Колычев, сам не зная зачем.

— Луговая черемиса...— проворчал стрелец, даже не взглянув на Колычева.

Тяжелые вздохи опять и опять вырвались из груди боярина.

. . . . .

На кремлевских площадях день и ночь под порывами ветра полыхали костры, а около них грелись прибывающие из глубин государства ратные люди. Во дворце Иван Васильевич непрерывно совещался с боярами и военачальниками. И постоянно рядом с царем сидел в кресле бывший казанский царь, касимовский хан, Шиг-Алей—грузный, в татарском халате, подпоясанный широким золототканым кушаком, за которым красовался громадный кинжал с рукоятью, осыпанной драгоценными камнями. Полное, безволосое, похожее на репу, желтое лицо казанского царя дышало силой, богатырским здоровьем. Глаза, маленькие, с поволокой, слегка раскосые, улыбались лукаво. Слушая Ивана Васильевича, он почти-точно поворачивал к нему свою голову, с улыбкой делал легкие кивки, как бы одобряя его мысли.

На последнем совете Иван Васильевич, говоря о немцах, сказал своим вельможам:

— Как можно быть врагом, не имея силы? Коли ты слаб,—норови быть другом! Немного добра оттого, коль правитель петушится. В неистовом хватании чужих земель—немного мудрости... Мы и не хотим этого! Ходили на Казань, на Астрахань, на Швецию мы не ради неистовства, но для того, чтобы не зорили наших городов, не уводили в полон наших людей и не торговали бы ими на турецких базарах, словно скотиной. И не нашими ли городами и землями владеют немцы? С твердою верою в божью благодать мы двинемся в поход. И вы, бояре, подымайте людей меньшего колена и во всем покойте их, играющих на поле брани смертною игрою.

Слушавшие эту речь поднялись со своих мест и низко поклонились царю.

— Слава тебе, государь!—громко провозгласил храбрый воевода Данила Адашев.

Ночью царь, сопровождаемый своими советниками и

военачальниками, обходил кремлевские площади, осматривал готовые к выступлению полки.

С Пушечного двора прибыли розвальни с нарядом. Сопровождали их пушкари верхами на конях.

Андрейка стал в Кремле, при караване в пятьдесят пушек. Было ветрено, и рогожи, прикрывавшие пушки, то и дело сдувало ветром. Андрейка лазил по возам и привязывал рогожи к розвальням. Вблизи полыхали два больших костра. Налетавшие со стороны Москвы-реки вихри пригибали пламя к земле, вздували тучи искр. Андрейка увидел, что искры отнесит в сторону саней, а там бочки с порохом. В испуге он побежал туда и со всего размаха в темноте налетел на каких-то людей. Его схватили, поволокли к костру. Он с силой отбивался, бранился.

Когда подошли к огням, Андрейка увидел, что его держат двое стрельцов, а прямо на него глядит гневное лицо царя. Вокруг костра собралось много людей—бояре, дворяне, дьяки, воеводы. Все испуганно глядели на парня.

Глаза царя при колеблющемся свете костра показались страшными—злые, сверкающие, как у зверя. Лицо желтое, словно восковое. Он поднял посох и со всею силой ударил им Андрейку по плечу.

— Пошто скачешь, ровно бес?!—закричал он.

— Зелие!.. Зелие!..—бормотал Андрейка, указывая рукою в темноту.— Там... там... искры... боязно!

Снова налетел на костры вихрь,—туча искр понеслась в ту же сторону, куда и прежде. Царь понял, в чем дело, крикнул, чтобы отвели подальше подводы с зелием, все время грозя Андрею посохом.

Наперерыв бросились исполнять приказ царя его приближенные, прошипев: «Сукин сын, тля!». Телятьев и Григорий Грязной кричали больше всех.

Андрейка стоял, опустив голову. Обидно было, что царь зря ударил его жезлом. Парень думал, что царь сменит гнев на милость, но ошибся... Иван рассмеялся и еще раз со всею силою хватил Андрейку жезлом по спине... Андрейка не шелохнулся: бей, мол, вытерплю!

В угоду царю рассмеялись и окружавшие его бояре и воеводы.

Когда они отошли, Андрейка со злобою плюнул в их сторону, ругнулся и снова стал оправлять рогожу на возах. Его утешала мысль, что завтра, вместе со всем войском, он двинется в путь-дорогу, что пушки, в литые

и в ковке которых он принимал участие, скоро начнут бить неприятеля. Было любопытно, как они действуют: лучше ли, хуже ли заморских. Слухи ходили на Пушечном дворе, якобы у ливонцев есть такие махины, что «в одну дудку» десятки выстрелов дают. Правда ли? Кои пушкарки верят тому, кои называют то «брехней». Как сказать?! Со вранья пошлин не берут. Может, и врут. Возможно ли разом десять выстрелов сделать? Швед-мастер Петерсен и тот головою качает. Не верит! А вдруг правда? Тогда что? Андрейка озабоченно потер лоб. Его самолюбие, — самолюбие пушкаря, — было задето.

— Все одно не уступим, — нахмурившись про себя, сказал он. — Не вешай головушки, Андрейка! Не тужи! Бранное поле рассудит!

Стало веселее. Почесывая спину, Андрейка ходил и поглаживал пушки.

Из темноты к костру вышли другие пушкарки. Они распахивали полы своих полушубков, грелись у огня, перебрасывались шутками.

В глубине окутанного мраком кремлевского двора слышались трещотки сторожей, выли псы.

— Цари не огни, а ходя близ них, обязательно опалишься... — первый нарушил молчание пушкарь Мелентий.

— От потопы, от пожара да от царской милости боже нас упаси!.. — усмехнулся Сенька-пушкарь, толкнув со значением Андрейку.

Всем парням ведь известно, что Андрейку сам царь поставил в пушкарки.

— Што же ты молчишь, брат?

Андрейка так много всего наслушался за время работы на Пушечном дворе обидного для себя из-за царской милости к нему, столько всего натерпелся и от дворян и от товарищей, таких же, как и он, простых людей, из-за царя и, наконец, столько несправедливости видел и со стороны самого царя, что молился теперь про себя богу, чтобы его, Андрейку, убили на войне. Он думал об этом как о счастливом избавлении от всех невзгод! Царь полюбит — горе, а разлюбит — вдвое! Так и этак нехорошо!

От шуток и смеха пушкарки и другие воины перешли к беседе иной. Опять повели речь о том, устоит ли их оружие перед оружием ливонцев. Много слышно о могуществе заморских пушек. Это волновало. Андрейка прямо сказал, что-де одной храбростью не возьмешь, да и пушка,

коли в неумелых руках, врагу не страшна. Пушка, что жена — ласки, ухода требует. Пушкарки все заодно с Андрейкой, а конники и копейщики не все соглашались с Андрейкой. Особенно конники. Они называли пушки «сидачими пугалами». То ли дело мчаться с копьём или мечом на врага и на скаку сшибать вражеские головы.

Андрейка пришел в ярость, чуть в драку не полез. Да если убойная пушка, она никого не подпустит к себе. Пищальники самодовольно ухмылялись: «Попробуйте, суньтесь к нам, лошадиники, ни одного живьем не упустим!» Сошлись на том, что и пушкарки, и пищальники, и копейщики, и конники — все на войне нужны... все пойдут в дело и всем-де уменье превеликое нужно. Уменье — половина спасенья.

.....

Страшные сны посещали царя в последнее время. Часто он вскакивал среди ночи, созывал постельничих. Рассказывал виденное во сне, просил их объяснить ему, что значат те видения. Но кто осмелился бы ответить царю на это? Постельничьи молчали в растерянности. Царь сердился.

Однажды Иван Васильевич послал за астрологом-звездочетом, выписанным из Флоренции. Звездочет не умел говорить по-русски. Подняли с постели дьяка Висковатого. Тяжело сопя и зевая, он переводил слова астролога: итальянец устремил взгляд сквозь окно на небо и, как всегда, голосом загробным, медленно, с остановками, произносил слова о целесообразности всего совершающегося. В странном полубреду он вытягивал из себя слова о чудесном значении небесных лучей, которые оздоравливают душу.

— Клянусь чревом святой девы! — вдруг оживившись, визгливо воскликнул он. — Сны на судьбу человека никакого действия не имеют!

Царь, затаив дыхание, боязливо следил за его лицом, как он размахивает руками и какую усмешкою блестят его глаза при свете свечей — это действовало все же успокоительно. А когда звездочет обернулся к царю и грубоватым, совершенно неожиданно басистым, голосом стал укорять его в суеверии, Иван преисполнился к нему большим уважением, и на его лице появилась виноватая улыбка. Ему как-то приятно было чувствовать себя сла-

бым, ощущать какую-то чужую силу над собой. В этой приниженности скрывалась особая сладость, что-то в высшей степени острое, необычайное для царя. Так развлекается лев, позволяя лаять на себя щенку, дергать себя за гриву, устраивать возню около себя.

Царь прогнал из комнаты всех постельничих, остался только с Висковатым и астрологом.

— Спроси его,— сказал царь дяку,— доброе ли ждет наше царство от войны с немцами?

Астролог задумался, потом подошел к окну, закинул голову назад, нахмурившись, оглянулся на царя и принялся разглядывать в какую-то трубку звезды,— царя пугал его загадочный шепот и эта длинная, в желтых полосах, трубка. Странная фигура чужеземца, какая-то однобокая, сухая, в черном, тоже с желтыми полосами, балахоне, приводила Ивана Васильевича в тайный трепет.

Не отходя от окна, итальянец начал одностонно, нараспев, говорить:

— Твоя душа открыта свету небесному... В ней читаю я мужество непобедимых... В ней вижу я веру,двигающую горами... Нет такого короля, который обладал бы столь сказочной силою, как ты... Желания твои подобны огнедышащей вершине, и в ней сгорит гордыня врагов твоих... Звезда твоя предвещает победу и славу.

Голос итальянца был проникнут такой убежденностью, что царь как-то сразу успокоился. Он велел Висковатому выдать итальянцу из своей казны в подарок золотой кубок и дорогое оружие.

Когда астролог ушел, царь лег в постель, не помолвившись. Он считал, что после сего итальянского колдовства грех возносить молитву богу.

Полежав в тяжком раздумьи, Иван вдруг начал расканяться: зачем позвал астролога? Не разгневается ли на него за это небесный отец и не сделает ли противное тому, что предсказывал итальянец? Не осквернился ли он, царь, беседуя с заморским колдуном?

Пот выступил на лбу у Ивана Васильевича. Охватила жгучая тоска. Он вскочил с постели, принялся ходить из угла в угол своей спальни. И вдруг опустился на колени перед иконами, со слезами моля бога простить его, окаянного... И не наказывать за его, царевы, грехи русское воинство.

— Поступи по мудрости своей, господи!— шептал

царь.— Да будет рука твоя на мне и на доме моем и на народе моем, чтоб не погибли мы, а возросли на славу и украшение передо всеми землями...

Царь молился и об изгоне из его дома колдовского наваждения и волшебства, и о том, чтоб ангел-истребитель поразил своим мечом всех врагов Руси, чтоб дарована была ему, царю, сила господствовать не только над народом, но и над собой. Царь каялся в своей жестокости, в пролитии mnogой крови и молился теперь, чтоб того не допустил бог впредь.

А утром он пошел на конюшню и сам, собственно-ручно, покормил и напоил своего старого коня, на котором совершил казанский поход.

Лаская его, приговаривал:

— Пойдем ли мы вновь с тобой? Сподобит ли нас господь потоптать иную, вражескую землю? Иль не избегнуть нам ливонского позорища?

Конь, наострив уши, косился влажными белками на своего хозяина... Приветливо ржал, перебирая ногами.

Бодрый вид коня, его умные глаза развеселили царя.

— Уж не молод ты у меня...— потрепал он коня за гриву.— Начинаем стареть с тобой... кому-то на радость...

Часто, рассердившись на бояр и служилых людей, Иван уходил в конюшню и там проводил целые часы, осматривая своих коней, любясь красавцами-скакунами.

. . . . .

Какой-то человек, никому неизвестный, сбросил с саблей мешок у самого царского дворца. Стрелецкая стража не осмелилась открыть тот мешок без царева ведома. Осторожно перенесли его в дворцовую подклеть. Доложили Вешнякову.

Для всех было загадкой, что в том мешке; каждого разбирало любопытство, хотелось заглянуть в него, тем более, что мешок оказался очень тяжелым, и брало сомнение, уж не набит ли он золотом.

Был получен приказ—принести этот мешок в царскую палату.

В присутствии государя вскрыли загадочную находку. Что же нашли?

Во-первых бумагу, а в ней крупно писано:

«В сердце моем печаль несу — прими, любостязатель, удельную деньгу, неправдою и хищением чужих имений царями приобретенную».

А во-вторых, великое множество монет удельных княжеств: Рязанского, Муромского, Пронского, Суздальско-Нижегородского, Ярославского и многих других уделов.

Лицо царя побледнело от гнева, он закричал на всех, чтобы убирались вон из палаты.

Оставшись один, Иван Васильевич хмуро взял пригоршню монет и стал внимательно их рассматривать.

Вот монета рязанских князей... Эта гладкая серебряная пластинка принадлежала князю Олегу Ивановичу... Двести лет с лишним тому назад она была в ходу... На монете надпись: «Деньга рязанская»...

А вот монеты князей пронских и муромских...

Иван Васильевич плюнул на них.

Эти деньги того самого князя, что ездил на поклон в татарскую орду и, вернувшись оттуда с ханским «пожалованием» и послом, сел в Пронске! А потом пошел вместе с татарами на великого князя рязанского Федора Ольговича, прогнал его из Переяславля и сел на обоих княжествах: Рязанском и Пронском!..

На монете надпись: «Княжа Ивана».

На оборотной стороне татарская надпись...

Хорош князь! Хорош отец своего народа!

А вот монета, на которой вычеканена птица, летящая вправо, и надпись: «Печать великого князя», а на обратной стороне какое-то прыгающее четвероногое с загнутым над спиною хвостом; надпись: «Печать княжа Бориса».

Увы, недалеко ушел от князя Пронского и князь Борис Константинович! Не он ли натравливал хищную орду на племянника своего Суздальского князя Василия Димитриевича Кирдяка?.. Да, он!

Долго копался в куче удельных монет Иван Васильевич. Казалось, что перед ним проходит вся история векового гнета, позора и унижения русского народа под управлением удельных великих князей.

Монеты оживляли прошлое... Чудилось, на монетах не ржавчина и плесень, а кровь и слезы народа, терзаемого татарами и кровопролитными междоусобными распрями самих удельных владык.

Благословенно имя Ивана Васильевича Третьего, положившего конец удельной чеканке монет.



Царь помолился на икону.

Московская монета, украшенная надписью «Осударь», — одна она не обагрена кровью удельных распрей. Нет на ней следов чужеземного ига.

Московская монета — сила и единство русского народа.

Но кто же посмел подкинуть царю этот мешок?

Несколько дней и ночей подряд свирепствовала пыточная изба, но так и не обнаружила виноватого...

Царь велел все эти монеты побросать на дно Москвы-реки.

С кремлевской стены он сам следил за тем чтобы стрельцы редкой россыпью бросали с ладьи удельные деньги в воду.

Привели братья Грязные к Ивану Васильевичу и столетнего ведуна, прославившегося своим гаданием на всю Москву. Он прямо указал на князя Владимира Андреевича и его друзей: Колычевых, Репниных, Курбского и других именитых вельмож.

Веселый, возбужденный, соскочив с коня, под вечер влетел в свой дом Василий Грязной; по дороге в темных сенях ушибнул девку Аксинью, прислужницу супруги своей Феоктисты Ивановны. Шепнул ей: «Уходим, прощай». Аксинья шлепнула его ладонью по спине и тоже шепнула: «Дьявол!»

Войдя в горницу жены, смиренно помолился на икону и низко, уважительно поклонился Феоктисте Ивановне.

Его черные цыганские кудри и бедовые глаза, особенно когда он чему-либо радовался, всегда наводили на грустные размышления богобоязненную, кроткую, домовитую Феоктисту. Ведь она же уступает ему в красоте, бойкости и речистости.

Ответила на поклон мужа еще более низким поклоном.

— Корми меня, лелей меня лучше прежнего, государыня моя, напоследок! Изготовь мне и кус на дорогу... Бог и царь благословили нас, дворян московских, в поход идти... Будь приветлива и ласкова, может и свидеться боле нам с тобой не приведется. Немцев бить идем!

Жалостливые, за душу хватающие причитания так и полились из уст жены Грязного. Белым платочком лицо она закрыла, всхлипнула, а Василий, рассеянно обводя взглядом потолок, словно заученную какую сказку, говорит и говорит всякие жалобные слова. И чем надрывнее

всхлипывания жены, тем большим воодушевлением и само-  
довольством звучит его голос.

А потом ни с того ни с сего он неожиданно напомним жене наказ книги Домостроя: «Аще муж сам не учит, ино суд от бога примет; аще сам творит и жену и домо-  
чадцев учит, милость от бога примет».

Исправив обычай мужниного приветствования и по-  
учения, сел за стол.

Феоктиста сходила на поварню, и вскоре ключник и девки Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка, услужливо семеня босыми ногами по половикам, наставили всяких яств скоромных: и мяса вареного и жареного, и ветчины копченой, и сальца ветчинного положили на блюдо. Сам господин, Василий Григорьич, в прошлом году пива и браги наварил на целых два года, самолично меду насытил два бочонка, вина накурил со своим пьянидей-вино-  
куром целый котел. И теперь на столе бочечка малая серебряная с медом появилась, оловянички с горячим вином и малиновым морсом и патокой янтарной и кувши-  
ны с пивом и брагой.

— У порядливой жены,— самодовольно оглядывая стол, молвил Грязной,— запасных яств всегда вдоволь. А кто с запасом живет, тому и перед людьми не срамно.

Хлебник,—лицо все в муке, одно усердие в глазах мукою не засыпано,—принес хлеба и иное печенье на трех блюдах.

Целый ряд сосудов: сулен, кубки и чарки, радовали и веселили взор хозяина.

— Эк мы с тобой живем!.. Будто бояре,—приговаривал Грязной, принявшись после молитвы за еду.— Придет время — будем и того лучше жить. Обожди, не торопись, своего добьемся. Война покажет: кто более прямит государю... кто храбрее... кто за него готов в огонь и в воду! Война откроет дарю глаза на многое, смахнет завесу с лицемерных. Вчерась я согрешил перед князем Владимиром и его друзьями.

— Чем же ты согрешил, батюшка?

— Не скажу, не скажу! И не проси. Будет теперь всем им от даря!..

Василий, чокнувшись с женой, опорожнил свой большой бокал и тихо рассмеялся. Что-то вспомнил.

— Испроказено боярами не мало. Бог простит меня. Едут бояре на войну тяжело, неохотою. Павлушко, дяк

Разрядного приказа, сказывал: вздыхают, молитвы шепчут. К легкости привыкли.

Феоктиста Ивановна, слушая мужа, бросала робкие взгляды на его лицо с постоянно усмешливыми и черными, как вишни, глазами под тонкими дугами черных бровей и густых ресниц. Подстриженные усики чуть-чуть скрывали крупные, розовые и тоже усмешливые губы. «Такой не может быть праведником...—думала она.—Грешные глаза, грешные губы! Владычица небесная! За что мне такая беда? Опять Феклушка затяжелела!»

Василий усердно жевал свинину и самодовольно говорил:

— А Колычеву с моей легкой руки повезло. Царь преобидные глумы вчинил ему... Семка—государев шут,—чурилка, детинка, хорош хоть куда! Сумеет царя потешить...

И вдруг Грязной стал сумрачным, вздохнул:

— Э-эх, господи!

Жена с удивлением посмотрела на него.

— Батюшка, Василий Григорьич, вздыхаешь ты, я вижу?.. И тебе, видать, неохота на войну-то идти. Непохоже то на тебя.

Василий еще раз вздохнул и перекрестился.

— О тебе, яблочко мое неувядаемое, думаю... На кого я тебя спокину?

Слукавил дядя! Думал он вовсе не о Феоктисте Ивановне. Вспомнилась маленькая, нежная, ласковая, как птичка-малиновка, Агриппинушка, жена «проклятого» боярина Колычева. Вспомнилась зеленая, согретая солнцем сосновая ветвь под окном боярыниной опочивальни. Над этой широкой ветвью, в солнечных лучах играли две красивые бабочки,—одна побольше, другая поменьше. Агриппинушка тихо прошептала, ласкаясь: «Хорошо бы и нам улететь из терема и играть, как играют эти два мотылька!» Ну, разве сдержишься и не вздохнешь, вспомнив о том, что было дальше? О Феоктиста! Какое бы счастье, коли и ты была такая!

Точно сквозь сон слышал Грязной тихий, слезливый голос жены:

— Государь мой, Васенька, красавчик мой! Матушкина да женина молитвы сберегут от стрелы и меча вражеского. Не кручинься обо мне! Буду я молиться денно и нощно о тебе и о себе.

— Молись! Молись! — громко, с плохо скрытой неприязнью в голосе крикнул Грязной. — Молись, чтобы одолеть нам боярскую спесь, чтобы побить нам и внутренних врагов, как бьем мы врагов чужедальних. И не унывай обо мне: рукодельничай, чадо свое малое расти и всякое дело делай, благословяся... А государь твой и владыка — Василий Грязной — дело свое знает и бесстрашия ему не занимать стать, и злобы ему на боярские утеснения никогда не избыть! Много горя колычевский род причинил моему отцу, осудили его в те поры не по чести... Уж им! Да и не одному мне, Грязному, а и многим иным худородным дворянам памятно своевластие бояр... У Кускова всю семью по миру пустил Курлятев... Наделил его болотной недрой, а себе пахотную лучшую землю утянул... Вешняков, что постельничим стал у даря, тоже посрамлен был Мишкой Репниным... Не по нутру ленивым богатым, что царь к себе его во дворец взял...

Грязной опять наполнил вином кубок и разом опорожнил его.

— Бог правду видит, Васюшко... — скорбно воззрившись на икону, пропела Феоктиста. — Не кручинься! Не надо кручиниться...

Глаза Грязного стали злыми. Сверкнули белки.

— Не глуми! — стукнул он кулаком по столу. — Да нешто я кручинюсь! Чего мне кручиниться? Радуюсь я! Дуреха! Войне радуюсь! Вельможи хрюкают, сопят, ровно опоенные свиньи, а мы — нас много, больше бояр нас! — мы ликуем. Никита Романыч Одоевский, хуть и князь, а нашу сторону принял. Его тоже изобидели, в черном теле томят. Он слышал, будто государь сказал, что многие от этой войны славу приобретут и земли, и думное звание... Поняла? Обожди! И ты у меня в боярских колымагах кататься удосужишься, и тебе люди до земли учнут кланяться! Чего же мне кручиниться? Подумай!

Феоктиста уж и не рада была, что посочувствовала мужу. Такой он стал обидчивый. Прежде того не было. И гордость какая-то у него появилась — даже перед женой. И все говорит о боярах, о царских делах, о дворянах и о посольских приемах, а прежде, бывало, домом занимался, избытые порядки наводил, — с плотниками да кирпичниками; все советуется о квашнях, о корытах; о ситах, бочонках для продовольствия заботится, иль охотой да рыбной ловлей потешается, да крепостных мужиков

на конюшне наказывает. Всегда у него находилось домашнее дело. Теперь целые дни, а иногда и ночи, пропадает нивесь где, на стороне. Сваливает то на дворец, то на Пушечный двор, то на Разрядный приказ либо на тайные государевы дела. А бывает и так, что придет в полночь с ватагою дворян, своих друзей, хмельной, и до утра бражничает, девок заставляет дворовых угождать. Срам и грех!

Прежде никогда того не было.

Грязной выпил еще и еще вина. Его глаза разгорелись хмельным озorstвом.

— Человече, не гляди на жену многоохотно! — провозгласил он, будто поп на клиросе. — И на девицу краснотличную не взирай с истомой, да не впадешь нагло в грех...

Феоктиста, попросив у мужа разрешения, встала из-за стола и сбегала в девичью. Велела Аксютке, Феклушке, Катюшке и Марфушке удалиться в соседний дом сестры Антонидаы Ивановны. (Раз о «грехе» заговорил, — стало быть, надо девок угонять.)

Когда Феоктиста вернулась в горницу и села за стол, Грязной низким голосом затянул песню:

Женское дело перелестивое,  
Перелестивое, перепадчивое.  
В огонь и жену одинаково пасть...

Кудри его растрепались. Шелковый пояс на рубашке он распустил, напевая такие песни, что Феоктиста Ивановна слушала, краснела и отплевывалась. Раньше он не знал таких песен и был тише, смиреннее.

Накричавшись вдосталь, он насупился, шумно поднялся с места и гаркнул голосом грубым, властным:

— Жена! Иль я тебя давно не стегал? Иль ты думаешь — ослаб я? Пошто ты не велела подать мне коня? Не видишь разве, разгуляться захотелось доброму молодцу? Поеду к Гришке, к брату единокровному, на обыск ночной... Ловить будем беглых и бездомных, может, и знатная рыбешка попадет... Гришку сам царь «объезжим головою» поставил. Пошарим в Сокольниковых перелесках, угодим царю... Не рука мне тут с бабами сидеть! Айда! Кличь конюха!

Феоктиста Ивановна попробовала уговаривать мужа не ездить в такую позднюю пору, посидеть дома, как былихые люди не учинили какого-нибудь злодейства ему, Грязному. Ничто не помогло.

Ругаясь и ворча на конюха и дворовых мужиков, топая сапогами, сел он при свете фонарей на коня и скрылся во мраке.

Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка снова вернулись в дом, дрожащие от страха и холода (убежали на соседний двор налегке). Плакать им не полагалось. Плакать можно было одной хозяйке, а им, когда только это прикажет хозяйка. Молиться на хозяйские иконы им тоже Грязным строго-настрого было запрещено. В людской, у «подлых людей», есть свои иконы, на которые ни хозяин, ни хозяйка тоже никогда не молятся. Забились девки в угол, в запечье, ни живы, ни мертвы.

Феокиста Ивановна, накинув шубку, вышла на крыльцо. В безветренном воздухе медленно падают крупные хлопья снега. Воют собаки где-то над Сивцевым Вражком; послышался отдаленный выстрел со стороны Кремля... Кругом мрак, костяки оголенных деревьев и снег, громадные сугробы, завалившие сараи, амбары, хлева...

Скучно, страшно! Что-то будет?

. . . . .

В доме князя Владимира Андреевича собрался кружок его близких людей. Из Литвы через рубежи пробрался чернец-униат от князя Ростовского и от других отъехавших в Литву русских вельмож. Лопата-Ростовский уведомлял, чтобы не мешали царю Ивану углубляться в Ливонию. Вместе с литовскими и польскими друзьями он уже вошел в сговор с королевским правительством, которое полностью на стороне бояр, и сам король благословляет боярскую партию в Литве на упорную борьбу с московским царем. Он не советует Боярской думе мешать царю. Пускай оголяет южные границы. Хотя атаман Дмитрий Вишневецкий и откололся от Польши, перейдя на службу к царю, однако он не надежен. Он уже теперь поговаривает, что не намерен один воевать с крымцами. Пускай царь понапраспу надеется на казаков, приведенных им, Вишневецким, из Польши. Сначала Девлет-Гирей думал, что полки Ржевского, Вишневецкого и черкесов лишь передовой отряд Иванова войска, а теперь из Польши ему дано знать, что «все тут» и что главные силы царского войска ушли к ливонскому рубежу.

Чернец был худущий, запуганный, весь в угрях от долгого немытия, когти черные, длинные как у зверя,

и говорил заикаясь,— сразу не разберешь, что он хочет сказать. Поэтому обступившие его бояре, потные, грузные, тяжело дыша, с нетерпением ловили каждое его слово.

— Сталыть...— тянул чернец.— Степь голая... безлюдная назад у Раевского и Визневицкого... князь Лопата... уведомляет...

Наконец-то бояре поняли, что польский король, по совету отъехавших московских вельмож, намерен поднять Девлета — крымского хана — против русских войск, ушедших далеко в степь и в надежде на царскую военную помощь осадивших и взявших город Хортиду у днепровского устья. Нет нужды, что Вишневецкий побил в этом месте крымцев и сжег Ислам Кирмень,— все одно ему там не удержаться без помощи Москвы. Вишневецкий — храбрый казак, но и похвастать любит и обмануть кого хочешь может. Ненадежный он слуга московскому царю.

Скоро «покоритель царств» потерпит такой урон от крымского хана, какого не видела Москва за все свое существование. Князь Лопата-Ростовский и все его товарищи клянутся в этом своим московским друзьям. Они советуют им быть наготове и перевезти своих детей и жен подальше от Москвы, чтобы не было им от той беды несчастья.

Униат поклялся перед иконами, что все сказанное им — истинная правда и что через трое суток он снова уйдет в Литву, а потому и просит доброго князя Старицкого и бояр шепнуть ему слово для передачи зарубежным боярам.

Владимир Андреевич посоветовался с матерью своею, княгиней Евфросинией. Она желчно произнесла: «Хотим власти, как в Польше. Скажем спасибо братьям-боярам и королю, коли тому помогут!» Бояре сочувственно поддакнули княгине, ибо каждому из них был по душе боярский порядок польского правления. Польская рада не облагает такую властью короля, какая захвачена в России царем Иваном.

После тайной беседы с чернецом все усердно помолились. Ах, как хотелось в душе каждому из бояр, чтобы Девлет-Гирей «проучил Ивашку-царя», нарушившего все древние уставы, препятствуя князьям быть самовластными правителями. Если бы даже сатана предложил свои услуги боярам против самодержца-гордеца, похитителя княжеской власти, то и с ним бы вошли в союз истомившиеся в

жажде мщения, оскорбленные царем друзья Старицкого князя Владимира Андреевича.

Через трое суток бояре устроили тайный побег унии-ту из Москвы в Литву.

Как ручейки из большой лужи, так из дома князя Владимира Андреевича поползли по боярским и преданным князю Старицкому служилым домам вести, кои принес с собою литовский чернец.

Московская боярская партия собралась у незнатного приказного служака в маленьком домике Сушевой слободы Федора Сатина. Человек он был незаметный — Адашев не любил ставить на первые места своих родственников, но и родственники его старались оставаться в тени, служа добросовестно в приказах дьяками и на иных приказных должностях. Царь ценил это в Алексее Адашове и сам нередко одаривал и деньгами и подарками адашевских родичей, таких, как Иван Шишкин или тесть Адашева — Петр Туров. Не забыты были денежно и самим Алексеем все эти Андреи, Федоры, Алексеи Сатины, Туровы, Шишкины, Петровы и прочие, а их было не мало. Никто из них в вельможи не лез и не хотел быть на виду, кроме братьев Алексея: Данилы и Федора, выдвинутых за боевое усердие на высокие посты самим царем Иваном.

Здесь-то, в доме Сатина, и сошлись для тайного сговора знатные люди московского боярства: боярин Челяднин, Казаринов с сыном, десять Колычевых (в том числе и Никита Борисыч), явился и сам Иван Васильевич Большой Шереметев, обладавший несметными богатствами. В одежде монаха пожаловал он к незнатному дьяку Сатину в гости, а с ним и горячий сторонник Польши Никита Шереметев. Тут же оказались Разладин и Пушкины, родственники Челяднинных и близкие к колычевскому роду вельможи.

Потомки великих князей Ростовских, Смоленских и Ярославских: князья Шаховские, Темкины, Ушатые, Львовы, Прозоровские, все три брата — Василий, Александр и Михаил — Заболодкие, Андрей Аленкин и другие отпрыски этих великокняжеских родов, во главе с князем Андреем Михайловичем Курбским, собрались в доме выходца из Швеции служилого человека Семена Яковлева,



близ Сокольниковых выселков. После всех, в лохмотьях убогого странника-слепца, явился богатейший вотчинник, выходец из Касуйской орды, Хабаров-Добрынский. Поводырем у него был юный Кошкаров. Многие и другие собрались на этот тайный совет одетыми разно: кто мо-нахом, кто мужиком, кто бродягой..

А за Яузой в келье отшельника Порфирия, друга Вассиана и заволжских старцев, среди густой рощи, собрались знатные вотчинники: Сабуровы-Долгие, Сырахозины, Шенны, Морозовы, Салтыковы, Курлятевы, Телятьевы, Чулковы, Сидоровы и многие другие. Набились в избу так, что дышать было нечем. А тут еще всех напугал явившийся немного под хмельком Александр Горбатый и начал громко и некстати хвастаться тем, что его предок — великий князь Андрей Суздальский — владел Волгою, «аж до моря Каспийского». С трудом заставили его умолкнуть Чулков и Сидоров. Он всердцах обругал их «литовскими подкидышами», ибо они выехали в Россию из Литвы. Михаила Морозов, погрозив ему кулаком, сказал:

— Что же, что они из Литвы? А мой род из Пруссии, стало быть, и я — подкидыш?

Кулак Морозова, огромный, волосатый, заставил Горбатого немедленно смириться. Шенны тоже обиделись на Горбатого — они ведь тоже отъехали к московскому царю из Пруссии.

Князя Петр Оболенский-Серебряный, Петр Михайлович Щенятев, Дмитрий Шевырев, Иван Дмитриевич Бельский, Семен Ростовский и Михайло Репнин собрались у пономаря одной маленькой церковушки на берегу Москвы-реки, занесенной снегом и не отправлявшей службы. Ждали именитых князей Мстиславского и Воротынского, но они не пришли. Князь Михайла Репнин обозвал их «ползающими гадами», а Семен Ростовский предупредил собравшихся, что и Мстиславского и Воротынского надо опасаться. Они не надежны.

На всех собравшихся в разных местах Москвы вельмож большое впечатление произвело известие о замыслах Польши и все то, о чем сообщил в доме князя Владимира Андреевича Старицкого приходивший из Литвы тот чернец. Стало быть, Ливонской войне мешать не след. Наоборот, надлежит всем князьям и боярам, кои будут в походе, проявлять прилежание и великое усердие на войне и жечь и громить ливонские земли безо всякой

пошады. Пускай таковой поход еще более напугает иноземных королей и обозлит их на царя Ивана, а главное—поссорит Фердинанда Германского с Иваном Васильевичем.

Коли царь не слушает бояр, так да будет воля его! Андрей Курбский в доме Семена Яковлева, в Сокольниках, предсказал горькую судьбину начатой царем Иваном войны с Ливонией. Он уверял присутствующих, что «оная станет капканом, в который и попадет зазнавшийся самодержец». В выигрыше от войны останется только Польша.

Иван Васильевич Большой Шереметев в сущевском доме Сатина, с пеною у рта, почему-то, ни с того, ни с сего, ополчился на устроенный царем Иваном Печатный двор. Он кричал, что от этой «дьявольской затеи» будет великий урон вотчинникам на Руси, ибо ничего не стоит тогда царю свои уставы рассылать по городам и селам во множестве и единообразно.

Присутствовавшие здесь бояре, словно обухом пришибленные этим неожиданным заявлением Шереметева, сразу притихли, задумались: в самом деле, царь неспроста воздвиг Печатный двор! Все это — к возвеличению власти Москвы, власти самодержца.

Тесть Адашева Петр Туров успокоил бояр. Он сказал, что Алексей смеется над этой затеей государя. Он говорит, что и сам бы желал иметь печатные книги, но не верит советник царя в искусство и опытность московских печатников. Уж очень долго они и неумело возятся над одною только книгою, над Апостолом. Адашев будто бы уже говорил царю, что без иноземных печатников московский печатный двор ничего не сделает, да царь его не послушал.

— Ну, и слава богу! — облегченно вздохнув, перекрестился Шереметев.

На берегу Москвы-реки, у пономаря в хибарке, произошло самое бурное сборище вельмож. Михаил Репнин едва не подрался с князем Оболенским-Серебряным, назвавшим царя Ивана «мудрым государем».

Михаил Репнин считал, что все совершаемое царем во вред боярству губит Россию и что заигрывание царя с дворянской мелкотой, с незнатными писарями и военниками убьет Боярскую думу и тем самым лишит государство головы, а без головы туловище — труп, тлещ, прах.

— Где же тут царская мудрость?

Репнин зло издевался над словами «мудрый государь». И не будет ошибкой всячески помочь польскому королю, чтобы он «проучил Ивашку», чтоб помирал его непомерную гордыню.

Однако Михаил Репнин не во всем согласился со своими друзьями. По его мнению, идти на войну, — стало быть, еще более баловать царя. Видя такую покорность вельмож, он объярмит бояр неслыханным игом. Тогда и вовсе из-под него не вылезешь.

Напрасно князья старались доказать Репнину, что Ливонская война ослабит власть царя, заставит его снова обратиться к помощи бояр, преклониться перед старинными княжескими родами.

Гордый, самолюбивый князь Михайло сидел за столом темнее тучи. Жилы на висках надулись, волосы на голове, взъерошенные пятерней, упрямо раскосматились, брови нахмурились.

— Пускай голову срубят, но Ливонию воевать я не стану. Никогда род Репниных не был на поводе у царей!

Он сердился не только на царя, но и на всех бояр: изогались-де, совесть и гордость потеряли, своего ума не имеют — живут по указке. О незнатных дворянах князь говорил, брезгливо отплеываясь, называя их «псами».

— Вы воюйте, а я не стану! Не стану! Не стану!

Князь Репнин еще больше рассердился, когда узнал, что боярина Алексея Даниловича Басманова также посвятили в тайну, что ему тоже стало известно о литовском чернце и о тайных сговорах бояр.

— Сами в петлю лезете! — закричал он, вскочив с места. Напилел со злом на себя шубу и вышел вон из избы.

. . . . .

В полночь, возвращаясь из ночного объезда с урочища Трех Гор, где находился загородный дворец князя Владимира Андреевича, братья Грязные, Василий и Григорий, с тремя конниками заметили притаившегося у Козьего болота некоего человека. В темноте трудно было разобрать, кто и что он, но ясно было видно, как этот человек шмыгнул за забор одного из домов. Он то и дело высовывал свою голову из-за угла, поглядывая за всадниками.

Разве могли Грязные вернуться домой, не поймав такого человека и не разведав, кто он, чей, откуда, не вор ли, не разбойник ли, не умышляет ли что на государя-батюшку?

Поскакали врассыпную, чтобы оцепить этот дом. Одному из конников удалось захватить неизвестного. Оказался невысокого роста тучный монах.

— Пошто хорониться? — спросил Григорий Грязной.

— Воров боюсь!.. — тихо и жалобно ответил монах.

— Не посчитал ли ты и нас за воров?

— Христос с тобой, батюшка!.. Государевы слуги вы. Разом видать...

— А ну-ка, праведник, айда с нами в Расспросную избу.

— Чего ради, голубчик?.. Мне недосуг. В обитель тороплюсь.

— Грешно, отче, государеву указу перечить! Пойдем с нами!

— Заблудился я... Давно бы мне надобно в келью.

— Не тоскуй, святая душа. Иди-ка с нами! Келья найдется.

Монах заревел.

— Москва слезам не верит. Гей, старче! Не балуй! Честной душе везде хорошо.

Григорий Грязной нетяжко хлестнул монаха плетью. Монах встрепнулся. Покорно зашагал по скрипучей снежной дороге между конями всадников.

— Мы видали и не таких шучек, но с носочками поострей, да и то нам покорялись. И ты, святитель, покажи смирение, коли так надобно... А на нас не гневайся: чей хлеб едим, тому и песенку поем...

Монах шел молча, потом около оврага вдруг ни с того, ни с сего упал и покатился по его склону.

— Эй, кубарик! Да ты проворный. Ребята, вяжи его! Попу все одно не обмануть Васьки!

— Огпустите, братчики! Недосуг мне! — взмолился, распластавшись на снегу, инок.

— Ты у нас Мирошкой не прикидывайся! Нас не проведешь. Тут, брат, хоть и много дыр, а вылезти все одно негде. Коли к нам попал, никакая обедня тебе не поможет... Божий закон проповедуй, а царской воле не перечь!

Стрельцы крепко связали монаха, взвалили его на

коня и повезли в Кремль. Всю дорогу он умолял отпустить его, не позорить.

В Расспросной избе его развязали, осмотрели с фонарем со всех сторон, спросили, кто он.

— Слуга господа бога и царя Ивана Васильевича, — простонал инок, разминаясь после неудобного лежания на конской спине.

Приглядевшись к лицу монаха, Василий Грязной воскликнул:

— Ба! Лицо-то знакомое!.. Ба! Да никак Никита Борисыч? Боярин Колычев? Не так ли? Давно ль монахом ты, боярин, стал?!

Колычев всхлипнул, отвернувшись.

Григорий Грязной рассмеялся, потирая руки.

— Бог не забыл нас! Рыбка знатная! Игумен Гурий оказался недурен! Заприте его, братцы, под семью замками, приставьте караул крепкий, а завтра мы доложим о нем его светлости батюшке-государю Ивану Васильевичу. Чую недоброе дело! Не все дядя залез в рясу!

Колычева втолкнули в каземат.

Утром в пыточном подвале сам царь Иван Васильевич допрашивал Никиту Борисыча, который с убитым видом лепетал трясущимися губами:

— Прости, великий государь! Бес попутал. Не своей волей... Нечистая сила одолела!..

Царь приказал палачу готовить пытку.

Боярин пал в ноги Ивану.

— Не пытай, отец наш, Иван Васильевич! Все тебе поведаю, все поведаю честью, без понуждения, как на духу.

Палач, как всегда, деловито разводил огонь в тагане, раскладывая орудия пытки, звеня железом, не глядя ни на кого.

— Все я знаю и сам! — сказал царь. — У тебя, боярин, такой же, как и у всех Колычевых, — лисий хвост да волчий зуб. Худую увертку придумал ты, чернецкую рясу напялив. Теперь ты поведай мне: почто нарядился ты монахом и где ты был в ту ночь?

Глаза Никиты Борисыча наполнились слезами.

— Никакого умысла против твоего цесарского величия не было на уме у меня, у холопа твоего верного. И не для того яз пришел в Москву и людей привел, чтоб недоброе супротив тебя учинять, а чтоб служить тебе правдою.

Иван Васильевич насмешливо улынулся, услышав слова «цесарского величия».

— Явился в Москву не для того, а сотворил «того». Кайся, не лукавь, молви правду! Где ты обретался в ту ночную пору?

— И не сам яз туда забрел, великий государь наш... Люди соблазнили: сам яз мало знаю, живу вдалеке.

— Говори, где ты был и что делал?

Лицо Ивана Васильевича стало грозным.

Глаза насквозь пронизывали смятенную колычевскую душу.

— У Сатина находился в дому и грешные речи там слушал... Тьфу!— Колычев стал брезгливо отплевываться.— Сам ни словечка яз не сказывал, токмо слушал... Клянуся всем своим родом, своей жизнью и боярской честью!

Глядя искоса на разведенный в углу огонь, на все эти щипцы и железные прутья, на безбровое, безволосое лицо кята, боярин Никита Борисыч рассказал, что видел и слышал в доме Сатина. Об одном, однако, он умолчал, что бояре обсудили не мешать войне с Ливонией, а наоборот, со всем усердием громить Ливонию, добиваясь тем самым: с одной стороны, доверия и расположения царя, с другой—наибольшей погруженности царя Ивана Васильевича в ливонские дела, чтоб от того выгода Крыму и Польше была явная.

Больше всего он порочил князей Одоевских, особенно Никиту Одоевского, которого втайне издавна недолюбливал, еще со времен казанского похода, за его расположение к царю. Вообще Никита Борисыч порочил всех тех бояр, которых ему было не жалко и с которыми когда-либо он имел местнические счеты.

Выслушав его, царь спросил:

— Обо всем ли ты мне поведал, что было? Не утаили что с умыслом? Не говорили ли там чего о князе Владимире и о заволожских старцах?

— Пускай убьет меня ворог на войне иль дикие звери растерзают в пути, ежели хоть крупинку утаил яз, не поведав тебе, великий государь!

— Был ли Курбский на том сборище?

— Нет, батюшка-государь, чего не было, того не было.

— А знал ли Алексей Адашев о том сборище?

— Так яз понял из речей Сатина и Турова, будто ему неведомо то было, ибо просили у Сатина бояре, чтоб

никто Алексею о том не говорил ни слова... держали от него втайне.

Выражение лица у Ивана Васильевича смягчилось. Царь и сам не допускал, чтоб Адашев строил козни против него; считал его, несмотря на разногласия о войне, честным.

— Об отъезде в Литву, либо в Польшу, либо в Свейское государство сговора не было?..

— Нет, батюшка, наш пресветлый Иван Васильевич, не было, да и быть не могло...

— Не могло? — переспросил царь, пристально глядя в лицо Колычеву.

— Клянусь памятью своего батюшки и своей матушки, что и в помине того не явилось. Да и сам яз пошел на то сборище не ради чего-либо худого, а так, любопытства поганого ради! Обитаю яз в лесу и ничего не знаю о московских делах, думал: тут кое-что и узнаешь... Вот и пошел... Прости меня, батюшка Иван Васильевич, попутал меня окаянный, а так я, кроме любви к тебе и холопей преданности, ничего в сердце своем не имею.

Царь тяжело вздохнул:

— Эх, вы, слуги сатаны! Одному богу молитесь, другому кланяетесь... Не верю я, Никита, и твоим слезам! Одна скатилась, другая воротилась. Кто всем угодлив, тот никому и не пригдлив... Мои бояре — сухие сучья, молодых, свежих листьев на них никогда не будет. Вот и ты такой, как я вижу тебя. Можешь ли ты мне сказать о своем брате, будто он никогда не осуждает меня, будто Иван Борисыч — мой честный, преданный единомысленник?

Колычев задумался. Сказать правду страшно, а соврать еще того страшнее.

— Не гневайся, великий государь! Не единомысленник он твой... Нет! — задыхаясь, давясь, растерянно пробормотал Колычев. — Не хочу яз кривить душой.

— Спасибо и на том.

Немного подумав, Иван Васильевич сказал:

— Приблизил бы я тебя к себе, чтоб ты прямил мне и всю правду о своих друзьях доносил бы мне, царю своему, но... не заслужил ты того, не можешь ты быть моим глазом и ухом... Недостоин, ибо нет у тебя единомыслия со мной... Честная и светлая голова двоим не служит. Чтобы стать моим человеком, моим честным

слугой, нужно отречься не токмо от товарищей, но и от отца, и матери, и детей... Где же мне теперь иметь к тебе веру? Пытать тебя я не стану, отпущу с миром, но...

Царь на минуту задумался. Потом, указав рукою на ката, сказал:

— Да будет он нашим послухом!<sup>1</sup> Ежели где бы то ни было, а наипаче на войне, учнешь ты хулу на меня возводить и откроешь тайну о моем допросе тебя и о пыточной келье моей, то жди божьей кары в том же месте, где то совершишь. Не меня ты опорочишь, не мне ты зло сотворишь, а моей власти даря всяя Руси. Оное равно измене царству, особливо ежели в дни брани хула на владыку возводится. Неволить тебя я не буду, чтоб стал ты моим верным помощником, но и чтоб ты стал тайною помехою моему делу, того не стерплю. А за правду, сказанную здесь, спасибо и отпускаю тебя с миром. Иди и помни мои слова.

Колычев вышел в земляной коридор, пошатываясь, обессиленный сиденьем в каземате, страхом и пережитым волнением.

Царь долго с хмурой улыбкой смотрел ему вслед.

— Гаси огонь!—сказал он кату.— Вот коли так бы легко мне было погасить огонь злобы моих бояр! Тот огонь сильнее пыточного огня. Нам с тобой не угасить его!

. . . . .

Завтра — выступление в поход.

Иван Васильевич, поднявшись в свою палату из пыточного подземелья, стал на колени перед иконами и долго с усердием молился. До тех пор молился, пока к нему в дверь не постучали. Поднявшись с пола, он сел в кресло, крикнув, чтоб вошли.

Появился тот, кого царь ждал,—Алексей Данилыч Басманов, любимый его воевода, дородный, всегда веселый, мужественный красавец. Он низко поклонился царю.

— Допрашивал!—сказал Иван Васильевич с улыбкой.— Покаялся. И брата своего не пощадил. Однако в походе присматривай за ним. За теми тож, о ком мы с тобой говорили. Переметная сума и он, как и другие. Пускай Васька Грязной будет близ него. Чуюшь? Телятьева с со-

---

<sup>1</sup> Свидетель.



бой возьми, коли под Нарву пойдешь. Надо, чтоб верные мои люди не зевали, да не зазнавались... не болтали попусту... Тайну умели бы блюсти, не делая порухи крестоцелованию... Ну, с богом! Служите правдой, а я не забуду вас...

После ухода Басманова Иван Васильевич долго сидел в кресле, глубоко задумавшись. Трудно ему было в эту ночь заснуть.

Несколько раз он заглядывал в опочивальню, подходил к ложу, приготовленному постельничим для сна, но тотчас же отходил прочь и садился снова в свое любимое кресло, убранное леопардовыми шкурами, подаренными ему английским послом Ченслером. Здесь он, в полусне, и провел эту ночь.

### III

Благовест всех московских сорока-сороков, гром выстрелов кремлевских пушек возвестили о выступлении войска в поход.

Вся Москва с мала до велика высыпала на улицы и площади, провожая войско добрыми пожеланиями. Певцы под струны гусель распевали сочиненные ими самими стихиры, прославлявшие храбрость непобедимых русских витязей. Они поминали прежде живших великих московских князей, пели славу великому князю и дарю всея Руси Ивану Васильевичу, «самодержцу и могучему покорителю царств».

У Покровского собора находился и сам царь Иван. Сидя верхом на коне, он пропускал мимо себя двинувшееся из Фроловских (Спасских) ворот войско.

Его боевой арабский скакун, под звуки набатов и свирелей, нетерпеливо перебирал ногами, как будто тоже рвался идти вместе с войском.

Иван Васильевич весело приветствовал проезжающих мимо него воевод, сотников, пушкарей, бодро шагавших пехотинцев—стрельцов, копейщиков. Он дождался, пока все войско пройдет мимо него, а затем, помолившись на храм Покрова, повернул коня в Кремль.

. . . . .

Пушкарский сотник Анисим Кусков—начальник Андрейки—в дороге был прост и разговорчив, хотя и дворянин. Он не скрывал своей неприязни к боярам и все вре-

мя поровил держаться около дворян и простых служилых людей. На плохой лошаденке, сторбившись, прибыл он из родной усадьбы, долго ахал, вздыхал, жаловался на плохую дорогу и был очень рад, когда Андрейка уступил ему своего вороного мерина, полученного в Пушкарской слободе.

Из дальнейшей беседы пушкарки узнали, что на войну идет он добывать себе благо. Кабы не война, ему бы грозило полное разорение. Рассказывал он и о том, как многие незнатные дворяне попадали в милость к царям за подвиги в прежние войны. Их зачисляли в боярские дети, а были и такие, что получали княжеское звание, и земли отдавали им в завоеванных странах самые лучшие.

— Богом да царем Русь крепка, — вразумительно говорил Кусков. — При солнце — тепло, при государе — добро.

В это время мимо проезжал на скакуне Василий Грязной. Нарядно одетый в шубу, крытую бархатом с золотыми узорами, он браво сидел на коне, лихо заломив татарскую шапку с орлиным пером. Увидев Кускова, он поманил его к себе. Поехали рядом. И, как показалось Андрейке, разговор у дворян зашел о них, пушкарях, потому что оба два раза оборачивались в сторону, где шел Андрейка с товарищами.

— Эх, глупец, — покачал головой Мелентий. — Кому ты своего коня уступил?

Андрейку и самого мучило раскаяние. Променял кукушку на ястреба! Э-эх, ты, привычка бедняцкая — угрожать всем!

Пушкарский обоз, скрипя полозьями, с грохотом, звоном и визгом двигался по бугристой дороге. Впереди шла конница — тридцать тысяч всадников. Там были дворянские полки, стремянная стража, казаки, татарские наездники, пятигорские черкесы на маленьких быстроногих конях, чуваша, черемисы, нижегородская и муромская мордва.

Пестрые, разноцветные ткани, кольчуги, медвежьи, волчьи, барсовые шкуры, вывороченные мехом вверх тулупы, бесчисленные копы — все это, слившись воедино, выглядело огромным чудовищем, медленно, извилисто ползущим по снежным пустыням.

Под порывами ветра пели наконечники копий. В сером снежном воздухе колотились о древко расшитые золотом шелковые стяги.

К войску в пути приставало много «гулящих людей». Они робко выходили из леса, падали ниц перед воеводами. Их принимали в пешие полки ласково.

Один неизвестный человек, вышедший из леса и назвавшийся Васькой Кречетом, пристал к обозу пушкарей. Взял его охотно. Наряд был так велик, что постоянных пушкарей не хватало. Обслуживали его и даточные люди, мужики из попутных деревень. Дорогою их обучали помогать пушкарям. Люди были нужны. Веселым, отчаянным парнем оказался Кречет. На нем была волчья шуба, обрезанная у колен, бархатная шапка с оторочкой, нарядные лосевые сапоги. Как будто все это собрано с разных людей. На лбу виднелась недавно зажившая сабельная рана.

— Что ты за человек?—спросил его Андрейка.

— Живем в неге, ездим в телеге, — щеголь с погоста и гроб за плечами! Вот и угадай!

Андрейка думал, думал, так и не отгадал. И только когда Васька показал из-под полы небольшой кистень, Андрейке всё стало ясно.

— И ты с нами?

— Не всякому под святыми сидеть... Загладить хочу прегрешения... Смиренье девичье обуяло: будь потеплее, собирал бы я ягоды по лесным дорогам.

Андрейка рассмеялся.

— Не смейся горох над щами, и ты будешь под ногами!

— Бог милостив! По тому пути не пойду...

— Так оно и есть: соломку жуем, а душок не теряем...

Кречет усмехнулся, прикрывшись воротом. Глаза его были насмешливые, карие, усы рыжие.

— Чудной ты какой-то!—покачал головой Андрейка.

— Год от году чудных более станет... А я не один, нас много. Дай справиться, а там и нам будут кланяться.

Андрейка совершенно растерялся. Теперь он уже не знал, что и говорить. Запутал его Кречет.

Васька пришелся пушкарям по душе. Особенно сблизился с ним Мелентий, такой же, как и он, шутник и прибаутчик.

Дворянин Кусков, после разговора с Василием Грязным, стал держаться в стороне от пушкарей. Не понравился ему и Кречет. Народ так решил — гнушается «гулящим».

Что из того! Воеводы дали приказ брать в войско каждого «охочего». И Васька отныне такой же, как и все. Он весьма искусен в игре на сопел<sup>1</sup>. В дороге тешит пушкарей хитроумным свистанием. Смешно слышать соловьиное пение зимой, среди снегов.

Васька сразу стал самым занятым человеком в пушкарском обозе. Удивлялись ему ратные люди — посошники. Больно хорошо он мужицкую жизнь знал, да и сказочник был отменный, не хуже Мелентия.

Войско шло так.

В головной части на лихих скакунах беспорядочно гарцевали всадники ертоульного, разведывательного, полка. Это самые отборные по ловкости, смелости и выносливости воины. Они должны были разведывать пути, ловить «языков» и открывать неприятельские засады.

Ертоульные то пускались вскачь вперед, скрываясь из виду, то рассыпались по сторонам, лихо перескакивая через канавы, ямы и поваленные буреломом деревья.

Вслед за ертоулом нестройною толпою с лопатами, заступами и мотыгами на плечах двигались даточные люди, высланные в помощь войску попутными селами и деревнями.

Основное войско возглавлял передовой полк. Им командовал астраханский царевич Тохтамыш, вместе с Иваном Васильевичем Шереметевым, Плещеевым-Басмановым и Даниилом Адашевым.

«Большой», самый главный, дарский полк вели Шиг-Алей, Михаил Глинский и Данила Романович.

Полком «правой руки» начальствовал татарский царевич Кайбула да князь Василий Семенович Серебряный.

Полком «левой руки» — Петр Семенович Серебряный и Михайло Петров сын Головин. В этом полку шла нижегородская мордва. Ее вел нижегородец Иван Петров, сын Новосильцев.

Сторожевым полком командовали князь Курбский и Петр Головин.

Кавказских горцев, входивших в состав полка, вели князья Иван Млашика и Сибак, пришедшие с Терека служить верою и правдою Москве. Они пользовались особым расположением царя. Он любил слушать рассказы их о кавказских народах, о горах и плодоносных долинах

---

<sup>1</sup> Сопель — дудка.

далекого Закавказья. Царь назначил им для услуг знавшего их родной язык дьяка Федора Вокшерина.

Муромской мордвой предводительствовал богатырь мордвин Иван Семенов, сын Курдов.

Над казаками атаманствовал лихой рубака Павел Заболоцкий, а всем нарядом (артиллерией) ведал назначенный лично царем литвин Иван Матвеев, сын Лысков.

Закованные в латы, в кольчугах, в нарядных шеломах с пышными султанами из перьев, в накинутых на плечи собольих шубах, тихо ехали впереди своих полков царские воеводы на тонконогих великолепных аргамаках. Под седлами расшитые узорами чепраки с серебряной бахромой.

Конские гривы прикрыты сетями из червонной пряжи, «шток не лохматило»; сбруя обложена золотом, серебром, бляхами с драгоценными самоцветами. Даже на ногах у коней и то золотые украшения и бубенцы.

Беспокойно покачивают пышными султанами воеводские кони, как бы предчувствуя боевые схватки впереди.

На поясах у воевод драгоценное оружие: мечи, сабли, палаши, а на седлах маленькие набаты.

За воеводами кони цугом везли в розвальнях, убранных казанскими и персидскими коврами, золоченые щиты, запасные латы, кольчуги, мехи с вином, бочонки с соленой и сушеной рыбой, сухари, мороженую птицу...

Многие дворяне, одетые нарядно, укутали своих ногогайских иноходцев звериными шкурами вместо чепраков. Шкуры цельные; лохматые лапы с когтями обхватывают бока копей, высушенные головы хищников лежат выше седельной луки. Барсы, рыси, белые медведи... Меха заморских чудищ чередуются с козовыми, бархатными чепраками, с войлочными и рогожными попонами.

Когда под вечер раскинули станы в сосновом лесу на ночлег, Андрейка, как и другие, отправился в лес ломать сучья для костров. Он с восхищением любовался из-за деревьев воеводами и богатыми дворянами: «вот бы место!» Глаза разгорелись от зависти; особенно хороши красные и зеленые сапоги воевод с золотыми и серебряными подковами.

Вернувшись из леса и разжигая костер, Андрейка сказал с грустью:

— Ничего бы мне такого и не надо... Лишь бы коня да саблю бы такую, да зеленые сапоги. И потягался бы я в те поры! С кем хошь!

Кречет внимательно посмотрел на него, улыбнулся.

— Тебя должны бабы любить.

Андрейку, как огнем, ожгло. Ему вспомнилась Охима.

— Уймись! Не то смотри!.. — сердито проворчал он, сжав кулаки.

Кречет рассмеялся:

— Аль тужит Пахом, да не знает о ком? Так, что ли?

Молча разводил Андрейка огонь, пытаясь не смотреть на Кречета. Ему стало не до шуток.

— А ты не дуйся! Правду я молвил. Мысля твоя легкая... Жизнь тяжелая, а мысля легкая... Сто лет проживешь и ничего не добьешься!

Андрейка смягчился.

— Ладно, болтай. Сатана и святых искушал.

И, немного подумав, спросил:

— Как узнать — любит или нет?

Из леса с охотками сучьев врассыпную подходили к кострам остальные пушкари. Затрещала хвоя в огне. Андрейка сделал Кречету знак: «молчи!»

Поблизости, вдоль лесной дороги, раскинулись шалаши татар, мордвы, черемисов, чувашей, горцев. Одни воины оттаивали в бадах над огнем снег и поили коней. Набрасывали на них покрывала, кормили сеном, разговаривали с ними по-своему, как с людьми. Другие точили о брусья ножи, тесаки, кинжалы, кривые, похожие на косы, сабли.

Воеводам и дворянам холопы расставили нарядные шатры; окутали их медвежьими шкурами, устлали досками внутри и тюфяками, снятыми с розвальней.

Простолудины — пехотные и ковыные ратники, — составив копы «горкой», настроили шалаши из еловых ветвей и прутьев, покрыли их войлоками, внутрь положили солому, сено и залезли туда на ночлег. А некоторые снаружи обвалили шалаши и снегом, чтоб теплее было.

Андрейку мучило любопытство — захотелось пойти и поглядеть на прочие таборы.

У соседних костров грелись люди с задумчивыми лицами, слушая старого бахаря. Тихим, ровным голосом рассказывал он о том, как русские рати рубились на Чудском озере с немцами и на Дону с половчанами; рассказывал о великих князьях Александре Невском и Дмитрии Ивановиче Донском.

Андрейка миновал касимовских, темниковских, казанских и ногайских татар. Обошел таборы чувашей, мордвы. Кое-где ему пришлось увидеть, как молятся язычники. Любопытствовал, как зовут их бога. Татары сказали—«Алла Ходай», чувашеи—«Тора», черемисы—«Юма», мордва—«Чам-Пас», вотяки—«Инмар».

Парню стало смешно: сколько у людей богов! Захотелось знать, чей бог лучше. А кто может ответить? И как же так люди молятся разным богам, а делают одно? И русские, и татары, и черкесы, и мордва, и другие вместе идут на Ливонию. И в походе все дружны. Помогают татары мордве, русские черкесам, татарам, мордва русским. И просить не надо.

«Охима правду говорила — боги разные, душа одна!»

Утром застряли розвальни с пушкарями под горою. Андрейка крикнул о помощи. Прискакали кавказцы, чувашеи и татары, и все вместе вытащили розвальни на пригорок. Даже хлебом делятся между собою. Андрейке захотелось узнать, как по-ихнему «земля».

Чувашии сказал: «Сир».

Черемис: «Мюлянде Рок».

Татарин «Джир».

Вотяк: «Музьем».

«Диво-дивное! — думал Андрейка. — И землю зовут по-разному, а защищать ее идут все заодно!»

Андрейка остановился около костра. Рядом розвальни с лыжами, лодками, досками, баграми... В лодках — люди, спят по несколько человек вместе. Так теплее. Освещенные пламенем костров торчат из лодок лапти.

Везде по дороге видел Андрейка шатры и розвальни с кадушками, с лопатами, бадьями, ломами. Даже накопальни и молоты лежали в нескольких саниах. А доспехов в розвальнях видимо-невидимо. В темноте ржали лошади, поблизости от них уныло мычала скотина.

В одном месте остервенело набросились псы. Оказалось — караван с ядрами и зелеными бочками. Встрепенулась стража, зашевелились пищади и рогаины в руках.

Дальше целое стадо косматых быков. Запорошенные инеем, побелевшие, сбились в кучу, опустив головы.

— Эй, кто ты?

Андрейка назвал себя.

Из шатра глянуло знакомое лицо... Ба! Григорий

Грязной! Тот, что запирает его в чулан на Пушечном дворе.

Андрейка посмотрел на него усмешливо и заторопился — «от греха» дальше. Отойдя, плюнул, изругался. Обидно было вспоминать.

По бокам дороги сосны в инее, как в жемчуге, слегка освещены кострами.

Чу! Кто там?

Зашевелились ветви в лесу, посыпался снег.

К костру подъехал всадник в кольчуге и с секирой. Через седло перекинута большая охалка словых лап. Он соскочил с коня, бросил пук ветвей в огонь. Затрещала хвоя. Взглянул приветливо.

— Что? Аль не спится?

— Студено... Разомнусь малость.

— Хоть бы скорее столкнуться!

— Не скор бог, да меток!

— Победим, думаешь?

— Не победим, так умрем. Прибыльнее — победить. Не то я на своей пушке удавлюсь. Лучше помереть, чем врагу отдаться.

— М-да! Силушки у нас много. Срамно, коли они нас побьют... А уж в полон и я николи не сдамся, руки на себя наложу.

— Стало быть, так и этак — лучше победить...

— Выходит — по-твоему. Дай-то, господи боже!.. Сокруши супостатов, немцев проклятуших!

Ратник снял шлем, помолился.

Андрейка тоже.

Перекинулись приветливыми словами и разошлись.

Андрейка так и не достиг головной части войска. Уж очень длинно. Вернулся к своим товарищам. Они спали в развалнях, примостившись около пушек. Последовал их примеру и Андрейка. Тоже забрался под войлочное покрывало, зарылся в сено, уткнулся носом в пушку, обернутую соломой, обнял ее и быстро уснул.

Костры догорали. Издали, с ветром, доносился волчий вой.

На заре заголосили трубы, разбушевались набаты, свирели подняли докучливый визг. Воины, трясясь от стужи, стали вылезать из своих приземистых шалашей. Потирали мокрые от снега ладони.



— Опять утки в дудки, тараканы в барабаны! — раздался голос Кречета.

Андрейка потоптался на снегу. Холодно. Зуб на зуб не попадает.

— Эй, рыжий! Земля-то как промерзла! Страсть!

Мелентий, поправляя лапти и дрожа от холода, проворчал:

— Земля не промерзнет — то и соку не даст.. Ей хорошо! А вот нам-то... На спине словно рыбы плавают. Бр-р-р!

Поднялся и Васятка Кречет.

— Эх вы, бараны без шерсти! Идемте, харю оправим... Баня парит, баня жарит...

— Ух, студено! — съежился Андрейка.

— С бабой теплее, вестимо...

Мелентий рассмеялся, усердно растирая лицо снегом.

— Волк и медведь, не умываючись, здорово живут... Не так ли, Андрейка?

Бородатый сошник, что в соседстве поил коней, почесал затылок.

— К стуже можно привыкнуть, а к бабе... Какал попадется... Моя ни днем, ни ночью не дает мне покоя. Ой и злая!

Нарни громко расхохотались.

Пушкарки достали с воза хлеб, рыбу. Помолились. Пожевали.

Над лесом — словно лужа красного вина. От людей, от коней идет пар. На месте костров тлеют головешки. Пахнет гарью. Снежные бугры, снежные кустарники порозовели. Громкие голоса воинов, гортанные окрики татарских наездников, свист, пение, голоса сотников и десятских ворвались в лесную тишь пестрым, властным шумом. Впереди, там где-то далеко, тоскливо мычали быки, твкали собаки возбужденно, грохотали удары молотов по наковальням.

Татары вскочили на коней. Вдали поднялись воеводские хоругви, лес копий снова вырос над толпами воинов. Заскрипели полозья.

Войско двинулось дальше.

Много было смеха, когда Кречет, забавно отчеканивая слова, спел про то, как один чернец сотворил с черничкой грех, жалобно припевая: «ма-а-атушка!»

Его пение прервал какой-то шум, неистовые крики.

За спиной что-то неладное. Андрейка с товарищами побежали на подмогу. Завязли в сугробах два тура — этакие дылды, как их народ прозвал — «турысы на колесах». Туры бывают на земле, а то, вишь ты, посадили на колеса. Один смех. Кони шестерней тащат эти бревенчатые башни, да еще пушки в них — ишь, рыла выставили — да пищали затыльные... А тут, как на грех, опять горы да овраги.

— Эй, вы, бояре, вылезайте! Ишь ты, забились в свои колокольни!.. — закричал Андрейка на «гулейных», сидевших внутри туров.

Началась работа. Прискакали татары. Привязали к саням своих коней, налегли всей массой. Общими силами вывели туры одну за другой из ямины.

Уже совсем рассвело, когда пушкари вернулись к своему обозу. От лошадей исходила густая испарина, гривы их и шерсть покрылись белыми завитушками.

Наступило утро.

#### IV

После ухода войска в Ливонию Иван Васильевич стал еще более сближаться с иноземцами; часто собирал их у себя во дворце, осведомляясь об интересах в Московской земле, богатстве их стран, о государях. Расспрашивал и о книгопечатании, о диковинах науки.

Сильно обрадовался он, когда узнал, что из Англии, через Архангельск, прибыл в Москву ученый физик Стандиш. Подолгу просиживали оба они в кремлевских покоях, беседуя о морях, о воде, о звездах, об огненных составах для стрельбы (о чем бы ни шла речь, царь всегда переводил разговор на ядра, порох, селитру).

Стандиш был сторонником Москвы, с большим уважением он относился к царю Ивану.

Царь любил играть с ним в шахматы, приходя в восхищение от его искусства в игре.

Стандиш получил от царя, среди многих подарков, богатую бархатную одежду рисунками, с золотом, на собольем меху, опушенную черным бобром.

Иван Васильевич в заботах о государстве старался доказать свое расположение к иноземцам, особенно к англичанам. Некоторым из них были выданы царские грамоты, освобождавшие их от явки на суд по тяжбам с русскими.

Каждому иностранцу отводился отдельный двор. Они могли жаловаться на русских, если их кто обижал. Ни в чем не было помехи иноземцам. В вере тоже. Как хотели, так и веровали, хотя бы даже находясь на государственной службе.

Однако, при всем том, царь Иван Васильевич был очень разборчив в иноземных гостях и слугах и всегда держал их от себя на известном расстоянии. Бывали случаи, что он и высылал из России неугодных ему иноземцев.

Настойчиво льнули к царю Ивану Васильевичу подданные римского кесаря. Они добивались выгодной торговли для себя. Стараясь угодить царю, они лицемерно осуждали ливонского магистра, архиепископа и ливонских командоров за то, что те заключили союз с Польшей и ездят «пьянствовать и развратничать к королю Сигизмунду». При царском дворе опять появился выходец из Саксонии—Шлитте. Опять началась таинственная беготня его вокруг царя.

Ганс Пеннедос, Георг Либенгауер из Аугсбурга, Герман Биспинг из Мюнстера, Вейт-Сенг из Нюрнберга, Герман Шгальбрудер, Николай Пахер и многие другие немецкие купцы и мастера стали постоянными гостями на царских обедах.

Покровительствуя немцам, царь старался противопоставить им англичан и голландцев, а голландцев—англичанам, зная, что между всеми ними ведется борьба за первенство в торговле с Москвою.

Иван Васильевич не раз говаривал: хорошо, что англичане пробились в Москву через льды Студеного моря. Говорил при немцах, испытующе поглядывая в их сторону. Немцы хранили бесстрастное молчание. Тогда царь начинал говорить о том, что он добивается Западного моря для торговых людей,—ему угодно завести сношения со всеми государствами Европы. Немецкие купцы приветствовали намерение царя Ивана добыть удобный торговый порт на Балтийском море. Лучше Нарвы ничего не придумаешь.

— Нам земли не надо,—махнув рукой, говорил Иван Васильевич.—Земли у нас много. О западной воличке тоскует наше чрево... Захиреет оно без оной водицы.

После беседы с иноземцами царь нередко созывал на тайное совещание дьяков Посольского приказа. Все при-

метили большое беспокойство у царя после ухода войска.

Однажды, созвав дьяков в Набережной горнице, где он вдали от двора и бояр любил беседовать со своими людьми о тайных делах, царь, обратившись к Висковатому, сказал:

— А ну ка, Иван Михайлович, рассуди, как нам в мире с Фердинандом жить, чтоб войне нашей помехи не учинилось и чтоб порухи нашей дружбе с ним не было? Не ради Фердинанда, а ради нашего царства нам с ним в дружбе жить надобно.

Вопреки обычаю, царь велел дьякам в его присутствии сесть.

Висковатый, широкий, коренастый бородач, с косыми монгольскими глазами, пожевал губами, вскинул очи вверх, как будто что-то увидел на потолке, и тихо ответил:

— Держать в страхе немцев надобно... и дадкого королюса. Они почитают только силу.

Иван, обрадовавшись, вскочил с своего кресла, а когда и все дьяки поднялись с своих мест, он приказал им спокойно сидеть и слушать.

— Мысли у нас с тобою, Иванушко, сходятся... Я так думаю: немного ума понадобится магистру, чтоб понадеяться на Фердинанда. Немного ума и у архиепископа, благословившего сию войну. А Дания страшится за свою провинцию Норвегию... Под боком она у нас... Там я тоже войско держу... Сказывали мне, будто и в самой Дании беспокойно... Вельможи восстанут на короля. Власть отбивают. А в затылке у них— Германская империя...

— Оно тако, государь, а приказу Посольскому притом же ведомо, что в Данию ливонские немцы то и дело ездят, и королус Христиан надеждою их обольщает...

— Головы им туманит и нас пытается... Да и Фердинанду угодить старается. Король тот не страшен нам, и дружба его не столь дорога нам, как дружба императора.

Приподнялся, поклонился царю дьяк Иван Языков, знавший латинский, польский, французский и немецкий языки.

Он был низок ростом, курнос и веснучат, но вместе с тем уже кое-что позаимствовал за границей в манерах и одежде: носил короткие кафтаны, крепко душился заморскими духами и хитро вел в королевствах посольские дела. Иван Васильевич, хотя и считал грехом его

подражание иностранцам, но легко мирился с этим, ибо это было нужно, и божие наказание за это должно пасть только на самого Языкова. Царь тут не при чем.

— Великий государь! — сказал Языков, поклонившись и прижав руку к груди. — Где в ином месте гнушаются ливонцами так, как то видим мы в немецких государствах? Трусами, еретиками, питухами их прозывают. Аломанские князья и города жалеют их жалостию христианскою, как погибающих, но не разумом политики. Ливония окшается с католиками, в Дерпте епископ — католик, да и само дворянство крепко еще держится за ту веру, а в немецких землях родилась иная вера, противная папе, противная польской. Императору нужна дружба с нами для борьбы с Турцией...

А о Дании Иван Языков сказал, что королевские канцлеры в Дании Иоган Фриз и Андерс Барба по-разному думают о войне Москвы с Ливонией. Немец Андерс Барба против вмешательства в эту войну, ссылаясь на могущество московского царя; датчанин Фриз — за немедленное вмешательство. А король Христиан сбит с толку — ни туда, ни сюда, — да и недомогает он хворью тяжкою.

— Разумею... — задумчиво произнес царь. — Добро!

— Дозволь, государь, и мне молвить слово... — с низким поклоном поднялся со своего места бывалый человек, знавший шесть иноземных языков, дьяк Федор Писемский. Белокурый, розовощекий, с дерзкими глазами, приводившими в смущение иностранных послов.

— Говори... — кивнул ему Иван.

— Великий государь, отец наш! Давно ли поляки отняли Данциг и Пруссию у немцев? Давно ли польские мечи перестали бряцать на аломанских полях? Немецкая страна устала от войн, она разорена своими же алчными князьями и богатынями...

Иван Васильевич несколько минут сидел в кресле, глубоко задумавшись: кому верить? Не лукавят ли, не подучены ли кем к таким суждениям его дьяки? Иноземцы, коих подарками склонил на свою сторону он, царь, не раз обманывали своих королей. Не грешат ли этим и московские послы?

— Слышал, Иван Михайлович? — спросил он Висковатого.

— Молвлю я, государь... — заворочался, грузно вставая, Висковатый. — Сам господь бог указал нам путь. На кого

надеются рыцари? Пущай немедкий император о том поразмыслит. Худа от того ему не будет.

— А Крым? — пытливо посмотрел в лицо Висковатому царь.

— Есть у тебя, государь, и там верные слуги... Образумят малоумного Девлета, подстрекаемого Западом супротив нас. Посол наш Афанасий Нагой не дремлет и все подарками хана не тешит, да и Василий Сергеевич Левашев не скудоумен.

— Ловок он, знаю, однако и у крымского царя есть мудрецы. Хорош Афанасий, но соблюдает ли он меру? Горяч он. Не гоже с татарами горячиться. На засеках излишне стражу усилить гораздо... Да гонцов надо поболее завести в Крыму. А Фердинанда следует еще того более восстановить против ливонских рыцарей...

Царь и посольские дьяки остались при одной и той же мысли: на полдороге не останавливаться.

— Море нам надобно... — задумчиво произнес царь. — Пошлите в Ливонию еще грамоту, а в ней отпишите:

«Необузданные ливонцы, противящиеся богу и законному правительству! Вы переменили веру, свергнули иго императора и папы римского: коли они могут сносить от вас посрамление и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу терпеть обиду, учиненную мне и моему народу. Бог посылает во мне вам наказание, дабы привести вас к послушанию».

Царь говорил, а дьяки записывали.

При этом письме Иван Васильевич, усмехнувшись, велел отправить магистру бич:

— Подарочек от меня ливонским владыкам.

Перед тем как удалиться, он сказал:

— Послов ливонских, кои к нам едут, наказал я принять Адашеву да дьяку Михайлову... Беды навалились — за ум хватились! Недостойно трусам и бражникам лицезреть московского царя... Недостойно и царю, ради их спокойствия, идти вспать! Немедля шлите мою грамоту магистру. Не боюсь я никого!

В царицыной опочивальне было тихо, когда туда пришел царь. Анастасия спала, крепко обняв рукой ребенка. Иван тихо приподнял одеяло и с нежною улыбкой залюбовался сыном. Хворь Феодора прошла. Спасибо врачам! Помогли. Анастасия, как всегда, была бледна. Лежала на подушках, словно неживая.

Иван откинулся в кресле, с грустью подумав: «А бедняжке моей, дорогой Настеньке, и лекари не помогают! И молитва недуг не изгоняет! В чем провинились мы перед всевышним? Коли я виновен — покарай меня, господь! Но в чем же могла провиниться перед тобой она, чистая, неогрешимая, яко голубица, раба твоя?»

Хмурый, полный недоумения и укоризны взгляд царя остановился на иконах. Долго царь вглядывался в красновато-золотистые лики икон. В эту минуту он думал о своей великой власти, о своем божественном назначении: все он может похотеть и сделать; нет такого человека на российской земле, который бы не чувствовал себя его рабом, и, однако...

Лицо царя бледнеет, губы дрожат, грудь его тяжело дышит, в глазах могины.

— Тяжко!.. Ужели умрет?— едва слышно шевелит он высохшими губами, с недоумением вглядываясь в лицо спящей жены.

В опочивальне тихо-тихо, слышно, как где-то в подполье скребется мышь.

В изнеможении опускается Иван на пол и, став на колени, кладет перед иконами глубокий поклон. Из тайного кармана у него выпал небольшой черкесский кинжал, наделав шуму.

Анастасия проснулась, приподнялась, взглянула на царя.

— Никак плачешь? Не надо! Утри слезы... Я боюсь...

В последнее время она не раз замечала слезы у мужа. Не это пугало. В ее глазах он был сильный, твердый властелин, на которого все ее надежды, и вдруг...

Иван, большой, страшный в своем горе, быстро поднялся с пола, отвернулся. Заплакал царевич. Анастасия невольно дала ему свою пустую, худую грудь... Плач ребенка только усилился.

В палате тихо и холодно. Трехсвечник озаряет часть стола, за которым чинно сидят ливонские послы Таубе и Крузе со свитою. Всего пять человек. Рядом с ними Адашев и Михайлов. На стенах тусклая живопись. Из сумрака, сквозь облака, смотрят демоны. Тут же множество нагих костлявых старцев с седыми бородами до земли, жмутся друг к другу, словно от стужи. У их ног извиваются зеленые драконы.

Переговоры закончились ничем. Послы долго не соглашались уплатить поголовную дань, как того требовала государева казна. Сошлись на том, что Дерпт будет ежегодно присылать в Москву одну тысячу венгерских золотых, а Ливония заплатит за воинские издержки сорок пять тысяч ефимков. И когда был написан договор, послы в страшном смущении заявили, что у них с собой денег нет.

Царь Иван, которому о том донесли, зло усмехнулся:

— Чего иного ждать от ярыжников? Пускай с тем же усакивают в Ливонию, с чем прискакали. А на дорогу угостить их, чтоб на всю жизнь запомнили.

И вот теперь перед притихнувшими, смущенными послами и их товарищами наставили золотые блюда, драгоценные суеи, чаши и кубки. Кушаний и вин никаких!

Таубе шепнул Крузе на ухо:

— Долно нам еще ждать?

Крузе ответил Таубе:

— Вероятно, таков обычай.

Прошло много времени: свечи стали отекать; вот-вот погаснут, а кушаний все нет и нет.

Красивый, дородный Алексей Адашев с усмешкой переглядывался с дьяком Михайловым.

Смущение немцев возросло. Одна свеча уже догорела.

Старцы на стене побледнели, ушли куда-то вглубь. Мрак в этой большой холодной палате казался липким, неприятным. Демоны в облаках почти совсем скрылись, только их противные рожи с какими-то ехидными улыбками из мрака в упор смотрели на послов... Каменные своды давили, — казалось, воздуха мало.

— Огонь гаснет, гер Адашев! — наконец решился подать голос Таубе.

— Когда станет темно, мы уйдем... — отозвался Адашев.

— Правители ваши обманывают нас, — продолжал он. — Не канцлер ли учил договор о дани подписать, а денег не платить... Вы думаете — мы не знаем? Вероломство и воровство во всех делах ваших! «Московский царь ведь мужик! Он не поймет, что мы передадим это императору, и договор отменят...» Не канцлер ли так говорил? Видать, вы забыли, а мы помним... У мужиков память надежнее рыцарской.

Немцы стали тихо советоваться между собой, продолжая сидеть за пустыми блюдами.



Скрипнула дверь, послышался смех.

Адашев и Михайлов насторожились: «царь!»

Другая свеча погасла. Тогда Адашев встал, громко провозгласил:

— Поблагодарите государя и великого князя Ивана Васильевича за прием и возвращайтесь к себе домой с чем приехали... Да не судите строго нас, мужиков! Чем богаты, тем и рады!

Растерянные, обозленные, поднялись из-за стола немцы и, опустив головы, последовали за Адашевым и Михайловым.

После их ухода в палату вошел Иван Васильевич с Анастасией Романовной в сопровождении дьяка Висковатого и двух телохранителей — кавказских князей, державших в руках светильники.

Иван Васильевич остался очень доволен приемом послов.

— Будут помнить наше угощение гордецы, — усмехнулся он, взглянув на Анастасию. — Вознеслась неметчина не по разуму.

Царица слабо улыбнулась. Через силу, чтобы доставить царю удовольствие, пошла она посмотреть его выдумку. Одета в темносинюю с серебристым отливом душегрею, обшитую бобровой оторочкой, слегка накумариленная, с подкрашенными губами, она была прекрасна.

Висковатый и тот исподтишка залюбовался ею: «Стройна и нежна. Эх, господи!»

— Горе созидаящим дружбу на красноречии и лжи! — медленно, в раздумьи произнес Иван. — Обладать землей, не возделывая ее, худо, но еще горше, обладая царством, думать только о своем благополучии и не иметь сил, чтобы оборонить свою землю. А долги надо платить. Ливонцы забыли, что долг — корень лжи, обмана, забот, посрамления. Я никому никогда не должен. Я ношу на своей шее золотой крест, а ливонские правители — тяжелые жернова... Могут ли люди почитать таких правителей?

Висковатый хорошо знал Ливонию, ее обычаи и всех правителей, а потому и счел нужным сказать при расставании с царем:

— В оной немецкой стране есть владыки и нищие. Между ними — яма... Черный люд: эсты, латыши и ливы проклинают своих господ. Кто там хозяин? Кто отец? Нет правды, нет любви к своей земле... нет и силы! И я так

думаю, милостивый батюшка, Иван Васильевич: наши воеводы неслыханными подвигами прославят имя твое вовек.

Иван Васильевич с горячностью сказал:

— Дай бог! Так надо.

. . . . .

Ливонских послов велено было везти не прямой ржевской дорогой, а окружным путем — «петлями», — чтобы не видели они приготовлений к войне и попутных станов.

Сидя в возке, Таубе и Крузе желчно злословили про «московского варвара», издевающегося «над самыми святыми, христианскими чувствами». Оба дали клятву друг другу: очернить перед всей Европой «врага христианского мира». «О, если бы император принял сторону магистра! Ведь он же обещал! Неужели он не защитит своих единокровных братьев? Не мы ли разрушали в угоду немецкому протестантизму в своих городах не только римско-католические церкви, но и русские православные? Не мы ли мешали русским купцам вести торговлю с Ганзой и прочими? Не было случая, чтобы мы выказывали дружелюбие к России. Император должен оценить это! Он желал этого!»

Мороз, однако, давал себя знать. Ливонские послы, прижавшись один к другому, дрожали от холода, мерзли носы, щеки. Мысли путались, приходили в полный беспорядок. И, осуждая будто бы Ивана, послы вдруг, неожиданно для самих себя, переходили к осуждению магистра Фюрстенберга: «слаб», «недалек умом», «нерешителен», «не горд», «близорук»... Недостатков у магистра оказалось больше, нежели у «восточного варвара»... Плоха на него надежда, плоха надежда и на императора, все плохо!..

Затерянные в снегах деревушки сверкали алмазами, словно в сказке. Сосновые и еловые чащи вытянулись по сторонам дороги мощными, уходящими под самые облака, темными массивами, говоря о могуществе и богатстве ненавистной ливонскому сердцу страны. Ночью леденил душу тоскливый волчий вой. Хищники не боялись человека: лезли на коней, и только огневой выстрел сопровождавших посольский обоз конников спасал ливонцев от опасности оказаться в волчьих зубах.

После всего пережитого пугала не на шутку мысль о войне с этой богатырской, громадной, загадочной страной... Представлялось безумием вступать в эту войну. На

кого надеялся магистр, затевая споры с Москвой? «Найдешь ли более опасного, более коварного, более кровавого и сильного врага, нежели этот?»

Волки мчались по пятам посольских возков, иногда забежали вперед и садились, замирая в ожидании, по бокам дороги. Казалось, что и мороз и звери подучены царем преследовать «честных ливонских дворян».

Послы молились про себя о том, чтобы хотя живыми добраться до дому. Господь с ними—и с царем, и с магистром! Только бы вернуться подобру-поздорову к своим семьям! Да там и сообразить, что делать дальше, как поудобнее поступить, чью сторону принять.

. . . . .

Жуткая тревога, боязнь «лукавого умышления» не покидали царя. Продолжали сниться страшные сны: кто-то наваливался ночью на него и душил, чего-то требовал... А вчера после отъезда ливонских послов царь перестал есть и пить. Во всем чудилась отравка... Только из рук одной Анастасии мог принять он пищу, приготовленную ею самой. Больше никому веры не было.

Царь сел «в осаду»—затворился в своих хоромах, как в крепости. Царица убрала от него кинжалы, сабли, пистолы. Она ходила за ним по пятам, хотя он чуть не с кулаками накидывался на нее, чтобы оставила его одного.

— Нечисть кругом, волшебство, волхование!.. В открытом поле ратоборствовать с царем, иуды, бояться! Все у моих ног, яко гады, ползают, а на худое—сильны! В волховании и порче они сильнее царя!.. Где же ему бороться со всею чародейской нечистью? На яствах, на питье, так и знай—лихо. А за что? За войну? Слепцы! Несчастные!

Иван Васильевич оборачивался к окну и кричал:

— Не послушаю вас! Не послушаю! Я—царь! Моя государева воля—воевать!.. Ослушникам голову с плеч. Бог на небе—царь на земле!

Он сегодня не умывался, не расчесывал, как всегда, свои волосы на пробор. Не смотрелся в зеркало.

— Анастасия!—крикнул он.—А Висковатый? Какое именишко?

— Добрый... хороший... Верь ему!

Царь вопросительно смотрел на жену.

— Я... верю, но не ошибусь ли?

У Ивана дрожала нижняя губа. Видно стало ровный ряд белых, сильных зубов.

— Тела ради душу погубить захотели?—подойдя к окну, снова закричал Иван.—Недолог путь к падению! Будто не знаете?

— Да ты побереги себя, родимый мой батюшка! Бог с тобой!

Иван сел в кресло. Бледное, в слезах, лицо жены отрезвило его.

— Солимана... Крым... Ногай... Литву... Угры... Людишек лифляндских... и свейских... гордостью дымящихся... хотящих истребить нас и православие... Все! Все забыли!

Анастасия подошла к нему, обвила его шею своими тонкими теплыми руками и, делая его голову, стала тихо успокаивать:

— Милый мой Иванушка, дружок мой, государь, ну кто тебя отравит? Кто тебя изведет чародейством? Ключник берет яства и сам их пробует, после него дворецкий вкушает, и потом стольник тож пригубит, а кравчий ест больше тебя, да на твоих глазах... Касатик, солнышко ты наше, пожалей деток малых... не убивайся попусту!

Лицо Ивана оживилось. Он вскинул глаза на царицу, взял ее руку, прижал к губам:

— Слово царское сбылось! Идут они полями, лесами, бором дремучим... Идут! Москва в походе!.. На врагов проклятых! На злодеев! Почему же ты меня-то непустила? И почему советники отсоветовали? На бранном поле я ничего не боюсь! Народ там! Огонь! Потеха! В келье помышляешь, на поле и помышляешь и храбростью дышишь, железом правду добываешь... В казанском походе обрел я воинское мужество и познал твердость меча...

Анастасия, продолжая ласкать мужа, тихо говорила:

— Обожди... Не торопись... Бог укажет...

— Знахари-шептуны поведали: любят меня воинники! Еще поведали они, — сказал царь шепотом, — будто обо мне и в деревнях богу молятся... Так ли?

Он вздохнул:

— Правда ли? Не врут ли? За что обо мне молиться? Ну да ладно! Позови-ка Тетерина, библию буду слушать. Звездочет-болтун надоед! Лекарь батюшки моего, Николка Помчин, морочил голову ему, великому князю Василию, а оный фрязин-звездочет дерзает обманывать и меня...

Гоните их! Счастье царств не от звезд исходит, а от всемогущего бога! Зови, зови Тетерина!

Анастасия вышла и вскоре вернулась в сопровождении человека малого роста, одетого в чернецкую рясу.

— Эх ты, Яша, раздобыл!— с улыбкой сказал царь.— Али каши наелся?

Анастасия в угоду царю рассмеялась.

Тетерин низко поклонился.

— Милостивый батюшка государь! На твоём дворе всякая тварь отолстевает и сытой бывает.

Иван улыбнулся.

— Оравы не боишься?

— Пошто отравы?—в испуге спросил Тетерин.

— Вот возьмут твои враги да и намешают тебе либо отравы, либо приворотного зелья, а ты и не узнаешь...

— Никому-то, батюшка-царь, я не нужен, — просто-душно вздохнул Тетерин. — Самый последний человек я. Богомолец, сирота — и все тут.

Иван насупился: «молчи!». И, оглянувшись, кивнул Анастасии со значением.

— Читай Иова!.. Царица, слушай!

Тетерин раскрыл библию, помолился. Помолиться и царь с царицею. Откашлявшись, стал читать.

— «...И отвечал Иов и сказал: о, если б верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, верно бы, перетянуло песок морей! Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы вседержителя во мне; яд их пьёт дух мой; ужасы божии ополчились против меня... О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил бог мой!..»

Царь поднялся с места, бледный, взволнованный.

— И боюсь я Иова и не могу оторваться, — задыхаясь от волнения, произнес Иван. — Читай!.. Больно мне! А все же читай!

Тетерин, стоя перед аналоем, рыдающим голосом продолжал — сначала читать по-латыни, а затем переводить прочитанное:

— «...Твердость ли камней — твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег...»

— Довольно! — стукнул ладонью по столу царь. — Раскрой Книгу Царств. Про Давида... Как отсек голову...

Голос Тетерина звучал с торжественной медлительностью, бодро, восторженно:

— «...И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина Голиафа в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю...»

Царь выпрямился, глаза его оживились, на губах мелькнула улыбка.

— «...Так одолел Давид Голиафа пращею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и, вынув из ножен, ударил его и... отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что Голиаф убит, испугались и побежали...»

Царь громко рассмеялся, Анастасия тоже, — опять в угоду царю.

— Кабы и нам было, — сказал Иван, — чтобы печатные книги, подобно грекам, Венеции и Фрагии<sup>1</sup> и прочим языцам излагать. Пускай люди наши читают единое. Писанные же книги — темны. Недоброхот может волею своею и бесчестием писать и во вред нам. Поп Семен напишет: «служите нелицеприятно», а дьякон Ефимка — «не слушайте царя!..» и многое другое. А нам то ведать не можно. Велико наше государство, и нужны нам мужи, богатые разумом светлым. Вот и про Давида надобно, чтобы знали наши, как носитель правды осилил сильнейшего носителя зла... Не след и нам бояться иноземных королей...

Он встал, подошел к Тетерину.

— Постой, дай взгляну я...

Книга большая, в кожаном переплете, прикована к аналою цепью. Иван взял ее, раскрыл, погладил бумагу, осмотрел переплет.

— Добро! Зри, государыня!

Анастасия уже не в первый раз видит эту книгу, не в первый раз она гладит, по примеру Ивана, шероховатые влажные страницы и переплет.

— Добро, батюшка-государь, добро!..

И в самом деле, Анастасии полюбилась эта книга.

<sup>1</sup> Италия.

В ней так много сказано о жизни царей, когда-то живших и давно умерших... И, к тому же, Иван Васильевич всегда успокаивался, когда слушал чтение ее.

Царь показывал Анастасии каждую новую книгу, привезенную ему из-за рубежа. Сам он посылал людей в чужие страны за книгами. Царь любил книги, собирал их. Горницы в его покоях были полны ими и на многих языках... Во все дни, когда он сидел «в осаде», толмачи приносили разные книги и читали ему.

Одну только не любила царица — «Троянскую историю» Гвидо де Колумна. А не любила ее потому, что эта книга причиняла царю великое беспокойство.

Он прерывал чтение, вскакивал с места и начинал ходить по всему покою. Его голос становился тихим, но в нем звучала затаенная злоба.

Изменников бояр и служилых людей, бежавших в Литву, он называл подобными Ангенору и Энею, предателям троянским, «многую сотказшим ложь».

Припоминал свою болезнь.

Он поклялся Анастасии, что никогда не забудет того, как бояре, видя его на смертном одре, хотели захватить власть. Разве не они звали народ присягнуть князю Владимиру Старикому, мня в нем своего боярского дара? Сильвестр, кичившийся преданностью царю, отрекся от царевича Димитрия — этого не скроешь! Стал он заодно с боярами. Отблагодарил за милость! Спасибо Воротыньскому да Висковатому. Оборонили царевича! «Но более всего тебе, о господи, хвала! Не захотел еси сгубить Российской державы — испослал царю всея Руси сил к одолению недуга».

Толмачи со страхом прислушивались к гневным словам Ивана. Высокий, сильный, мятущийся, он пугал их порывистыми движениями своими. Им казалось, что вот-вот он набросится на них, заколет их. Глаза его делались страшными. Он осматривал столы и стены, как бы ища оружия.

Вот почему и дьяки-толмачи каждый раз с трепетом приступали к чтению этой книги. Библия — иное дело.

Давид, молодой, не кичливый, сошелся в бою с прославленным богатырем Голиафом и побил его. Анастасия знает, что Иван Васильевич часто сравнивает «юную Москву» с Давидом, а зарубежные государства с Голиафом. Царь с усмешкой смотрит на «многовластие» и «много-

умие» в правлении западных царств. «Един владыка — едина земля!» — внушал он окружающим, сам горячо веря в это.

На другой день царь снял с себя «осаду». Никакие Голиафы не страшны ему! Чтеца Яшку Тетерина наградила гривною. «Молодец! Помог сбросить осаду!»

— А все же... они идут... люди мои!.. Не отступились от государева наказа... К морю идут! Не так ли, Яша?

Тетерин повалился царю в ноги.

— За великую милость твою, отец наш, низко кланяюсь тебе! Во здравие государя и государыни сотвори молитву мою, и несметное воинство твое, как и встарь, увенчается превысокою доблестью и славою всемогущего покорителя царств!..

Иван Васильевич с ласковой улыбкой поднял Тетерина.

— Стань! Хороша речь твоя. Лябо слушать слова чести!

«Покоритель царств!» Как радостно бьется сердце его, царя, каждый раз, когда он слышит это! И разве это не так?! Еще и века не минуло от дней княжения Василия Темного, когда Русь имела всего полтора десятка тысяч войска, а уже под знаменами его, царя всея Руси, Ивана Васильевича, идут в походы сотни тысяч храбрых воинов! И ныне не только Казанское, но и великое Астраханское царство лежит у ног его, московского царя. Русь, бывшая долгое время под пятой завоевателей, знает, что есть неволя. Знает и московский царь это, и делает все для того, чтобы неволи не повторилось!

Иван Васильевич, повеселевший, довольный словами Тетерина, ласково проводил его до самой двери своей опочивальни.

А утром царь Иван в торжественной обстановке принимал послов Хивинского, Бухарского и Грузинского царств.

Богатые дары хивинских и бухарских послов поражали присутствовавших при этом бояр своею роскошью и красотою. На громадных коврах красовались вытканые руками хивинских и бухарских женщин орлы, парящие в лучах яркого солнца над серебристыми хребтами гор; закованные в латы всадники, сражающиеся с чернолицыми конниками; богатырь, единоборствующий со львом. Бархатные бухарские ласкали глаза нежною голубизной и солнечной зеленью оттенков. Много окованного золотом и серебром



оружия и богатой конской сбруи было принесено в дар царю грузинскими князьями. С ними, как единоверцами, царь вел беседу отдельно.

После приема, вместе с грузинскими послами, царь молился в своей дворцовой церкви. Отправляя службу митрополит Макарий, сочувствовавший сближению христианской горской страны с Московским государством. Грузинские князья били челом Ивану Васильевичу в час послеобеденной беседы — помочь им воевать султанские владения и Тавриду, от которых постоянные утеснения грузинскому народу.

Грузинских послов он ввел в свои внутренние покои, много беседовал с ними тайно.

Иван Васильевич успокоил их, что он будет всеми своими силами оборонять Грузию от хана Девлет-Гирея в случае его нападения на нее, но с султаном Российское государство пока находится в мирных отношениях, надобно и в Грузии пока ладить с ним. Турция держит в страхе немцев. Это нужно!

Грузинские князья присягнули московскому царю в верности и дружбе и были милостиво допущены после того к его царской руке.

Царь отпустил их, подарив им лучших своих скакунов в украшенной драгоценными камнями сбруе.

## V

Параша очнулась. Первое, на чем остановился ее взгляд, был громадный, в овальной золоченой раме, портрет пожилого человека: лицо желтое, глаза серые, холодные; усы, закрученные вверх, и остроконечная борода. На губах злая улыбка.

Параша, отвернувшись, поднялась со своего ложа, огляделась кругом. Сводчатая каменная палата, темносиние стены, расписанные красными, словно окровавленными, мечами и золочеными крестиками. Круглый стол, покрытый вязаной скатертью. На столе глиняный кувшин с водой. Два херувима, поддерживающие крест, вылеплены на его поверхности с одной стороны, с другой — череп и две кости.

Девушка подошла к окну. Оно глубоко сидело в стене и было загорожено железной решеткой. И решетка вся из крестов.

Вечерело. Мучила жажда. Параша дрожащей рукой наполнила серебряную чашу водой, жадно выпила ее. Девушка еле-еле держалась на ногах. Руки ее—в синяках от веревок. Ноги, бока ныли, болела голова.

Стараясь припомнить, как и что было, она, кроме страшного, безволосого, морщинистого лица, обтянутого, как платком, чешуйчатой бармицей, ничего не могла вспомнить.

В палате стужался мрак. Поползли из всех углов тени. Желтое лицо рыцаря смотрело нагло, не отрывая глаз от Параша. Девушка мужественно боролась со страхом. Она пробовала отворить дверь, однако это ей не удалось—дверь была заперта. Стала стучать. Где-то глухо отозвалось эхо, но никто не откликнулся на стук.

Быстро темнело. Параша опустила на ложе и горько заплакала.

Послышались шаги. Звякнул ключ, дверь тихо скрипнула. Вошла, держа светильник, высокая, худая старуха. Она улыбнулась беззубым ртом. Глаза ее показались Параше добрыми.

— Вот тебе платье, надень его...— сказала она по-русски и отдала Параше сверток, который держала в руке. Сама села в угол на скамью.—Ты плачешь, но напрасно... Тебе не будет плохо.

Параша удивилась, услышав родную речь. Стараясь подавить слезы, она спросила:

— Ты русская?

— Из Полоцка я. Давным-давно, как и ты, попала я сюда. Три десятка лет живу в Нарве. Одевайся, чего смотришь? Таких у вас не посят! Длинные фериши да сарафаны у вас там. Давно уж я не надевала сарафанов.

Простодушная разговорчивость старухи подействовала на Парашу успокоительно.

— К чему мне такой наряд?

С удивлением смотрела девушка на тонкое кружевное белье. Еще большее удивление вызвало у нее пышное платье из тафты с золотыми нашивками.

Старуха засмеялась.

— На пир я тебя провожу. Ждут тебя. Там весело. Молодые люди у нас умеют веселиться. Живем один раз на свете. Чего ради постничать? Я, когда была молодая, любила поплясать...

Параша спросила в недоумении:

— Какой цир?

— Сама увидишь... В Ливонии не то, что в Московии. Одевайся, одевайся. Не надо трех голов, чтобы смекнуть, где лучше—в каземате или на балу.

Параша преодолела свой страх, быстро облачилась в платье с жабо, с буфами, лишь бы уйти из этой мрачной кельи, лишь бы не видеть больше этого желтого противного лица с холодными, назойливыми глазами!

— Что со мной будет? Куда зовешь?

Старуха взглянула на девушку с лукавой, загадочной улыбкой.

— Красавицы не должны об этом спрашивать. Куда пригласят—туда идут. Им везде хорошо. Наше дело, старушечье, — иное. А ваше—только гуляй!

Параша хотело услышать простое, понятное, сказанное от чистого сердца слово, как говорят в станице.

— Мне страшно! Где я?

— Ты в хоромах, каких не знает ваш деспот-царь... Ты теперь под властью кавалера, имя которому Генрих. В вашей варварской стране не знают таких господ. Тебе надо благодарить Иисуса Христа. Вечной памяти епископ Альберт всю Ливонию посвятил деве Марии.. Она тоже спасает всех нас и доныне. Молись и ты ей! У нас есть пастор, он научит тебя праведной молитве триединому богу: отцу, сыну и святому духу...

Все это старуха говорила спокойным, добрым голосом, и лицо ее казалось правдивым.

— Коли солгала я—прокляни на молитве старую Клару! Пускай сатана ее сожжет в аду...

Они вышли в длинный темный коридор. Клара шла впереди со светильником в руке. Тени прыгали по стенам. Шаги гулко дробили тишину. Иногда старуха оглядывалась, приговаривая:

— Смелее, смелее! Ты у себя дома, любезная сестра!

Путаясь в широкой тафтяной юбке, краснея от стыда, что ее увидят в таком чудном наряде, Параша покорно следовала за Кларой. Хотелось знать—что же будет дальше. Ей многое было известно про Ливонию. Через рубеж часто перебежали латыши, ливы и эсты. Они были худы, оборваны, забитые, голодные. Параша кормила их в отцовском доме. В станицах жалели их и помогали им. Они рассказывали, что немцы, орденские братья, проводят время в травле зверей и охоте, в игре в кости и дру-

гие игры, в пирах. А крестьяне живут в гнилых хибарках, питаются одним хлебом, не видят радостного дня, немцы всячески издеваются над ними...

Вот что приходилось слышать Параше о Ливонии.

Шум, грохот посуды, дикие выкрики и бешеная музыка донеслись до ее слуха.

Клара открыла дверь — два толстых человека в пестрых одеждах, с большими крестами на груди, подхватили Парашу и увлекли в палату, слабо освещенную немногими трехсвечниками.

В полумраке, тесня друг друга, кружились мужчины и женщины. Визг, смех, возня ошеломили Парашу. Она вырвала руку, перекрестилась: «Чур, чур меня! Рождественский пост, а они кружатся, приплясывают, пьяные, озорные, да еще с крестами на груди».

На непонятном языке что-то прокричал тот, который держал Парашу. Высокий красивый молодой человек в голубом бархатном камзоле подскочил к ней с кубком.

— Ночь — друг вора и возлюбленным! — громко воскликнул он по-немецки.

Девушка оттолкнула кубок. Вино полилось на пол. Окружившая ее хмельная, шумная толпа мужчин и женщин громко расхохоталась. Молодой человек в голубом камзоле быстро сбежал к столу за новым кубком. Теперь Парашу облепило несколько человек. Она не могла шевельнуться. Ей насильно влили в рот вино. То же повторили и в другой раз.

Она закричала.

Подшел худой, желтолицый немец, затянутый в камзол из черного бархата с вышитым на груди белым крестом, зашикал, погрозившись на нее пальцем, и, махнув рукой куда-то в сторону, брезгливо сказал: «Москва! Не здесь! Фи! Фи!»

Он презрительно сморщился.

Этот человек показался Параше знакомым. Вспомнился портрет. Ведь это же с него писано! С него! Стало быть, он и есть хозяин этого дома. На нее глядели эти холодные, наглые глаза.

Снова музыка. Опять все завертелось: женщины, мужчины. Глаза стоявшего перед Парашей рыцаря росли, делались громадными, обращались в огненные круги.

У девушки закружилась голова...

.....

Высоко, в башенной келье, откуда хорошо видны звезды и черные дали окрестностей, сидит и пишет, при зажженной свече, ливонский летописец, — ученый, скромный молодой пастор Бальтазар Рюссов. В голубых глазах его что-то страдальческое. Он оторвался от писания, прислушался.

В нижних палатах замка пьяный шум, топание сапогами, крики.

«...После того как Ливония была приобретена прежними старыми магистрами, епископами, — пишет Бальтазар, — покорена и заята, в ней построено много городов, местечек, замков и крепостей для большей безопасности от врагов: русских, латышей, ливов и эстов, — а также после того, как магистр Вальтер фон Плеттенберг в давние времена одержал победу над москвитями и заключил продолжительный мир, ливонцам на много лет нечего было бояться войны. И изо дня в день, как между правителями, так и между подданными, стали распространяться большая самоуверенность, праздность, тщеславие, пышность и хвастовство, сластолюбие, безмерное распутство и бесстыдство, так что нельзя вдоволь рассказать или описать всего...»

Рюссов изволнованно отложил гусиное перо в сторону, накрыл камнем написанное и подошел к окну. Среди снежного поля чернела река Нарова. По небу скатилась звезда, оставив после себя длинный огненный след.

Тяжелый вздох вырвался из груди пастора: чует его сердце — скатится так же в небытие и власть немецких владык. Близок час! Бальтазар пишет свою историю Ливонии изо дня в день, с лихорадочной поспешностью. И вот, стоя у окна и глядя на небо, он молит бога о том, чтобы ему удалось закончить свой труд до этого страшного часа. Бальтазар в последнее время испытывает такую боль, как будто пишет он кровью... кровью любящего свою родину ливонца... Он молод, он полон сил, он делает все, чтоб предотвратить гибель своего государства, но...

Внезапный стук в дверь заставил пастора вздрогнуть. Отворил.

Вошла Клара, низко поклонившись.

— Пастырь и отец наш, — сказала она почтительно, — господин просит ваше священство сойти вниз, в крестовую палату...

Бальтазар нахмурился.

— Разве не видишь, пастор занят? — указал он на свою летопись.

— Хранитель душ и учитель наш, — сказала Клара, — русская девушка ждет обращения... Пленница господина Колленбаха.

Бальтазар, не оборачиваясь, ответил:

— Пастор придет.

Клара снова поклонилась и ушла.

Очнувшись, Параша увидела, что она сидит в широком бархатном кресле в комнате, похожей на церковь. У стены большое распятие. Потолок изображает небо — ангелы и херувимы с золотыми крыльями на нем. Около распятия большая серебряная купель. На столе, накрытом парчой, — ларцы, полотенца, кисти. Грузный медный трехсвечник, прикрепленный к стене, тускло освещает комнату. На полу черные, с лунами и звездами, ковры.

Глубокая тишина.

Бесшумно отворилась дверь — вошел пастор. Девушка и раньше видела ливонских священников на базарах в Великих Луках. Там съезжалось на торг много польских и немецких священнослужителей.

Пастор поздоровался. Девушка встала, опустила голову.

— Садись... — повелительно произнес он по-русски.

Параша села.

— Почитай за счастье, дочь моя, что находишься в лапатах доброго христианского князя. Ваш народ язычники. Ваши князья богохульники, варвары, ваш царь — темный деспот, ставящий себя наравне с богом...

— Мы не язычники! Уйди! Не хочу слушать. Немцы — разбойники! — сердито сказала Параша.

Пастор спокойно продолжал:

— Кому вы молитесь! Деревяшкам, о которых ничего не знаете. Высшие истины вероучения недоступны вам... Много церквей у вас, но они похожи на торжища... В них спорят, разговаривают, даже дерутся и ругаются скверно... Нужны железные ноги, чтоб не упасть от утомления и усталости, ибо молятся у вас стоя. Орденские братья призваны богом истребить язычество и неверие... Ты научишься молитвам, будешь грамотна, будешь ходить в нарядных платьях и башмаках, будешь такою же, как немка. Ты поймешь все христианские добродетели...

Забудешь, что поклонялась куску дерева и слушала бредни грязных, невежественных попов... Желаешь ли стать христианкой? Признаешь ли немедкую веру?

Параша слушала пастора с удивлением и гневом. Все, что он говорил, оскорбляло ее, она готова была плюнуть в лицо этому навязчивому немедкому проповеднику, но его глаза были такие красивые, такие честные и печальные и голос тих, вразумителен. Она невольно заслушалась. Грешно переносить молча хулу на православную веру, но... Впервые она слышит такие дерзкие речи. За такие бы слова в станиде либо сожгли, либо обезглавили.

— Ты будешь...—пастор в задумчивости остановился.— Наш магистр хочет... Но не ради того я говорю тебе, чтобы прельстить тебя соблазном роскоши и праздности. Нет для меня высшего счастья, нежели видеть человека, вырванного из мрака язычества и причисленного ко христову стаду. Подумай! При твоей красоте телесной, если ты приобретешь и красоту духовную, ты можешь стать герцогиней, княгиней, высоко быть поднятой над людьми... Ты можешь стать повелевательницей, иметь рабов.

— Не надо рабов! Ничего не надо! Пустите меня домой!

Параша сделала движение, обозначающее, что она не хочет больше его слушать, что она уйдет отсюда... Пастор смиренно отошел в сторону, с кроткой улыбкой глядя на девушку.

— Меня не бойся, дочь моя! Если бы я во имя бога и пресвятой девы Марии захотел отпустить тебя из замка, то и тогда бы ты не ушла... Стража задержала бы тебя при первом же твоём шаге. Скажи мне без страха — хочешь ли отречься от язычества и перейти в христианскую веру?

— Я не язычница... И вере своей не изменю. Отпустите меня! Моя вера — вера моих отцов, моей родины... Изменить им я не могу!

— Я не держу тебя. Уходи. Насильно обращать в христианство не стану. Вера — добрая воля каждого... Таинства силою не вершат.

— От вас ли слышу то?.. Отец рассказывал, как губили вы народ за веру... Мы слышали, сколько крови пролито вашими королями за веру!

Пастор промолчал.

Девушка облегченно вздохнула. Она не знала молить и не понимала ничего из того, что говорили и пели в церкви, но ей была дорога родная вера, вера русского народа. Изменить вере — стало быть, изменить родине, изменить своей земле. На это Параша не пойдет, даже если ей будет угрожать смерть.

— Подумай о моих словах, отроковица. Время терпит. Но знай: никто тебе здесь зла не причинит.

Пастор помолился на распятие и вышел.

Параша опустила в кресло, задумалась. Что же дальше? Руки на себя наложить! Но и это грешно... нехорошо. Она не сможет решиться на это. Надо надеяться на милость божью и на свое терпение.

В комнату вошел он, этот страшный, сухой человек со стеклянными, холодными глазами. Он покачивает головой, грозит, подходит к распятию, что-то шепчет, опять обертывается к Параше. На черном бархатном камзоле его — вышитый серебром череп и под ним две кости.

— Отпустите меня... На что я вам!

Параша сама испугалась своего пронзительного выкрика.

Желтый человек покачал головой с усмешкой.

— *Wessen das Erdreich ist, dessen ist auch der Schatz*<sup>1</sup>.

Она не поняла его слов, но после этого его глаза стали еще страшнее. Он заскрежетал зубами, по лицу разошлись морщины.

— Не мучьте меня!

Колленбах вдруг отвернулся и, погрозившись пальцем на Парашу, ушел.

Вслед за тем явилась Клара. Она была печальна.

— Сама я была такой же, как и ты, и богу молилась по-русски... Была я и католичкой. И не понимала ничего... Только когда стала лютеранкой — просветлел мой ум и сердце мое благодатью исполнилось. Пастор приехал к нам из Ревеля. Он святой человек. Он никогда не веселится, на пирах не бывает, не любострастен, прямой и честный. Молодой, но ему чужды забавы молодости. Служба в кирке и книги — в этом его жизнь...

— Но я не могу изменить вере! Не хочу! Ни за что! Дивуюсь я тому, как ты могла изменить родной вере и своей родной земле. Мне стыдно смотреть на тебя.

---

<sup>1</sup> Чья земля — того и клад.



— Самая страшная измена — измена Христу... Измена деве Марии. Ваша вера — не христианская, царь у вас выше Христа. Московиты — язычники. Я плакала, когда узнала о твоём упорстве. Наш господин добр и честен. Он не хочет твоей гибели. Он верит в твоё благоразумие. У тебя будет время одуматься... Иди, я отведу тебя в твою келью... Если же будешь упрямиться, страшная казнь ждёт тебя. Тогда Колленбах будет беспощаден.

. . . . .

Бальтазар Рюссов писал:

«...И этих женщин все называют не непотребными женщинами, а «хозяйками» и женщинами, внушающими мужество. Порок стал настолько обыденным, что многие не считают его грехом и стыдом. Многие уважают своих валожиц больше, чем законных жен, что причиняет последним немало огорчений. Похищение чужеземок и насилия над ними стали обычаем».

«...некоторые евангелические священники внутри страны не стыдятся держать, подобно другим, пленниц, валожиц или хозяек».

Молодой пастор волновался. Он бросил перо и стал ходить из угла в угол своей комнаты, заваленной книгами.

В дверь постучали. Рюссов вздрогнул, поднялся. На пороге — хозяйка языка. На его желтом лице неудовольствие.

— Отец Бальтазар, с русской девкой надо строже. Московиты не оценят вашего благородства. В этой красавице — кошачья душа. Нельзя щадить русских пленников и пленниц. Фест не раз указывал вам на то.

— Брат Генрих! Что делаете вы, того не может делать служитель церкви. Любовь к богу — любовь к совершенству. Не могу я следовать обратному — не стремиться к совершенству.

— Господин Бальтазар, нет разумной твари, которая не стремилась бы к совершенству... Царь Иван московский тоже совершенствуется, но как? Он лёт пушки, готовит войско... Он осмеливается вооружаться против нас! Подумайте!

— Генрих, вы забыли, что, совершенствуясь, подобно Ивану, вы можете стать надежным защитником христианства... Этого требует от нас сам господь бог... Сила нам нужна для защиты христианства, сила, подобная силе

наших предков — братьев меченосцев!.. Вы забыли, что вы — немец, что силою оружия наши предки истребляли язычников... истребляли еретиков...

— Опять поучения, пастор!..

— Прелюбоден подобны тем, учил Сократ, которые не хотят пить воды, текущей на поверхности речного русла, а желают достать воду со дна реки, то есть воды худшей, смешанной с илом. Невольники богатства едва ли счастливее их слуг, невольников-плебеев, и едва ли большего заслуживают уважения!

Генрих с насмешливым лицом махнул рукой и ушел, хлопнув дверью. Бальтазар Руссов тяжело опустился в кресло и закрыл руками лицо: губы его шептали молитву о предотвращении нависающей над Ливонией грозы.

## VI

Мороз крепчал. Вдобавок поднялся ветер. Разбуживались снежные вихри, заметая дорогу, леденя кровь. Коня увязали в сугробах, падали на колени. Ратники бежали им на помощь, вытаскивая возы на себе. Раскрасневшиеся на морозе лица запыдевели: белые бороды, усы, ресницы. Всадники время от времени соскакивали с коней, грелись, приплясывая, толкая друг друга; шутили: «звоняк пляшет — шапкой машет, приседает — меру знает...»

— Этак замерзнуть недолго... — покачивая головой Андрейка, — экий морозце!

Старый воин, ожививший коней при наряде, сказал:

— Не кручинься. Умрешь в поле, не в яме.

Войско то и дело останавливалось. Разгребали снег на дороге. Пешие стали на лыжи. Пошли деловито и безропотно, опираясь на копья. Сяги давно свернуты. Особенно трудно двигаться пушечному каравану. Все время надо помогать ему. Андрейка из сил выбивается, оберегая свои пушки от падения из розвальней. Он кричит что есть мочи на верховых, вытаскивающих из сугробов розвальни с нарядом, кричит и на пушкарей из своей «десятины». Эх, погодушка-невзгодушка!

Крику всякого много.

В барсовых, козлиных и медвежьих шкурах с грузом преодолевают снега непривычные к русской зиме горцы. Их маленькие лошаденки, раздувая ноздри, недоумело смотрят по сторонам, фыркают, упрямятся. Все ратники ко-

бывались горцами. Удивительные люди! Никто не видит, когда они едят. Они ничего не делают напоказ другим. Стыдливы. Никакие страдания от непривычного для них мороза не вызывают у них ни одного стога, ни одной жалобы. Один горский всадник долго скрывал свой недуг и умер в дороге, сидя в седле, а умирая—улыбался и говорил: «ничего», «аммен!» (аминь!).

В дороге горцы делились последним с русскими ратниками, предлагали им с большою приветливостью свои курузные лепешки. Никогда горец не принимал в дороге пищу, не вымыв в снегу руки.

Их старшины—Иван Млашика, Сибака, Кудадек Александр, Салтанук Михаил и Темрюков—ехали впереди полка, внимательно осматривая прищуренными глазами окружающие их равнины. После горных уступов и ущелий эта ровная снежная низменность резала глаза, вызвала любопытство...

Донские казаки и прочие степные всадники тоже закутались, кто во что мог; терли уши, носы; сгорбились от непривычки к морозу, норовя повернуть коней спиной к ветру.

Большие воеводы мужественно переносили непогоду, не слезая с коней, осанисто гарцуя впереди своих полков, тем самым показывая воинам пример выдержки и терпения.

Шиг-Алей ехал рядом с Михаилом Гляняским. Половина жирного, бабьего лица у него была закрыта башлыком; вместо шлема—пышная меховая остроконечная татарская шапка. На нем была дорогая соболья шуба, подаренная царем Иваном. Он туго перетянул ее пестрым шелковым кушаком.

Толстый, грузный, сидел Шиг-Алей на громадном косматом коне, широко расставив ноги в лосевых сапогах. Косые монгольские глаза хитро посматривали по сторонам.

Иногда он подзывал к себе своего слугу, ехавшего невдалеке от него и закутанного в оленьи меха, и что-то говорил ему по-татарски на ухо. Тот пускался вскачь в тыл и затем возвращался с кем-нибудь из воевод. Шиг-Алей важно принимал поклон воеводы и, размахивая коротким золоченым жезлом, отдавал то или иное приказание.

Все воеводы должны были каждое утро после ночлега собираться у него в шатре для совета и получения при-

казаний. Воевод созывали особыми рожками. Шиг-Алей подробно расспрашивал каждого из них, как они провели ночь, не было ли чего ночью, здоровы ли ратники в полку, нет ли падежа в табунах, хватит ли припасов до следующего перехода.

Воеводы обо всем докладывали Шиг-Алею с великою почтительностью. Шиг-Алей напоминал всем воеводам строгий приказ Ивана Васильевича, чтоб дорогою в деревнях и селах ничего силою не брать и никакого ущерба не чинить. Царь Иван грозил суровым наказанием заслушание. Кормовщикам, тем, кто обязан был заботиться о питании войска, еще в Москве было о том сделано внушение самим царем.

Всем в войске известно, каким большим уважением и доверием пользуется у царя Шиг-Алей. Его боялись. Только князь Курбский держался с ним, как равный. За то Шиг-Алей и недолюбливал князя, хотя вида никогда не показывал.

Глинский тоже держался с достоинством.

Данила Романович ехал скромно позади Шиг-Алея и Глинского, как простой начальник. Ехал сосредоточенно, молчаливо. Когда его подзывал к себе Шиг-Алей, он уважительно нагибался к нему с коня и то и дело кивал головой в знак полного согласия и одобрения.

И все дивились на него — царицын брат, самый близкий к царю человек, а такой тихий и услужливый. Считали его недалеким. Но были и такие, что говорили обратное. Мол, он притворяется, нарочно не лезет вперед, спрятал до поры до времени когти. Всяко говорили о брате царицы Даниле и вообще обо всех Захарьиных. Многие считали их великими хитрецами, боялись их, но больше всего мучились завистью, видя близость их к царю. Зависть, вообще, была в ходу при дворе, и некогда митрополит Даниил писал о придворных и вельможных, что они «яко звери дивии друг друга снедающие, радуются и веселятся о напастьях и бедах ближнего».

За войском следовали волчьи стаи, рылись в мусоре после караванов, не решаясь подойти близко. Кое-кто из конников все же наталкивался на них, оставляя после себя на дороге ободранные волчьи туши.

Во время привала пешие даточные люди ходили на лыжах в лес добывать зверя и птицу. Бежали за дикими

оленими, не безуспешно. Били поляшей (тетеревов), рабчиков, белых куропаток, зайцев. На кострах коптили их и ели.

Андрейка однажды встретил в лесной чаще сохатого. Большой, красивый зверь поразил парня своим спокойствием, своим беспечным, свободным видом. Убивать рука не поднялась, а падо бы... Войску приходилось бить и мясо и шкура. Жалостлив был парень, нередко и в прежние времена на деревне над ним потешались. «При такой могучести, словно красна девица»,—говорили односельчане. Но никто не знал того, как любил Андрейка видеть дикого зверя на свободе, да еще зимой, в жемчужной, сказочной лесной рамени.

Ветер усиливался. Рогожи над пушками вздувались, того и гляди улетят. Войско пошло медленнее и еще чаще делало остановки. Визг дудок и набаты едва можно было разобрать в задних рядах: долетало только обрывками—от этого останавливались и снимались неко времени. А потом приходилось догонять. Крики, ругань, свист бичей над лошадьми. И кони и люди пытались бежать, падали; раздавались проклятия... Кого проклинать? Неизвестно. Догнав головные части войска, люди долгое время тяжело дышали, присаживались на развалины.

— Ну и ну!—ироговорил Мелентий, примостившись в развалинах рядом с Андрейкой.—Ехал, да не доехал: опять поеем, авось доедем. Чудеса! Ей-богу!

Видно было, что Мелентию пришла охота покалякать.

Ночь протекла в борьбе со снегом, с ветром и морозом. Костры задувало, заносило метелью; валились пестры: вода в железных берендейках замерзала; страшно гудел ветер в сосновом бору; казалось, сам дьявол старался помешать московскому войску. Люди тряслись от холода, лошади, мокрые от долгого пути, понуро жевали сено: от них шел густой пар. Кое-где все же огонь не уступал стихии; пламя металось из стороны в сторону, а не гасло. Сюда, к этим кострам, сбегались толпы разноплеменных людей. На разных языках ворчали на непогоду; иные, подойдя в сторону, молились про себя, вполголоса причитывали, вынуженные из-за пазухи костяных и деревянных божков; чтобы умилостивить божков, мазали их маслом.

Андрейка и Мелентий залезли в развалины, накрылись рогожей да поверх рогожи овчиной—сделалось тепло. Мелентий не стерпел—стал рассказывать сказки.

— Жил один боярин... богатый-пребогатый да знатный... выше цари себя мнил... И невзлюбил он своего холопа Иванушку... дураком его и всяко обзывал... и по-рол его люто и утопить хотел...

Андрейка закашлялся, заводновался.

— А ты не врешь?— сказал он тихим, дрожащим голосом.

— Ладно! Слушай!.. А у боярина была дочка, красавица писаная, а звали ее — забыл как — только была она очень добрая и пожалела молодого холопа. Пожалела, да и полюбила. Отец выпорот его, а она приглубит, ручками белыми обовьет, кудри ему погладит...

Сорвало рогожу ветром и овчину, глаза заслепило снегом. Оба парня вскочили, крепко обругавшись. Снежное море гудело, бушевало, сбивая с ног. Вот уж не во-время-то! Накинув на себя снова рогожу и овчину, Андрейка, прижимаясь к товарищу, нетерпеливо спросил:

— Видать, красивая была девка-то?

— Обожили... не торопи...— угрюмо проворчал Мелентий, устраиваясь в розвальнях потеплее и поудобнее.

—... Да! Стало быть, обовьет его белыми руками...

— Уж ты говорил про то... Буде. Сказывай дальше!

— Слушай! Не мешай!.. Так грех-то и зародился. Видимость стала у красавицы... Боярин-то приметил, позвал дочь и спросил ее: «Кто тот злодей, кой опозорил весь наш род?»

Тяжелый вздох вырвался из груди Андрейки. Он перекрестился.

— Ты чего?

— Так... вспомнил... Уж до чего мне жаль эту боярыню. Словно ты меня деревянной пилой цилишь...

— Ну, ладно. Горюй, Фома, што пустая сума! Больше я не буду тебе сказывать...— обиженно проворчал Мелентий. — Чего мешаешь?

— Христом богом молю!.. Любо ты сказываешь... Все сердечко у меня заполохало...

Мелентий:

— Коли так,— молчи! И уж зело боярин любил свою дочь... Помереть за нее готов был. И вот дочь и говорит ему: «Коли ты не тронешь его,— скажу, а коли тронешь, в смут головою брошусь». Боярин почесал затылок и задалакал... «Могу ли, дочка, я того Каина в живых оставить?»— «Коли так, прости со своей дочкой! Без него

я не могу жить!» Стой, Андрейка! Не стаскивай с меня рогажи! Чего ты все возишься?

— Да уж больно умна девка! Говори, говори!..

— Стало быть, боярин так и этак, а ничего не поделаешь — пришлось помиловать парня... И вот привели его к боярину... А он, как вошел, так и поклонился боярину в ноги — «не хочу, мол, боярин, жить на белом свете, совесть меня замучила, хочу умереть; коли ты не убьешь меня, сам паложу на себя руки». Испугался боярин его слов. «Нет, — сказал он, — я не буду тебя убивать, да и тебе не позволю себя убивать...» И приказал он поселить парня в своих хоромах. «Я богат, — сказал он, — чего ты только хочешь, все тебе будет». Парень сказал: «Мне ничего не надо, токмо едва ли я останусь жить на белом свете...» Боярышня плачет день и ночь, слыша такие его слова. «Чего же ты хочешь, чтоб тебе не умереть?» — спросил его боярин. Тогда парень сказал: «Хочу, чтобы боярышня была моей женою». Боярин как рыба об лед бьется. Бился, колотился, да и согласился... «Несите, девки, браги праздничной, стряпайте, девки, обед свадебный!»

Андрейка еле-еле переводил дыхание. Кровь ему ударила в голову. Он крепко сжал руку Мелентию.

— Легше, сатана! Пальцы сломишь!..

— Говори, говори! Какой конец? — задыхаясь, прошептал Андрейка.

— И вот однажды, в солнечный весенний день, на Красной горке, они повенчались... А боярин в этот же день умер... Не перенес такого стыда.

Андрейка облегченно вздохнул, несколько раз перекрестился за «упокой души боярина».

— Ну, а что же стало с холопом?

— Хозяином в вотчине заделался сей холоп.

— Хозяином? — живо переспросил Андрейка.

— Да. Хозяином. И сказал он своей жене: «Все одно я жить на свете не буду!» Пришла на боярышню новая беда-напасть. Сердце, так сказать, петухом запело, заныло — нет мочи! «Что ж тебе надо, чтоб ты жил и дитятка нашего дождался?» Тут холоп стукнул кулаком по столу и сказал: «Хочу я всех холопов и людей из вотчины разогнать. Пускай живут сами по себе, а мы с тобой сами по себе... Пускай они нам не мешают... Тогда я и дитё свое ждать буду и растить его буду...» Думала

она, думала, да и сказала: «Ладно, делай, как знаешь!» Из горла кус вырвал!

Андрейка обнял Мелентия и облобызал.

— Спасибо, брат! И про непогоду я забыл... Хорошо кончилось. Славно! И я бы так поступил

Утром войско двинулось дальше. Бьюга стала утихать, но все дороги за ночь так замело, что на каждом шагу приходилось расчищать путь. Толпы даточных людей с лопатами накидывались на сугробы, отбрасывали в стороны снег. Как и всегда, наибольший порядок и стойкость в походе соблюдали стрельцы. Пешие и конные отряды, каждый в тысячу человек, разбившись на сотни, бодро и ровно шли в своих полках, подавая другим пример.

Андрейка всегда любовался ими, и сердце его радовалось, что в рядах московского войска есть такие молодцы. С такими не страшно, непременно победишь!

В последующие ночи на темном небе появились огни — бледные сполохи; воины, осеняя себя крестным знаменем, шептали один другому разные страшные предсказания — общее мнение было таково, что впереди государство ожидают лютые войны, что много людей поляжет в боях с проклятым врагом, но победить надо!

Ночи, озаренные синими, зелеными и желтыми лучами, неотступно сопровождали войско.

## VII

Двадцать второго января 1558 года утром русское войско перешло границу вблизи города Пскова.

Под звуки труб и набатный гул московские ратники вступили в ливонскую землю.

Черными живыми крестами в сером, унылом воздухе закружилось горластое воронье. Низко волочились космы облаков над пустынными полями и темными буграми холмов. Заметно потеплело. Воздух стал влажным, как это бывает перед таянием.

С гиканьем и свистом ертоульные рассыпались по окрестностям.

Ливонские власти не чинили помехи — границы были открыты.

Углубившись версты на три внутрь страны, осторожный, неторопливый Шиг-Алей собрал около себя воевод, чтобы рассудить, кому и куда идти. Один отряд войска



под началом князя Куракина, Бутурлина и боярина Алексея Басманова уже до этого ушел на север, к Нарве. Ему было наказано расположиться в крепости Иван-города, впредь до особого уведомления. Теперь перед воеводами была задача разбить войско на небольшие отряды, чтобы они разошлись по прирубежной полосе Ливонии, предавая огню и мечу орденские земли.

Шиг-Алей напомнил приказ царя: не осаждать крепостей; совершать пока разведывательный поход; при пожаре и разорении сел и деревень щадить черный люд, то-есть латышей, ливов и эстов, но жестоко наказывать ливонских дворян в их вотчинах и деревнях. Дерпт решено было не брать осадой, а «понагнать». За это дело взялся сам Шиг-Алей.

О завоеваниях речи не было. Шиг-Алею царь доверил заключать договоры с ливонским магистром, коли к тому повод явится. Для себя Иван Васильевич считал унижительным вести переговоры с «князьками и попами» немцами. Так и заявить им, что «государь с вами никакого дела не желает иметь».

Настоящей войны при таких условиях не предвиделось. Да и со стороны врага не было ни малейшего признака противодействия.

Шиг-Алей послал воеводу Барбашина с отрядом из русских и татарских полков действовать вдоль литовской границы. Отойдя несколько верст от рубежа, они должны были разделиться на мелкие отряды и разорять ливонские земли, «под носом у литовского короля».

Шиг-Алей более всего полагался на татар. Он знал, — они пощады «неверным» не дадут. Чем больше убытка они наделают неприятельской стране, тем скорее магистр запросит мира. Понагнанное ливонское дворянство заставит своих правителей поклониться царю. Таков был обычай татарских нашествий.

Андрейка, Мелентий и Васька Кречет пошли с пушкарским караваном при войске Шиг-Алея. Войско это направилось напрямик к крепости Дерпт, а потому и наряда Шиг-Алей взял с собой немало.

.....

Ночью наводило ужас зарево.

В окрестностях Дерпта горели деревни. Татарские всадники, черные, гибкие, стрелюю носились по оустев-

шим улицам и поджигали деревянные крытые соломою дома пугами горящей пакли на копьях.

Обоз, с которым шел наряд Андрейки, к вечеру стал в роще на бугре, недалеко от Дерпта. Пушкари бездействовали. Издали откуда-то доносились протяжные крики татарских и казачьих всадников и отдаленный топот множества коней. Андрейка тосковал о том, что ему не приходится испытать своего наряда в огневом бою. Изредка слышались выстрелы самопалов и пищалей, еще более раздражая нетерпеливых пушкарей.

К пушкарям прискакал гонец:

— Готовься! Из крепости вышли!

Розвальни с нарядом потянули на пригорок. Отсюда отлично был виден замок. Пушки взвалили на подставы. Вдали, около замка, металась люди с факелами. Их было много. Лязгало железо. Слышались отдаленные крики. Топот коней. Около замка началась схватка.

Воевода дал приказ пушкарям сделать залп по крепости.

Андрейка заложил в пушки ядра.

Блеснула молния, последовал удар. Люди с факелами замечались уже на стенах замка. Видно было, как спустились на цепях мост, отворили ворота... Факелов в поле около замка не стало видно.

В ворота хлынула толпа ливонских ратников. Снова—вой трубы.

Пушки андрейкиной десяти сделали еще залп. Теперь по толпе в воротах.

Прискакавший из-под замка Василий Грязной остановился. Достал тряпку, подошел к Андрею.

— Завяжи!..

— Эх ты лобызнули, Василь Григорыч!..

Андрей заботливо стер снегом кровь со лба у Грязного и принялся завязывать ему рану.

— Каленою стрелой ахнули, дьяволы!—ворчал Грязной.— Да уж и мы их побили немало... Попомят нас!.. Полны рвы нарублено их у крепости... Злые, демоны!

В полночь все затихло.

Приказ был не разводить костров.

Холодно. Начинала пробирать дрожь; Андрейка и Кречет, как и в прошлые ночи, укрылись под рогожами и войлоком и, сидя на корточках спиной к пушкам, задремали. Так теплее. Правда, дышать трудновато, но все же лучше, нежели в шалаше.

Пушкарки по очереди караулили.

Царь, получив вести о переходе войском ливонского рубежа, строго-настрого запретил продажу вина, гусель гудение, русалочьи игрища, пиры, плясанье, сопели, ворожбу, блудодеяние в соблазн другим, срамословие и всякие иные «бесстыдные дела»...

Во всем государстве был объявлен великий пост. Мясо везли только войску, а в Москве, городах и вотчинах «едение телес» было запрещено.

Колокольный звон гудел над Москвою круглые сутки.

Приуныли шуты и скоморохи. Нельзя уж стало им потешать народ на базарах, в кабаках и на свадьбах своими «бесовскими чудесы», «глумами и песнями»... Даже сопели, гусли и домры пришлось убрать. Строг царь-государь! Беда, коли ослушаешься! Пристава да сторожа, поди, только того и ждут. Везде они! По улице идешь — хоть шапки не надевай. Недаром говорят: «У царя колю-кол по всей земле».

Притихли и на посадах. Того нельзя, другого нельзя. Гляди в оба! В церкви не только ругаться и драться — разговаривать запретили. За каждое слово бранное клади денгу. Попы оживились. Так и смотрят за богомольцами, а ведь известно: «от вора отобьюсь от приказного откуплюсь, а от попа не отмолюсь!»

Кто не знает, что бог любит праведников? Однако бес все около ходит, да и на грех наводит. Не хочешь соблазна, а он тут как тут. Слыханное ли дело — срамословие запретить! А без него, как без молитвы. Одним словом, рад бы в рай, да грехи не пускают.

Порядки строгие пошли, неслыханные: думай постоянно о боге!

— Тесно стало жить! На просторе только волки воют, — подтрунивали втихомолку пересмешники.

Опустели площади, улицы, кабаки... Торжища — скучные, невеселые. Приедут мужики, привезут сена, либо овса, либо звериных шкур и прочего, померзнут, да и опять уедут. Куда делись все эти сапожники, чоботные мастера, седельники, пирожники, серебряники и прочих многих ремесла мастера? Одни иконники со своими иконами на самом виду, да свечной ряд, да гробовщики...

Все изменилось!

В Китай-городе обширные гостиные ряды и лавки, ранее оживленные улицы, площади и сады опустели. Не столько торговых людей, сколько нищих и бродячих собак.

Война стала сказываться.

Даже в Кремле безлюдье. А уж чего-чего только тут не было! Сквозь толпу мужиков, холопов, стрельцов, монахов и иных людей трудно было пробраться. Сюда шли покупать, продавать, писать челобитные, полюбоваться красотой дворцов и соборов, на других посмотреть и себя показать. Во всю глотку выкрикивали, бывало, бирючи новые указы царя, размахивая палками и прикрепленными к ним, вырезанными из меди или железа, гербовыми орлами. Нищие тянули жалобные песни. Сновали в толпе юродивые, отбивали хлеб у нищих и домрачеев. За юродивыми, с громким плачем и причитаниями, всегда следовало много женщин, оплакивающих этих «угодничков». Купцы у дверей громко расхваливали свои нитки, холсты, кольца, румяна, белила и прочие товары. Много было «походячих» торговцев, которые, посохом расчищая себе дорогу, старались перекричать «сидячих» купцов. Покупатели, давая третью часть запрашиваемой цены, старались перекричать продавца, торговались с ним «в голос». Шумно, весело было...

Теперь же Кремль имел совсем иной вид. Стены дворцов и храмов, словно вымытые, ослепляют своей белизной. На площадях и улицах чистота, все вычищено, подметено. У ворот, у зелейного склада и сторожевых пушек стоят чисто одетые стрельцы. Нищих и бродячих собак из Кремля изгнали. Никакого шума и беснования нигде не услышишь. Скушно!

Кремлевские стены приняли грозный вид — везде стрельцы и караульные пушкари.

Царь Иван Васильевич теперь сам наблюдает за благочином в Кремле, за тем, чтобы люди помнили о войне. Бездельники стали побаиваться кремлевских порядков. Полны были народа только кремлевские монастыри и соборы. Там шли торжественные молебны о ниспослании победы русскому оружию.

. . . . .  
Спас-на-Бору — древнейший храм, ровесник Москвы — любимое место моления самого царя Ивана. От большого

кремлевского пожара после покорения Казани он сильно пострадал. Иван Васильевич обновил его и соединил особым тайным ходом с дворцом. Из своих покоев он проходил жильем в храм.

В тот день, когда получено было известие о вторжении русских в Ливонию, Иван Васильевич с Анастасией молились в храме Спаса, в приделе Гурия, Самона и Авива. Этот придел был подобием такого же придела в Софийском новгородском соборе.

Царь был одет в темномалиновый становой кафтан, на груди наперсный крест, в руках посох индийского дерева. Лицо суровое, задумчивое. Эту ночь Иван Васильевич не спал, мучили мысли о том, как иноземные короли встретят весть о вторжении его войск в Лифляндию. Это поднимется шум!

Царица в таком же темномалиновом атласном платье, с золотой обшивкой; на шее бобровая оторочка и жемчужное ожерелье. Анастасия была бледна и заплакана. (Шептались придворные, будто царь побил ее за то, что она не хотела идти в собор.)

Митрополит Макарий в темносинем бархатном облачении встретил царя и царицу крестом и евангелием. Хор чернецов запел громкую хвалебную стихиру.

Моление шло о ниспослании победы московскому войску. Митрополит громко восклицал:

—...Тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских!

— ... Звезды с путей своих сошли!

— ... Тогда ломались копыта конские от бег!

— ...Прокляните Мероз, прокляните жителей его за то, что не пошли на помощь господу, с храбрыми!

Иван стоял на царском месте, исподлобья следил за митрополитом.

Почему-то вспомнился ему старец Вассиан, его неприязнь к митрополиту. (Что-то глаза у митрополита невеселые. А старца Вассиана великие на Соловки усласть. Видать, не скоро он умрет.)

Внизу, у царева помоста, находились ближние бояре и царедворцы. Все они усердно, на коленях, молились, боясь взглянуть на государя.

Царица на своем месте, на левом крыле, сидела в кресле. Она предпочла бы молиться в дворцовой молельне, вдвоем с мужем. Ее утомило многолюдство, наполнявшее

в последнее время дворцовые покои. Утомили любопытствующие взгляды, бросаемые в ее сторону.

В храме полумрак. Лампады ласкают колеблющимся пламенем иконы византийско-русского пошиба<sup>1</sup>. Свечи освещают только алтарь, его внутренность и царские места. В полумраке вспыхивают зловещим блеском глаза царя. Он недоволен нестройным пением чернецов, их неопрятным видом. Бояре и все придворные стоят на коленях, не решаясь подняться.

Все заметили, и в особенности Анастасия, что царь сделал только одно крестное знамение. Стоя неподвижно и смотрел с недоброй усмешкой на усердное моление бояр. Митрополит старался не видеть лица государя, по это ему не удалось. Нельзя было, выходя на амвон и произнося молитвы «в народ», не смотреть на царя.

Но вот служба кончилась. Митрополит благословил подошедших к нему Ивана Васильевича, царицу и вельмож.

Царь пошел по коридору дворца, сопровождаемый митрополитом.

— В ту пору, отец, когда мы творим молитву, сабли и копья наших воинов секут и пронзают тела и льют кровь... О чем же ты молился?

Митрополит растроганно ответил:

— О тебе молюсь, великий государь... о воинах наших.

На лицо Ивана легла тень.

— А не сказано ли в книге Паралипоменон: «...и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи— и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых и отравили их в Иерихон, к братьям их...»

— Сказано, батюшка Иван Васильевич, сказано!

— А замолишь ли ты, святитель, оканствования наши?

— Господу угодно, чтоб меч правды покарал нечестивых... Государева воля— божья воля.

Царь покачал головой:

— Благо, когда меч правды в надежных руках, а если нет?

— Великий государь, владыка наш!.. Ум человеческий не объемлет многого; боюсь яз согрешить перед всевышним, посягая на мудрость, ему принадлежащую.

Царь, обернувшись к Анастасии, сказал:

---

<sup>1</sup> Стиля.

— Притомилась, царица? Пойдем в покои.

Он низко поклонился митрополиту и, приняв от него благословение, позвал его на вечернюю трапезу.

Толпа стольников, стряпчих и дворян стояла поодаль, ожидая дая; сенные боярышни, крайчая, верховые боярыни, ярко нарумяненные, с подведенными глазами и тонко подстриженными бровями, расположились в два ряда по бокам царского шествия.

Царь пошел впереди своей свиты.

За ним царица, окруженная провожавшими ее боярынями и боярышнями.

В своих покоях Иван сказал царице:

— Не ответил мне святой отец!.. Помолись-ка ты обо мне... Твоя молитва чище святительской—не обиходная, а от сердца. Великие прегрешения падут на главу мою... Шиг-Алей жаден и зол... С крестом на шее он не стал добрее к христианам, нежели когда был в исламе.

Немного подумав, добавил:

— А ныне дарек, гляди, еще лютее. Уж и в самом деле—не худо ли это? Басманов Алексей доносил мне перед походом... Магистр, мол, того токмо и ждет, чтоб на весь мир кричать о нашей лютости... Бояре-изменники будто бы тож... Мысль у моих недругов лукавая, чтоб напугали мы всех... Э-эх, кабы самому мне побыть там да посмотреть! Может, и впрямь мы сатану тешим? Ну, храни тя господь!

Он поцеловал Анастасию и отправился на свою половину.

. . . . .

Несколько дней войско Шиг-Алея простояло под Дерптом без дела. Андрейка в эти дни верхом на коне странствовал по окрестностям в поисках съедобного. Однажды в лесу встретил он старого латыша, несшего на себе громадную охапку валежника. Андрей попросил проводить его в ближнюю деревню. Тот сначала с удивлением посмотрел на парня, а потом согласился.

Андрей спешился, взвалил валежник на спину коня и пошел рядом со стариком, назвавшим себя Ансом.

Дорогою в деревню Анс рассказал Андрею, что и он ранее бывал и жил во Пскове и в Полоцке. У него есть две внучки-сиротки, которых отправил он в Полоцк к своему брату.

— Меня-то, старого, кто тронет? Кому я нужен? А девушкам опасно...

— Царь не велел зорить и обижать вас...—сказал Андрей.

— Несчастье всегда за спиной латыша. Немцы отучили латышей спокойно спать.

Беседа, дедушка Анс и Андрейка добрались до деревушки.

Изба его была невелика. Разделялась коридором на две половины: одна—жилая, другая—кладовка. В жилой комнате стояла большая печь; вместо трубы—дыра в потолке. Все жилище почернело от копоти, как на Ветлуге, в колычевских деревнях. У стены—скамья, а перед ними резной дубовый стол. Вот и все.

Дедушка Анс зажег лучину, усадил Андрея на скамью и налил ему в кружку меду.

Видно было, что накипело у старика на душе — захотелось ему высказать все, что он думает о вторжении русских. Затопив печку и присев около нее на обрубок дерева, он начал тихим, старческим голосом рассказывать о вековых страданиях латышского народа. О том, как латыши давно когда-то жили, не думая о войне, и как явились закованные в латы, хорошо вооруженные немцы и завоевали их и сделали их своими рабами, они все истребляли огнем и мечом, истребляли целые племена, города, села... Чтобы не стать рабами, надо быть сильнее нападающего, а латыши не думали об этом. Старик тяжело вздохнул: «Не будут же русские теперь за это бить нас? Да и не боится латыш смерти: часто сам он просит о ней своего бога...»

— Скажи ты и своим... Нечего у нас взять, и пускай они не жгут наши избы и не портят наших девушек, как немцы. Перкун, наш бог, сердитый, и он может наказать за это, поразить громом и молнией за неправду... Одну деревню нашу вчера рыцари разорили... сожгли... убивали... сбижали девушек... За что? За то, что мы с вами не воюем.

Андрейка нахмурился:

— Разбойники, а не рыцари!.

Дедушка Анс грустно улыбнулся.

— Есть песня у нас, а в ней поется, как любит латыш свою родину... Песня та говорит: «Боже, благослови латышскую землю, дорогую родину и весь Прибалтийский



край, где поют песни латышские девушки, где собираются латышские парни; всем и всюду дай счастья! Мы никому не хотим зла...»

В это время раздался сильный стук в дверь.

Старик заторопился, вышел в сени, открыл.

Андрейка слышал грубые окрики вошедших, угрозы... Он встал, взялся за рукоять сабли... Старик появился в избе, а за ним ввалились трое ратников, во главе с Василием Кречетом...

— Тебе чего?—крикнул ему Андрейка.

Кречет опешил, попятился назад. Попятились и его товарищи. Старик сердито топнул на них ногой. «Убирайтесь, воры!»

Андрейка подошел к Кречету и тихо сказал ему:

— Зарублю!

Кречет повернул, а с ним и его друзья.

Старик кивнул в их сторону: «видишь, добрый человек!»

Андрейка стал доказывать, что лихие люди везде есть: и в войске их немало, но есть много, много честных воинских людей, они заступятся за латышей и не позволят обижать бедных, безоружных крестьян. Андрейка осуждал и царя—зачем он назначил вождем ополчения татарского царька Шиг-Алея. Татарские ханы истари грабят не только иноверцев, они грабят и убивают своих же татар... И давно ли казанские ханы перестали разорять его, Андрейки, родину—нижегородскую землю!

Дедушка Анс понял его. Он приветливо сказал:

— И у нас такое есть... Лихие люди и у нас бывают. И грабят своих же и предают их... и золото за то получают от немцев... У нас латышская Лайме дает счастье, но богиня Целайме приносит нам зло и несчастье... А Цукис ей помогает... Цукис—нечистая сила... Он делает людей худыми, злыми...

Дедушка Анс поведал Андрейке, что многие латыши ушли в Русскую землю и в Литву—так им плохо жилось на своей родной земле. И недаром же поют латыши:

За русского я отдам свою сестрицу,  
В Россию ли я поеду—у меня родня...

И многие латыши во Пскове породнились с русскими, вели с Москвою торговлю, никогда не ссорились с псковичами.

Говоря это, старик добродушно похлопал Андрейку по плечу...

— Жалко мне, парень, тебя отпускать,—говорил он при расставании.—Вижу я, ты—добрый малый... Спасибо тебе! Оборонил меня от воров...

Андрейке стыдно было сказать, что это не воры, а пушкарки, из одной же сотни с ним... От стыда за товарищей он покраснел, решив по заслугам наказать Кречета.

Расставанье было теплое, дружеское. Андрейка расплатился за сушеную рыбу, которую ему дал старик.

Долго стоял дедушка Аис, провожая глазами удалявшегося по дороге московского всадника.

## VIII

Из военных станок с ливонских земель прискакали гонцы. Они привезли дарю от воевод донесения о действиях русского войска. Что писал Данила Романович, что Шиг-Алей, что Курбский, что Басманов и другие, кроме царя и Анастасии Романовны, доподлинно никто не знал; но эту ночь, после прочтения известия от шурина, царь провел беспокойно. Долго он не мог заснуть; несколько раз приходил из своей опочивальни в опочивальню царицы.

— Да отдохни, государь!.. Притомился уж!—сказала она ему, когда он вдруг в полночь снова явился к ней, держа в руках послание Даниила Романовича и Алексея Басманова.

— Пишут разное, токмо Данила да Басманов одинаково. Их мысли сходятся, и любо мне... Что вижу я?! Простор браин не в пользу идет. Что больше ест касимовский владыка<sup>1</sup>, то больше ему хочется. Буде! Недосол лучше пересола. На всякое дело нужны свои люди. В одном и том же месте бывает коню по колено, свинье по рыло, а курице и вовсе потоп.

— Сядь, Иванушко, отдохни!

Иван не обратил внимания на ее слова, продолжал стоя говорить:

---

<sup>1</sup> „Касимовский владыка“ — Шиг-Алей, которому даром была дана вотчина в г. Касимове. Он был ставленником Василия III на казанском престоле. Партия, враждебная Москве, свергла его с престола, и он был принят на службу в России. Принимал участие в казанском походе.

— Да будет так!.. Шиг-Алея, Тохтамыша и Кайбузу отзовем от войска... Дядьку Михайлу тож, а заодно и Романыча... Негоже одного убрать, другого оставить. Поведем дело инако. Думай!

Иван ожидал, что скажет дарица.

Она опять повторила то же, что прежде: царь утомился, ему надо отдохнуть, утро вечера мудренее.

Грустная улыбка скользнула по его лицу.

— Не то говоришь, дарица!..— тяжело вздохнул он.— Можно ли спокойно спать? Можно ли теперь отдыхать? Каждый час мне чудится, будто мы что-то упускаем... Чего-то недодумали, недосмотрели... Уснешь ли так-то? Коли всех сменить, разом, всех воевод — поруки войску не стало бы от того? Как думаешь?

Анастасия приподнялась с ложа, села.

— Ни-ни!— замахала она руками.— Не делай так, государь!.. Зла округ нас станет еще более... Брату моему хотел сказать о боярстве. Не делай того! Не дразни вельмож! Каков был, таким и останется... Не забегай вперед.

Выражение глубокой задумчивости легло на лицо Ивана.

— Разумно рассудила, — тихо произнес он. — Один мудрец сказал некоему царю: «Ты щедр, ты оказываешь благодеяния всем без разбора и оттого ты безжалостно погибнешь... Не делай слуг своих блудницами! Одного несправедливо награждаешь, сотню делаешь справедливо недовольными». В иное время награды портят людей... Особливо, ежели награждаешь за то, что слуга твой повинен делать обычаем по уставу. Нет худшего зла, нежели превозносить слугу, коли он исполнил свой долг. Шиг-Алея, Глинского и Романыча одарим добрым словом — и буде.

Анастасия подтвердила: «Буде!»

— А войну поведем по-иному... Два войска станут на Ливонии... Одно — под началом Петра Ивановича Шуйского, храброго, умного и сердцем мягкого воеводы. Он должен удобрить добронравием и любовью черный люд, наперекор немцам, да Троекурова дадим ему впридачу... Пускай идут к Дерпту!.. А другое войско пусть остается у Иван-города и добивается моря. Туда — Куракина Гришу, — человек он наш, — Бутурлина, Данилку Адашева да Алексея Басманова — им дела хватит... Мстили мы магистру и епископам вдосталь. Ныне надо воевать и управлять,

а не наказывать, чтоб крепка держава была в отвоеванной земле. У простых людей—большие глаза, хитрые, все видят. Забывать того воеводам не след. Теперь будем воевать рыцарские замки и города. Народ, что в Ливонии, привлечем на свою сторону.

Из опочивальни царицы Иван ушел довольный, успокоившийся.

Возвращаясь к себе, он шептал:

— Шуйский, Куракин... Данилка... Басманов... упрямые, храбры. Гоже! Гоже!

«Попусту горячусь! Анастасия права!»—подумал он и улыбнулся, когда вспомнил обычные упрёки, произносимые женой: «горяч ты, пылок, весь в свою матушку!..», «покрываешься ты пеною, как конь, из-за пустого», «привык ты жить в постоянной боязни обид в своем детстве и, став царем, по вся дни наполнен страхом!»

Анастасия учила его:

— Худо не верить никому, но не худо быть осторожным и уветливым... Всуе не обижать людей. Надо так управлять, чтобы тебя почитали.

Иван Васильевич любил слушать ее плавную речь. Ее слова успокаивали его, охлаждали в нем гнев.

Нередко он призывал в свои покои шутов и заставлял их ругать себя, судачить о нем, называя его всяко... Шуты говорили ему в лицо все, что им приходилось подслушать у бояр, и прибавляли кое-что и от себя. Иван молча внимал им, силясь подавить в себе гнев и бешенство; иногда это ему удавалось, а иногда он хватывал свой посох и принимался неистово колотить шутов. Выгнав их вон из своих покоев, он с торжествующим видом шагал по своим дворцовым палатам. Если же, перенеся шутовские обиды, он с миром отпускал шутов, тогда целый день ходил мрачный, неудовлетворенный.

Ливонские послы Таубе и Крузе, вернувшись к себе домой, писали об Иване как о человеке «с коварным сердцем крокодила». И это ему стало известно. Он рассказывал это Анастасии с растерянным, обиженным видом.

— Я знаю, что лукав я и зол, и многие окаянства обуревают меня, но... могут ли обвинить меня мои судьи, что не ставлю я благо царства превыше всего?

Анастасия на это говорила, что «дурное в тебе, князюшко, все от дурных людей... Сиротою вырос, горя

много видел, неправды, греха... Из чужих рук смотрел... Вот и блаженной стал!»

Анастасия не любила Глинских.

Она выросла в скромном, небогатом и богобоязненном семействе. Она передко осуждала покойную мать царя, великую княгиню Елену. Царь молча слушал ее, не возражал, а к дяде Михаилу после того начинал придирааться, держать его в отдалении от себя.

Ложась спать, Иван часто подолгу со слезами молился, чтоб смирил его бог, простил ему все его прегрешения.

Один немецкий гость сказал после встречи с Иваном Васильевичем, что внешность московского царя такова, что его немедленно можно признать за повелителя, хоть бы он и оказался в толпе четырехсот крестьян, одетый в простонародное платье.

Когда Ивану перевели слова принца на русский язык, он просиял и, помолившись на иконы, произнес:

— Добро, чтобы я был не токмо с виду повелитель, но и по делам своим!

И теперь, стоя перед божницею, он молился, дабы вершить ему дела, достойные правителя. Ливонская земля должна быть возвращена Российскому государству, но не разорением и душегубством, а доброю политикою и воинскою доблестью. Воевать надо «не с чужною, а с правителями» — с гермейстером, архиепископом, командорами и лютерскими попами...

. . . . .

Однажды утром Параша из окна увидела толпу, бежавшую по площади к ратуше. Слышался женский плач, крики мужчин. Появилась верховая стража, расчистила дорогу для проезда и пешеходов.

Подобное происходило в Нарве только во время пожаров и городских празднеств. Но пожара не видно и на башне ратуши не вывешено знака и не слышалось набата.

Празднества справлялись вечером и не в такой мороз. И зачем на руках дети, и эти войны?

Наскоро одевшись, Параша побежала вниз, но у паружной двери ее остановила Клара:

— Стой! Куда ты? Не выходи!.. Убьют!

Старуха рассказала: в Нарве получено известие о буйстве и жестокостях московитов, ворвавшихся в Ливон-

скую землю, и будто бы татарская орда под началом русских князей движется и к Нарве.

Параша едва овладела собой, чтобы не выдать свою радость, не обнять и не расцеловать Клару за эту новость. Спихватилась во-время. Клара грустно вздохнула:

— Меня убьют, а ты живи... Ты молодая.

— Но кто же тебя убьет? Ты наша, русская.

— За то и убьют. Изменницей меня посчитают... Лютеранка я и от лютерской веры ни за что не отрекусь. Испытай меня, жги на огне, а свою веру не променяю я на вашу... языческую...

Она указала рукою на площадь.

— Гляди! С детьми пришли... плачут... варвар-царь не пощадит никого. Крови ему надо! Ненасытное чудовище! Хотя бы сдох он там! Хотя бы проказа его взяла! Воют люди, а что может сделать фогт или ратман?

В это время сверху, из своей башни, спустился пастор.

Он был бледен, но сдержанно спокоен.

— Близится суд божий! Знал я, что тот час близок... Бывал я в Московии, бывал в Новгороде, во Пскове. Везде у воевод видел я алчно оскаленные волчьи пасти. Слабости князей наших могут сгубить всех нас.

И взявшись за голову, он в отчаянии прошептал:

— Что я могу сделать? Молиться? Только молиться. Но бог не на стороне грешников. Не кто иной, как сами рыцари, предали государство! Сам сатана вразумил москвитя напасть на нас!

Клара плакала.

Параше стало страшно. Кругом паника, смятение.

Послышались звуки набата, тревожные, торопливые — один удар заглушает другой. Надвигалось что-то страшное, неотразимое.

Параша почувствовала жалость к пастору, к доброй Кларе, к женщинам и детям ливонским.

Рюссов обернулся к ней:

— Иди в свою келью. Не случилось бы беды!

Она поклонилась пастору и ушла.

В своей комнате уткнулась в подушки и заплакала.

В душе была радость, что скоро можно снова вернуться в родную станицу; увидеть там отца, Герасима... Но ей хотелось, чтобы все это прошло мирно, без войны, без кровопролития... Она часто слышала, как ливонцы проклинают ее родину, проклинают ее веру и царя. Не раз

она вступала в спор с хулителями Москвы. В Нарве были люди, которые по-другому говорили о Москве и о московском царе... Не все так думают, как пастор и Клара. Это известно и Параше. Были и явные сторонники Москвы.

Дом, в котором она жила, каменный, с башнями, с подвалами, обнесенный высокою оградой, похож на замок, и принадлежал Генриху фон Колленбаху. Желтолицый, старый вельможа вот уже два месяца приходит к ней в комнату, ласкает ее, добивается добровольной любви; он не хочет приневолить ее силою, он не такой. Ему хочется, чтобы она его полюбила. Он требует этого. Об этом ей говорила Клара. Он по-русски научился говорить только: «слушай», «я хозяин», «я лублу типья». Во всем другом переводчицей была Клара. Она уверяла, что если Параша обратится в их веру, то господин Генрих ее возьмет себе в жены, он богат и все богатство оставит после смерти ей, Параше.

Девушка и слышать не хотела об этом. Она умоляла Клару ничего не говорить ей про Генриха.

Клара развела руками, покраснела.

— Как же я не буду говорить, когда мне приказано?

Клара вздумала учить Парашу немецкому языку. Это было и любопытно, и время проходило незаметно. Памятью Параша отличалась хорошей, и за два месяца она выучила многие слова. Она уже могла говорить по-немецки: «я хочу домой», «отпустите меня» и многие другие фразы.

Из разговора с Кларой она узнала, что господин Генрих — фогт тольбургский. В этом округе ему подчинены все начальники. Он всем управляет и собирает земские волостельные доходы с подданных округа. Он же и судит ливонцев в своем округе. Он — фогт. Он командор, военный человек. После магистра орденских земель фогты — наивысшие сановники.

На улице, за окном, поднялся сильный шум. Параша подошла к окну, увидела, что в толпе происходит свалка. Трудно было понять, кто с кем дерется и почему. Было только видно, что конная стража ограждает одних и избивает других.

Какая-то женщина перебежала через улицу к дому Генриха Колленбаха, желая укрыться во дворе; за ней гнались люди с палками.

Параша быстро сбежала вниз, отворила дверь и, впус­тив в нее женщину, заперла дверь на засов.

Женщина упала на колени, обняла Парашины ноги.

— Встань!.. Зачем ты! Встань!

Женщина поднялась, но она не умела говорить по-русски. Лицо ее было все в слезах. Параша повела ее по лестнице к себе в комнату и спрятала за печкой.

Скоро послышался нетерпеливый стук в дверь. Параша открыла. Вошла Клара, бледная, испуганная.

— Ты спрятала в нашем доме эстонку!.. Подумай, что ты наделала! Ой, боже, боже, что же теперь с нами будет?

— За ней гнались с дубьем.

— Но ведь она же эстонка... язычница! Ты разве не знаешь?

— За ней гнались разбойники.

— У нас в городе нет разбойников. У нас есть орденские братья... Где она?

— Добрая душа у тебя, Клара... Зачем же хочешь ты, чтобы ее убили? Бог тебя накажет!

— На замо́к господина Генриха падет худая слава...

— Клара, подумай, что ты хочешь. Отдать на погибель неповинную голову!

— Ах, ты не знаешь!—со слезами крикнула Клара.— Эсты всегда виноваты!.. Господин фогт за ослушание бросит нас с тобой в тюрьму.

— Пускай!—упрямо возразила Параша.— Я не боюсь.

— Что мне с вами делать!..—зарыдала Клара, убегающая из комнаты.

Вскоре явился пастор и спросил Парашу:

— Где она?

— Кто?

— Эстонская женщина.

Параша поинтересовалась, зачем ему знать это. Он ответил, что, как пастырь церкви, он не допустит убийства и надругательства над человеком.

— Я уведу ее в свою келью. Не думай, что у пастора не хватит милосердия, чтобы спасти ее от беды.

В глазах пастора светилась ирония.

— В Московии духовное лицо не будет спасать... Ваши священнослужители—холопы деспота-царя... Тебе не по­нять наших обычаев.

Пастор взял за руку эстонскую женщину и отвел ее к себе в башню.



Клара сразу повеселела.

— Слава богу! Она язычница. Пастор обратит ее в лютеранство. Не захочет пастор отпустить ее на волю. Так и этак, она спасена, а мы не виноваты.

. . . . .

Рюссов писал:

«Московит начал эту войну не с намерением покорить города, крепости или земли ливонцев. Он хотел только доказать им, что он не шутит, и хотел заставить их сдержать обещание.»

Перо застыло в руке пастора. Внизу слышались шум, хохот, музыка, топанье танцующих. Генрих сегодня справляет день своего рождения. (Который уже раз в этом году!) Тяжелый вздох вырвался из груди Бальтазара.

— Ах, Нарва, Нарва!— тихо говорит он сам себе.— Твоя судьба висит на волоске, а безумцы ликуют... Мэнэ, тэкех, упарсин!— Исчислен, взвешен и разделен!<sup>1</sup>

Течение мыслей пастора прервал страшный крик, раздавшийся где-то внизу. Кричала женщина. Бальтазар взял светильник и пошел по лестнице вниз. У двери комнаты, где находилась пленница, он остановился. Кричали в этой комнате.

Пастор со всей силою толкнул дверь, остановился на пороге. В комнате был мрак.

Прежде всего пастору бросилась в глаза стоявшая в углу, на столе, русская девушка.

На полу, став на одно колено, склонился господин Колленбах. Тут же около него лежала обнаженная шпага.

Пастор укоризненно покачал головой. Колленбах с трудом поднялся и, шатаясь, подошел к пастору. Он похлопал Бальтазара по плечу и пьяным голосом произнес что-то по-немецки.

Параша крикнула пастору:

— Спасите! Боюсь его!

Пастор нагнулся, поднял шпагу и вывел хмельного Генриха под руку из комнаты. Колленбах размахивал кулаками, кричал, стараясь вырваться.

Оставшись одна, Параша заперла дверь.

---

<sup>1</sup> По библейскому преданию, во время пира эти слова были начертаны на стене таинственною рукою в виде предсказания последнему вавилонскому царю Валтасару.

«Скоро ли придут наши?»—дрожа от страха, думала девушка... Она стала на колени и принялась усердно молиться, обратившись лицом к Иван-городу.

Из окна ей хорошо было видно построенную Иваном Третьим на Девичьей горе каменную крепость Иван-города. Глаза радовали тройные стены крепости и широкие трех- и четырехъярусные башни, которых было целых десять. На них временами появлялись караульные стрельцы. За стенами высились купола церкви. Клара объяснила, что называется та церковь Успенской и что русские в ней хранят «чудотворную икону» Тихвинской божией матери. Ей-то мысленно и молилась Параша.

Утром плакала Клара. Ее оскорбил Колленбах. Он винил ее в том, что Параша дичится. Клара, озлобившись на него, по секрету рассказала, что господин Колленбах имеет жену. Живет она в другом замке, в Тольсбурге. Есть у него и наложницы: одна—бывшая уличная певица, другая—цыганка, купленная им в Литве. Клара убеждала Парашу быть стойкой, не уступать «старому ослу», как назвала она своего господина.

С этого дня они еще более подружились. Клара передавала все новости, которые слышала на базаре, в лавках, в кирке. Поговаривали, что московское войско удалилось из пределов Ливонии и что в Вендене собирается чрезвычайный сейм для сбора дани московскому царю. Скоро будет заключено новое перемирие с Москвою, и теперь уже надолго.

— Тогда, — молвила Клара, — господин Генрих побойся держать тебя в неволе... Ратманы не захотят гневить царя. Ты можешь пожаловаться нашему ратману Крумгаузену. Он с царем дружит. Во дворце у него бывал. Другой ратман, тоже немец, Арнт фон Деден, часто говорит о мудрости вашего Ивана. Он, как и Крумгаузен, сторонник Москвы. Не бойся! Ты будешь свободна! Оба ратмана не в ладах с господином Колленбахом и бывшим нарвским фогтом. Они заступятся за тебя, коль скоро будет перемирие.

Параша рассказала Кларе о том, что с ней было.

Вечером ее заставили плясать... Чтобы не злить страшного Генриха, она плясала, по-московски, с каким-то хмельным рыцарем... Она нарочно прикинулась веселой, беспечной. Лихо притоптывала каблучками и кружилась. Полуодетые, растрепанные, бесстыжие женщины пили

вино с пьяными рыцарями, садились к ним на колени и хохотали, глядя на Парашу... Она улучила удобную минутку и убежала к себе в комнату; за ней вслед прокрался этот безумный Колленбах. Ворвался... Пришлось вскочить на стол и выбить ногой из его рук проклятую шпагу. Тогда он стал умолять, стоя на колене, чтобы она «подарила его лаской». И вот она закричала... Спасибо пастору!..

. . . . .

Глубокою ночью, в непроглядной темени, подходило московское войско к Иван-городу. Черной ленте его, казалось, и конца не будет. Андрейка часто поворачивал своего коня и с любопытством смотрел вдаль на белую равнину, чтобы увидеть—где же войску конец? Но из снежной мглы, будто сказочные витязи из морской пучины, вылезали все новые толпы воинов, кони, розвальни и туры.

Нехотя, через силу, тащили лошади за собою нагруженные добычею сани. В морозном воздухе гулко разносился по полям скрип полозьев, топот и фыркание коней, людские голоса. Все чувствовали усталость после продолжительного перехода от Дерита до Иван-города. Тянуло на отдых, к настоящему доброму сну. Надоело уже заблуждаться в снегах и питаться сушеной рыбой да хлебом.

Рядом с Андрейкой верхом ехал Мелентий. Впереди—дворянин Кусков, а еще впереди—Василий Грязной. У него болели зубы. Он обвязал щеку тряпкой, съежился и всю дорогу потихоньку стонал. Андрейка натер себе ногу сапогом, нога пыла. Мелентий исподтишка смеялся и над Грязным и над Андрейкой:

— Дьячки вы, пономари, а не воины.

— Полно потешаться... Не услышал бы!

— Гляди, башка, он весь в ворот ушел и носа не видать... А ведь и войны-то путем не было—одна потеха... Попужали народ—и всё тут. Нет! Кабы я царем был—спуску не дал бы, так бы до самого моря напролом...

От воевод приказ: приблизиться к Иван-городу тихо, без дудок и набатов, чтобы не пугать народ. Когда проходили Псковскую землю, пошумели, погалдели, повеселились, а в монастырях и вина попили. Как говорится, и у отца Власия борода в масле. Монастырские погреба—прибежище неиссякаемое. Да и сами чернецы богу не

даром молятся. Псковские колокола до сих пор в ушах звенят. Царек Шиг-Алей таким охочим до церковных служб оказался — прямо измучил всех. Ни одной церкви не пропустит, чтоб войско не остановить. Царь Иван хоть кого святым сделает! Его боятся, как оказалось, не только в Московском царстве, но и в Ливонии. При одном его имени трепещут немецкие бюргеры. Детей им пугают.

Иван-город уже стал виден, и Нарва тоже. В Нарве огней больше — богаче она.

Ертоул уже давно в Иван-городе — ночлег готовит войску и еду.

— Эй, пушкарь, слезай с пушки! Довольно спать! К немцам приехали.

— Вылезай, кот, из печурки — надо онучи сушить!

— Полно вам галдеть! — недовольно проговорил заспанный пушкарь, вылезая из-под рогожи.

— Чего галдеть!.. Иван-город!.. Гляди!.. Вона там!

Вот уж плетни, валы, избытки сторожей... Из сугробов выглядывают бревенчатые церквушки, дома, овины, а над ними громадной, темной глыбой нависла каменная крепость. Лошади, почуяв жилье, оживились, зафыркали... Люди слезли с розвальней, пошли пешком... Все встрепенулось, все возрадовалось... Близок ночлег!

## IX

Ливонское рыдарство тринадцатого марта съехалось в городе Вольмаре, в ста верстах на северо-запад от Риги.

Много свечей сгорело, много пота было пролито, много гневных речей прозвучало под каменными сводами мрачного Вольмарского замка.

Магистр Фюрстенберг, морщинистый, усталый, старческим голосом напомнил рыцарям о «славном прошлом» Ордена. Он настаивал на том, чтобы все военные силы собрать воедино и двинуть к границам ливонским. Он говорил, что спор между Орденом и Москвою можно разрешить только в открытой войне.

Депутаты Риги, Дерпта и других городов не разделяли взгляда магистра.

— Если такой смелый государь, как Густав шведский, не смог одолеть москвитя, то где же нам отважиться

на войну,—заявил один из представителей Риги.—Не лучше ли заключить мир с Москвою?

Посол Риги прямо объявил, что Рига не считает себя обязанной защищать других, разбрасывать свои силы по Ливонии. Рига и другие приморские города могут защитить себя своими стенами, имея возможность всегда получать с моря продовольствие и оружие. Рига выдержит напор русских, а остальные города пусть защищаются как умеют.

Ревельские послы тоже требовали заключения мира с Москвой.

Но... мир требовал денег!

На столе чрезвычайного орденового ландтага лежало письмо царька Шиг-Алея.

Шестьдесят тысяч талеров!

Каждый рыцарь почитал высокою доблестью, величайшей христианской добродетелью поношение «восточного варвара—московского царя». Имя «язычника-москвиты» не раз упоминалось с презрением.

Провинциальные магистры, духовенство и все дворянство, ругая Ивана и москвитов, превозносили свои добродетели, свое собственное, якобы недостижимое благородство.

Всем хотелось мира, но никому не хотелось денег давать.

Угроза нашествия?! Да, она пугала, возмущала, но ведь и в самом деле, у рыцарей есть крепкие, неприступные замки. А может быть, до этих замков москвиты и не дойдут? А может быть, что-нибудь случится, что помешает москвиту напасть на Ливонию? А может быть... Да мало ли что может быть! Не лучше ли не торопиться?

Магистр и архиепископ твердили одно:

— Деньги или войско? Коли мир,—не жалейте, братья, денег на такое великое дело! Родина в опасности!

Один бургомистр, толстый, в черном бархатном камзоле, сверх которого вокруг шеи, прикрывая грудь и часть спины, надет был золоченый колет, вытаращив глаза, басисто прокричал:

— Лучше нам потратить сто тысяч талеров на войну с Москвитией, чем платить один талер дань московскому деспоту!

Глаза его были налиты кровью, громадные усы его прыгали, когда он кричал.

Нашлись храбрецы, поддерживали его; поднялся шум. Они требовали самим, первым, напасть на Московию.

— Соберем войско, — кричали они, размахивая кулаками, — и после пасхи, ранней весной, двинемся опустошать Московскую землю! Отомстим за пролитие немецкой крови! Наши отцы обрадвали в бегство этих варваров. И теперь они не так сильны, чтоб нельзя было их победить. Нам помогут шведы, датчане... Никто не любит московитов! Все их опасаются!

Раздавались речи, что немцы — народ наступательный. В этом и есть источник всего хорошего, что они сделали. Кто истребил полабских славян? Кто открыл после того путь немецкой христианской миссии в Чехию и польские земли? Разве забыли благородные рыцари, как гордый архиепископ Като писал из Майнца римскому папе о славянах: «Хотят ли они того, не хотят ли, а все-таки должны склонить свои выи немецким князьям». И разве немецкий святой, праведник Бонифаций, величайший и усерднейший проповедник христианской веры в Германии, не называл славян племенем недостойным и ничтожным? В Россию христианство должно прийти с немецким мечом. Русские считают себя христианами, но они хуже язычников. Немцы — народ благородный, великий, возвышенный, на челе которого бог положил печать своего духа и даровал самую продолжительную жизнь между всеми народами.

— Немецкий народ уже однажды властвовал над миром! — кричал рыжий, в синем камзоле, рыцарь с крысиным ртом. — Вспомните Оттона, времена императоров франконских и Гогенштауфенов! Разве не оправдали они свой титул «распространителей царств»?

Воинственность храбрецов заразила многих; напрасно выхватывали они шпаги и грозно размахивали ими. Напрасно поминали имя второй «священной Римской империи»<sup>1</sup> и немецких императоров. Злобные выкрики, проклятия, гордые возгласы о славе орденского оружия не могли уже поднять духа в приунывшем рыцарстве.

Худой, бледный дворянин, вскочив с своего места, сказал:

— Мы променяли полотно и замшу рыцарских одежд сперва на камлот, потом на сукно, наконец на бархат.

---

<sup>1</sup> Империя объединенных германских наций.

Украсили жен своих перлами и дорогими алмазами, а сами обрядились в золотые цепи, отказавшись от стальной кирасы. Цветущая Ганза возит к нам заморские вина и разные роскоши и тем губит и старцев, и молодежь... Вечные праздники в городах и замках! Вечные слезы в деревнях! Чего мы добьемся при такой жизни?

Молчание было ответом захудалому дворянину. Его выкрики некоторым сановитым рыцарям показались даже дерзкими.

Заговорил бургомистр города Дерпта, высокого роста, чернокудрый красавец — Антоний Тиль.

Ударив с сердцем рукой по столу, он сказал громко и властно:

— Довольно! Много дней мы толкуем, как помочь себе, и ничего не выдумали. Позор! Скажу одно: кого бы ни пригласили мы к себе на защиту — никто за нас не захочет бескорыстно воевать. Так или иначе придется нам отвечать своими собственными головами и кошельками! На одних кнехтов надеяться — безрассудно. Если вы немцы, то отдавайте все свое частное достояние на пользу родной Ливонии; все украшения жен своих; золотые цепи; браслеты; все, что у нас есть дорогого в запасе, — все продадим! На эти сокровища найдем войско. Сами все соберемся вместе и смело пойдем навстречу неприятелю, чтобы или победить, или погибнуть. Не станем поступать, как прежде делалось: каждый свой угол берег, и враг мог поодиночке всех нас побить. Похоже ли это на немцев?! Если мы решимся поступить так, как я говорю, биться в открытом поле, то не опозорим своих предков. И не так дешево будет стоить новое укрепление городских стен, постройка новых валов и башен. Нужно много средств и времени для того! Да и бесцельны иной раз самые сильные и обширные укрепления.

Тиль вспомнил ряд случаев из истории, он указал на падение Константинополя, Офена и других мощных крепостей. Лучше померяться с врагом в открытом бою и с честью пасть, чем бежать от врага и уклоняться от битвы.

Тиль своею речью навесил еще большее уныние на ландтаг. Никто не поддержал его. Рыцари пожимали плечами, вздыхали и... молчали.

Вдруг в палату вбежал человек и испуганно завопил:

— На небе знамение! Погибли мы все, погибли!

С этими словами он в страхе выбежал обратно на улицу.

Ливонские вельможи, накидывая на плечи шубы, торопливо вышли из замка.

Прискакавший верхом на коне седобородый астролог сказал запыхавшись:

— Гибель грозит Ливонии!.. Сия метла выметет всех нас из приморской земли. Вот труба, глядите!

Слабо мерцали на темном небе звезды. Величественная тишина царила в городе. Но город не спал. По небу медленно ползла громадная звезда с огненным хвостом наподобие метлы. Зеленые мертвящие лучи ее наводили ужас.

Астролог снова скрылся в узких переулках.

Дрожа от страха, бледные, смущенные, вернулись рыцари в замок. Торопливо, с неожиданным усердием, наперегонки начали раскошелиться.

Город Дерпт отвалил десять тысяч. Ревель, Рига и другие — пятьдесят тысяч талеров. Счетчики не успевали собирать деньги.

Ландтаг единогласно решил снарядить в Москву посольство, чтобы оно отвезло поскорее деньги царю и заключило бы с ним новый договор о перемирии на вечные времена.

Ужас глядел на рыцарей из всех темных углов громадного сводчатого зала.

Унося в душе страшное предчувствие, собравшиеся разошлись по домам.

Фюрстенберг, однако, все еще не теряя надежды на вооруженную борьбу с Москвой, рассылал курьеров по всей стране; от командора к командору, от города к городу скакали они, взывая о помощи, побуждая к военным действиям против Москвы, но если сам лацмаршал Ливонского ордена Христоф Нейенгоф фон дер Лейс отстранился от похода на русских, чего же можно было ждать от рядового рыцарства?

Курьеры возвращались к магистру ни с чем.

.....  
Утром во вторник, на первой неделе великого поста, Параша узнала, что в Иван-город вошли русские войска.

С радостью она узнала и то, что Колленбах уехал в Тольсбург, на берег Балтийского моря. Клара говорила,



что всю ночь нарвские рыцари совещались в замке, как бы им оборониться от московитов.

Клара вчера приводила с собою красивую, бойкую девушку. Худенькая, смуглая, с черными, как вишни, глазами. Крупные негритянские губы отнюдь не портили ее детски наивного лица. Звать ее Генриетта. Эта девушка говорит по-русски. Отец ее, Бертольд Вестерман, ездил в Москву, возил и ее с собой. Он крупный нарвский купец и ведет постоянную торговлю с Новгородом, Псковом и Москвою. Они жили с отцом в Москве целый год, пока не продали всей меди и селитры. Ее отец все это перекупил у приезжего германского негоцианта.

Генриетта бранила магистра и архиепископа, что они не дают отцу зарабатывать деньги, мешают ему торговать. По ее словам, в ратуге ганзейские и германские купцы потребовали у фогта деньги, чтоб покрыть свои убытки. Товары их захватили в устье Наровы орденские каперы, и купцы оттого пришли в упадок и не на что им выехать в свою землю.

Фогт сказал, что не надо возить товары в Москву, но он напишет все же магистру, а денег у него нет. Печем ему покрыть убытки купцов. Немцы пригрозили жалобой на имя императора Фердинанда.

Ратман Исаах Крумгаузен принял сторону немецких купцов. От этого получилась еще большая разногласица.

Произошла озлобленная перебранка немецких купцов с фогтом. И многие нарвские бюргеры стали на защиту ограбленных немецких купцов. Они были недовольны своими властями.

У Генриетты нежный, ласковый голос и добрые глаза.

В то время, когда Параша раздумывала о Генриетте, на улице поднялся шум. Опять толпы народа! Был праздник и прекрасная весенняя погода, теплая, солнечная. И потому Параша не придавала значения этому шуму.

Но вот в комнату вбежала Клара. Она, задыхаясь от волнения, с трудом проговорила:

— Хмельные рыцари задумали что-то недоброе. Колленбаха нет. пойдем в город. Посмотришь сама. Теперь я не боюсь своих хозяев. Все равно! Пойдем! Внизу дожидается Генриетта. Посмотрим сами, своими глазами что там?

Параша обрадовалась случаю вырваться на свежий воздух, на волю. Впервые выйдет она на улицу из своего заключения не как пленница.

Наскоро одевшись, девушка последовала за Кларой. Внизу действительно дождалась Генриетта. Увидев Парашу, она бросилась к ней и расцеловала ее.

— Идемте к крепостной стене.. Туда повалил весь народ.

Полною грудью вдохнула в себя весенний воздух Параша. Закружилась голова. Весна! Господи, как хорошо! Как много солнца.

— В глазах у меня все вертится... дома и люди.. Поддержите меня!..

Генриетта и Клара подхватили ее под руки.

— Это пройдет,— успокоила Генриетта.— Со мной так-то сплошь да рядом бывает. Сырой здесь город и шумный

Вскоре Параша стала чувствовать себя лучше. Не так уж резали глаза синее небо и солнце, не так дурманил весенний воздух и не так пестрило в глазах от множества людей.

Снега в городе почти не было. В канавах журчала вода, бежавшая по склонам в Нарову. Голубиные стаи кружились в воздухе. Грачи суетились на площадях. Над городом тяжелой громадой высилась башня Вышгорода (замка) «Длинный Герман». Зубцы крепостной стены и башен четко выступали на бледноглубом небе. Теперь Параша могла лучше рассмотреть этого страшного «Длинного Германа». Она насчитала шесть «житьев». Разверзлось широкое жерло ворот в толстых стенах замка; зловеще зияла его глубокая мрачная каменная глотка, из которой с топотом и криками вылетали всадники.

Выструганными из дерева мечами мальчишки шлепали друг друга, изображая войну с москвитями. И получалось у них так, что немцы побивают москвитов.

У крепостных стен столпился народ. На стене тоже люди; прикрывая ладонью глаза от солнца, они напряженно смотрели вдаль, на тот берег, в Иван-город.

Параша уловила едва слышный церковный благовест. В волнении она сжала руку Генриетты. Немка поняла ее.

— Пи-ни! Боже упаси! Не крестись! Беда будет. В Нарве все церкви разорены, а попы изгнаны.

— Это наши!.. Как близко!.. — с трудом переводя дыхание, прошептала Параша.

— Шш-шш! Молчи!.. — Генриетта погрозила пальцем,

Клара подслушала, что говорят мужчины, и вернулась к девушкам встревоженная; она тихо сказала:

— Рыцари идут... Стрелять хотят в Иван-город по русским богомольцам... Глядите! Вот они!..

Среди улицы, по самой грязи, топя громадными сапожищами со шпорами, нетвердой походкой шла толпа пьяных рыцарей. В руке каждого из них был лук, а в колчане, перекинутом через плечо, торчало множество стрел. Лица их лоснились от пьянства и помады. Они громко хохотали, толкая друг друга. Сзади них ландскнехты вели закованных в цепи мирных жителей из русского квартала Нарвы.

— Спасайтесь, девушки! — крикнула Клара.

Клара, Параша и Генриетта бросились бежать в один из переулков. Рыцари заметили это, и двое кинулись за ними, но в канаве поскользнулись и упали в грязь. Раздались хохот, свист, ругань.

Вскоре рыцарей не стало слышно — они прошли мимо.

Параша дрожала от страха.

— За что они хотят убивать наших? — со слезами спросила она Клару. — Богомольцы — мирные люди.

— Пьяные!.. Они друг в друга и то стреляют, а в московских людей и подавно.

— Они убьют!..

Генриетта строго посмотрела на Парашу.

— Место ли, время ли о том говорить? Помни: ты русская... да еще в стане своих врагов...

Параша замолчала.

Клара сказала нахмурившись:

— Теперь можно всего ждать... Помни и то, что я самовольно, против закона выпустила тебя на улицу. Будет худо тебе, а мне и того горше, коли узнают.

А вот и стена! На ней толпа рыцарей. Они достают стрелы, натягивают луки, прячась за толпою русских пленников.

Клара знала ход на стену поодаль, вправо от рыцарей. Она повела туда девушек. Через несколько минут они были на стене, поросшей мхом и кое-где от древности обсыпавшейся. Отсюда очень хорошо было видно внутренность мощной русской крепости Иван-города, его площади, дома, церкви. Отсюда были видны и бурлящие потоки водопада, низвергающиеся по гранитным скалам в стремнину реки Наровы, темносиняя вода которой свер-

кала на солнце безизной пенящихся волн. Воздух наполнен был неумолчным ревом этого водяного чудища, бушевавшего в золотистом сиянии весеннего утра.

— Боже, как сегодня хорошо! — сказала Генриетта.

Параша видела, как в собор по площади тихо идут богомольцы. Их много. Тут же, недалеко от собора, стояли на привязи кони. Иногда по площади проходили люди с копьями.

Вдруг на нарвской стене раздался дикий крик, и протяжно, жалобно просвистели стрелы, пущенные рыцарями в Иван-город. Параша и Генриетта ахнули от испуга. Вот упала одна лошадь, заматались люди у собора. Поднялась тревога.

Хохот и пьяные восклицания немцев, стоявших на стене, огласили воздух. Рыцари с веселыми лицами наблюдали за тем, как люди в испуге мечутся на ивангородской площади.

Параша закрыла глаза.

— Уйдемте... Не могу!..

И, не слушая предупреждений Клары и Генриетты, она несколько раз набожно перекрестилась.

— Если бы у меня была пищаль, я побила бы ваших рыцарей... — сказала она громко, с негодованием, сходя по каменной лестнице со стены.

. . . . .

Андрейка возвращался из осинової роши, таща за собою в санках связку жердей для шалаша. Белые, как лебяжий пух, пласты снега становились сивеватыми, местами разорванными на части. Весело резвясь в солнечном сугреве, говорливые ручейки сбегались по желобкам и трещинам с высокого берега в реку Нарову. Распутица в полном разгаре. Трудно было по грязи и по обнаженной земле тащить в гору сани.

Нарова вздулась, потемнела — вот-вот тронется. Около берегов образовались широкие закраины. В кустарниках нависывали снегири, юлили синицы в прутьях.

При самом въезде в Ивангородскую крепость — монастырь с двумя колокольнями: одна высокая, другая приземистая, широкая; обе каменные, с отлогим основанием, уходящим глубоко в землю.

Из-под монастырской слободы в гору тянулись толпы богомольцев. Среди них можно было видеть ратных людей,

проживавших в шатрах на взгорье близ монастыря, под защитою стен от северных ветров.

Весенний воздух и мерный, спокойный великопостный благовест настраивал людей на молитвенный лад. Какая война? Душа жаждет мира, тишины, дружбы, всепрощения. Скоро пасха!

Андрейка тоже собирался сегодня в церковь и потому спешил поскорее добраться до того сада, где он с товарищами задумал поставить шалаш. Вот уже потянулись серые, обитые тесом дома монастырской слободы. А вот и березовая аллея, ведущая на площадь.

Никогда порубежный страж Московского государства, неприступный для врага Иван-город, не видел такого множества народа, как с приходом войска. Проезжие дороги превратились в пешеходные. Телеги и возы с трудом пробирались сквозь толпу. «Эй, поберегись!» — то и дело оглашало воздух. Тут же бродили свиньи, жеребята-стригунцы, козы, ягнята... Около монастыря скрипели сухие, надтреснутые голоса нищих, сидевших на пути у прохожих с деревянными чашами. Калики-перехожие тянули «лазаря».

Купцы, помолвившись на все четыре стороны, развязывали товары. На лотках появились уже золотные, мухояровые и иные ткани. Плотники возились с досками, сколачивая лари. Стук топоров и молотков мешался с предпраздничным гулом толпы, ржаньем коней, с отзвуками церковного благовеста. Расталкивая всех, бродили монахи с иконами. Ратники, отдохнувшие от военных переходов, прогуливались по базару, с любопытством поглядывая на раскинутые в ларях товары.

После многих окриков, пинков, толчков и свиста Андрейке удалось все же добраться до церковного салика, где на скамье мирно беседовали его товарищи.

Нижегородский ратник Меркушка-хлебник встретил его радостной вестью:

— Гераська приходил, Тимофеев, ваш — колычевский, искал тебя.

Бечева от салазок выпала из рук Андрейки.

— Где ж он?

— В церкви. Сейчас выйдет.

Андрейка опрометью побежал в церковь.

Встреча была братской. Парни крепко обнялись.

— Жив?!

- В добрый час сказать — в полном здравии.
- И я, бог милостив...
- Вижу, Герасим, вижу... Как ты попал-то сюда?
- Осподь даря надоумил, а царь—народ... Вот я, стало быть, и живу здесь...

Герасим рассказал о своей жизни в стане порубежной стражи.

Вдруг со свистом сзади в плечо Андрейки глухо вонзилась громадная стрела. Обливаясь кровью, он упал наземь. Герасим быстро выдернул стрелу. Андрейка успел проговорить: «Герасим, убили!» — и впал в беспамятство. Подбежали люди, подняли его, понесли в ближний дом. Вслед за этим на площадь со стороны Нарвы посыпались сотни стрел. Богомольцы, не поместившиеся в церкви, а стоявшие наружи, в страхе заметались по улицам. Многие из них, вскрикнув, падали, раненные стрелами. Проклятья и стоны слышались со всех сторон.

Ратники бросились к воеводам, прося их ударить из пушки по Нарве. Воеводы наотрез отказали. Царь не велел без его разрешения начинать вновь войну с немцами. «Пускай Ругодив (Нарва) стреляет, мы не будем, пока царской воли на то нет. — Так ответили воеводы. — Потерпим».

В Москву были посланы гонцы с донесением о случившемся.

## X

Площади и улицы Иван-города целыми днями были пусты, только богомольцы поодиночке, с опаской, пробирались в монастырь. Иные, не доходя, падали. Раненых уносили. Рыцари целые дни разгуливали по крепостным стенам Нарвы, высматривая людей на ивангородской площади и набережной и расстреливая неосторожных.

В воеводской палате ивангородского дворца собрался ратный совет. Как быть с Нарвой?

Больше всех горячился Никита Колычев.

— С каких это пор повелось,— кричал он,— чтоб русский воин подставлял покорно свою грудь врагу?! Народ требует, чтоб и мы палили в них... Нельзя идти против народа!.. Сам господь велит нам разрушить до основания Нарву.. Будем стрелять день и ночь, а перебежчиков из Нарвы, приходящих под видом друзей царя, подобных купцу

Крумгаузену, всех губить и черный люд ихний надо уничтожать... Что за эсты? Что за латыши? Никого и ничего не жалеть!.. Все предать огню и мечу, чтоб проклятые ливонцы навсегда запомнили нас, русских... Камня на камне не оставить от Нарвы — вот что по чести надлежит нам теперь сделать... Если мы не будем губить немцев, ратники сами учнут избивать их...

Лицо боярина Никиты налилось кровью, щеки раздулись, глаза сверкали злобою; он грозно потрясал кулаками, обратившись в сторону Нарвы.

Спокойно, с едва заметной усмешкой на губах, следил за ним Алексей Басманов.

После Колычева говорил Куракин. Он был старый воин. Выше всего ставил порядок в воинских делах. По казанскому походу знал он и военную повадку царя. Иван Васильевич не из тех, что, очертя голову, не проведая обо всем, бросаются в драку. Знал он и то, что царь в спорах с Ливонией особенно осторожен, ибо он не хочет ссориться с германским императором.

— Волюно рыцарям бунтовать! — сказал он. — Види бог, мы не зачинщики... А коли богу и царю станет угодно вразумить рыцарей — мы послужим тому благому делу с честью. Вот мой сказ!

Воевода Данила Адашев поддержал Куракина: не идти на поводу у ругодивцев! Без царского приказа ни-ни!

Сабуровы-Долгие и стрелецкие головы Сырахозины, Марк и Анисим, настаивали на том же, на чем и Колычев. Нечего-де ждать царского приказа, а начать немедленный штурм Нарвы, не щадя ни снарядов, ни людей, идти напролом, и повторяли то же, что кричал Колычев: «Не оставить камня на камне от Нарвы и перебить всех наших друзей», и тоже поминали ратмана города Нарвы Иоахима Крумгаузена.

Поднялся со своего места Алексей Басманов. Спокойный, чинный вид его смутил многих.

— Чего ради мы будем лезть на рожон? Любо мне видеть вашу ярость, бояре, и слушать речи единомысленные... В них гнев и храбрость — украшение древних княжеских и боярских родов. Но всегда ли мы должны следовать велениям древней крови? Вы будто сговорились, подбивая нас на преждевременность.

Глухой говор и шепот в толпе бояр.

Колычев не стерпел, вскочил.

— Слушать надо народ, воиников! Да и древнюю кровь нелишне послушать!.. Что нам германский император!

Кто-то ехидным голосом, нараспев, сказал:

— Чешись конь с конем, а свинья с углом!..

Басманов, не обращая внимания на слова Колычева и этот выкрик, громко и строго продолжал:

— Так и этак, слушать надо царя, самодержца! Древняя кровь говорила: «сила закон ломит», а ныне закон силу ломит. Воля божья, а суд царев! Как государь Иван Васильевич прикажет, так и будет. А врагов мы бить умели и сумеем.

Помрачнели лица бояр. Колычев закашлялся, перекрестив рот. На висках у него надулись жилы.

Сидевший в самом углу позади бояр Василий Грязной с озорной улыбкой рассматривал бояр и воевод, ошеломленных речью Басманова. Потирал самодовольно колени ладонями.

Воевода Куракин крикнул весело:

— Добро молвил, Алексей Данилыч!.. Не можно так: што воевода, то норов! Порядок нужен! Единомыслие! Бранное поле — не курятник!

Басманов продолжал:

— А Якима Крумгаузена и прочих нарвских купцов не троньте! Беду наживете! Тут цареве дело. Государь ведает!..

Колычев шепнул соседу, боярину Разладину, в ухо: «Измена!» Разладин в ухо же ответил: «Изменив древности, долго ли изменить родине?»

И вдруг глаза Колычева встретились с черными игривыми цыганскими глазами чернокудрого Василия Грязного. Вспомнилась зимняя ночь в Москве, пыточный подвал... Никита Борисыч приветливо кивнул головой Грязному... Тот еще приветливее ответил ему. Колычеву это польстило.

«Что за человек? — подумал он. — Ведь такой красавец и такой весельчак! Только бы ему потешать бояр на пирах, а он... трется около дворца, ужом вьется, извивается, прислуживается! Удивительно!»

Воевода Бутурлин, рыжий великан, хриплым от неумеренного питья голосом провозгласил:

— Задор бывает, когда силы не хватает... А у нас сила есть! Слава богу!

Худощавый, с раскосыми глазами, богато одетый, князь



Афанасий Вяземский, вытянув худую шею из кольчуги, смеясь, сказал:

— Сколько бы мы тут ни толковали, а умнее царя все одно не будешь!.. Клянусь в том!

После совета, расходясь по своим шатрам, бояре липли к Колычеву: вздыхали, сочувствовали ему.

— Так уж у бояр, стало быть, своей головы и нет? Басманов, Вяземский, Бутурлин, Куракин — ласкатели царские, льстятся к нему, говорят не то, что думают... Выслуживаются...

Колычев, испуганно оглядываясь по сторонам, шептал с беспокойством:

— Домовой меня толкнул! И чего я вылез? Кто меня спрашивал? Будьте добреньки, братцы, отойдите от меня... Не подумали бы о нас чего... Не надо казать вида, что мы заодно... Спорить нам друг с другом надо, ругать друг друга матерно... Сам Андрей Михайлович Курбский сердится, коли к нему жмутся его друзья... Схлыньте от греха! Бог с вами! Не прогневайтесь!

. . . . .

Ратники не раз хватались за оружие, чтобы ответить ливонцам ударом на удар, но воеводы Куракин, Басманов, Бутурлин и Адашев стояли на своем: «Нельзя, покуда от царя не придут гонцы».

Народ умолял Куракина на коленях, чтоб тот дал приказ пушкарям открыть огонь по Нарве, надо «немчина» проучить!

Куракин теперь был спокоен. На его губах даже появилась улыбка, когда к нему пришли с жалобами на ливонцев посадские. Был он дороден видом, широкоплеч, высок, с пышными седыми кудрями и говорил хмуро и вразумительно: «Не время! Обождите! Не время!»

Посадские ворчали:

— Собака и та ласковое слово знает, добро помнит... А немцы все позабыли и бога позабыли... Уж мы ли их не уважали! Мало ли они, дьяволы, от нас поживились! И город-то наш — Ругодив. Чего же на них смотреть? Чего терпеть?

Воеводский дьяк Шестак Воронин смеялся:

— Водяной пузырь недолог. Надувается, надувается, да и лопнет! Так и Нарва, так и немцы. Потерпите, братцы!

Ходить по улицам страшновато. А уж как хотелось бы спуститься на набережную да полюбоваться водопадом и рекою!

Лед тронулся. Глухо, наваливаясь одна на другую, со скрипом медленно движутся большие льдины. Шелестят обломки их, буравя каменные оплечья берегов. На некоторых льдинах уплывают к морю трупы, конская падаль, изрубленные шелома, сломанные сабли... Это с верховьев Наровы. Солнце целые дни освещает пустынные окрестности.

Жители Иван-города, в страхе творя молитву, на все это смотрели издали: из окон, с чердаков, с башен, с колоколен. А уж как обидно встречать весну украдкой!

Андрейке выпала доля и того хуже. Весь обвязанный, в темном углу монастырской кельи он метался в жару, бредил... Бредил какою-то громадной пушкой, которая должна разметать всех врагов Москвы...

— Полпуда зелья! — кричал он. — Клади! Сыпь! Чего зеваешь?! Полпуда!..

Герасим не отходил от него. Нашли лекаря, еврея, бежавшего в Иван-город из свейской земли. Лекарь успокаивал Герасима, уверяя его, что Андрейка выживет, поил больного какими-то травами, делал раненому перевязки, заботливо ухаживал за ним.

Сами воеводы, князь Куракин и Басманов, однажды навестили московского пушкаря. Слух и до них дошел о «смышленном мастере», коего сам царь наградил ефимками за стрельбу.

Басманов обещал хорошо заплатить лекарю, если он вылечит Андрейку.

Томительно тянулись дни в Иван-городе. Каждый чувствовал себя в осаде. Никуда спокойно, беззаботно показаться нельзя. Базары опустели. Ощущался недостаток в мясе, хлебе. Стали ловить голубей — их есть. «Грешно, да ничего не поделаешь!» Вот уже скоро две недели, как тянется эта нудная, убогая жизнь у ивангородцев. А гонцов от царя все нет и нет.

Иногда Андрейка по ночам бредил Охимой. Кричал, сердился. Герасим почесывал затылок, покачивал в задумчивости головой. Конечно, у него, у Герасима, есть своя невеста, Параша... Но ведь Андрейка тайно любит боярыню... Он часто говорил о боярыне Агриппине... Он считал ее чуть ли не святою... и вдруг... Охима!

Долго думал Герасим об этом, сидя около постели товарища. Снова поднялись мысли о плененной ливонцами Параше. Жива ли она? Что с ней?

Сердце Герасима было полно ненависти к немцам. Трудно становилось дышать от гнева при мысли о тех обидах и несправедливостях, которые чинили ливонские власти на рубежах, где он служил в стороже. А теперь и вовсе!.. Где же это слыхано, чтоб стрелять в тех, кто с тобою не воюет? Где же перемирие слово! Параша! Андрей!.. О, если бы царь дал приказ!.. Этого приказа с нетерпением все ждут, все ратные люди в Иван-городе. Народ истомился! Бессильная ярость тяжелее стопудовой ноши!.. Окаянные немцы!

В войске уже ропот пошел на Басманова, на Куракина, Бутурлина, Адашева. Кто-то посеял в городе сомнение: «Уж не измена ли?!»

По вечерам, в углу, где лежал Андрей, нудно трещала лучина в светце, шипели угольки, отскакивавшие в подставленную лоханку. Угольки, попавшие в воду, кружились на поверхности, чадили.

Сквозь полумрак Герасиму видно было бледное, неживое лицо товарища. Душили слезы. За что? За что проклятые немцы хотели убить Андриюшу? Что он им сделал?

Не получая отпора, рыцари чувствовали себя героями! Целые дни верхами разъезжали вместе с конными ландкнехтами по улицам, вооруженные с головы до ног. Женщины прятались, страшились насилия. Кое-где на виселицах видны были повешенные русские пленники.

Сами ратманы, пробовавшие остановить расходившихся рыцарей, — Иоахим Крумгаузен и Арндт фон Деден — опасались нападения воинственно настроенной толпы, заперлись у себя дома и уже не делали попыток обуздать нарвское дворянство.

Фогт Эрнст фон Шелленбург возглавлял рыцарство. Но все же приходилось и ему задумываться о дальнейшем. Ведь даже самый глупый человек понимал, что беспричинный обстрел Иван-города не пройдет даром. Не таков царь Иван! Не таковы москвиты!

Немцы с большой тщательностью принялись укреплять замок. На башню «Длинный Герман» втащили пушки. По стенам замка расставили много орудий; углубили рвы вокруг замка. О посадке же, окружавшем Вышгород (замок),

застроенном почти сплошь деревянными домами, у рыцарей и заботы не было.

Простой народ понял, что замок в случае осады станет убежищем только рыцарей и дворян, а городское население будет брошено в жертву неприятелю. Рыцари боялись своего народа, простых посадских людей, которые часто бунтовали в ливонских городах.

Так нередко случалось и в прежние войны. Именитое дворянство и купцы прятались в крепости со своими слугами и любимчиками, а посадский народ оставляли незащищенным.

Среди обывателей и теперь поднялся ропот.

Рыцари и ландскнехты бросали недовольных в подземелье, заковывали их в цепи и пытали, выдергивали языки, замуровывали в кирпичные стены замков, рубили головы.

Параша оказалась на положении узницы. Кларе велено было запирать ее на замок; кроме воды и хлеба, ничего не давать. Параша узнала от Клары, что Колленбах не вернется в Нарву. Он будет жить в Тольсбурге, пока не кончится война. Пастор Бальтазар просил фогта отпустить Парашу на волю, в Иван-город. Фогт ответил, что ему дан свыше приказ, чтоб иностранцев из Нарвы не выпускать, пока на то не будет особого распоряжения.

Улицы Нарвы опустели. Жители копали землю, устраивали подвалы, землянки.

Клара, принося Параше еду, плакала.

— Ой, что-то будет! Что-то будет! Меня убьют... Во сне я видела, будто куда-то провалилась.

Добрые глаза Клары выражали страх.

Параша успокаивала: кто ее тронет? Зачем? Если придут московские люди, она, Параша, заступится за Клару, расскажет русским воинам, как за ней ухаживала Клара, как оберегала ее.

В городе наступила зловещая тишина. Только голоса резвившихся на дворах и улицах ребятишек отчетливо слышны были Параше. Прежде этого не было.

Мальчики играли в войну. «Рыцари» с ожесточением били московитов; плевали в них. Этому их учили начальники ландскнехтов.

Параша вспомнила, что теперь вербная неделя, скоро будет пасха! Она подолгу молилась. Во всех молитвах одно и то же: желание поскорей вернуться опять на родину.

И вот однажды во время ее молитвы вдруг прогремел гром, стены дома содрогнулись, на улице послышался крик. Не успела подбежать к окну, как раздался новый удар, еще более грозный.

Послышался стук по лестнице. Пастор торопливо спустился вниз из своей башни.

Через площадь бежали мужчины и женщины с детьми. Лица их были полны ужаса.

Дверь распахнулась; на пороге — Клара.

— Слышишь!.. Из пушки! Ваши! — проговорила она тихо, с ужасом в глазах.

Параша набожно перекрестилась.

— Заступись за меня!.. — прошептала старая Клара, взяв руку Параша. — Но они могут до той поры убить и тебя! Пушка не разбирает! Мне себя не жаль!.. О себе я не думаю.

Клара умоляюще смотрела на девушку.

Богатые люди в повозках и верхами в страхе побежали из города в глубь страны, бросив все на произвол судьбы.

. . . . .

Здоровье Андрейки быстро поправлялось. Пятого апреля он уже стал около своих пушек. От царя пришел приказ взять Нарву. С особым удовольствием вкладывал он в оруidia зажигательные ядра, густо обмазанные горючей жидкостью. Однако подошедший к нему сотник велел заменить зажигательные ядра каменными. Воевода пока не велел стрелять огнем. «Мы не хотим карать их — хотим образумить» — вот его слова.

Переплыв следующей ночью в челноке через реку Нарову в лагерь русских, пятеро эстонцев рассказали, что при первых же выстрелах русских пушек в Нарве произошел мятеж. Черный люд поднялся против рыцарей. Восставшие требовали присоединения Нарвы к Московскому государству. На сторону их перешли и некоторые знатные горожане. Ратманы — Иохим Крумгаузен и Арндт фон Деден — тоже склоняли горожан перейти под власть русского государя.

Рыцари обвинили Крумгаузена и фон Дедена в измене. Они кричали повсюду на площадях и в замке, что оба ратмана подкуплены царем Иваном. Будто они получили от царя грамоты на свободную торговлю по всей Руси и теперь надеются на еще большие выгоды и милости.

Грозили обоих убить.

Вожаки простого народа кричали в ответ:

— А мы что получили от дая? Какие выгоды? Видим мы, как живут русские. Мы хотим правды, мира! Мы верим русским.

Эсты передали воеводам Куракину и Бутурлину желание оставшихся в Нарве эстов перейти на сторону московского войска.

Вот когда Андрейка понял, почему не следует громить Нарву огнем. Вот когда он уразумел и присланный из Москвы царский приказ о том, чтобы стрелять «токмо по Ругодиву, ливонские села и деревни не воевать. Ругодив нарушил мир, так один Ругодив и должен отвечать» Царь Иван не хочет торопиться, ждет: не образумятся ли рыцари?

Опять нижегородские земляки собрались вместе, поселились в одном шалаше: Андрейка, Герасим и Мелентий.

Вечером восьмого апреля после долгой и злой стрельбы из пушек все трое собрались у костра. Варили уху в котелке. Позвали в гости эстов, кое-как объяснявшихся по-русски.

— Да, — сказал Мелентий Андрейке, — хватил ты спелой ягоды куманики!.. Как жив только остался?

— Молится кто-то за него... — подмигнул со значением Герасим.

— Одним словом, лежи на боку да гляди за реку! — усмехнулся Андрейка. — А я уши развесил... не к месту. Вот и всё! Обождите, и мы дадим немцам под сусалы да под микитки!.. Свое возьмем!

Эсты засмеялись.

— Хорошие люди и там есть, — показал на них Герасим. — А ты огнем хотел палить без разбору... Чай, и зазноба моя там... Не буянь, гляди, со своими пушками... Поостерегись!

— Ты больной все бредил о какой-то громадной пушке... — сказал Мелентий.

— Мысль у меня такая есть, — сконфуженно улыбнулся Андрейка. — Ладно! Ждем-пождем, что-нибудь да и выйдет.

— И Охимушку поминал... — лукаво подмигнул Герасим.

— Ладно болтать! — отмахнулся Андрейка. — Ты уж помалкивай!.. У Охимы жених есть.

Уха поспела. Мелентий вылил ее в большую деревянную чашу. Нарезал хлеба. Парни усердно принялись за еду.

Спустилась звездная весенняя ночь. Из окон монастыря доносилось пенье иноков. Дышалось легко, мысли были бодрые, веселые.

Андрейка испытывал особую радость оттого, что снова задров и сидит опять со своими друзьями.

— Не возьму я в толк,— сказал он,— пошто лыцари на свете живут? Зачем они?

— Бога чтоб обманывать,— произнес один из эстов.— Думать о себе высоко-высоко!..— он поднял руку выше головы.— На самой верхушке, выше всех людей, где Христос... а сами — низко-низко, где ползает жаба...

— М-да, это не по-нашему,— вздохнул Герасим.— Вот наш родной город Нижним прозывается, а стоит на горе. Смиранным бог помогает.

— Лыцари не живучи. Все ветром они просвистаны. Норов соколий, а походка воронья. Надуются и лопнут.

— Простачков они вперед суют... На стене прятались за наших пленников. Уж што это за воины! — отставляя в сторону пустую чашу, пожал плечами Мелентий.

— Они норовят сунуть других за себя воевать,— сказал все тот же эст, доедая уху.— И в железу вечно прячутся... Своей крови бояться, на чужую не нарадуются.

— Стало быть, кони чужие, только кнут свой. Домовито, нечего сказать,— усмехнулся Андрейка.

— Наш брат все требует от себя, а они, видать, требуют от других...— Герасим насмешливо причмокнул.— Не выйдет дело-то! Все можно требовать от других, токмо не этого... Тут своей воротяжкой работать надо.

— И-их, и каких только людей на свете нет! — вздохнул Мелентий.— Вот только не встречал я таких, чтоб кого-либо за себя есть просили... Всякая тварь норовит, чтоб в свой рот, а не в чужой...

— Зато бывает так: в свой — получше, а в чужой — похуже. Я на лед послов пошлю, а на мед сам пойду! Бывает!

Все охотно с этим согласились.

— Есть, есть такие-то и среди нашего брата...— презрительно сплюнул в сторону Герасим.— Што им мать-отчизна? Было бы самим всего вдоволь... Не товарищи они нам! Те же враги!

— Таких кистенем крестить, что только себе...— сказал, сдвинув брови, появившийся Кречет.— Это самые последние твари! Дармоеды! Чужелдцы!

Андрейка хмуро посмотрел в его сторону, ибо давно уж приметил, что именно он, Кречет, все норовит только для себя урвать: «уж кто бы говорил, только бы не ты!»

Разговор затянулся до полуночи.

Огонь в костре угасал. В безветренном воздухе синими струйками исходил дымок от тлеющих углей. Помолвившись, ратники легли спать. Устроили на ночлег и эстов.

## XI

В русском войске вошло в обыкновение: выйдя из шатра, после сна, смотреть в сторону Нарвы. В это солнечное весеннее утро страстной субботы ратники увидели множество людей, открыто стоявших на стенах крепости и размахивавших белыми знаменами.

Вслед за тем и на ивангородских колокольнях заколыхались такие же длинные белые полотнища.

Герасим и Андрейка рты разинули от удивления. Старый воин, управлявший коня, молвил сурово:

— Мира просят, — и добавил: — уж не впервой... Да как им верить! Согласья нет у них. Кабы я был воеводою, силою взял бы мир. Тпру! Н но!

Старый воин вскочил на коня, перекрестился и тихой поступью поехал к воеводскому двору.

Андрейка и Герасим переглянулись.

— Ужели мир?!

— Куды тут! Круто взяли! Не выпрямишь!..

— И я тож думаю. Попусту, что ль, мы их земли с нарядом объехали. Царь не ради забавы наготовил огненных орехов!

— Глянь, глянь, Андрейка! Через реку-то лодка с их стороны плывет... Люди, гляди! И все машут, машут... Чьи такие?

Парни отбежали от шалаша, приблизились к берегу. В лодке пятеро: четверо мужчин, одна женщина. В руке у нее шест, а на нем белое полотнище с крестом.

— Ого! Здорово! — весело вскрикнул Герасим и помчался по отлогому берегу вниз, туда, где должна была причалить лодка.

Со всех сторон из крепости по берегу бежали люди.

Окруженные ратниками, у крепостных ворот появились Куракин и Басманов. Они стали дожидаться нарвских послов у ворот.



Высокий, в дорогой серебряной кольчуге и красных сафьяновых сапогах, важный, сановитый, хмуро взглянул Куракин на послов.

Они назвались: Иоахим Крумгаузен и Арндт фон Деден.

Провожатыми их были два простых горожанина: купец Бертольд Вестерман, с ним девушка — его дочь Генриетта; другой — купец Вейсман.

Крумгаузен сказал:

— Бьем челом от имени всего города, чтоб государь нас пожаловал! Пусть государь возьмет нас на свое имя! Мы не стоим за вашего фогта. Он стрелял — мы не могли его унять. Он воровал на свою голову. Мы отстаем от мейстера и всей Ливонской земли. Мы хотим ехать к государю. Купец Вейсман останется заложником.

Андрейка и Герасим находились в толпе ратников, около воевод и послов.

— Добро, Яким, добро, Захар! — сказал Куракин, знавший ратманов и раньше, по Москве. — Обождите в воеводской избе, дело не простое — обсудим сообща, как тому быть надлежит.

Куракин приказал проводить немцев в воеводскую избу. Вестерману с дочерью воевода разрешил поместиться в доме наместника. Поставил около них стражу.

В пасхальную ночь буйно трезвонили колокола; народ толпами бродил по площади и по улицам; шепот, улыбки... Весенний воздух, гордость могуществом родного государства поднимали в людях бодрое, полное веры в победу настроение.

Никто не опасался теперь спокойно ходить на воле.

Воеводы строго-настрого запретили хмельное, а попы — греховное. Но как не согрешить? Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. И почему-то в святую ночь будто сам воздух наполнен соблазнами, да и девушки смотрят не как всегда. Иной раз кровь в голову ударяет от их ласкового взгляда. Хочется смеяться, хочется счастья! Казалось, сама земля дымит греховной, плотской радостью. Война — войной, а любовь... Никакая сила не одолеет ее!

Церкви всех вместить не могут — не зазорно провести время под колокольный звон в вишневых садах на берегу. А эта самая немка, Генриетта, не девка, а небесное какое-то явление. Ресницы ее бархату подобны... Тонка и пуглива, как козочка. А глаза?! Андрейка стал подбивать

Герасима пойти к дому наместника, посмотреть, — может, она не спит, и они ее увидят.

Герасим расхохотался:

— Еще ребро у тебя не поджило, а уж ты...

— Мне што!.. — развел руками Андрейка. — Я так... Ради тебя... Мне теперь не до этого.

И хотя Герасим ему не поверил, решили идти.

Пробравшись длинной березовой аллеей к дому наместника, парни стали прогуливаться вокруг дома, тайком заглядывая в окна, — темно!

— Спит, — прошептал Герасим.

Андрейка сочувственно вздохнул:

— С дороги, устала...

Робко присели на ступеньку лестницы. Все смешалось: отдаленное пасхальное пение, гул толпы, бродившей по площади, ржанье сторожевых коней, неумолчный рев водопада. Вода за ночь в реке прибыла. Сквозь деревья виднелся блеск волнистой поверхности, а там, дальше, городские стены Нарвы и сам Вышгород, — громадное каменное чудище. Его башни кажутся рогами.

Шорохи расплзающейся по прошлогоднему валежнику воды волновали, словно кто-то нашептывал на ухо, задал, звал к иной, сказочно легкой, беспечальной жизни...

— Да... — с грустью вздохнул Андрейка. — Дела не видать.

Но только хотели они уходить, дверь дома отворилась, и женский голос спросил:

— Скажите, добрые люди, зачем сторожите нас?

Она! Что ответить?!

Герасим произнес равнодушным голосом:

— Отдохнуть малость сели. Да вот и Нарову смотрим. Уж больно быстра, бурлива... И что за река такая?! Беды!

— Шумит дюже... — подтвердил Андрейка. — А ты сама-то чья будешь?

— Родилась я в Москве! Там бывала я...

— Немчина дитё, а родилась в Москве! Чудно!

— Мой батюшка и матушка жили там. Милостию великого князя.. и я жила там.

— На нашу сторону, стало быть, перешла?

— Я и в Нарве была ваша сторона... Русский царь возьмет Нарву — будет хорошо. Пленники там ваши есть... Одцу русскую мы хотели к вам взять... Фогт в замок ее запер.. Параша — хорошая девушка... Ваша, русская.

Герасим онемел. «Параша!» — дыхание остановилось. — Колленбах — злой человек!.. Его надо убить!.. — сердитым голосом продолжала девушка.

— Параша! — собравшись с силами, прошептал Герасим.

— Я а! Парраша... Парраша!.. Хорошая!.. Кррасивая... дочь казака... казака... Нет, стрельца...

Герасим, овладев собой, стал расспрашивать Генриетту.

Андрейка, ничего не слышавший от Герасима об этой Параше, диву давался любопытству Герасима, вопросительно заглядывая в лицо товарищу. Генриетта подробно рассказала все, что знала о пленной девушке. Когда начался бунт, рыцари схватили Парашу и увезли в замок. Они хотят отправить ее в Тольсбург к господину Колленбаху. Этот человек — вельможа, богач. Рыцари у него в большом долгу. Они стараются ему услужить. Они знают, что господин Колленбах хочет ее сделать своей наложницей.

Герасим и Андрейка низко поклонились Генриетте, поблагодарили ее за беседу и нехотя, мешкотно поплелись к себе в шалаш.

В ночной тишине весело перекликались колокола. Герасим неохотно, хмуро открыл Андрейке свою тайну, рассказал товарищу о своей невесте.

. . . . .

Воеводы согласились на отъезд в Москву нарвских послов. Они знали, что царя интересует немецкий купец Крумгаузен. Знали и то, что Иохим известен своею честностью, полезною для Москвы торговлею. Однако для надзора послали с немцами двух дьяков.

Послы уехали в Москву в самую распутицу. Воеводы советовали им обождать, но Крумгаузен говорил, что «надо ковать железо, пока горячо».

Воеводы выдали им «опасную грамоту».

Стрельба по Нарве прекратилась, хотя и Куракин и Басманов все еще не доверяли нарвским властям, зная коварство немцев.

«Охочие люди»<sup>1</sup> — эсты, латыши и финны — рассказывали, что партия Крумгаузена — «московская сторона» — вначале было одержала победу в ландтаге, потом рыцари ее снова оттеснили.

---

<sup>1</sup> Добровольцы.

Куракин, Басманов и прочие воеводы хорошо знали, что творилось в Нарве. У Куракина были верные люди там, обо всем ему доносившие. Однажды ему стало известно, что немецкие власти тайно послали просить помощи к Готгарду Кетлеру, коадьютору гермейстера, феллинскому командору. Куракин узнал даже и то, что Кетлер дал приказание собирать в Эстонии гаррийских и вирландских помещиков, чтобы поспешить Нарве на помощь.

Куракин зорко, с большим вниманием следил за каждым шагом немецких правителей Нарвы.

Рижским и ревельским кнехтам пробраться незаметно не удалось. Их подстерегли посланные Куракиным под видом нищих лазутчики, в числе которых был и Герасим. Они близко видели прибывших в Нарву тысячу конных и семьсот пеших латников, хорошо вооруженных, с ног до головы прикрытых железом.

Кнехты, конные и пешие, вошли в город тридцатого апреля.

Лазутчики также донесли и о том, что в нескольких верстах от Нарвы, в оврагах и в лесу, расположился с войском только что прибывший ревельский командор фон Зегафен с гаррийским и вирландским рыцарством. Сюда же приехал со своею свитою помощник гермейстера Кетлер.

Московские воеводы поняли, что Нарва обманывает их; по обыкновению немцы готовятся нарушить свое слово. Однако воеводы старались не показывать вида ливонским властям, что им все известно. Они отправили в Нарву своих людей объявить населению царскую милость и обещание оградить их от мести со стороны ливонского магистрата. В ответ на это нарвские власти выслали своего нового ратмана, а с ним четырех горожан.

Ратман заявил воеводам:

— Мы не посылали к вам тех, кто поехал к царю. Это ваша ошибка, а их самовольство. Мы никогда не хотели и теперь не хотим отложиться от Ливонии. Власть магистрата — единственная законная для нас власть.

Им ответили:

— Тогда вы оставайтесь у нас, подождите возвращения от царя тех, прежних ваших послов, с ними и поговорите. Яким и Захар скоро приедут из Москвы и покажут вам договор.

Послы не соглашались на это — ушли обратно в Нарву. Воеводы отпустили их с честью.

— Коли так, господи благослови!.. — сказал с хмурой улыбкой Куракин, даже рукава засучил. — Возьмемся за дубину. Не к лицу русским людям терпеть обиды от стада свиней.

За реку был переброшен небольшой отряд — сторожа под началом Герасима.

Хотелось проверить: нападут на него командоры или нет. Другой отряд ратников был спрятан в засаде.

Зеегафен, увидев русских, тотчас же погнал своих латников против немногочисленной сторожи, которая и отступила к берегу. Тут выскочила засада. Произошла схватка. Обе стороны потеряли несколько человек убитыми и пленными.

Пленные кнехты, приведенные в Иван-город, были равнодушны к неудачам Ливонии.

Они сказали:

— Ругодивцы изменили вашему государю. Они поклялись не сдаваться вашему царю и великому государю. А ревельский командор и вовсе не хочет защищать Нарву. Третьего мая он уведет свое войско. Отпустите и нас! Мы тоже уйдем с ним. Хотим вернуться к себе, на родину, в Баварию.

Их обезоружили и отпустили, но только не в Ревель, а на юг, ко Искову. Никто никогда в русском войске не верил ландскнехтам, зная их продажность. Русскому воину было непонятно, как можно торговать собой.

Нарва всерьез готовилась к боям с русским войском. От своих обещаний, от своих послов, от всякой мысли о присоединении к России нарвское рыцарство наотрез отказалось.

Всех находившихся в Нарве русских загнали в казематы, стали подвергать страшным пыткам: выкалывали глаза, отрезали языки. Перевели в башню и пленницу Колменбаха, заковав в цепи.

В городе началась паника. Большая часть жителей торопилась спрятаться в замок. Туда пускали с разбором. У ворот дежурило много ландскнехтов. На проход и проезд в замок требовалось разрешение нового фогта, а он скупился давать такие разрешения.

Черный народ продолжал негодовать. Происходило много столкновений между кнехтами и городскими жителями.

Так прошел беспокойный день десятого мая.

Вечером страшно было ходить по улицам. Воры и разбойники подстерегали прохожих, грабили, убивали.

Ночью Параша, глядевшая из решетчатого окошечка своей темницы в сторону Иван-города, вдруг увидела внизу, в Нарве, вырвавшийся из одного дома столб огня. Сначала она подумала, что это сжигают мусор; это нередко делали в Нарве. Но потом, когда огонь разросся в громадное пламя, перебросился на ряд строений, Параша поняла, что начинается пожар.

Набежали люди с баграми, с кадушками; их освещало быстро растущее пламя. Ветер рвал огонь в клочки, перебрасывая с одного дома на другой — глазу трудно было уследить за быстрым распространением огня. Теперь уже пламя полыхало в разных концах города.

Толпы народа с пожитками, с детьми бросились к замку. Ворота под натиском толпы распахнулись. Раздался крик, вой, шум в замке. Выскочили сторожа с кошками. Они преградили жителям дорогу в замок. Те, не имея сил справиться с вооруженными разъяренными кнехтами, смиренно приютились во рву, под стенами замка, проклиная рыцарей, которых обвиняли в том, что они в пьяном виде, по неосторожности, положили начало этому страшному пожару.

К ночи весь город был объят пламенем. Огненный шквал метался по улицам, зажигая все, что способно было гореть. Параша видела бежавшую по площади перед замком собаку; все дороги ей были преграждены огнем. Сквозь огонь она бросилась к замку, но тут ее заколол копьём караульный у ворот. Видны были освещенные пожарищем хохочущие лица немцев-кнехтов.

На девушку напал ужас. Она стала изо всех сил барабанить в железные двери — на стук никто не отвечал.

. . . . .

Герасим, купавший в реке коней, увидел в Нарве огонь. Быстро оделся, собрал поводья у коней, вскочил на одного из них и помчался вверх по берегу в крепость. Думал известить о том воевод, но когда въехал на площадь, то увидел большую толпу, смотревшую в сторону Нарвы.

Андрейка товарищу обрадовался, встретил его радостным восклицанием:

— Пошла потеха из винного меха! Гляди! Допировались!

— Не миновать и пушкам пировать! — заметил Герасим, соскакивая с лошади; торопливо повел он коней в сарай, усмехнулся: «Обождите, расплатитесь вы у меня за Парашу!» Но, поставив коней на место, он вдруг задумался. Огонь не разбирает. Избави бог, Параша... В голове помутилось от страха и жалости.

На площади — столпотворение! В толпе посадских зевак сновали ратники с копьями. На них кричали сотские и десятские; горнисты пронзительно трубили сбор. Герасим увидел выехавших на конях из ворот монастыря всех воевод. Тут были и Куракин с Бутурлиным, и Данила Адашев, и Алексей Басманов, и другие воеводы.

Войско готовилось к бою. Андрейка убежал к своему наряду. Пушкари шумели поодаль на пригорке, спускали на канатах пушки под гору. Часть пушек готовили переправить на плотях на нарвский берег.

Нарва полыхала. В густоте дыма огненной бури то скрывался, то вновь появлялся темный каменный замок, впиваясь в Иван-город черными зловещими глазами башенных амбразур.

Посадские женщины Иван-города плакали, глядя на пожар. Монахи расхрабрились, нацепили на себя сабли: «латинскую ересь» собрались истреблять.

Генриетта, прижавшись к отцу, печальными глазами смотрела вдаль на пожар: «Сгорит все наше добро там!»

Андрейка возился около своих пушек. Ратники вместе с ним перетаскивали волконейки на бугор, повыше откоса. Отсюда было удобнее всего стрелять по городу.

Внизу, на реке, — суeta сует! Толкая друг друга, ратники с боевым азартом бросались в лодки, иные вплавь на досках, иные на снятых с петель воротах, а кто и вовсе поплыл через реку, как был, в одежде. Татарские всадники пустились вплавь на конях, поднимая над водой свои пики и луки.

К Андрейке подъехал Басманов, приказал ему открыть огонь.

Андрейке помогал Мелентий. Большого труда стоило установить пушку так, чтоб ядро, перелетев через реку, попало в пригород.

— Надо, чтоб стреляние с сего бугра было возвышенное, дугой. Коли мы так дуло опустим, то в ядре тягости более будет, — растолковывал он Мелентию. — По причине тягости той ядро на бегу не долетит, утонет в реке...

Приметливое ядро верхнего воздуха ищет. Дух у ядра сильнее, коли наверху. Ставь так, ставь! Гоже! К сильнейшему удару удобно... Засыпай порох! Клади поболее! Первое ядро изгоним, гляди, вон в то место; видишь? Где огня нет.

Андрейка поднес фитиль, запалил...

Взметнулось яркое пламя. Со свистом и воем тяжело полетело каменное ядро в город.

Андрейка согнулся, сложил ладонь трубочкой и стал присматриваться, куда упадет ядро. Вокруг пушки расплывались клубы дыма, пахло селитрой.

— Отчего у нас ядро свищет? Отвечай! — с хитрой улыбкой спросил Андрейка.

Мелентий не знал, что ответить.

— Оттого, братец мой, что сильный воздух и ветер. Ядерному бегу он противится; при многом стрельянии воздух разбалтывается, не таков густ будет... В те поры не станет ядра свищащего, но тихо оно полетит, и прилежнее на ядро смотреть. Ну, клади ядро огненно!. Проворь!

Мелентий вложил огненное ядро.

Андрейка погладил пушку.

— Остыла. Дорогая моя! Послужи нам честью! Ну, Мелентий! Валяй, сыпь порох! Еще прибавь. Подтяни рыло у пушки на два пальца... Буде!

Опять выстрел. Теперь по рву близ замка.

— Повтори-ка вдругорядь сам, один, а я пальну из той сиротинушки... Пали каменным ядром, а я—огненным...

Вышел приказ о непрестанном стрельянии. Пушкари весело засуетились и на стенах и на буграх Иван-города. Наряд, растянувшийся цепью вдоль берега, поднял такую пальбу, что даже церковный благовест заглушил. Земля дрожала от грохота выстрелов; голосов слышать было невозможно.

В день метали до трехсот медных, каменных и огненных ядер, иные весом в пятьдесят фунтов.

Обозники привезли из пушкарского сарая кадушку с конской мочой. Андрейка помочил прибитую к шесту тряпку в кадушке и смазал ею отдыхавшие орудия как в дуле, так и снаружи, чтобы охладить бронзу. Такое охлаждение, как объяснил Андрей зевавшим молодым ратникам, наилучшее, делающее пушку безопасной.



Перебравшиеся на ту сторону реки ратники дружно, плечом к плечу, навалились толпою на городские железные ворота и, продавив их, с гиканьем ринулись в город, сметая на бегу ошестинившихся копьями немцев.

Впереди всех бежал без шапки с обнаженным мечом Василий Грязной. Громким, боевым криком он подбадривал своих ратников. Сбитые с ног кнехты падали на землю, прося пощады; Грязной рубил врагов направо и налево. Рассвирепевшие воины разбили их наголову, а затем побежали дальше, туда, где еще не успел распространиться огонь. Герасим был недалеко от Грязного. Стрелы и пули свистели вокруг них.

Из бойниц замка началась непрерывная пальба по Иван-городу.

Переправились на пароме в Нарву и воеводы Адашев и Басманов. Они тотчас же послали в Иван-город гонцов, чтобы Куракин отрядил десяток «наипаче смысленных» пушкарей стрелять по замку из пушек, оставленных немцами на городских стенах Нарвы.

Андрей был послан в числе этих десяти.

С шутками и прибаутками они переплыли в лодке Нарову. Адашев и Басманов расставили их у орудий.

Андрейке досталась невиданная им ранее пушка из красной меди. Громадная «сидячая» пушка, а ядра в сорок восемь фунтов.

Подошедший к нему Басманов спросил:

— Справишься ли? Разумеешь ли?

— И толстота, и длина пристойные, и работа добрая...— осматривая орудие, говорил Андрей.— Испытаю с божьей помощью...

— То-то! Не посрами Москву. Наградим. Как прозванием?

— Андрейко Чохов...

— Ну, ну, послужи царю-батюшке!..

Андрейка протер дуло, засыпал десять фунтов пищального пороха, вложил ядро, помолился богу, чтоб не разорвало. А вдруг эту меру не выдержит? Однако долго раздумывать не приходилось. Быстро зажег фитиль и приложил его к запальной дыре.

От сильного толчка дрогнули камни под ногами; густые клубы дыма поплыли над рекой. Что-то горячее ожгло лицо: «мать честная!» Пушкарь затрясся, еле-еле устоял на ногах. «Вот-те и на! Что такое?! Много пороха

засыпал — великое насилие пушка претерпела». Андрей вспомнил, что пушки чаще всего разрывает в высоких выстрелах. Он немного снизил дуло, почесываясь с недоумением и покачивая головой.

После первого выстрела тщательно обтер пушку. Со всех сторон ее осмотрел: «Не дай бог пропадет такая красавица!» Немного подождав, пока пушка остынет, ласково погладил ее, зарядил по-новому — вложил поменьше пороха. Выстрел получился чище.

Сквозь дым и огни пожарищ он ясно увидел, как от его ядра посыпались кирпичи из стены замка. Сердце возрадовалось у парня.

В Нарве темные, закопченные люди тушили пожар, ратники коньями раскидывали по земле горящие бревна и доски. Им помогали жители Нарвы.

Замок, со всех сторон окруженный пожарами, с диким, отчаянным ревом выплевывал из бойниц огонь и железо. Громадные ворота его, украшенные бронзовыми щитами, казались неприступными; мост через ров был поднят.

Тучи стрел золотистыми змейками мелькали в огне пожарища, осыпая Иван-город. Одна стрела слегка задела Андрейку.

Иногда вылетали ядра с вершины крестной башни «Длинный Герман».

В свирепом реве огненной стихии слышались человеческие вопли, вой псов, резкие стоны рожков.

Андрей снова зарядил пушку, направив теперь дуло орудия на железные ворота замка, около которых толпились с самопалами ландскнехты... Андрей, казалось, сам слился с медью пушки, застыл, затаив дыхание. «Матушка, выручай!» Вот... вот... «Господи благослови!» Зачадил фитиль...

Страшный грохот потряс воздух — ядро пробило ворота; немцы полетели в ров; туча пыли и дыма расплывалась вокруг замка...

Андрей, красный, взволнованный, сиял от счастья; к воротам, перебрасывая через ров бревна и доски, устремились русские, завязался бой, жестокий, упорный.

## XII

Земля жгла ноги. Дышать становилось невозможно. Огонь ревел, метался под порывами ветра. Около головы взвизгивали стрелы, так и жди — ужалит!

— Пылко! Несусветимо пылко! Ух! — невольно воскликнул Герасим, когда толпа ратников, предводимая Грязным, очутилась среди огня, спасая обывательское добро и товары на площадях и в нетронутых пожаром амбарах.

Полотно, бочки с воском и жиром, груды железа сваливали кучами в огородах и садах. Отсюда ратники, не страшась вражеских стрел, сносили добычу на берег.

Роясь в посадском добре, Герасим и Кречет подшучивали друг над другом. Герасим нашел среди рухляди какую-то шляпу с косматым пером и подарил Кречету. Тот надел ее вместо шлема и стал похож на домового. А Васятка подарил Герасиму слитое из олова чудовище с длинным носом, закрученным трубою в кольцо, и двумя рогами там, где должен быть рот. Толстое, большое чудовище на четырех ногах. Герасим решил, что это ливонский бог, и сначала плюнул в него, а потом бросил в огонь.

Татарские наездники спешили и, грузно переваливаясь в своих мягких сапогах, таскали на спинах седла, конскую сбрую; попадая под обстрел, ползком подбирались к берегу, где ожидали их кони и товарищи в челноках.

Герасим и Кречет стали искать убежища от огня. Зипуны их так нагрелись, того и гляди вспыхнут. Иван-город осыпал Нарву каменными ядрами, и они шлепались в пожарище, поднимая столбы искр.

— Ух, жарко! Родимые! Не задохнуться бы!

— Терпи, голова, воеводой будешь!..

— Хушь бы до того чертушки добраться...

Герасим указал рукой на большой каменный дом с башнями.

По земле ползали синие огоньки, кусали ноги. Едкий дым исходил из тлеющих лоскутьев одежды, белья, разметанных в огне копьями и ветром. Перепрыгивая через горящие балки, ратники добрались до этого дома. Вбежали в распахнутую настежь дверь, поднялись по лестнице. Испуганная кошка ткнулась прямо в ноги, струхнул Герасим: думал — оборотень! Ругнулся, перекрестился. В окнах отсвет пожарища; в комнатах, как днем. Наверху, в большом зале, нашли спрятавшуюся в угол какую-то женщину; стоит, дрожит, лепечет непонятное. Кречет шепнул Герасиму:

— Давай пытаться? — И, обратившись к пленнице, усмехнулся: — У, ты, ягодка!

Герасим вспомнил о Параше, ему стало противно слушать прибаутки Кречета. Он пошел прочь. Позади послышался женский визг. Крикнул Герасим со злом: «Васятко!» Никто не ответил. Герасим плюнул, выбил окно, стал смотреть в сторону замка и увидел там среди огня у разбитых ворот человека с развеваемой ветром белою хоругвью. — Не привиденье ли?! Чур-чур меня! Что за чудо?

. . . . .

В замке переполох.

Из Иван-города смело пришел «изменник-перебежчик» Бертольд Вестерман. Окружившей его возмущенной его появлением толпе рыцарей он сказал:

— Меня послали русские воеводы. Они предлагают вам сдать замок и обещают выпустить фогта с его слугами и лошадьми и всех ландскнехтов с их женами, с детьми и с имуществом; а кто пожелает остаться на своих местах, тому царь обещает построить из своей казны дома лучше тех, что у них сгорели.

Рыцари ответили:

— Не бывать этому! Воеводы поступают несправедливо. Перемирие заключено, и послы наши в Москве, а они напали на нас, пользуясь случившеюся с нами бедою. Как мог ты передаться на сторону царя? Разве ты не немец?

Вестерман ушел из замка.

Перед ним снова спустили уцелевший мост через ров. Благополучно возвратился он в Иван-город.

Генриетта сидела на берегу и, дрожа от страха, поджидала отца. Вместе с ним она пошла к воеводам. Куракин обнял и поцеловал Вестермана.

— Спасибо, друже! Царь одарит тебя за верность. Однако иди снова к ним... Чего они там юлят, как гостя Федосья! Скажи им,— бог покарал их, а не мы, за их грехи! Пускай принимают, пока им дают, помилованье, а то, коли не примут теперь, то в другое время оно им не дастся.

Генриетта залилась горячими слезами, вцепилась в отца, не пускает. Вестерман нахмурился, закусил губу.

— Коль боишься, так не ходи, иного пошлем...— сказал Куракин.— Есть у нас нарвские немцы, что заодно с нами. Сговоримся с ними.

Вестерман, освободившись из объятий дочери, хмуро покачал головой:

— Не было случая, чтоб Бертольд Вестерман чего-либо боялся... Напрасно так говоришь, воевода... Пойду я.

Он тихо сказал Генриетте что-то по-немецки. Она вытерла слезы, пошла провожать его до лодки.

Над Нарвою расплзлось великое зарево. Казалось, само небо горит. Ветер приносил с того берега зной, удушливый запах гари и рев огня.

Туда, в этот ад, надев кольчугу и железный шлем, смело, с достоинством снова отправился Бертольд Вестерман. Ратники, следя за ним, удивлялись:

— Вот так храбрец! Смело правды добывается.

Через голову Вестермана летели ядра и стрелы как с той, так и с другой стороны. Но ни Бертольд, ни его дочь не замечали этого. Генриетта помогла отцу сесть в лодку. Гребцами были бородатые даточные люди. Они успокаивали плакавшую на берегу дочь Вестермана:

— Ладно, девка, ничаво!.. Бог не выдаст, свивья не съест. Стреле места хватит и без нас. Гляди, что простору!

Переплывая через реку, Вестерман почувствовал, как по его племю скользнула стрела. Немец настойчиво преодолевал все препятствия по пути к замку. Опять поднял хоругвь. Заскрипели цепи, мост медленно опустился; в пролете ворот его с нетерпением ожидала толпа рыцарей и горожан.

Вестерман в точности передал все сказанное воеводой.

Молча выслушали его рыцари. Вестерман не заметил в них прежней заносчивости. Командор обороны замка и нарвский предикант<sup>1</sup> Зунен вежливо попросили передать воеводе, что им нужно время до утра, подумать.

Вдруг вбежала стража, спустившаяся с «Длинного Германа», и крикнула:

— Наши рыцари идут!

Переговоры с Вестерманом были тут же прерваны. Радостно оживился замок. Вслед Вестерману раздались крики: «Изменник! Смерть тебе! Будь проклят!»

С холодной улыбкой он выслушал оскорбления.

Опять вернулся он в Иван-город. Генриетта крепко обняла отца.

— Теперь уж я тебя никуда не пушу! Если тебя убьют, что буду я делать?.. Матери у меня нет, ты один у меня остался.

---

<sup>1</sup> Глава нарвского духовенства.

Причитанья дочери больно было слушать Бертольду. Он сказал:

— Наш кровожадный фогт губит немцев. Бертольд Вестерман на полдороге не останавливается. Если мне придется идти в замок еще и еще раз — я пойду. Горожан надо спасти от гибели. Они наши с тобой братья. Коли что случится со мной, бог тебя не оставит, но я пойду. Никто не может меня теперь остановить.

Рыцари вновь стали просить об отсрочке ответа, о чем Вестерман и доложил Куракину.

Генриетта знала, что это так, что это правда.

Воеводы и слышать не хотели об отсрочке. Они тотчас же приказали пушкарям и пищальникам усилить огонь по Нарве. Грохот и свист поднялись с еще более страшной силой. Пороховой дым застилал окрестности густыми сизыми облаками. Гневное лицо Куракина стало страшным. Глаза свирепо блестя, седые брови сдвинулись, рука судорожно сжимала рукоять меча.

— Ступай, храбрый Бертольд,—сказал он охрипшим от ярости голосом,—уведомь в последний раз ливонских мухоморов,—мы не дадим им ни единой минуты роздыха; пускай не ждут, когда мы подомнем под себя их замок. Горе тогда будет твоим немцам! Скажи и посадским в замке, чтоб не надеялись на рыцарей... Между ними и нарвскими горожанами русская сила стоит... Никакие защитники к ним не подойдут на помощь, а то, что сторожа увидели с «Длинного Германа», объяви им: это наши московские воины... идут нам в подмогу. Рыцарям мало будет пользы от того.

Ни слезы, ни мольбы дочери не могли помешать Вестерману снова переправиться через реку и снова под огнем обоих противников пробраться к замку.

— Жаль немцев!—бормотал он про себя в страшном волнении.

Повторилось то же, что и в предыдущий раз. Рыцари упрямо твердили:

— Попроси воевод хоть немного дать нам отдыха — мы сейчас придем гонца. У нас будет совет.

Вестерман в третий раз благополучно вернулся в Ивангород. Все воеводы по очереди обняли и облобызали его, пообещав о его подвиге донести дарю. Воины принесли ему из монастыря меду, и вместе с ним воеводы выпили по чарке вина за его здоровье.

Бертольд сказал:

— Лучшей наградой будет мне, если вы казните нашего безумного фогта, и война кончится, немцы снова начнут заниматься мирною торговлею с Москвой. И я бы хотел сходить в замок и в четвертый раз, чтобы образумить рыцарство. Я не хочу гибели моих братьев, не хочу, чтобы понапрасну проливалась немецкая кровь! И что нам делить с русскими?

Воеводы развели руками от удивления.

— Твоя воля, добрый человек!— сказали они.— Неволя храбреца—грех, останавливать еще грешнее, но только не образумить тебе рыцарей. Наш меч их образумит, а ты нам пригодишься.

Генриетта устала уговаривать отца. Она безмолвно проводила его до лодки и, рискуя быть раненой, осталась на берегу ждать.

Осажденные устроили в «звездной палате» замка совет.

— У нас мало запасов,— раздалось в ответ на призыв Вестермана.— Немного ржаной муки, сала и масла да бочки три пива. А пороху так мало, что если хорошенько пострелять, через час—другой так и ничего не останется. Вдобавок в замке теснота от народа, множество бедных горожан укрывается во рву, они отданы на произвол судьбы. Московиты уже овладели городом. Теперь будут добывать замок, а из своей крепости они палат безустали. На орденских братьев надежда плоха. Какая польза будет всему краю, когда мы станем защищать замок? Защитить мы его не сможем, а только пропадем все.

Одетый в бархатное платье, юркий брифмаршалок<sup>1</sup>, с гусиным пером за ухом, спросил:

— А кто же поручится, что мы останемся целы, если сдадимся? Русские не сдержат обещания и всех нас перебьют.

— Если же наша такая судьба,— что поделаешь!— вздохнул проповедник Зунен.— Помолится богу! Уж если гибнуть, то лучше гибнуть в поле, чем в замке.

Одна из женщин громко заплакала. Ее вывели. Рыцари погрузились в глубокое раздумье. Пустые залы замка глухо гудели от пушечной пальбы.

Фогт, казалось, еще более постарел в эти страшные для Нарвы дни.

---

<sup>1</sup> Чиновник по поручениям в орденском управлении.

Сутулясь, перебирая трясущимися от бессильной злобы руками какие-то бумаги на столе, он тихо говорил:

— Забыл нас магистр!.. Забыл!

Кто-то из рыцарей усмехнулся с горечью:

— Зато царь московский нас не забывает.

С башни «Длинный Герман» прибежали в великом ужасе стрелки:

— Погибли! Несчастные! Одну разорвало, другая сбита с лафета!.. Теперь... теперь... всего шесть пушек!..

Лица стрелков были черны от порохового дыма, одежда изорвана в клочья, руки в крови. Их было четверо, этих усталых, изморенных людей, напуганных разрывом пушки. Один из них, обессиленный, упал на скамью. Предиикант Зунен, обратив свой взор вверх, к куполу замка, рыдающим голосом воскликнул:

— Умоляем тебя, господи! Окажи нам новую милость! Мы теперь оплакиваем свое неразумие и страшимся твоей грозы! О, не посеки нас, но подожди еще мало,— может быть, наше сердце исправится и принесет тебе добрый плод!

Рыцари поднялись со своих мест с печально наклоненными головами и, держа обнаженные шпаги крестом рукояти на груди, в глубоком молчании слушали молитву предииканта.

Когда же он кончил, опять все усаелись за стол.

Бледные, в полуизмятых, потускневших от огня латах, они растерянно переглядывались: что делать? Фогт сумрачно вертел в руках маленький кинжал. Рядом с ним предиикант Зунен чертил гусиным пером крестики на обрывке пергамента. Бюргмейстер Герман Цу-дер-Мулен закрыл глаза, поглаживая свою остроконечную бородку.

В открытое окно долетали дикие вопли оставленных за стенами замка обывателей, рев пламени, разрыв огненных ядер, все нарастающий грохот ивангородских пушек.

Пропитанный порохом и гарью воздух ел глаза.

— Спасенья нет!..— сказал упавшим голосом Зунен.

— Что же делать?— тихо спросил фогт.

— Покориться!..— обронил кто-то в углу слово.

— Никогда!— вдруг в бешенстве ударил кулаком по столу фогт.

В это время внизу затрубили горнисты.

Все встрепетулились. Кто-то радостно воскликнул:

«Наши!» Побежали к выходу.



Дверь отворилась. На пороге стоял бледный, неподвижный, как изваянье, Вестерман.

— Там наши рыцари? Подкрепление?

Вестерман поднял руку вверх:

— Стойте! Это не ваши, а русские! Они перебьют всех вас! Горе вам! Вы не знаете русских!

Рыцари остоленели:

— Московиты?!

— Подкрепление воеводам. Я жду ответа. Я думаю, что вы найдете в себе достаточно рассудка и сострадания к несчастным братьям своим, брошенным вами за стенами замка, чтобы сложить оружие.

Фогт, бледный, задыхаясь от волнения, произнес:

— Мы хотим, чтоб нас не побили, если мы сдадимся...

— За это ручаюсь,— спокойно ответил Вестерман.— Вышлите для переговоров двух рыцарей и двух бюргеров. Один из воевод выйдет к воротам...

Пошел сам фогт.

Свидание ивангородских парламентаров во главе с Данилой Адашевым происходило в галерее колленбаховского дома.

Стрельба из Иван-города не только не прекращалась, но все усиливалась.

— Почему же ваши стреляют?—спросил фогт.

— Иван-город будет стрелять, пока не дадите согласия о сдаче,—ответил Адашев.

На этом свидании договорились:

«...все кнехты выйдут свободно, с имуществом и оружием. Пушки должны остаться в замке. Всем жителям дозволяется выйти из замка с семьями беспрепятственно, если хотят, из города, но без имущества. Имущество будет оставлено тем, кои станут бить государю челом. Русские будут провожать вышедших, чтобы своевольные толпы из московского войска на них не напали».

Поздно ночью закончились переговоры.

Данила Адашев приказал принести икону.

Монахи через реку в лодке доставили ее.

Данила поцеловал ее на глазах у фогта и сопровождавших его рыцарей, поклявшись сдержать свое слово. Он сказал, что никого не пустит из города, пока не выйдут все обитатели замка. Воевода и рыцари обменялись двумя заложниками.

В полночь завывли трубы, забили барабаны, на шииле «Длинного Германа» взвился белый флаг.

Стрельба прекратилась.

С визгом и лязганьем опустился цепной мост, распахнулись ворота замка.

Согнувшись под тяжестью своего скарба, потянулись из замка горожане, беременные женщины, матери с детьми, хозяйки с курами, поросятами, ягнятами, кошками. Некоторые мужчины везли на тележках больных, убогих. На лицах горожан были написаны страх и недоверие. С опаской поглядывали они на стоявших по сторонам московских воинов, которых рыцари изображали перед тем дикими чудовищами, зверями, такими же «злодеями», как их царь, «кровожадный варвар».

Воеводы Адашев и Басманов лично следили за тем, чтобы выходящим из крепости не было учинено никакого худа в нарушение воеводской присяги.

Рыцари тихо выезжали из ворот верхами, отдавая воеводам честь. За ними потянулись возки с их женами и наложницами, с детьми и скарбом.

До самого утра выходили осажденные из замка. Герасим все глаза проглядел, думая, не увидит ли Парашу.

. . . . .

Басманов послал ертоульных осматривать замок. Пошел и Герасим.

Множество дверей, железных и деревянных, под темными каменными сводами. Некоторые на запоре. В то время когда его товарищи отыскивали оружие и порох, Герасим обшаривал все уголки замка, стараясь найти Парашу. Он подходил к запертым дверям в длинных темных коридорах, неистово стучал в них, выкрикивая имя Парашы, но только гулкое эхо было ему ответом. Пахло мертвечиной. Нападало отчаяние. Неужели и ее убили, а может быть, увезли, и он не заметил этого, стоя у ворот?

Долго в одиночестве бродил по замку Герасим, бегал по лестницам, поднимался во все башни, вспугивая летучих мышей и крыс. Ратники, забрав с собою все, что можно было унести, давно ушли.

Он устал, измучился, потеряв всякую надежду найти Парашу. В изнеможении сел на скамью в темном подвале и задумался: «Неужели убита или сгилла в огне?»

Слезы подступили к горлу.

«Ахти мне, злосчастье, горе-горинское! Ино лучше мне лишиться житья того одинокого! Ино кинусь я в Нарову и утопну в ней!»

И вдруг Герасим услышал где-то поблизости, в под-земелье стон. Вскочил, прислушался и на носках, соблюдая крайнюю тишину, пустился на поиски.

С большим трудом в земляной стене нашел он дощатую дверь. Она не была заперта. Герасим толкнул ее. Дверь с треском распахнулась. В полумраке Герасим увидел лежащую на сенике женщину.

— Паранька!—крикнул Герасим.—Не ты ли?

Наклонившись, он разглядел бледное, худое лицо старухи.

— Добрый человек!.. Дай воды!.. Вон там кувшин!.. Умираю!..

Герасим подал кувшин. Старуха прильнула к нему и принялась жадно глотать воду. Герасим поддерживал кувшин.

— Спасибо!—тихо молвила она.

— Уж ты не русская ли?

— Русская, батюшка, русская... Ох!

— Да чем ты недужишь?

— Ой, спинушка! Мочи нет. А ты никак русский?

— Из Иван-города... воинский человек...

— О ком ты тужишь?

Герасим рассказал старухе про свое горе.

— Да неужели это ты и есть?—удивленно спросила она, слегка приподнявшись.

Мутными глазами смотрела она на него и причитывала: «Ой, какое горе!»

— Какое горе? Что ты?—испуганно схватил ее за руку Герасим.

— Как же не горе! Вон, видишь, вон, видишь, сеник. Вот там вчера и она была, а сегодня ее увезли... Завязали рот, скрутили руки и увезли... А уж как она кручинилась о тебе!

— Про кого ты?—удивленно спросил Герасим.

— Про нее же, про Парашу... Она мне поведала о своем женихе... Стало быть, ты и есть! А может, другой кто?

— Я!.. Я!—забормотал Герасим, думая: «не во сне ли это?»

Он еще раз переспросил старуху о том, откуда она знает Парашу... Не ошибается ли?

— Помилуй бог! А уж и добра она, и сердечна, таких я девушек и не видывала... Не любить ее не можно! Чадо милое, хоть ты и москвит, но ты не такой, как иные... Тот ты или не тот, пожалей старуху, не убивай!.. Что могла я, то делала ради нее!.. За это рыцари меня и бросили в подвал. Она поведала бы сама, да вот увезли ее...

— Куда увезли?!

— А бог знает куда! Будто бы в Тольсбург. Господин Коленбах фогтом в Тольсбурге.

— А как ее звали?

— Параша!.. Сказала я тебе!.. Ваша она, из Пскова. Герасим словно ума лишился. Рванул, бросился бежать из замка.

Когда воеводы осмотрели все казематы и тюрьму и увидели там трупы замученных рыцарями русских людей, они глубоко раскаялись в том, что так безнаказанно выпустили из города немецких солдат и правителей города.

Русские воины поклялись отомстить немцам за это.

— Пускай на вечные времена запомнят нас ливонские рыцари,—говорили они, готовясь к новым боям.



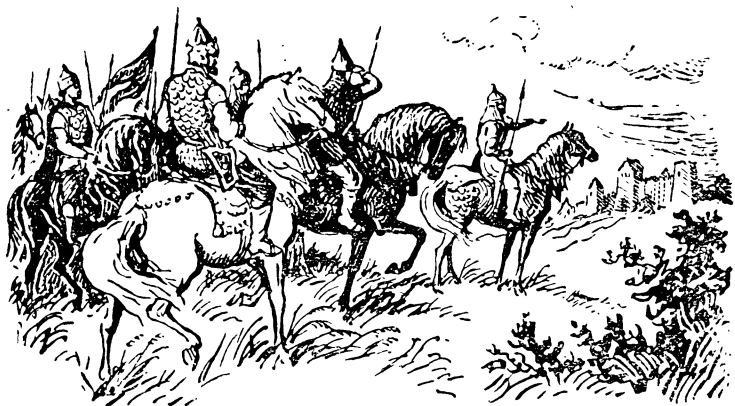




# **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**







# I



олько два дня после боев отдыхала Нарва. На третий окрестности ее огласились стуком топоров, мотыг, неистовым воем пил, криками и смехом рабочих. Бог весть каким чудом в две ночи сошлись сюда толпы мужиков.

Куда ни глянь, везде они: кто, стоя по пояс в воде, усердно забивает сваи в дно реки; кто, тужась изо всех сил, тащит вдоль берега заводи с лесом; кто без устали дробит камень; кто глину месит.

Длинные обозы с бревнами, со смоляными бочками, с железом беспрерывно тянутся к полуразрушенному огнем городу.

Через реку Нарову спешно перекинулся крепкий, широкий, с разводом для прохода судов мост, соединивший Иван-город с Нарвой.

Богатую добычу, множество всяких товаров, принад-



лежавших ревелским и ганзейским купцам, — сукон, полотен, воска и сала, большие запасы пороха и оружия сложили в помещении замка под охрану стрельцов.

Взялись всерьез за дело и корабельные мастера. А дело нелегкое — перестроить торговые морские суда на военные. По гавани шнырял в челне, бранился, кричал присланный из Москвы царем еще до взятия Нарвы боярский сын Шестунов, научившийся в заморских краях корабельному делу.

Эсты, охраняемые русскими ратниками, поспешили засеять поля. Басманов, во исполнение царского наказа, отпустил им из государевых амбаров зерно для посева, дал хлеба, нагнал в деревни быков и коней. Эсты благодарили Басманова и на эстонском языке, и на языке ливов, и по-русски, и по-литовски, — кто как мог. Всем хотелось от всей души выразить свою приязнь к русскому народу.

Нарвским жителям была дарована свободная, беспопыльная торговля по всему Российскому государству; не возбранялось свободно сноситься и с Германией. Город освобождался от обязательного постоя войск. Полки расположились вне города. Таков был наказ царя — всемерно оберегать покой и безопасность нарвских жителей; за все платить деньгами, ничего даром не брать, не чинить местному населению никакой «тесноты» и для «кормления по мужикам не бегать. Не обжираться, не опиваться и на одном месте не быти, но о ратной науке пещися...»

По царскому указу освободили всех пленников и вернули им имущество, а многим из них, перешедшим в русское подданство, стали строить новые дома, вместо сгоревших, за счет государственной казны.

Охотно шли в Нарву и Иван-город эсты, латыши и финны для работы в гавани. Ратники угощали их московской похлебкой, поили квасом, а по вечерам со вниманием слушали их сказки и песни. Один старик-финн с реденькой бородкой, безусый, принес с собой кантеле, сделанную из простого некрашеного дерева. Положив ее себе на колени, по финскому обычаю, он стал перебирать пальцами медные и железные струны, а потом под звуки кантеле спел грустную песнь про князей-немцев, убивших голубоглазую сиротку.

Спустя некоторое время, исполняя волю царя, воеводы повели войско сначала на юг, чтобы занять несколько замков в тылу у Нарвы и оттуда двинуться на север, к Балтийскому морю.

После недолгого весеннего дождя дороги порозовели, затейливыми коврами раскинулись по зеленым волнистой равнины.

Небо ясное — ни облачка! Герасим ехал впереди войска, в ертоульном полку. Уже с месяц, как он причислен к лучшим наездникам ертоула.

Конь под ним молодой, горячий — едва сдержишь. Сторожко косится он на соседних всадников, рвется все куда-то в сторону. Его тонкие красивые ноги, будто шелковыми повязками, окружены белыми пятнышками, и весь он, заботливо вымытый, вычищенный, сверкает на солнце своей золотисто-палевой шерстью.

Гедесон — самый близкий, верный друг его, Герасима. Он не раз спасал ему жизнь, вынося его через толпы врагов из опаснейших схваток.

Вот и теперь Герасим беседует с ним, как с человеком, делись своими мыслями о Нараше.

Герасим немного успокоился с выходом из Нарвы. Правда, найти свою невесту у него почти не осталось надежды, но в походе не так тяжело на душе, да и мелькает иногда мысль: «А может быть!» В замке Тольсбург живет тот лефляндец Колленбах, о ком говорила старуха. «Может быть!» Герасим решил, не глядя ни на какие опасности, первым ворваться в город — и прямо к замку Колленбаха. Он — форт, его нетрудно найти.

Приободрившись, Герасим с восхищением любовался весенним утром. Все располагало к мыслям о счастье, о богатстве, о боевой скитальческой жизни... Рождались надежды.

Желтые, красные, лиловые цветочки, только что распустившиеся, вытянув свои шейки-стебельки, выглядывали приветливо из зеленой муравы, окрошенные росой.

Вот он, Герасим, отрывается от своих товарищей и выхрем скачет вперед, вспугивая грачей и жаворонков. Ведь с каждым шагом Тольсбург все ближе и ближе!

И вдруг, осадив коня, тихо, про себя, запел грустную песню.

Всадники остались далеко позади. Он здесь один со своими мыслями, со своей горячей любовью к Нараше, только какой-то невидимый жаворонок сбоку по дороге сопутствует ему, напевая с такой настойчивостью и жаром, как будто силится утешить его, именно его, Герасима.

В Нарве Герасиму пришлось расстаться и с Андрейкой,

отправленным во Псков к воеводе Курбскому. Туда послали многих пушкарей; ушел туда же и Василий Кречет.

Мелентий остался в войске Куракина и Бутурлина, в той же пушкарской сотне. Он теперь стал ловким, смышленным пушкарем. Во время обстрела Нарвы бил без промаха. Сам князь Куракин залюбовался его работой.

Ертоульные замедлили ход, привстали на стременах.

— Гляньте-ка, братцы! — крикнул десятский. — Не крепость ли?

— Она и есть! — обрадовались всадники, весело гарцуя на конях.

По сигналу рожка ертоульный полк мигом рассыпался в разведку.

Герасим пустил коня рысью напрямик к крепости. По дороге он настиг какого-то человека с мешком за спиной. Преградил ему дорогу.

— Кто?

— Рыбак! — ответил путник по-русски.

— Куда?

— Домой!

— Где твой дом?

— В Нейшлосе. Да ты что на меня смотришь? Такой же я, как и ты, русский, православный. И дед мой, и отец испокон века жили в Сыренске. Немцы окрестили наш город Нейшлосом. Немало в этих местах православного люда. Рыцари разорили церкви наши, онемечивают нас.

— Идем к воеводе!

— Ну, што ж.

Герасим повел рыбака к воеводам. Они похвалили его за добычу такого хорошего «языка». Рыбак был человек разговорчивый. На его пожилом седоусом лице появилось выражение радости, когда он узнал, что московское войско идет воевать крепости и замки до самого моря.

Рыбак рассказал воеводам, что по дороге к морю войску встретятся два больших замка: Везенберг и Тольсбург. Бедняки не боятся Москвы, все ждут русских.

Герасим поскакал резвым галопом, догоняя своих товарищей. Они уже приближались к самому городу. Когда Герасим приблизился к городским стенам, в него полетели десятки стрел, но он успел увернуться от них и стать в безопасное место.

Войско Куракина и Бутурлина окружило город со всех сторон. Подкатили на лучной выстрел к его стенам осад-

ные башни, поставили гуляй-города, промеж башен и щитов разместили пушки. А тем временем отправили гонцов в Новгород, к наместнику Федору Ивановичу Троекурову, за подкреплением, так как для того, чтобы занять ливонские провинции до самого моря, войска, имевшегося у Куракина, было недостаточно.

Троекуров не заставил себя ждать. Он привез с собой много пушек и две сотни отборных стрелков. Начался штурм Нейшлоса.

Ливонцы пробовали обороняться, но из этого ничего не вышло.

Московское войско тесным кольцом окружало замок.

Скоро на шпиге замковой башни взвился белый флаг: нейшлосский фогт просил пощады.

В замок поскакали верхами двое дьяков в сопровождении татарских всадников, которых больше всего боялись ливонцы. Увидев их, рыцари опустили подъемный мост, отворили ворота и в молчаливой покорности, не дождавшись воевод, поспешно сложили к ногам московских послов свои знамена.

Дьяки, от имени воевод, потребовали, чтобы люди, не мешкая, выходили из замка, оставив там оружие и имущество.

Рыцари приняли эти условия, об одном только усердно просили: чтобы воинские люди не чинили им никакой обиды.

Дьяки ответили, что воеводы обещают никого не трогать и сами станут на защиту горожан, если бы кто вздумал их обидеть.

Фогт на белом коне, покрытом черной бархатной попоной, расшитой крестами, в латах, выехал из крепости впереди всех, хмурый, надменный. За ним — его помощники и городские власти, а затем густой суетливой толпой пошли горожане.

В лагерь приходили старшины эстов, прося принять их в русское подданство.

Воевода писал в Москву:

«Жители города били челом в холопство государю великому князю, а черные люди латыши, баты и чухим изю всего Сыренского уезду приложились государю и правду дали, что им быти неотступным от государя и до века, а уезда Сыренского вдоль 60 верст, а поперек инде 50 верст, инде 40, и Чудское озеро все стало в государеве

земле царя и великого князя и Нарова река от верха и до моря».

Оставив в Нейшлосе небольшой отряд для охраны военной добычи и для поддержания порядка, войско двинулось на север к замку Тольсбург, о котором теперь день и ночь только и думал Герасим.

Опять впереди поскакали отважные ортоульные всадники, а с ними вместе и Герасим.

Тюремный двор замка Тольсбург был окружен каменными стенами, заросшими по уступам кустарником и бурьяном. Громадные глыбы серых камней, позеленевших от мха и плесени, свидетельствовали о глубокой древности этих стен. К двухъярусному кирпичному строению тюрьмы с одной стороны примыкал тюремный двор.

Параша, закованная в цепи, целые дни, в ожидании дальнейшей своей участи, смотрела через решетчатое окно во двор. То, что она там видела, уже не пугало ее — слишком много страданий выпало на ее долю за это время и слишком много насмотрелась она и послушалась ужасов по дороге в замок Тольсбург. Она видела, как немцы сожгли на ее глазах одну эстонскую деревню за то, что крестьяне посмелись над бежавшими из Нарвы рыдарами и не скрыли своей радости, узнав, что к Тольсбургу идут русские. Немецкие солдаты перебили в этой деревушке почти всех мужчин и женщин, а детей побросали в огонь.

Параша помнит зверские пьяные рожи одуревших от злобы немцев, окровавленных, покрытых копотью пожарница. Злодеи окаливали свои волчьи зубы, посмеиваясь при виде страшных мучений, в которых корчились на земле изрешеченные немецкими копьями эсты.

Слуги Коллебаха, увозившие Парашу из Нарвы, вытолкнули ее из повозки и насильно заставили смотреть на их кровавые расправы. Она не могла сдержаться и принялась кричать на немцев, называя их супостатами, душегубами... В ответ на это немцы расхохотались страшным, зловещим хохотом...

— Ого! Ого! — выкрикивали они сквозь хохот. — Рус не любит огонь! Ему надо другой...

Они осыпали девушку грубыми, гадкими словами, а затем со всею силою опять втолкнули ее в повозку.

Теперь перед глазами Параши на тюремном дворе шло спешное приготовление к казням захваченных немцами эстов и русских, заподозренных в сочувствии войскам «московского варвара»; приготовления были крайне торопливые, беспокойные, так как в Тольсбурге стало известно, что приближается московское войско.

Сам Колленбах в белом плаще с черными крестами—одеяние тевтонских орденских рыцарей—следил за тем, как воздвигались виселицы и разводились огни в очагах. Он подходил к столбам, сам пробовал их устойчивость, с деловитым видом трогал петли у веревок; отходил немного в сторону и с видимым удовольствием любовался ловкостью палачей, готовивших приспособления для пыток и казней.

Палачи были в черных пышных рубахах с большими белыми крестами на груди и спине. Безбровые, безусые, заплывшие жиром, кривоногие, в обтянутых чулках, они вызывали у Параши ужас и отвращение. Их звериная расторопность и особая прилежность в подготовке к мучению людей были отвратительны. Иногда палачи озабоченно перебрасывались словами с Колленбахом. Он что-то вразумительно объяснял им, величественно жестикулируя.

Когда виселицы были установлены, очаги зажжены и пыточный инструмент, тщательно вычищенный, в порядке разложен был на круглых лотках, Колленбах вынул шпагу и, подняв ее, как крест, рукоятью вверх, прочитал молитву. Палачи многом стащили с головы свои черные высокие колпаки с изображением черепа, лежащего на скрещенных костях, и вдруг исчезли в воротах под тюрьмой. Оставшись один, Колленбах вновь с особой внимательностью осмотрел орудия пытки и, видимо оставшись доволен, с улыбкой отошел вновь на свое возвышенное, обложенное булыжником место.

Вскоре на тюремный двор под конвоем вооруженных рыцарей, одетых в такие же белые плащи с крестами, как и Колленбах, вышла пестрая толпа закованных в кандалы узников. Среди них были и женщины, и даже подростки—дети в бедной, изодранной крестьянской одежде; часть из них в лаптях, часть босые; лица у всех изможденные, в царапинах и синяках. Узники еле-еле перемещали ноги от изнеможения.

Явился пастор, держа в руке крест. Стал рядом с Колленбахом, обменявшись с ним несколькими словами.

Палачи вразвалку, лениво подошли к виселицам. Иные из них расположились у пылающих очагов, поглядывая с ехидной улыбкой на свои жертвы.

Параша видела, как рыцари силою поволокли двух отбивавшихся от них стариков; палачи вцепились в их седые бороды—стали помогать рыцарям. В толпе узников поднялся плач, крик, некоторые из них в панике бросились опять к воротам. Тогда немцы загородили им дорогу остриями копий.

Колленбах и пастор спокойно смотрели на происходившее вокруг них; торжествующая улыбка не сходила с лица Колленбаха.

Общими усилиями рыцари и палачи подняли стариков, с трудом накинули им на шею петли и разом отхлынули в стороны. Оба казенные повисли в воздухе, завертевшись на закрученной веревке.

Убедившись, что петли затянулись, палачи, под покрывание рыцарей, потащили за косы растерзанных, полубогаженных женщин к огню...

Параша отшатнулась, забилась в угол. Она слышала страшные вопли женщин, плач детей, дикий рев рыцарей и палачей; девушка заметалась по каземату. Цепи тянули, связывали, давили... Параша потеряла сознание.

Очнувшись, она увидела над собой желтое, с выпученными глазами, искаженное злобой лицо Колленбаха. За его спиной стояло несколько рыцарей. Их белые плащи с крестами были забрызганы кровью.

Колленбах с презрением громко проговорил что-то над лежавшей в углу Парашей, затем указал на нее рыцарям. Те быстро подхватили ее и потащили вниз.

Вывесли ее во двор, усыпанный изуродованными, обезглавленными трупами, залитый лужами крови... Палачи осторожно, стараясь не попасть в лужу, перешагивали через трупы, отталкивая и укладывая их в порядке к стенке.

Пастор подошел с крестом к Параше...

В это время во двор вбежало несколько ландскнехтов.

— Москва!.. Москва!..—задыхаясь от бега, кричали они.

Немцы засуетились. Первыми бросаясь бежать палачи, перепрыгивая мягко, по-волчьи, через трупы казенных; за ними, давя друг друга, ринулись рыцари, злобные, испуганные...

Колленбах велел снять кандалы с девушки. Ее подхватил один рослый рыцарь и понес вслед за Колленбахом.

На стенах крепости бегали растерявшиеся от страха начальники ландскнехтов. Иногда они останавливались, глядя в даль, где уже гарцевали всадники царского войска.

Колленбах, окруженный своими приближенными, проклиная ландскнехтов за то, что они не вышли навстречу русским и не задержали их, называл их трусами, предателями.

Командиры ландскнехтов грубо оправдывались, ссылаясь на свою малочисленность.

Воспользовавшись суматохой, пастор, заткнув полы черного плаща за пояс, торопливо забрался на лошадь с громадным узлом своего добра и опрометью поскакал из замка. За ним бросились и другие. Бюргеры спешно нагружали коней всяким скарбом и тоже старались один другого скорей удрать из замка.

Ертоульные стали преследовать убежавших немцев. Ландскнехты пробовали оказать сопротивление, но не могли устоять перед яростными палетами русской и татарской конницы. Десятки изрубленных русскими всадниками немцев усеяли дорогу от Тольбурга к лесу.

Герасим, увлекшийся преследованием конных рыцарей, был окружен четырьмя латниками. Завязалась борьба. Но подоспевший татарский наездник выручил Герасима. Вдвоем они сбили с коней закованных в железо немцев и поволокли их на арканах к городу.

В опустевший Тольбург вошел со своим войском Троекуров, суровый, беспощадный к врагам новгородский воевода.

Не успевших убежать из замка немцев он велел привести на тюремный двор, заставил их вырыть могилы для трупов казненных фогтом эстов и русских и похоронить их. Русский священник отслужил по убиенным панихиду.

После того Троекуров всех захваченных в Тольбурге ландскнехтов и рыцарей, пойманных ертоульными, приказал утопить в море.

— Не достойно нашу землю грязнить рыцарской дохлятиной, — хмуро произнес он.

Подошедшие к Тольбургу Куракин и Бутурлин одобрили действия Троекурова.

.....



В ночь на двадцать четвертое июня в священной роще близ замка Тольсбург эсты справляли праздник Лиго-Яна. Празднество справлялось тайно.

Высокого роста, с большой бородой, в железной зубчатой короне, жрец жалобно выкрикивал моления, а вокруг него, кланяясь, хороводом совершали шествие украшенные бусами и лентами девушки и юноши. Они размахивали полотенцами и платками, как бы разгоняя злых духов. Тут же, на костре жарился козел и варилось в чанах пиво.

В недавние времена с копьями и зубастыми псами нападали на молельщиков, немцы-католики, ранили людей, разгоняли по лесам. Теперь не меньше приходилось опасаться и немцев, ставших лютеранами. И те, и другие навязывали эстам силою свою язык и веру, что не мешало «христовым братьям» на глазах язычников убивать друг друга в спорах о боге. Вера рыцарей не могла казаться эстам справедливой. Слишком много крови пролили в былые времена ливонские рыцари, обращая эстов силою в католичество, а после не меньше было пролито крови при обращении католиков в лютеранство.

Накануне праздника Лиго-Яна из Риги пришло воззвание духовенства:

«Любезные эстонцы! Наш псаломник составляет великое богатство и драгоценное сокровище! Научайте и раздумляйте друг друга этими псалмами, хвалебными и духовными песнями! Приятно воспевайте господу в сердцах ваших!»

Эстонские старшины изорвали воззвание и проклинали того, кто написал его.

Воскресли теперь снова тяжелые воспоминания о том, как немецкие завоеватели в древности отняли у эстов землю, покой и свободу. Ведь даже и теперь без разрешения помещика, у которого живешь, нельзя вступать в брак, а за побег из поместья отсекают ногу. И недаром приезжие чужеземцы говорят, что «во всем мире, даже между язычниками и варварами, не встречается таких жестоких и бесчеловечных угнетателей, как лифляндские землевладельцы».

У архиепископа хватило совести рассылать лютеровы псаломники и называть эстов «любезными». Кто же ему поверит!

В этот год крестьяне ближних к Тольсбургу деревень тайно справляли свой старинный праздник с большей сме-

лостью, нежели в прошлый год. Их радовало, что рыцари терпят поражение от московских войск. Небывалое дело: многие мужчины взяли с собой в лес на моление луки, стрелы, дубины и сабли. На случай, если кто-либо из властей нападет на мольбище.

В то самое время, когда жрец поднял руки к небу, произнося заклинания «величайшему из богов» — Юмала, поблизости послышался конский топот.

Моление было приостановлено. Топот становился все ближе и ближе. Моельщики быстро попрятались за деревья и в кустарники.

На поляну выехало трое верховых, сопровождавших повозку, запряженную парой сильных коней.

Крестьяне узнали одного всадника — то был сам фогт фон Колленбах. Ясно, что «храбрец» бежит из замка, устремившись московского войска. Десятки стрел пущены в сторону всадников. Двое упали, фогту удалось ускользнуть с дороги в сторону города Ревеля.

Толпа поселян выбежала из засады и окружила повозку, в которой сидела связанная по рукам и ногам женщина. Рядом с ней старик.

Когда женщину развязали, она стала говорить что-то очень непонятное. Она плохо выговаривала немедкие слова, пересыпая их какими-то другими, чужеземными, словами. Все же в конце концов выяснилось, что она русская и что ее Колленбах держал в темнице.

Крестьяне дали ей отведать своего пива и отправили ее в ближнюю деревню.

Вскоре послышались совсем близко пушечные выстрелы. Эсты, насторожившись, прислушались. Казалось, сами листья на деревьях затрепетали, пришли в беспокойство.

Из уст в уста передавалось слово «Москва».

На измученном лице девушки появилась улыбка.

Раненых рыцарей подобрали и положили в повозку, которую и повернули обратно к Тольсбургу.

Море в лучах летнего солнца очаровало Герасима своим простором, ослепительным сверканием пенящихся волн.

С чувством победителя Герасим следил, как его Гедеон входит по песчаному дну в море, как волны бегут навстречу ему, как свертываются в клубок изумрудные гребни

на песке и, пенясь, убегают опять на простор. Тихий шелест волн навевал мысли о красоте и правде — и то и другое наполняет жизнь, но так же, как трудно поймать жар-птицу, так трудно на земле добиться и жизни прекрасной, правдивой... Одно радует, что когда-нибудь она будет, что можно поймать эту волшебную жар-птицу... Иначе зачем жить?

С громкими восклицаниями шумной толпой прискакали к морю ертоульные, объезжавшие окрестности замка Тольсбург.

От них Герасим узнал, что в замке Троекуров творит суд и расправу над захваченными в плен немцами. Другие воеводы устанавливают порядок в городе и замке.

Воеводы выслали к морю телегу с бочонком. Приказ: наполнить ее морской водой для отсылки в Москву, в подарок царю. Ратники и даточные люди с деловым видом старательно черпали ковшами вогу, войдя по пояс в море и передавая ковши от одного к другому.

— Буде! Полно! — крикнул стрелецкий сотник с телеги, заглядывая в бочонек.

Тут же плотники законопатили бочку, окутали ее кошмой и кожей, одели железными обручами и в сопровождении вооруженных стрельцов повезли в стап к воеводам. Пушечная стрельба в окрестностях стихла. На цитадели развевался русский флаг.

— Ого! — покосившись в сторону замка, усмехнулся один из воинов.

— Ждали дядю Макара, а пришел Спиридон.

— Ждала сова галку, а выждала палку... Тому так и быть должно. Немцы подмоги ждали, а подмога подмокла... И что это за люди, эти лыцари? Горды, задорны, а сами никуды! Чудно!

— И царство-то все их чудное — о семи дворах, восьми улиц, и все дворы в разные стороны глядят.

— На кой бес камня столь наложено, коли храбрецами себя почитают.

— Немец завсегда прятаться любит. Его такая доля — сидеть в сундуке.

Когда воеводы принимали поклон горожан Тольсбурга, к шатру подвезли бочку с морской водой.

Герасим побежал в замок. Ему указали дом фогта. Он обошел все комнаты, обшарил все уголки, но и здесь не нашел Параша.

Опять встретился ему в воротах замка тот самый рыбак, которого он водил к воеводам. Герасим спросил, не знает ли он чего о пленнице Колленбаха, о русской девушке.

Рыбак весело рассмеялся:

— У нас у каждого рыцаря по несколько ворованных девок... А у старого грешника, у Колленбаха, и вовсе... Так и гоняется за ними, словно кобель. Никакого удержу на него нет. Может, была у него и такая, да ведь от нас все это скрыто... У них напоказ только кресты, а худое бережется в тайне.

Так ничего и не узнал Герасим.

Вечерняя заря пришла тихая, величественная. Солнце садилось в море, большое, яркокрасное. Башни замка, освещенные лучами заката, казались раскаленными, огненными; на самом же деле там было сыро и прохладно.

Бродивший до самой ночи по замку Герасим озяб. Его начинало трясти не то от прохлады и сырости, не то от великой тоски.

На другой день часть русского войска двинулась назад, к югу от морского берега, к замку Везенберг, стоявшему недалеко от Тольсбурга.

Свирепый фогт фон Анстерит уполз из замка, словно таракан, в своей рыжей, крытой кожей повозке. За ним, напуганные баснями о жестокостях московитов, ушли почти все жители города. Замок Везенберг опустел. Когда убежавших обывателей спрашивали, куда они уходят, они отвечали: «В Германию!». Некоторые даже не побоялись угрожать, что-де за них заступится германский император «и отнимет опять у Москвы крепость». Ратники с удивлением слушали их речи.

— Набрехали вам ваши господа. Мы вовсе не кровавые. Мы и рыбу-то лишь два раза в неделю едим. Грех! Бог накажет!

.....

Утром к шатру воевод приблизилась толпа крестьян. Толмач перевел челобитье эстов. Они сказали, что с ними пришла русская девушка, отнятая ими в лесу у бежавших рыцарей.

Воеводы просили привести ее в лагерь.

— Она здесь! — низко поклонился старший эст.

Из толпы вышла Параша, бледная, еле державшаяся на ногах.

Крестьяне были обласканы воеводами. Куракин обещал приехать к ним в гости в деревню. Им выдали хлеба, мяса, зерна и вина.

Довольные встречей с воеводами, крестьяне пожаловались, что в Эстонии нет железа, чтобы делать топоры, крючья, косы, мечи. Воеводы велели дать крестьянам не только железо, но и оружие: бердыни, мечи, рога-тины.

Воеводы расспросили Парашу, как она пошла в Тольсбург. Девушка рассказала обо всем, что с ней было, показала свою спину, руки со следами плетей, полученных за то, что она не хотела изменить своей вере.

. . . . .

Герасим объезжал изморье, поглядывал, не проявятся ли неприятельские корабли вблизи лагеря. На побережье было тихо. Невольно залюбуешься восходом солнца, хотя на сердце тяжелый камень. Алые косы зари разметались над лесом, будя самые дорогие воспоминания.

Пустынно, только чайки, да недалеко от Герасима плещутся в воде с сетями рыбаки.

«Так и жизнь пройдет, а Параша мне не видать и не видать!»

Вдруг он услышал топот коня, оглянулся: бешено несется всадник. Уж не гонец ли от воеводы? Что ему?

В недоумении Герасим повернул навстречу ему коня, стал дожидаться.

Мелентий! Он весело размахивает плетью и что-то кричит. Все это удивило Герасима. Мелентий — пушкарь, и совсем ему незачем тут быть — в сторожке находятся только порубежники.

Вот он, совсем близко.

— Эй, рыбак! — кричит Мелентий. — Видать, ты так сафонец и умрешь! Так и будешь в воду на рыбы хвосты зенки таращить!

Остановился против Герасима, веселый, без шапки, весь растрепанный, босой.

— Эх ты, дурень, дурень! Таких пней на всем свете не сыщешь!

— Скажи, пошто пристаешь? Пошто глумишься?

— Любя тебя, дурень! Слушай, што ли!

— Отвяжись! Будто не знаешь? У меня горе.

Герасим махнул рукой и тихо поехал вдоль берега. Мелентий остался на месте, и вдруг до слуха Герасима допелось:

— Стало быть, ты не хочешь свою Параньку видеть?!

Герасим рванул коня, приблизился к товарищу и грозно сказал:

— Брось глумы! Бог спасет, иди своей дорогой!

Мелентий перекрестился.

— Крест целую—Паранька пришла!..

Герасим чуть не упал с коня. Закружилась голова, руки ослабли.

— В шатре девка у воевод... Айда! Выручай!

Мелентий рассказал, как крестьяне привели Парашу в лагерь и о чем с ней беседовали воеводы.

Лицо Герасима стало красным, в глазах появились слезы.

— Спасибо, друже!—Он приблизился к товарищу, склонился с коня, облобызал его.

— Чего же ты! Поедем...

— Нет, не дождавшись смены, нельзя. Крест на том целовал царю, чтоб служить правдою... Скажи девке: скоро будет смена...

— Давай-ка я за тебя постою тут...

— Не сбивай! Того и гляди сам собьешься!.. Уходи! Позавчера, знаешь, что было?

— Не ведаю.

— То-то, что не ведаешь. Хорошо тебе сидеть в крепости, а тут редкую ночь, редкий день, чтобы то с моря, то с дубрав на нас воровские люди не набегали.

— Магистерские?

— Не поймешь... Злющие... Видать, немцы. Ваську Щебета вчера убили. В море погребли мы его... Невзначай закололи копьем. Словно водяные—из моря вылезают... А здорова Паранька? Ты ее видел?

— Здоровая. Улыбается. Ну, стало быть, не пойдешь?

— Не! Останусь до смены...

Мелентий поскакал обратно в свой стан.

С завистью в глазах посмотрел ему вслед Герасим. Так бы и помчался вместе с ним. Да неужели и впрямь вернулся Параша? Но нет! Лучше не думать об этом.

Герасим подхлестнул коня, тихую рысцою поехал по песчаному берегу около самой воды... Морской простор,

синее небо, мысли о будущем — все слилось в ощущение счастья, любви, красоты жизни. Парень скинул шапку, перекрестился.

## II

Царь Иван радостно встретил гонцов, известивших его о взятии ливонских крепостей и о выходе войска к Балтийскому морю.

Он обнял и облобызал каждого из них, удостоив их двордовой трапезой, и одарил конями из своей конюшни.

Целый день он был сам не свой. Крупными шагами, заложив руки за спину, ходил в любимом татарском пологом халате по коридорам и палатам дворца. Иногда высказывал свои мысли вслух, останавливаясь, спохватившись, подозрительно оглядывался кругом.

Море! Каким недосягаемым казалось оно!

В полдень царь созвал ближних бояр, спросил: «Как мыслят о случившемся?» Бояре не могли ответить коротко и ясно. Для них все еще оставалось непонятным: зачем море? Они кланялись царю, крестились, а потом говорили пространно, путаясь в лстивых словах. Толкового ответа так и не добился от них Иван Васильевич.

Беспокойно прошла ночь. Не удалось заснуть; несколько раз он вставал с постели и, став на колени, молился.

Утром, когда сквозь тяжелые занавеси в царьцыню опочивальню пробились лучи рассвета, царь Иван раскинул на столе привезенную из Голландии большую карту. Склонился над ней.

Вот оно, маленькое черное пятнышко на краю большого продолговатого синего поля. Тольбург! Здесь в море кушают своих коней русские всадники! А вот Нарва, куда уже посланы корабельные мастера и размыслы-строители.

Волнение отразилось на лице царя. Что жизнь и смерть? Здесь небо небес, дорога дорог, бессмертные славы и силы!

В глазах царя Ивана синее поле растет, ширится, делается громадным, охватывает земли, дробит их... Трудно дышать, следя за этим. Вот оно — неведомое, загадочное море! И кажется, что повеяло прохладой от него, оно дышит, освежает душу... Но вдруг за спиной повисает тяжесть, она давит, неотразимо толкает вперед...

Царь выпрямляется, оглядывается назад. Со стены раскаленным, огненным полотнищем глядит на него другая карта. То родная, неохватная своя земля!

Очарованный взгляд Ивана прикован к ней.

Вот они — леса, поля, озера и дороги... Множество дорог, и все они тянутся к Москве... Есть ли город такой на Руси, что посмеет стать поперек Москве? Кто дерзнет оспаривать величие ее? «Третий Рим!» — так называет царь русскую столицу.

Указкой из чистого золота Иван Васильевич проводит черту от Москвы до Тольбурга... Вот берег моря! Здесь! Горделивая улыбка застывает на лице царя.

Анастасия не спит, она притворяется спящей, тайком наблюдая за царем. Снял с полки недавно подаренную ему гостем-англичанином модель корабля, наклонился над ней, задумался... Что-то шепчет про себя. Упрямые кольца волос спустились на широкий лоб. Откинув голову, он зачесывает их на затылок. Затем поднимается, снова ставит на полку «потешный» кораблик. Подходит к Анастасии, целует ее и шепчет:

— Спи спокойно!.. Господь за нас!

Горячие, влажные губы обжигают ее лицо, почти давят, слегка подстриженная бородка колет щеки, но царица терпит, продолжая притворяться. Помилуй бог, догадается, что за ним следят, подслушивают! Не любит он выказывать свои чувства перед другими. Многое таит и от нее, скрытничает...

Иван Васильевич взял кувшин с водою, жадно губам прильнул к нему.

Услыхав шум во дворе, быстро поставил кувшин на стол. Заглянул в окно. Стремленная стража сменяется. Спешилась. Железные шапки красковато блестят. Кафтаны опрятные. Конни вычищены, вымыты. Стрелецкий сотник бросает взгляд на окна царской опочивальни. Иван тихо смеется, пятится в глубь комнаты. Стража сменилась; все на конях. Конья вытянулись прямехонько.

Рука невольно простирается к окну. Иван благословляет стрельцов, любуясь своими отборными всадниками.

Ведь это его войско, ведь это он придумал красные кафтаны, оружие и боевое постоянство стрельцам.

Отойдя от окна, Иван склонился над колыбелью царевича Федора. Годовалый ребенок худ и бледен. Говорят, «с глазу». Анастасия велела перенести его колыбель к себе



в опочивальню. Мамки обвиняют в лихо́сти кое-кого из бояр, самых близких царю вельмож. Как этому верить? А не хотят ли враги очернить нужных людей? И то бывает!

Тяжелый вздох вырывается из груди царя: может статься, сами же мамки портят дитё, а сваливают на близких царю вельмож?

Гневаться нече не должно не токмо царю, но и царскому конюху. Ложный гнев губит правду, приносит вред царству.

В глубоком раздумьи Иван вновь подошел к развернутой на столе карте. Тянула к себе она вседневно, всечасно.

Согретая летним солнцем, в зелени рощ и садов, Москва ликовала. Будни обратились в праздник. Малайновым перезвоним заливались бесчисленные церковушки. Тяжелый, мерный благовест соборов звучал суровой торжественностью, медленно замирая в нешироких улочках.

По приказу царя пушкари училили с кремлевских стен великую пальбу. Ядра шлепались на незастроенных местах, в речейниках, по ту сторону Москвы-реки, дымились, вспугивая воронье.

На Ивановской площади сеньные девушки, дворцовые красавицы в цветных сарафанах, сыпали из берестяных лукошек зерно голубиным стаям. Пестрым живым ожерельем голуби опоясали карнизы колоколен и башен... Посылись в вышине, причудливо кувыркались в голубом просторе над широкими, заслонявшими друг друга бело-снежными махинами соборов и дворцов.

В Успенском соборе шел молебен. В самое дорогое, царское, осыпанное самоцветами облачение облеклось духовенство. Золотые чаши, подсвечники и иную роскошную утварь—все извлекли из митрополичьей ризницы.

Косые лучи солнца яркими полосками освещали сверху царское место. Царь стоял прямо, высоко подняв голову, внимательно вслушиваясь в слова митрополита. На стройной фигуре его красиво сидел расшитый серебром шелковый кафтан, слегка прикрытый длинной пурпуровой мантией. Голову украшал золотой осыпанный драгоценными камнями венец. Об этом венце иноземец Кобенцель, присутствовавший на молебне, шептал соседям, что по своей ценности он превосходит и диадему его святейше-

ства римского папы, и короны испанского и французского королей, и даже корону самого цесаря и короля венгерского и богемского, которые он видел. На плечи царя накинуты из одиннадцати крупных чистого золота блях бармы; на груди большой наперсный крест, сверкающий алмазами.

Солнечный свет, озаряя парчу, камни, серебро и золото, резал глаза искристыми бликами. Возвышенное царское место окружали ближние бояре, воеводы, стольники, большая толпа дворян и дворцовых слуг. Они украдкой косились в сторону царя. Его бесстрастное, подобное изваянию, лицо было загадочно, наводило бояр на грустные размышления.

По левую сторону, недалеко от царя, на таком же возвышенном месте, окруженная самыми красивыми боярышнями и дворянками, сидела в кресле бледная, с усталым лицом царица. Она строго осматривала толпу бояр.

В этот день повелел царь Иван открыть кабаки.

От начала войны был запрет на вино и наказ соблюдать «как бы великий пост», а «хмельных всех бросать в бражную тюрьму». И песни петь нельзя было. В этот же день все переменялось. До глубокой ночи бушевали хмельные гуляки на улицах, веселились парни и девки, кружась в вихре хороводов. Песни разливались по узеньким проулкам, рощам и садам. Караульные стрельцы и сторожа не ловили ночных гуляк и не избивали их посохами, как полагалось в повседневности. Ходить ночью можно было только с фонарями, а тут молодежь шмыгала под носом у сторожей без всяких фонарей, и кое-где в садах слышался грешный девичий визг.

В кремлевском дворце, в Большой палате, царь устроил пир. На убранных узорчатыми скатертями столах красовалось многое множество сосудов из чистого золота: миски, кувшины, соусники, кубки, сулеи. Часть из них украшена драгоценными самоцветами. Золотая посуда едва умещалась на столах. У стен стояли четыре шкафа с золотой и серебряной утварью. На самом виду двенадцать серебряных бочонков, окованных золотыми обручами.

Иван усадил рядом с собой Сильвестра, Адашева и гонцов, «заобычных людей низкого звания». По левую руку — своего любимца, англичанина, доктора физики Стандиша. Рядом со Стандишем сидели его товарищи англичане и другие иноземные гости.

На столе перед царем возвышался большой золотой кувшин с морской водой из-под Тольсбурга.

В самый разгар веселья Иван наполнил кубок морской водой: себе, Алексею Адашеву, Сильвестру и другим боярам «крымского толка».

— Выпьем за здоровье ратных людей, покоривших море!

Иван выпил первый залпом. С видом удовольствия обер шелковым платком усы и губы.

Осмотрел весело сощуренными глазами бояр и Сильвестра, нерешительно пригубивших кубки.

— Соленая? Щиплется? Ничего!

Сильвестр сморщился, надул щеки, не решаясь проглотить воду и боясь выплюнуть ее.

— Люблю друзей потчевать! Ни свейскому королю, ни датскому, ни польскому не дам я попить той водички, своим людям нужна. Гишпанский король и тот зарится на сию воду... Мало ему там своей воды! Жадны все, опричь нас!..

Иван с усмешкой оглядел придворных. Велел толмачам буквально перевести свои слова англичанам. Те выслушали, рассмеялись, приветливо закивали царю головами. Глаза его, казалось, стали еще острее, еще пронзительнее.

Обратившись к Сильвестру, он сказал:

— Ну-ка, отче, отпиши своим землячкам в Новоград: готовьте, мол, други, лес по царскому указу... Посуду морскую долбить будем да в море сталкивать!.. Да не мешкайте, дескать! Три десятка посудин должны спихнуть в воду и пушки на них поставить. Гляди, Шестунов уже и корабельное пристанище построил под Иван-городом. Пошли гонца к Шестунову, строил бы что надобно, не зевал бы!

И вдруг, обернувшись к Адашеву, произнес:

— Не кручинься, друже! Улыбнись! Иль ваша милость не в духе?

Адашев посмотрел в глаза царю смело, ответил без улыбки:

— Не неволь, государь! В своей правде хочу быть нелицеприятным.

— Кроткая песнь лебеда и та не может равняться с твоей смиренною речью. Испей до дна свой кубок!

Адашев выпил, не поморщившись.

— Добро, Алексей! Вижу твою правду. С такими слугами на Москве стану царем царей.

Ближние и всяких чинов люди с любопытством следили за беседою царя с Адашевым. Еще бы! Добрая половина их поднята в службе им, Адашевым,— «свои люди»!

Во хмелю царь становился все веселее и разговорчивее. Обернувшись к своим первым советникам, сказал он громко:

— Второзаконие гласит: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Посмотрите на Ливонию! Истинный государь не найдет там, с кем совета чинить. Каждый князек кичится знатностью, и никто не дорожит честью родины. Есть Ливония, но нет царствия! Нет хозяина! Попусту они тшятся склонить императора<sup>1</sup> на свою сторону... Лукавство рыцарей мне ведомо. Глушцы! Да кабы Фердинанд силу имел, он давно бы и Польшу и Москву съел! Есть ли завистливее рыцарей люди? Есть ли у славян более ненасытные похитители, нежели рыцари? Славяне не злопамятные, но достоинство свое блюли и блюсти будут.

Сильвестр оживился, лицо его повеселело, он, как бы продолжая речь царя, заискивающим голосом произнес:

— Существует ли в мире иная страна, государь, какая обладает таким счастьем, како наша? Справедливые законы и твоя, государь, власть спасают нас. «Ибо,— гласит Писание,— есть ли такой народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам господь бог наш, когда призовем его?»

Иван прикинулся непонимающим, покачал головой.

— Мудрено говоришь! Эх, кабы мне такую голову!— и указал на чарку.— Допей!.. Чем богат, тем и рад!

— Во здравие твое!— Сильвестр торопливо опорожнил кубок.

— Добро, отец!— приветливо кивнул ему Иван.— Немало проработали мы с тобой, а впереди и того труднее. Господь бог зато нас и царями сотворил, чтоб самыми трудными делами править. А ты вон вздыхаешь. Нам ли вздыхать?

Бояре переглянулись.

Царь продолжал:

---

<sup>1</sup> Германского.

— В единомыслии — сила, но все ли то разумеют? Страх и подневольное согласие вижу в глазах. Не сильно наше государство, хотя и берем крепости и города... Единомыслие нам пужно! Простой народ разумнее многих. Кто превыше раба добивается счастья? Междоусобная распря и честолюбие расслабляют властителей, затемняют разум. Кичливость вельмож не столь страшна государю, сколь всему царству.

Ближние бояре, внимательно слушая молодого царя, в раздумьи мяти свои липкие, влажные от вина бороды, не понимая и половины его слов. А главное, обидно, что поучения исходят от такого молодого, совсем молодого парня. Давно ли он бороду-то отрастил, давно ли молчал, был послушным да богу целые дни молился либо в озорстве время убивал? А ныне голос его тверд, глаз деловит, а в голосе густота, приличная наистарейшим.

Лицо Ивана покраснелось, непокорные кудри легли на лбу потными кольцами. Глаза смягчились, глядели просто, по-дружески.

— Что же молчите? Не для того сошлись.

Сильвестр задумчиво покачал головой:

— Государь! Кто не хочет счастья? Но сколь превратно и скоропеременчиво оно! Сколь сокроуен жребий человеческий от предусмотрения и познания самих человек! Сколь не испытаны судьбы всевышнего в счастии и злополучии не только смертных, но и самих царей! Одна минута времени сильна сделать великие в делах обороты, когда владыки земные со престолов своих в темницы или в гроб низвергаются. Как же и чем мы, смертные, дерзнем высьиться и превозноситься?

Говоря это, Сильвестр поднес руку царя к своим губам, намереваясь облобызать. Иван с сердцем отдернул ее.

— Недостойно видеть мне унижение столь мудрого учителя! Слушай, отец! Часто говоришь ты мне о смерти. Твои слова отвращают от жизни, но... прав ли ты? Цари должны управлять так, словно они будут жить вечно. Царь должен бояться смерти своего царства, чтоб того не случилось и после него! Не стоит жить, отец, тому, у кого нет истинного пути, нет друзей, идущих вместе с ним. А у меня друзей — целое царство!.. Не так ли?

Тут встал с своего места Адашев и, поклонившись царю, произнес горячо и порывисто:

— Прости, государь! Но многие, кои ныне кажутся друзьями, — лукавые ласкатели, и опасно надеяться на них.

Иван засмеялся, откинувшись на спинку кресла.

— Где мне спорить с вами! Вас много — я один... Не будем более говорить о том. Пейте! Веселитесь! Море наше! Гляди, и мы с тобой, Алешка, поплаваем там... Зависть у меня! Зависть к моим людям, — купаются, подлые, в балтийской водичке... Ливонскую пыль с лаптей, поди, смызгают. Лошади и теполощутся в море, а мы вот тут, в палате, полощемся в вине, да и сговориться никак не можем.

Царь громко расхохотался, взял бокал и выпил:

— За матушку Русь! Ну! Все! Все пейте! Уважьте царя!

. . . . .

Охима в эти дни нарвских празднеств ходила по базарам, смотрела на игрища скоморохов, медвежатников, любовалась полотнами, расшивками кизилбашскими, тканями турецкими, тафтяными, миткальными...

За ней увязался некий чернец, говорил слащавым голосом. Ей скучно было его слушать. Сравнивал ее, Охиму, с какой-то святой женщиной, которой бог простил все ее блудные дела. Теперь молятся ей и мужчины, и женщины, а когда-то считали ее погибшею, непотребной женкой. Бог милостив! Грехи прощает! Да кто без греха? Бог единый!

Глаза монаха играли похотливо. Охиме было противно это.

Около кремлевского рва на чернеца напали страшные косматые псы.

Охима убежала. «Хоть бы собаки его сожрали!»

У Покровского собора она остановилась.

Из Фроловских ворот выходили воинские люди. Охима залюбовалась статными, хорошо одетыми ратниками. Пришел на ум Андрейка. Она стала вглядываться в толпу воинов: нет ли, и в самом деле, Андрейки?

То, что она увидела, привело ее в трепет: среди воинов она увидела своего Алтыша. Что делать?

Она растерялась: идти или нет навстречу? Так долго не виделись, и теперь совсем не тянуло к нему.

Алтыш сам увидел ее.

Из его рассказа она узнала, что он прискакал из Нарвы с гонцами к царю, что был вчера во дворце, в одной палате с боярами. Алтыш говорил об этом с гордостью, опершись на рукоять сабли. Охиме было неинтересно, но она делала вид, что завидует Алтышу и радуется.

Охима узнала, что он завтра опять уедет в Нарву. Тут радость ее стала более естественной. Охиме так хотелось спросить об Андрее, но Алтыш не знает Андрея, Андрей не знает Алтыша. (И слава богу!)

Когда кончится война? Никто того не знает, но слышал он от людей, что война будет большая и долгая — прочие цари задумали напасть на русского государя, не хотят ему отдавать Ливонии, не хотят пускать к морю.

До самого вечера Алтыш бродил по московским улицам с Охимой. Она сказала ему, что на Печатный двор никого не пускают. А вечером сидели они в монастырском саду над Яузой и вспоминали Нижний, Волгу и Терюханскую землю близ Нижнего, где началась их любовь. Алтыш уверял Охиму, что он остался ей верен, что никто его никогда не соблазнит, потому что он любит ее, Охиму. Лучше ее никого нет на свете!

Девушке было тяжело слышать это. Лучше бы он этого не говорил! Она готова была расплакаться! Щеки ее от волнения пылали румянцем! Когда кончится война, — тянул свое Алтыш, — тогда они устроят веселую свадьбу, созовут всех своих родных и земляков, и будут все завидовать ему и Охиме...

А если найдется такой человек, который вздумает отнять у него Охиму или сказать ей о своей любви к ней, того человека Алтыш зарубит вот этой саблей... Будь то хоть сам царь!

В бледном освещении луны перед глазами Охимы сверкнуло лезвие. Плечи и спина Охимы похолодели от страха, она сидела, точно связанная, не находя сил пошевелиться.

Алтыш с любовью погладил саблю и похвалился, что она заморская, отбитая им в Ливонии; таких сабель ни у кого нет, только у него, у Алтыша Вешкотина. Немало уж порубил он врагов Москвы ею, с еще большим сердцем порубит он того, кто осмелится протянуть свои поганые лапы к его Охиме. Алтыш тяжело дышал, лицо его, освещенное луною, стало страшным, как будто он действительно видел, что кто-то хочет отнять его невесту.

Охима сделалось нехорошо. Дрожь прошла по всему телу. Ну, разве Андрейка будет так говорить? Он добрый, веселый, любит посмеяться, пошутить, а этот... Алтыш... «Чам-Пас, смягчи его сердце! Пускай он не убивает... Что плохого в том... Ах, Андрейка, Андрейка! Лучше бы прискакал ты!»

— Что же ты молчишь, Охима моя?

— Педужится мне, мой Алтыш! Холодно!

— Иди домой... Иди!.. Студено.

Он нежно обнял ее и поцеловал.

Проводил ее до самого Печатного двора.

На следующее утро они снова виделись, а в полдень Алтыш вместе с другими гонцами поскакал в Ливонию. У него был красивый вороной, как смоль, конь, подаренный ему царем, как и прочим гонцам, из царской конюшни.

Охима облегченно вздохнула, проводив Алтыша. Вернувшись в свою горницу, она сначала помолилась Чам-Пасу о здоровье Андрея и о том, чтобы он никогда не встречался с Алтышом, а потом помолилась о том же русской «матке Марии». Пускай Алтыш подольше не возвращается. А если и вернется — разве нельзя, чтобы они оба любили ее и чтобы жили дружно?

Охима казалось, что это вполне возможно.

На душе стало спокойнее после отъезда Алтыша.

### III

Андрей Михайлович Курбский, оставшийся после первого похода во Пскове, веселился, окруженный друзьями. Здесь были и съехавшиеся из ближних вотчин бояре и новгородские купцы.

В самый разгар веселья из Москвы прибыл к нему, по счету седьмой, указ царя о немедленном выезде к войску, стоявшему на рубеже Ливонии.

Прочитав указ, Курбский нахмурился. Он сказал своему самому близкому другу, князю Василию Серебряному, что никогда еще его так не оскорблял дарь Иван Васильевич, как теперь. Он, Курбский, считает себя несколько не ниже родом Петра Ивановича Шуйского, а тем паче князя Федора Ивановича Троекурова. Между тем дарь назначил их обоих большими воеводами, а его, князя Курбского, только воеводою в передовой полк. Но еще обиднее то,



что незнатного Данилу Адашева царь поставил рядом с ним, с князем Курбским, тоже воеводою во главе передового же полка, как равного, как человека княжеского, древнего рода. Не нарушение ли это всех древних русских обычаев?

Курбский велел удалить гусельников и домрачеев, остался в кругу близких людей.

— Не честит меня царь-государь, будто в опале я или в неправде. То поставил надо мной татарина Шиг-Алея, то Шуйского и Троекурова. Ну, добро бы одного Шуйского! Родовит и знатен князь, но Троекуров!.. Как можно мне идти с ним заодно? Посоветуйте, добрые бояре, что делать мне? Душа не лежит Ливонию воевать, душа не лежит свой род древнекняжеский позорить!

Колычев сказал:

— Вчера поутру видел я Шуйского. Ему тоже пришлось от царя пять грамот, чтобы шел он воевать Ливонию в больших воеводах, но и он с Троекуровым идти не хочет. И он считает его ниже себя родом. Да и о тебе он говорит, что-де не рука ему выше тебя стать, и будто писал он царю, чтоб наибольшим быть тебе, Андрей Михайлович, а не Троекурову и не ему.

Колычев чуть не до пояса поклонился Курбскому. Когда говорил, руки складывал на животе и часто, в каком-то испуге, моргал.

Курбскому, видимо, пришлось по душе, что Шуйский признает его княжескую сановитость, что считает его, потомка великих князей Ярославских, достойнее себя быть большим воеводою.

Он с улыбкой удовольствия слушал Колычева, искоса поглядывая на его пухлые руки с грязными ногтями.

Колычев продолжал:

— А Троекуров и совсем испугался.. Третий день вино пьет и мужиков порет. Одно твердит во хмелю: «Почему меня бог создал ниже, худороднее князя Андрея Михайловича? Хотел бы я с ним рядом в воеводах идти, а ныне как я пойду, коль вознесен не по чину? И глаза у меня ни на что не глядят!»

Курбский с большим вниманием выслушал эти слова Колычева. Когда тот кончил свою речь, он помолился на иконы, сказав во всеуслышание:

— Благодарю тебя, создатель мира сего, что окружил меня в походе честными воинами!.. Стало быть, тебе, спасе

наш, так угодно, чтобы я не явился ослушником государя моего, великого князя Ивана Васильевича, а чтоб служил ему правдою и ослабил свою гордыню.

И, обернувшись к Колычеву, он произнес:

— Вот что, светлая голова, порадей-ка мне, доброму товарищу твоему, уведоь-ка Шуйского Петра Иваныча да Троекурова Федора Иваныча, что, мол, шлю я, князь Курбский, им свой поклон и чтоб поторопились они со мною, да с Адашевым Данилой, да с воинниками нашими храбрыми подняться в новый, царем указанный, поход... Бьет челом-де вам сам князь Андрей Михайлович! Исполним и на этот раз волю нашего великого князя Ивана Васильевича!..

— Спаси Христос! — низко поклонился Курбскому Колычев и быстро вышел из горницы.

— Пусть будет по его цареву указу, друзья! — вздохнул Курбский. — Оттерпимся — и мы владыками станем. Иной раз оное и на пользу.

. . . . .

Опять зашевелились военные таборы во Пскове: деловито загудели боевые трубы, всполошились соборные колокола. Царское слово — закон! Московские всадники, стрельцы, копейщики, наряд и обозы тронулись в путь.

Шиг-Алея, Глинского и Данилу Романовича отозвали в Москву. Об этом много было разговоров. Ходил слух, что царь недоволен грабительскими налетами прежних воевод. Да в заморских странах худая молва пошла про русское воинство. Оставлять Шиг-Алея и его сподвижников нельзя стало. Так говорили. В угоду, мол, иноземным царствам то сделано.

Была жаркая, знойная погода.

В броне и кольчугах идти было не под силу. На ходу все это сбрасывалось на телеги. Уж лучше погибнуть от пули или от стрелы, нежели пасть от зноя и духоты.

Дымились торфяные болота, горели леса. Воздух пропитался едким дымом. Желтые, мутные тучи в безветренном воздухе заслоняли солнце. Темносерые пятна ожогов зияли на полях и лугах. Посевы погибли.

Мелкие ручьи и реки пересохли. Безводье стало бичом людей, скотины и растений.

Андрейка скинул с себя не только теплый стеганный тегилай, но и рубаху.

На обнаженной спине Чохова товарищи разглядели следы рубцов от батожья.

— Память о боярине Колычеве,—усмехнулся он, почесываясь,—да еще в Пушкарской слободе прибавили малость.

Головы повязали тряпками. Кони в мыле, хотя шли еле-еле. Пушки накалились — не дотронешься. Разговаривать не хочется. Голова, словно свинцовая, тяжелая! Клонит ко сну, но... желание сразиться с немцами превыше всего.

Степняки—татары и казаки—выглядят бодрее. Андрейка удивлялся им: джигитуют, смеются, весело болтают; на спинах стеганные ватные зипуны, а на головах меховые шапки. Терские горцы, в барсовых и овечьих шкурах, бодро поглядывают на всех черными любознательными глазами.

Иногда над наконечниками копий с глухим шелестом пролетали темные полчища саранчи, пугая коней, вызывая тошноту у людей. Всадники пробовали разгонять саранчу копьями, но это им не удавалось,—саранча наваливалась плотной массой, пригибая наконечники копий. Чудное дело! Никогда раньше в этих местах не видывали саранчи. Что-нибудь это означает. Не иначе, как некое предзнаменование.

Птица вся попряталась в лесах, в гнезда, в норы.

Войско изнывало от жажды.

На реке Великой, во время стоянки во Пскове, ратники наловили рыбы, которой в той реке неслыханное множество. Теперь, после ухи, нестерпимо мучила жажда, а воды не хватало. По дороге рек почти не встречалось. Да и дух пошел от бочек с рыбой тяжелый. Нечего делать, надо терпеть! На то и война!

Пешие воины еле передвигали ноги, словно кандалы на ногах десятипудовые. Однако никто не падал духом: там и тут раздавались шутки, прибаутки, смех.

Среди воевод и их помощников, тяжело покачиваясь на коне, ехал и Никита Борисыч Колычев. Волосы на голове слиплись, лицо блестело от пота. Хмуро поглядывал он на толпу ратников; не нравилось ему, что так много мужиков вокруг него, и что все они так дружны между собою, и что вооружены все они и идут, как равные, с боярами и дворянами...

— Вон он, мой бывший хозяин! — показал на него пальцем Андрейка.

— Эх его разнесло, голубчика! — засмеялся один молодой пушкарь.

Посыпались шутки и прибаутки. Колычев догадался, что ратники говорят про него, плюнул, отвернулся.

Василий Кречет, сутулясь, исподлобья глядел по сторонам. Он шагал рядом с телегой, на которой лежали волко-нейки. В последнее время он скучал, был недовольным и неразговорчивым. Куда девалась его веселость! Никакой корысти не получалось в походе. Он вслух на это ворчал.

— Негде душе разгуляться! — говорил он, мотая головой. — Один убыток! Зря Шиг-Алея убрали. Попировали бы мы с ним.

Ворчал, но от войска не отставал.

Андрейка спорил с ним, стыдил его:

— Не корысти ради, а чтоб землю оборонять пошли мы в поход; не свою, а государеву выгоду ратники соблюдают. Храбрый врагов побивает, а трус корысть подбирает, — так говорят старики. Так оно и есть. В поле — две воли; чья сильнее — вот о чем думай! Дурень!

— Войну гоже слышать, да худо видеть, — вздыхал Кречет.

— Эх, ты! Восвать бы тебе на печи с тараканами!

Кречет ничего не ответил, только стал еще более дичиться товарищей.

Андрейка смотрел с коня на его взмокшую от пота рубашку и на его уныло опущенную голову и думал: «Чего ради такие люди живут? Ноют они и хорошего нигде ничего не видят. В бою быть, так и вовсе не о чем тужить. Смешной! Хлеба не станет — песни запоем. Тяжело одно: ждать, коль врагов не видать».

Палимое солнцем войско двигалось на запад, по прямому пути к ливонскому замку Нейгаузен.

Бртоульные добыли в разных местах несколько десятков «языков», пригнали их к воеводам. Из расспросов выяснилось: к Нейгаузену движется три тысячи немецких всадинок и пехоты под начальством самого магистра Фюрстенберга, а расположилось оно, это войско, в двадцати пяти верстах северо-западнее Нейгаузена, близ городка Кирумиз.

В Нейгаузенской долине сама природа создала черту, отделявшую одно государство от другого. С русской стороны отлого спускались возвышенности псковские, с немецкой — ливонские бугры. Нейгаузен находился на возвышен-

ном месте, на высоком берегу реки Лелии. Сложенный из серых необтесанных каменных глыб, замок выглядел мрачной, дикой машиной. Казалось, в этой громадине, окруженной толстенной неуклюжей стеной с четырьмя такими же неправильно сложенными, угловатыми башнями, обитают не люди, а какие-то первобытные, волосатые великаны, которые вот-вот перешагнут через стены и задавят всякого, кто появится в этой безмолвной, пустынной долине.

С трех сторон замка — глубокие овраги, с четвертой — река Лелия.

А вдали, по левую сторону замка, — цепь Гангофских гор, и самая высокая вершина их, прозванная некогда русскими «Ййцо-гора». С ее вершины видны окрестности на сто верст, видны башни Печерского монастыря и даже водная ширь Псковского озера.

Всего пятнадцать верст пройдено от рубежа, а как все устали!

Трубы и рожки возвестили: «Готовься к бою!». Вот тебе и отдых!

Воины, разомлевшие от жары и переходов, снова облеклись в кольчуги и латы... надели накалившиеся от солнца шлемы и, набравшись сил, ускорили шаг, стали пристально всматриваться в сторону замка.

Только что вышли из леса и стали на виду у замка, как с городских стен посыпались вражеские пули и стрелы; началась жестокая пальба из пушек. Андрейка насилу сдержал испуганного неожиданной стрельбой коня.

— Ай ты, бирюк! Ровно змея ужалила! Что ты? Дурень! — дернул его за повод изо всей силы Андрейка, озабоченно оглядываясь на свои подводы с пушками.

Войско не останавливалось ни на минуту, невзирая на стрельбу немцев. Оно еще быстрее двинулось к городу, а ертоульные уже гарцевали под самыми стенами города.

Андрейка был уверен в непобедимости московского наряда. С насмешливой улыбкой он молвил: «Попусту лыцари шумят!»

Было у него три орудия с ядрами в пятьдесят два и пятьдесят пять фунтов. В других десятках было шесть орудий, из которых пускали ядра по двадцать, двадцать пять и тридцать фунтов. Много было орудий, стрелявших ядрами по шесть, семь и двенадцать фунтов. Но больше всего радовали Андрейку две пушки, из которых били

каменными массами весом в двести с лишним фунтов. При этих пушках везли около двух тысяч ядер, а при остальных орудиях по семьсот ядер. И это не все! Были еще пять пушек, а при них полторы тысячи ядер. Но и это еще не все! Сотни телег тянули еще шесть мортир, стрелявших огненными ядрами, которых было запасено две с половиною тысячи.

Можно ли бороться врагу с такою силою? Андрейка торжествовал. На его лице появилась озорноватая усмешка, когда остановились.

— Ну, войны! — крикнул он своим товарищам пушкарям. — Готовьте зелья больше! Без масла каша не вкусна.

По приказу воевод татарские, черкесские и казацкие всадники рассыпались по окрестностям Нейгаузена, чтоб оберегать войско от внезапных нападений со стороны. Лихо промчались они мимо Андрейки на своих низкорослых быстроногих конях, коричневые от загара, со сверкающими белками. Впереди всех скакал, размахивая саблей, Василий Грязной.

Кто-то в толпе запел, а все подхватили:

Что не пыль то ли в полечке запыляется,  
Не туман с неба поднимается, —  
Запыляется, занимается с моречка погодушка,  
Поднимаются с моря гуси серые, летят.  
Что летят-то, летят, расспросить лебедя хотят:  
— Где ты, лебедь, был, где ты, беленький, побывал?  
— Уж я был-то, побывал во всех нижних городах...

Голоса певцов, дружные, бодрые, оживили даже Василия Кречета, и он стал подпевать ратникам. Как же без песен? Русский человек никогда не воевал без песен, да и ничего без них не делал! А уж ратнику песня и вовсе — первейший друг.

Пушкарям хорошо было видно городские валы и рвы, за ними каменные стены, поросшие травой, а на них множество людей.

Солнце, громадное, красное, пряталось вдали за лесами. Жар свалил. Стало легче дышать, веселее — к делу ближе!

Войско расположилось на пушечный выстрел от городских стен. Со скрипом и шумом бревенчатые машины движущихся осадных башен окружали город. Каждую везли лошади, запряженные попарно шестерней. На место валившихся от пуль и стрел коней тут же быстро впря-

гали новых, на место убитых и раненых копейщиков и возниц тотчас же вылезали «из нутра» новые люди, втаскивая павших во внутреннее помещение башни и заменяя их.

Вышел приказ вдвинуть в прогалы между осадными башнями пушки.

Андрейка, соскочив с коня, горячо принялся за дело.

— Дай бог нам попировать!.. Веселей!.. Веселей!.. Семка! Гришка! Эй, парень! Вологда!.. Ну, ну, бери ядро!.. Тащи земли! Мало ее! Рой мечом! Глубже, глубже! Насыпай! Так! Подноси зелье! Готовься!.. Бога хвалим, Христа прославляем, врагов проклинаем! Эй, ребята, не зевай!.. Бей в стену, вон, где помелом машут!.. Туды их... мышь!

У самых ног Андрейки упала стрела.

— Ишь ты, дьявол! — нахмурился он. — Ну-ка за это я его!

Андрейка навел пушку на то самое место стены, откуда стреляли по его пушкарям. Заложил огненное ядро, приставил фитиль.

— Эй, лыцарь, закуси губу!.. Прикуси язычок! Хлоп!

Раздался выстрел. Андрейка пригнулся, сосредоточенно стал вглядываться вдаль. Ядро сбило верхушку стены, а вместе с ней посыпались вниз и ливонские стрелки, только что обстреливавшие пушкарей.

— Прощай, Агаша, изба—наша! — с торжествующей улыбкой осмотрел пушкарей Андрейка. — Стену на том месте надобно до подошвы пробить... Довольно ей на земле стоять. Ну-ка, Сема, валяй первый, потом Гришка, посла ты, друг Вологда! А уж за вами и я. Мне — что от вас останется. Я не жадный.

Вскоре пришел наказ воеводы сбить городскую башню, откуда особенно метко стреляла пушка, побившая многих ратников.

Андрейка с товарищами общими силами перетащили свой наряд на новое место. Быстро обосновалась Андрейкина десятня, и здесь, хотя неприятельские пушки и бросали ядра совсем рядом с московскими пушкарями, Андрейка даже похвалил ливонских стрелков: «Видать, тут народ знающий. Таких стоит и погладить!»

С этого дня началось состязание Андрейкиных пушек с ливонскими. Бороться с ними было трудно. Башня толстая, крепкая, и пушки и пушкари укрыты в бойницах, а Андрейка со своими товарищами как есть на виду —

в открытом поле. И притом — «сидячую» крепостную пушку не сравнить с полевой. Она больше и убойнее.

«Гуляй-города» и осадные махины кольцом обложили Нейгаузен. С каждым днем осады это кольцо все суживалось, и осадные башни двигались все ближе и ближе к стенам города.

Ливонские воины под рукою командора Ускиля фон Паденорма защищались с отчаянным упорством и храбростью. Их было мало, всего шестьсот человек, имевших оружие, но они отважно выходили из городских ворот и дрались насмерть.

Петр Иванович Шуйский и Федор Иванович Троекуров не находили слов для похвал командору и его воинам.

— Вот бы все были таковы,— говорил Шуйский, потирая руки.— Веселее бы нам воевать! Гляди! Гляди! Какие петухи!

Воеводы близко подъезжали на конях к крепости, любясь храбростью защитников Нейгаузена.

— Посмотрел бы на то Иван Васильевич,— сказал Шуйский с глазами, увлажненными слезой.— Он бы с великой похвалою отпустил Ускиля на волю. Наш народ честных воинов всегда уважал.

— И мы должны сделать то же,— произнес Троекуров.— Царь велел храбрых чествовать, трусов брать в полон.

Андрейка, не щадя своей жизни, храбро и безустали изо дня в день бил из пушек по упрямой башне. И очень сердился, что дело не подвигается вперед.

. . . . .

Следующая ночь была тихой. Накануне сильно утомились московские ратники. Ливонцы тоже приумолкли, — может быть, сберегая снаряды, может быть, выжидая, не уйдет ли московская рать дальше.

Из оврагов повеяло освежающей тело прохладой, сразу легче, бодрее стали чувствовать себя люди. Несмотря на усталость, многие из них уселись на траве около своих шалашей и стали мирно беседовать, вдыхая свежий воздух.

Ярко светили звезды.

Никита Борисыч подстерег и позвал к себе в шатер Грязного.



— Полно нам с тобой дичиться, Василь Григорыч!.. Где лад, там и клад и божья благодать,—приятельски похлопывая Грязного по плечу, сказал Колычев. Лицо его было приветливо.

На сундуке ярко горела толстая восковая свеча, красовался кувшин с вином, еда.

Грязной, тихий, почтительный, помолился на икону, низко поклонился боярину.

— Мир дому твоему! Да нешто я дичусь? Господь с тобой, боярин! Устал я. Рубился гораздо. Э-эх, жизнь, жизнь!

— Милости прошу, Вася! Уж и до чего глаза мне твои по душе! Тебе бы девицей надо быть, а не мужиком и не таким храбрецом. Ай, какие у тебя глаза! Огонь! Ей-богу, огонь! А какие кудри! А зубы! Зря ты в бою лезешь вперед. Такой молодец, как ты, тысячи иных молодцов стоит. А убьют тебя либо пулей, либо стрелой, тогда такого-то уж и не сыщешь.

Грязной сконфуженно потупил взгляд, усаживаясь на маленькую дорожную скамью у сундука.

— Таков я, добрый боярин, каковым меня матушка, царство ей небесное, родила, каковым господь-бог батюшка создал... Любо и мне, милостивый боярин, что ты не погнушался мной и как равный с равным беседуешь, одинаково.

— Не попусту тебя похваливал при боях батюшка-государь Иван Васильевич... Стоишь!.. Ты стоишь!..

— Служу ему, боярин Никита Борисыч, нелицеприятно, как верный слуга... Ино саблей, ино лётom, ино скоком, а ино и ползком.

Оба рассмеялись.

— Так-то оно и лучше, особливо ползком. Батюшка-царь такое любит...— сказал Колычев и тяжело вздохнул.— Кто ныне мал—завтра велик будет, а ныне велик—завтра мал будет. Видно, господом богом так установлено. Времецко все меняет, переменячивает.

Василий Грязной тоже вздохнул.

— Страшно из малых-то да в великие! Ой, страшно! Много дается, так много и спросится... Не задаром! Да и всегда ли счастлив малый, будучи возвеличен?

Никита Борисыч налил вина в две большие сулен.

— Ну-ка, выпьем во здравие отца нашего государя Ивана Васильевича!..

Выпив вино и обтирая платком усы и губы, Колычев вздохнул.

— Сочувствую. Коли плавать не горазд, как сунешься в воду, чтобы переплыть Волгу либо Оку? Реки большие, глубокие, надо одолеть. Так и всякая власть. Коль силы нет, коли нет большого понятия,— как ни возвышайся, все одно, при больших делах утопнешь. Ну-ка, выпьем еще, Василий Григорьевич, за победу над рыцарями! Чтоб нам завтра взять сей замок!

Грязной опорожнил сулею с явным удовольствием, даже причмокнул.

— Ого, Вася! Любо пьешь, скакунок, любо! За царевым столом многих осилил бы. Что за человек! И в бою храбр и в вине уместителен. Бог не обидел тебя талантом.

— Хотя и незнатный наш род, а питьем не обижены. На что и жить, коли не пить! — улыбнулся Грязной, перекрестив рот.

Колычев, разжевывая рыбу, усмехнулся.

— Не смей! С тобой тут подавишься еще! Ей-богу, подавишься. Будь я царем, первым бы вельможею тебя сделал. Бес с тобой! Будь ты тогда у меня первым! Наплевать! Все одно! Люблю я, Вася, таких вот, как ты, бедовых. Да что говорить, Иван Васильич достойных не обижает... найти умеет. Его не проведешь. Лестью не обманешь. Пей еще! Запасено у меня винца-леденца на всю войну.

Василий теперь уже сам осторожно налил вина из кувшина в обе сулен.

— Ласкатель — тот же злодей, — сказал он, подавая кубок боярину. — Подобно гаду под цветами, умыслы ласкателя укрываются под словами приятными, умильными. Далеко я от батюшки царя, родом не вышел, чтоб за одним столом с ним бражничать, а так думаю, что бог его охраняет от льстецов...

Колычев удивленно уперся в своего собеседника мутным взглядом. Его брови поднялись на лбу, как рога. В голове мелькнуло: «А сам-то ты кто?»

— Думаешь, охраняет? — тихо, глухим голосом спросил он.

— Охраняет! Никого мы не видим, чтоб его обманывали да лестью обволакивали. Честные, прямые люди около него. Вот бы хоть ты, боярин, — все бросил, ото всего отказался, а на войну пошел.

— М-да!.. Правильно говоришь! — задумчиво промычал Колычев, разглаживая бороду. — «Сукин сын, как врет, как врет!»

— А про Курбского князя, либо Адашева, либо отца Сильвестра скажу прямо: это первые люди, самым царем за дородство и за честь выдвинуты, и служат они царю нелицеприятно, по-божьи, как и всем служить надо.

Колычев недоумевал. Он ждал, что Грязной под хмельком будет порицать сторонников Сильвестра и Адашева, а он и пьяный их хвалит. «Стало быть, — решил про себя Никита Борисыч, — надо хулить их». И он, причмокнув, покачал головой:

— Хороши-то они хороши, советники государя, да тоже... как сказать, хотя бы и про отца Сильвестра — постригся кот, посхимился кот, а все — кот. И поп, как был попом, так им и остался... У него свой закон: по молебну и мзда. Возводит в сан и чины простым обычаем тех, кто ему угодлив да полезен. За что он тащит в великие люди Курлятева?! Скажи, Вася, токмо не криви душой. Смотри у меня! Говори прямо! Не люблю я лукавства! Сам честен и прям, так хотел бы, чтоб и люди все были такими же. О господи! Как душа истосковалась о правде!

Грязной опять взялся за кувшин. Налил. Перекрестился.

— Вот тебе, батюшка Никита Борисыч, крест! Когда же я кого обманывал? За прямоту, за совесть я и страдаю. Спроси мою жену, супругу мою верную. Лучше камень бы на шею я надел да в воду канул, нежели неправду сказывать либо обманывать кого.

Колычев замахал руками:

— Верю! И так верю! Не крестись! Жены нам не указ. Ты видел мою, когда был у нас? Видел?

— Плохо что-то помню. Да как можно нашему брату на боярынь глядеть? Не осмеливался я...

Колычев тяжело вздохнул, сумрачно склонившись над крепко сжатым в ладони кубком.

— М-да! Жена! Агриппинушка!.. Чай, с тоски обо мне там теперь высохла!.. Любит она меня, а уж как верна, предана мне! Если б не эта проклятая война, никогда бы я не покинул ее. Дитё ведь у нас должно родиться... Дитё! Чудак! Не понимаешь ты! О, скоро ль кончится сия проклятушая война!

— Да, от войны сей многие учинились несчастья! — пробормотал Грязной, задумчиво вздохнув. Вспомнил об Агриппине.

— Ой, не говори! — с досадою махнул рукой на него Колычев. — Не говори! Пагуба она для нас, для русских... И что вздумалось батюшке...

Колычев сильно закашлялся.

— Пагуба? Стало быть, Никита Борисыч, попусту государь воюет Ливонию? Не так ли? И я так думаю — успели бы...

— Успели бы, сынок!.. Отдохнуть бы надо. Пожить бы, повеселиться, а уж коли руки чешутся, колотить бы ногаев либо татар. Все бы легче было, чем с немцами! Бог с ними со всеми и рыцарями! Без них тошно жить на белом свете. А уж коли войны-то не было бы, раз-угостил бы я тебя в ту пору, как бы я тебя ублажил! Господи!

— Так-то. Стало быть, боярыня сынака должна тебе принести? — засмеялся Грязной, снова наливая вина. — В таком деле испить надобно чарочку за будущего сына... за отпрыска именитого колычевского рода!..

Василий поднял свою сулей. На лице его появилась какая-то страдальческая улыбка.

Колычев, чокаясь с ним, тихо произнес:

— Дочь ли, сын ли, за все приношу великое благодарение всевышнему!.. Не забыл он нас, милостивец!

Оба разом, с особым усердием, опорожнили свои сулей.

— А что война? — продолжал покрасневшийся от вина, сильно захмелевший Колычев. — Кому она в пользу? Кто ей радуется? Боярам мало корысти от нее...

— Но... царство? — робко вставил свое слово Грязной.

— А кто государство? Мы! — Колычев с гордостью ударил кулаком себя в грудь. — Мы — бояре, Боярская дума.. Худо, грешно о том забывать.

Грязной притих, наострив уши.

— А ныне, — тяжело вздохнул, помотав головою, Никита Борисыч, — видать, мы не нужны стали... Все делает сам государь... И жалует, и милует, и наказует, и войны, и всякие дела учиняет — все опричь нас... Раньше царские милости в боярское решето селились, теперь нет уж... Псаря своего может сделать стольником, а стольника псарем... И все без нашего ведома. Так-то не бывало раньше. Вот что, милый мой Василь Григорыч! Говорю

с тобою, как с другом!.. Дай облобызаю тебя... Уж больно ты занятен, леший тебя поberi! Орленок! Истинно орленок!

Колычев крепко сжал в своих объятиях Грязного. Тот покорно подчинился, сделал вид, что ему приятна ласка боярина.

— Говорю тебе, Вася, а сердце плачет... Убьют меня на войне, чую сам, а вотчину мою разорят, разграбят разбойники, мужики... Агриппинушку... Ой, лучше и не думать, что с нею учинят!.. Наливай, Вася, еще!.. Все одно. Грозен царь, да милостив бог! А уж как меня обидел царь!.. Господи!

Грязной сочувственно покачал головой.

Колычев уставился на него слезливыми, выпученными глазами...

— Клянись!.. Целуй мне крест, что никому про то не скажешь!

И он вынул из-за пазухи большой золотой крест и дал его поцеловать Грязному. Тот с великим усердием облобызал крест и поклялся держать слова боярина в тайне.

Колычев тут же рассказал Грязному о том, как над ним надругался царский шут, и о том, как его сам царь хотел пытать в подвале под своим дворцом.

Грязной, слушая, прослезился.

— Неужто сам царь?! Неужто у него под дворцом застенки? Да не может того быть!

— Верь мне, Вася! Ей-богу! Не лгу! Говорю, как перед богом. Изобидел меня Иван Васильевич!

Расстались поздно ночью, по-братски, долго обнимались и кланялись друг другу.

Но только что вышел Грязной на волю, как в шатер свалился, тоже слегка хмельной, друг Колычева, боярин Телятьев.

— Милый! Микитюшка! И ты не спишь?

— Где тут, Степа! Нешто уснешь... Всю душу развели царевы обиды... Брр-р! Зверь, а не царь! Васька Грязной, дворцовый прихлебатель, сегодня у меня был. Ну и сукин сын! Ну и сволочь!

— Микита! Родной! А я-то!.. А мне-то!.. Легко ли перенести мне обиду? Погляди на мою харю — словно сажу черт в кровь напустил. Какие пятна получились! И после этого царь меня же на простого мужика променял. Ты хоть за боярский круг снес обиду, что тайны боярской

не выдал, а я за что? Ведь и меня царь хотел убить... Спать я не могу, как вспомню то проклятое ядро, что царь-батюшка на верную погибель мне, боярину, зарядить в пушку велел... Нешто он не знал, что разорвет пушку? Знал. Заведомо велел зарядить, чтоб меня убило... А холопа деньгами одарил... За ребра бы его, на крюк нужно было вздернуть, сукина сына, а царь его ефимками наградил... А? Ну не обидно ли это? Князь Курбский за меня тогда заступился! Будто бы велел холопа выпороть...

Колычев, слушая друга, заснул. Голова его низко опустилась на грудь. Мясистые губы вылезли из-под усов; пьяный, дремотный шепот повис на них.

Телятьев, вытирая ладонью потное, слезливое лицо, продолжал:

— Чем мне успокоить душу свою? Убить того холопа, благо он здесь, в войске? Заколоть его невзначай, коли случай к тому явится? Помогите мне, господа, покарать раба злого, недоброго, яростию хищною увитого! Зачем ему после такого греха жить на белом свете? Уж лучше боярин пускай живет, нежели подобная тварь! Господа, услышавши молитву мою! Микита, да очнись! Доброе дело я задумал! Слушай! — дернув за рукав спящего Колычева, крикнул Телятьев. — Казнить я задумал того парня царю наперекор... Лучшего пушкаря его, им одаренного, в могилу свести... Микита!.. Вот-то будет дело... Убью пушкаря, ей-богу! Подкуплю бродяг... Слышь?! Пьяный осел! Проснись!

Но напрасно Телятьев дергал то за рукав, то за бороду своего приятеля, — не просыпался! Зато притаившийся около шатра Василий Грязной слушал боярина Телятьева с великим вниманием и удалился только тогда от шатра, когда захрапели оба боярина.

. . . . .

Следующая ночь была страшной.

С утра воздух, пропитанный густым, словно раскаленное масло, зноем, душил — нечем было дышать. К вечеру все небо закрыла громадная иссиня-бурая, чешуйчато-слоистая туча. Вдруг потемнело кругом. Налетел ураган с востока, с песчаной стороны, срывая шатры, поднимая в воздух не только полотнища, сено, солому, балки и доски, но и телеги со всяким добром, разметывая все это по полю. Под напором ветра валились набок осадные

башни, роняя пушки и пищали. Глаза слепил песок, носившийся чудовищными воронками по полям и взгорьям. Коня бешено срывались с привязи и в испуге бежали из лагеря.

Затем хлынули потоки ливня, заливая орулия, топя в глубоких лужах ящики с зельем, ядра, пронизывая насквозь одежду людей.

В стане московского войска произошло замешательство. Этим воспользовались укрытые в бойницах ливонские пушкари и стали безумолку палить по московскому лагерю. Каменные ядра падали в лужи, обдавая ратников мутными гребнями воды и грязи. Огненные ядра с зловеющим шипением шлепались в мокроту трав, медленно угасая. Ко всему этому прибавилась гроза. Молнии давали возможность сидевшим в башнях ливонцам метко пристреливаться к наряду и обозам. Оглушительные удары грома подавляли все: и грохот пушек, и крики людей, и вой сторожевых псов, и ржанье коней — все это было сметено, придушено ревом небесной стихии.

Андрейка, насквозь промокший, и его товарищи ловили доски в потоках луж и покрывали ими свои пушки, ложась на орудия и на обмотанные полотнищами ядра и ящики с зельем, чтоб помешать ветру и дождю. Вдруг при вспышке молнии парни увидели мчавшихся верхом двух всадников, как будто бы один гнался за другим. Показалось Андрейке, что один из всадников упал наземь, а лошадь поволокла его по земле. Быстро соскочил парень с места, оставив свой наряд на товарищей, и побежал, шлепая по мокрой траве, туда, где упал всадник. Опять блеснула молния. Андрейка ясно увидел человека, распростертого на земле. Шлем с него был сбит и валялся невдалеке.

— Господи Иисусе! — прошептал Андрейка, склонившись над лежащим на земле человеком. При свете молнии рассмотрел он кровь, сочившуюся из рта этого человека, борода его тоже слиплась от крови. Андрейка окликнул проходивших мимо двух воинов. Подняли лежавшего без чувств латника, понесли к воеводам в шатер; по одежде можно было опознать в нем человека знатного рода.

Присмотревшись к нему во время молнии, Андрейка остолбенел.

— Ужель боярин?

— Какой боярин? — спросил кто-то из ратников.

— Колычев!.. Он и есть!..

Андрейка достал баклажку с водой, обмыл на ходу лицо боярина. влил ему в рот воды.

— Господи! Ужели убили? — В голосе Андрейки слышались слезы.

Вошел с фонарем в руке князь Курбский, нагнулся над раненым.

— Никита Борисыч! — Курбский снял шлем и перекрестился. — Никак кончается? Голова рассечена. Не то острым камнем, не то саблей...

Андрейка рассказал, как было.

Курбский спросил, не помнит ли Андрейка, кто был тот, другой всадник: наш или немец?

Андрейка ответил, что он не разобрал — кто.

Курбский принес из шатра флягу с вином, влил немного вина в рот боярину. Тот слегка зашевелил губами.

Андрейка спохватился: ведь ему надо скорее бежать к своим пушкарям. Помолившись, он стремглав побежал прочь.

. . . . .

На двадцатый день осады башня была сбита. Мало того, Андрейка со своими пушкарями пробил стену, а туры подошли совсем вплотную к городским укреплениям, и стрельцы стали метко из-за них обстреливать внутренность города.

Жигели в ужасе побежали в замок. Улицы опустели. В ворота хлынули московские воины. Теперь оставалось взять самый замок.

Начался обстрел последнего укрепления Нейгаузена.

Тридцатого июня с утра толпы московских ратников, неся на головах мешки с песком, лестницы, прикрываясь железными щитами, с криками, со звоном, лязганьем железа двинулись на штурм города. Пешие и конные полки ошестинились целым лесом копий и буйным потоком стали насаждать на городские укрепления. Ужасающим шквалом обрушился на внутренний город, на замок огонь многочисленных русских пушек. В городе начались пожары.

В полдень Нейгаузен был взят.

Вечером из замка, охраняемый стрельцами, на своем боевом коне, в одежде простого воина, выехал отважный командор — Угский фон Паденорм. Голова его была обвязана полотенцем.



Стоявшие по бокам дороги у замка русские воины и воеводы в молчаливой почтительности пропустили Укския со свитой, оставив им оружие.

Все жители Нейгаузена, не присягнувшие московскому царю, получили разрешение идти, куда пожелают.

В скором времени замок был занят отрядом стрельцов.

Андрейка торжествовал. Наступили дни передышки. Он и несколько его товарищей вздумали съездить за водой для пушек на реку. Взяли с собою кожаные мехи и помчались к небольшой речке, впадающей в Чудское озеро.

По дороге вдруг навстречу им из леса выбежала в изорванной одежде, с растрепанными волосами женщина, одна из тех горожанок, которые были отпущены воеводами на волю. Она кричала что-то непонятное пушкарям, указывая на лес.

Пушкари помчались туда.

На одной из полян они увидели много женщин, бежавших без одежды, а тут же на траве каких-то ратников, свертывавших одежду этих женщин в узлы.

— Эй вы, ироды! — крикнул Андрейка. — Где ваша совесть?

Воры оглянулись. И первый, кто бросился в глаза Андрейке, был Василий Кречет. Он зло посмотрел на пушкарей, выхватив из ножен тесак. Андрейка подскочил к нему и со всей силой ударил его кожаным мехом по голове, так что Кречет покатился по земле. Поднявшись, он снова бросился на Андрейку. Тогда Андрейка выхватил свою саблю и рубнул ею Кречета. Тот упал, обливаясь кровью.

Остальные воры разбежались, кроме одного, которого схватили пушкари. Он рассказал, что Кречет подговорил их ограбить выпущенных на волю горожан.

Одежда была возвращена женщинам, а раненого Кречета один из пушкарей, по приказанию Андрейки, взвалил на коня и повез в стан.

Вечером в стане к Андрейке подошел его сотник, дворянин Анисим Кусков, и сказал, качая укоризненно головой:

— Что я тебе говорил? Не всяк, кто простачком прикидывается да мужику поддакивает, истинный друг. Вором я посчитал его, вором он и явился.

Андрейке не понравился торжествующий, злорадный смех Кускова.

— У всякого чину по сукину сыну,—сказал он в ответ Кускову усмешливо.— Хорошо без худа не живет. Всяко бывает. Всякий народ и доброму делу служит... Не вдруг разберешь!

Кусков отошел прочь.

Колычев умер. Мерлушка-гробовщик вырубил колоду. Хоронили со значенами на кладбище вблизи Нейгаузена. Никто не пролил ни слезинки, кроме Андрейки. Что такое с ним приключилось, он и сам не мог понять. То ли своя горькая жизнь припомнилась, то ли совесть мучила — грешил ведь против покойника, ругал его, царю на него жаловался, судил, обманывал в вотчине — не поймешь!

— Слабое сердце у тебя, богатырек! — шутя сказал ему на обратном пути с кладбища пушкарь Корнейка.

— Ничего ты не знаешь! — вздохнул Андрейка.

Теперь мысли его были всецело о боярыне Агриппине. Она там живет одна. И ему, Андрейке, никак нельзя уйти из войска, чтобы поведать ей про смерть ее супруга. Долго ли теперь обидеть бедную вдову лихому человеку? Уж как бы он, Андрей, охранял ее и как бы он служил ей во всем! Может быть, теперь она и обратила бы на него внимание. О господи! Такая ведь красавица! И такая добрая...

В своей печали Андрейка забыл даже об Охиме.

Вернулся парень в стан, вышел за околицу, стал на колени и давай молиться о боярыне Агриппинушке, чтоб никакой лихой человек до нее пальцем не дотронулся, чтоб от пожара она не сгорела, от дикого зверя худа не получила, чтоб никакого недуга на нее господь не наслал, и заговоров и колдовства чтоб на нее никаких не было, и тоска ее в одиночестве не изводила бы, и змея бы ее в лесу не ужалила, и... чтоб никого она там не полюбила. (Спаси бог!)

Андрейка задумался, а затем, почувствовав, как солнце припекает ему голову, шею и спину, поклонился до самой земли, стал кстати молить бога о дожде и о том, чтоб бог надоумил его, как такую пушку отлить громадную, от которой все крепости разом бы пали.

Молился до тех пор Андрейка, пока его сзади не шлепнул по спине Корнейка. Скуластое, монгольское лицо его было потное, красное. Он только что через силу напялил на себя кольчугу. Она была ему не по росту, крепко стягивала плечи, сжимала бока, резала подмышками.

— Вставай, пятница, середка пришла!— весело смеясь, остановился он около Андрейки.

Корнейка сделал страшное лицо и глухо произнес:

— Воеводы поднялись!..

И не успел он сказать еще что-то, а уж полковые трубы возвестили сбор.

Андрейка быстро вскочил и побежал в стан.

Дагочные люди озабоченно суетились около обозов, верягали коней, свертывали шатры, седлали скакунов для своих начальников, взваливали чаны, калужки на телеги. Воины разбирали составленные горою конья и рогатины, перебрасываясь веселыми шутками и прибаутками.

Пушкари сошлись у своих телег с пушками. Осматривали орудия, заботливо протирали, смазывали их.

Зеленые приказчики осторожно устанавливали на телегах, наполненных сеном, бочки с зельем, обкладывая их снаружки мокрыми кожами, старательно со всех сторон укрывая зелье от палящих лучей солнца.

Снова заскрипели, завизжали колеса. Высокие движущиеся башни тихо покачивались с боку на бок; из оконниц выглядывали пушки и пищали да внутри распевали ратники.

Из ворот замка выехали Шуйский и Троекуров.

Войско построилось в походном порядке. Во главе каждого полка — его воеводы. Ертоульные поскакали опять впереди всех.

Боевые трубы и рожки дали знак к походу.

Направление взято было на север, вдоль берега Чудского озера, чтобы держаться ближе к воде.

На замке Нейгаузен взвился московский стяг с двуглавым орлом. Его подняла оставленная в замке стрелецкая стража.

Решалась судьба самого важного дела, порученного воеводам Шуйскому и Троекурову дарем Иваном Васильевичем, — покорение искони враждебного Москве, нарушителя взятых на себя обязательств, Дерптского епископства.

Между Москвою и Дерптом сотни лет тянулась распря. А в последние десятилетия Дерпт был особенно дерзок и временами проявлял явно враждебное отношение к Москве.

По договору с Иваном Третьим, дерптский католический епископ обязывался оказывать свое покровительство православным, жившим в «русском конце» города, церкви их держать «по старине и по старинным грамо-

там». Но ливонские рыцари и богатые граждане, да и средний обыватель норовили всячески утеснять русское население под видом борьбы с православием. Многих русских они хватали в церквях и на улицах и бросали их в темницы. Там их вытали, жгли огнем и железом. Однажды, по приказу епископа, немцы спустили в прорубь, под лед на реке Эмбах, семьдесят три человека русских, не пощадив даже матерей и грудных младенцев. Не лучше стало и тогда, когда на смелу католицизму пришло лютеранство. Все это хорошо было известно Москве. Обиднее всего было то, что это беззаконие творилось в старинном русском городе, захваченном немцами и, вместо Юрьева, названном Дерптом. Никак не могло примириться с этим насилием русское население соседнего Псковского края, и часто оно обращалось с жалобами на ливонцев в Москву, к царю.

Дерпт много раз обещал Москве прекратить эти бесчинства, но затем вызываяще нарушал сам же все свои договорные условия, заключенные с великим князем Иваном Третьим.

Поэтому, когда началась война с Ливонией, Иван Васильевич свой гнев обратил в большой степени на Дерптское епископство.

Обо всем этом, по приказу Шуйского, сотники в полках и рассказали ратникам, которые поклялись отомстить немцам за их насилия над русскими в Дерпте.

Было получено известие, что магистр Фюрстенберг, узнав о падении Нейгаузена, пожёг свой лагерь и бежал из Киррумпа.

Вскоре войско Шуйского увидело в поле большой отряд всадников с обозом.

Татары под началом Василия Грязного бурей налетели на этих всадников и гнали их до самого Дерпта. Взятые в плен немцы рассказывали, что отряд был послан дерптским епископом в помощь магистру, стоявшему в Киррумпа, но так как магистр не захотел сражаться с русскими и отступил, то и всадники епископа решили вернуться в Дерпт. Русские захватили большой обоз с пушками, военными припасами и продовольствием и вернулись снова к своим главным силам.

Воеводы без боя взяли город Курславль, в десяти верстах от Киррумпа. В этом городе были оставлены две сотни с двумя стрелецкими головами «для бережения».

По пути следования войска из городков, замков, сел и деревень выходили латыши — городская беднота и крестьяне — и добровольно отдавались в подданство русскому царю. Воеводы приводили всех их к присяге. Со всеми ними обращение было дружественное, мягкое. Некоторые даже становились под знамена русского войска, желая участвовать в походе против немецких владык.

Они с радостью сбрасывали с себя свои лохмотья и лапти и натягивали на тело рубахи, тегиляи, кафтаны, а иные и кольчуги. С восхищением любовались они полученным от воевод оружием.

Русские воины охотно делились с ними и съестными припасами, шутили, смеялись, не понимая туземного языка, объяснялись жестами.

Однако все же воеводы из предосторожности не ставили их в войске скопом, а рассеивали среди русских и татар.

— Чужого не замай, но и своего не забывай! — говорили сотники русским воинам. — Береженого бог бережет.

#### IV

Днем и ночью на стенах и башнях Дерпта изнывали латники в мучительном ожидании появления московского войска.

Вокруг города и в предместьи, между гостиним двором и замком, копались в земле оголенные до пояса, потные, загорелые русские пленники и латыши, согнанные сюда из соседних деревень. Под присмотром ландскнехтов рыли новые окопы и рвы. Особо много трудились над возведением укреплений у величественного здания Собора епископа по ту сторону реки Эмбах, среди поблекших от зноя садов и огородов. Сам епископ, желтый, с мутными глазами, длинный, худой, руководил работой. Собор готовился к отчаянной обороне. Сюда свозились бочки со смолою, пушки и кадки с водою, на случай пожаров.

В городе сделалось тесно, суетно. Тревога нарастала с каждым часом. Вдоль городского рва, наполненного зеленою, вонючею водою, где находились кузницы и всякого рода мастерские, расставляли пушки. Высокие, серые, узкие дома были набиты вооруженными жителями.

Лютеранские и католические церкви опустели, потускне-

ли, сиротливо выглядывая из куши садов и рощ. Не до них стало!

Река Эмбах — «мать рек» — плавно катила свои воды среди застроенных домами и покрытых садами и огородами берегов. Дерпт слыл крупным торговым городом. Через него с востока шли товары в Ригу и другие приморские города Ливонии. Своим богатством он славился на всю Ливонию.

Теперь торговля замерла. Население было занято одною мыслью — как бы оборониться от Москвы, как бы спасти свою жизнь.

По реке Эмбах медленно подплывали к Дерпту плоты и ладьи с оружием и продовольственными припасами из ближних замков и селений. Дерпт — важнейшая крепость — прикрывал собою путь к столице Ливонии, к Риге, поэтому Рига не поскупилась на посылку оружия и продовольствия дерптским жителям. О воинской помощи людьми пока шли только дружественные переговоры. Вельможи и купцы дерптские потихоньку ворчали на магистра, на всю Ливонию. Многие стали обдумывать, как бы, навьючив на коней наиболее ценное имущество, золото и драгоценности, незаметно уйти из крепости в более безопасное место. Появилось у горожан взаимное недоверие друг к другу: ревниво следили за тем, кто первый побежит, чтобы потом, по этому случаю, поднять шум.

Масла в огонь еще подлили дворяне, прискакавшие из-под Киррумпэ в Дерпт с растрепанными знаменами, на взмыленных конях и без обоза, брошенного на дворе, в добычу русским.

Прискакали, да и то не все: двадцати восьми человек не досчитались. Бегство было такое поспешное, что и не заметили они, как товарищи их попали в плен. К ним бросились с расспросами, а они отдышаться не могут, твердят, как помешанные, одно: «Москва! Москва!». А что «Москва» — толку не добьешься.

Обыватели качали головами: «Хорошего не жди!»

С глубоким огорчением в Дерпте узнали, что магистр, так много кричавший о непобедимости рыцарей, не оказал ровно никакой помощи Нейгаузену, что и сам он до крайности напуган победою русских, недаром отступил в глубь страны, к городу Валку.

Теперь омрачились не только обыватели, но и вся городская знать. Видно, велика сила московского войска,

коль сам магистр не решился вступить в бой. На всех перекрестках рыцари втихомолку осуждали своего «вождя» Вильгельма Фюрстенберга, которого прежде превозносили до небес.

— Заврался дедушка! Обманул всех! — судачили рыцари и очень обрадовались, когда узнали, что на место Фюрстенберга выбран новый магистр — молодой, храбрый рыцарь Готгард Кетлер.

Легче от этого, однако, не стало.

Гроза надвигалась. Русских всадников уже видели в окрестностях Дерпта. То были ертоульные Шуйского, посланные разведать о местонахождении магистровых подков. Слухи в городе носились самые страшные. Беглецы из Нейгаузена рассказывали о несметных полчищах московитов; говорили, что в русском войске триста тысяч человек, что в Нейгаузене ими перебиты все жители и что сила русская день ото дня увеличивается.

Однажды утром крестьяне принесли епископу в замок письмо от князя Шуйского. Предлагалось сдаться на милость даря, присягнув ему в подданстве. Была и угроза: «Если не сдадитесь, сами возьмем, будет хуже!»

Из ближних усадеб в замок набивались толпы вооруженных дворян и охотников. На людях и смерть красна, да и надежда на помощь гермейстера все же не покидала. Как-никак, страшновато сидеть у себя в фактории, и не только русских боязно, а и своих черных людей. Зуб имеют они против господ. Шатание в крестьянах началось явное. Многие еще до этого убегали в московский стан, покидая своих господ. Гнев народа нарастал.

Что же делать? Какой ответ дать князю Шуйскому?

Пошумели, покричали, побряцали оружием — стало веселее, появилась храбрость. Согласиться на предложение московитов? Позор! «Мы им покажем! Они еще нас не знают! Отказать! Отвергнуть! Разве мы не рыцари?!»

С теми же крестьянами-ходаками был послан воеводе хвастливый отказ.

. . . . .

С башен епископского замка увидели черную точку вдали. С каждым часом она становилась все больше и больше, развertyвалась в длинную черную ленту. Вскоре можно было уже различить осадные башни, коней, людей, телеги с пушками.

Сам епископ влез на городскую стену. С трудом переводя дыхание от усталости, он читал про себя стихиры деде Марии.

Поднялась тревога. Загудел набат. Во всех уголках слышался полный ужаса шепот: «Москва!». Матери с младенцами набились в замок, попрятались в его каменных подвалах. Их было много, испуганных, бледных. Оглушал многоголосый крик и плач, раздавались проклятия магистру, войне...

В окрестностях воздух был насыщен дымом от лесных пожаров, и московское войско в желтой удушливой мгле то скрывалось из глаз, то снова появлялось, но уже в больших размерах. Шло, надвигалось властно, неотвратимо.

День клонился к вечеру. Епископ не велел зажигать огней. Этим воспользовались многие из дворян. Они собрали все свои деньги и драгоценности и, подкупив стражу, во-время сумели исчезнуть из замка.

Канцлер Гольцшуллер, дородный, седоусый рыцарь, горячо осудил всех этих беглецов. Он, размахивая саблей, проклинал их на всю площадь, кричал, что надо догнать беглецов и изрубить. «Умирать, так всем вместе! Низость! Подлость — покидать сограждан в такую тяжелую минуту!»

Гольцшуллер собрал кучку дворян лютеранского исповедания и ландскнехтов, объявив, что он пойдет навстречу москвитам и разобьет их наголову.

Отворили ворота замка, спустили мост, дали дорогу храбрецам. Но... стояло Гольцшуллеру и его товарищам выйти из города, как они повернули туда же, куда убежали и прежние беглецы. Увидев это, сбила стражу, хлынула в ворота и толпа обывателей. Началась паника среди горожан. С трудом удалось закрыть ворота.

Одиннадцатого июля на заре московское войско вплотную подошло к Дерпту и обложило его со всех сторон. Бешеная ненависть и злоба овладели немецкими военачальниками при виде гордо развевавшихся над русским войском знамен, при виде того, как ловко, с какой быстротой заработали «гулейные» люди, расставляя осадные башни и щиты «гуляй-города» совсем вблизи Дерпта. Чешуйчатой лавиной двигались московские ратники в обход крепости, ошетинясь густым лесом копий. Твердым шагом, без всякой суетливости, ходили между рядами ратных людей спешившиеся воеводы, обсуждая порядок осады. У Шуй-



ского в руках был план Дерпта, в который воеводы то и дело заглядывали.

Утомившись, князь Шуйский сел у своего шатра и стал переобуваться, разматывая портянки. Сопрели ноги от жары. Иногда опускал ногу и внимательно посматривал за передвижением войска.

— Эх-кая мозоль! — покачал он головою, показывая ногу своему телохранителю, казаку Мирону.

— Листом бы приложить...

— Убери сапоги... Посижу босой... Пушай нога отдохнет.

Пробежавшие и проезжавшие на конях мимо шатра люди низко кланялись князю, некоторые останавливались, докладывали ему об исполнении его приказа. Он смотрел на них исподлобья, начальнически.

— Э-эх, кабы нам деньков бы в десять тут управиться!.. — вздохнул Шуйский, протирая тряпкой пальцы на ноге.

Мирон, рыжеусый, приземистый казак, ухмыльнулся:

— Дай боже трое разом: счастья, здоровья и души спасения...

— Каждую крепость тебе бы «трое разом»! — рассмеялся Шуйский. — Вона, гляди, она какая! Это тебе не прежние...

Первым открыл стрельбу Дерпт.

Шуйский стал босыми ногами на землю. Покачал головою.

— Вот те и «трое разом»! Гляди! — он усмехнулся, проворчав: — Круто гнут, не переломилось бы! Знаю я немцев, любят петушиться... Ух, какие задористые! Пускай побалуют, потешат себя, а мы игру закончим. Испокон века ведется так. Они начинают, мы кончаем.

Подъехал верхом на белом коне князь Курбский.

— Переняли дворян, убежавших из крепости, — сказал Курбский, дергая за повод коня, гарцуя на месте. — Пять сотен пушек у рыцарей, — указал он кнутовищем в сторону Дерпта, — а у нас три сотни.

Шуйский нахмурился.

— С этакими дворянами и тыща пропадет без толку... Пусти их, не держи... Пушай гуляют! Торопиться не след... Обождите лезть на замок... Скажи там дяде Феде...<sup>1</sup> Обо-

---

<sup>1</sup>Другой главный воевода — Федор Иванович Троекуров

ждем. Дайте им позабавиться!.. Валы насыпайте по росписи. Последи, Андрей Михайлыч, чтобы порядок соблюдали...

Посошные люди невозмутимо работали заступами и лопатами, возводя валы, где им указали воеводы, для осадных пушек. Хребты валов усыпали щебнем и камнями, уминали трамбовками. Пушкари втаскивали на них колоды, ставили орудия. Главные силы русских войск расположились против ворот святого Андрея. Отсюда легче было пройти в замок.

В этом месте собрали большую часть наряда и поодаль нарыли глубокие ямы для огневых запасов. Накрыли те ямы досками с дерном и мокрыми овчинами, чтобы «от порохового исходящего от пушки духа и от непрестанно горящих фитилей безопасно быть».

Петр Иванович сапоги отбросил. Велел Мирону обуть его в лапти. Мирон живо раздобыл онучи и лапти, быстро и ловко обул воеводу.

— Коня!

Появился конюх, ведя под уздцы послушного вороного, широкозадого, мохноногого жеребца.

— Эк-кий зверь! — залюбовался своим конем Шуйский. — Пу-ка, братцы, помогите!..

Конюх и Мирон подсадили воеводу. Опытным взглядом полководца князь осмотрел свое войско, облежавшее кругом городские стены.

— Ну, господи благослови! — сняв шлем, широко перекрестился Шуйский. — Покормили быка, чтоб кожа была гладка! А теперь его в котел.

Андрейка, устраивавший на колодах (станках) на валу свои пушки, оглянулся. Кто-то его окликнул. Ба! Сам воевода!

— Вот что, добрый человек, ты, я вижу, меток... Полно тебе, как бабе с тряпьем, тут возиться!.. Наведи-ка, господи благослови, вон на ту, на кругленькую... больно уж бедова! Сама на тебя глядит! Бей, да поубоистее! Пушка хорошо поставлена, будь меток.

Шуйский указал обнаженной саблей на одну из городских бойниц-башен.

Андрейка деловито нахмурился: стал подводить дуло. Выстрелил.

На глазах у Шуйского сбило огненным ядром полверхушки башни; посыпались кирпичи, задымил, зачадил...

— Гоже, молодчик! — приветливо улыбаясь, крикнул Андрейке Шуйский. — Любо смотреть! — и поехал дальше, вдоль туров.

После того поднялась пальба по всей линии московского войска.

Триста московских пушек против пятисот крепостных орудий Дерпта.

Андрейка каждый раз, закладывая новое ядро, горделивым взглядом окидывал родное войско.

Везде мокрые от пота рубашки на спинах ратников, усердно осыпающих крепость стрелами и пулями. Конники свели в табуны своих коней поодаль. Сами, укрывшись за турами, за «гулевыми» щитами, начали тоже палить из пищалей и пускать стрелы внутрь города.

Дерпт отвечал частою пальбою из пушек.

Одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого июля продолжалась непрерывная стрельба с обеих сторон.

Неоднократно распахивались городские ворота, и немецкие кнехты под командою храброго рыцаря, бургомистра Антония Тиля с безумной отвагою бросались на русские укрепления. Разгоралась жестокая сеча; победителями неизменно оставались русские. Под напором звеневшей железом, бурно наседавшей толпы русских немцы, яростно отбиваясь, снова отступали в город.

Четырнадцатого июля Петр Иванович приказал войску поднять валы еще выше, сделать их так, чтобы видно было нутро города и чтоб вернее было брать наводку на городские стросния. Снова закипели земляные работы. Умолкли пушки. Пошли в ход заступы и лопаты. Обнаженные до пояса, запыленные, волосатые бородачи работали азартно, соперничая друг с другом.

— Вот мы тут копаем... — сказал один из мужиков, подмигнув глазом, — а там, — кивнул он на крепость, — сидит Микит и сквозь стены глядит...

— Уж не позавидовал ли тому Миките? — пошутил Андрейка.

— Всяк своему дому норовит, а коль у них дела нет, пушай сидят... ожидают... За нами дело не станет...

Послышался окрик проезжавшего стрелецкого сотника:

— Гей, вы, ратнички! Поспешите!.. Время! Чего болтаете!

Валы были быстро подняты еще на пять локтей против

прежнего. Стало видно дощатые и черепичные крыши строений.

Сигнальные рожки, набаты дали знать о начале нового штурма. Андрейка видел, как с толпою отважных конников, несясь впереди всех, поскакал с саблей в руке Василий Грязной к воротам замка, как начали там перебрасывать громадные доски через ров.

. . . . .

О русских пушках в городе говорили с ужасом. Дивились литейному мастерству московитов.

Молились день и ночь. Молились католики по-своему, тайком от лютеран; молились лютеране по-своему, дерзко, на виду, во зло католикам; молились епископ и пасторы; молились ратманы и кнехты — все молились, а иногда, молясь, ссорились, хватались за оружие, укоряя друг друга в нелюбви к родине. В замок из города пускали только по особому выбору. Около ворот дежурили кнехты и какие-то женщины, набрасывавшиеся на всех, кто пытался проникнуть в замок. «Без вас тесно!» — кричали они, с трепетом прислушиваясь к выстрелам русских пушек.

А тут еще рыцари поймали несколько человек, заподозренных в тайных сношениях с московским воеводой. За них стали было заступаться некоторые бюргеры. И тех и других бросили в тюрьму, стали мучить. Огнем и плетью пытали. Оказалось, действительно, — сторонники присоединения Ливонии к Московскому государству. Некоторые из них много раз возили товары в Москву. Они поминали имя Крумгаузена. До поры до времени таились, прикрывались, а во время осады пошли в открытую. «Чем мы хуже нарвских купцов?» — говорили они.

Плохо было на душе у жителей Дерпта.

Вернулись из лагеря гермейстера под Валком гонцы. Ночью с опасностью для жизни прокрались в город тайком от московских воинов. Принесли письмо гермейстера, который писал:

«Очень сожалеем о печальном состоянии города Дерпта, а равно и о том, что дворяне и ландзассы покинули своего господина, епископа. Это не делает им чести. Постоянство епископа и почтенного гражданства очень похвально. Желательно, чтоб все остальные исполнились такого же героического духа и защищали бы город мужественно. Я бы очень желал оказать городу помощь, но из всех сведений мне

известно, что у неприятеля большая сила в поле, и потому я не в состоянии вступить с ним вскорости в битву. Остается мне усердно молиться за вас богу и помышлять донно и ношно об умножении своего войска...»

В подземельях замка ходило по рукам это письмо, а на кровли домов, на улицы сыпались огненные и каменные ядра, пули, стрелы в таком изобилии, что шага нельзя было сделать на воле, чтобы не быть убитым.

Деревянные стены и кровли загорались, обваливались, причиняли ушибы обывателям. Целый день и всю ночь яростно ревели русские пушки, грохотали падающие в городе ядра, так что людям трудно было слышать друг друга. Гудела земля, металось эхо разрывов по пустынным улицам и между башен.

— Ну и ну! — вздыхали ландскнехты. — Прощайтесь с жизнью, друзья!

На мостовых корчились раненые жители, лежали небурные трупы, застреленные собаки, кошки, вороны. Горели сараи, заборы, освещая колодезные «журавли-виселицы».

В эту страшную ночь по реке пробрался в город окровавленный человек. Ползком приблизился он к воротам замка. Кнехты-воротники вырвали из его ноги волочившуюся вместе с ним стрелу и унесли его на руках к епископу в подземелье.

Раненый оказался дерптским дворянином. Сквозь рыдания и стоны он рассказал, что на толпу дворян, убегающих с деньгами и драгоценностями из Дерпта, по приказу магистра напали его же воины и ограбили дворян дочиста. Грабителями предводительствовал ревельский бюргер Вильгельм Вифферлинг. Все награбленное добро он доставил магистру. Грабители говорили, что дворян наказывает магистр за их нелюбовь к родине и за трусость! Не надо было бежать из города! (А сам спрятался нивесть куда!)

Раненый, захлебываясь слезами, проклинал магистра, называя его трусом и изменником.

Епископ пожимал плечами, удивляясь его смелости.

В замке поднялись крики, полные ненависти и злобы. Опять разгорелись споры между католиками и лютеранами.

Жигели вслух требовали сдачи крепости. Они говорили: «На гермейстера надежды нет, на рыцарей тоже. Мы не в силах никаким способом далее держаться! Мы сдадимся!»

Епископ Герман со слезами в голосе воскликнул:

— Несчастные! Помыслите, что ожидает вас! Вы знаете, какие варвары эти москвиты! И вера у них такая, что только богу и святым хула: от всей дерквы божией и от всего света отринута! Со скотами христиане не обращаются так жестоко, как с людьми обращаются москвиты. То же всех нас ожидает, если и мы сдадимся жестокому врагу.

Нашлись люди, будто бы видевшие, как русские детей едят, женщин перепиливают пополам, а мужчин живыми сжигают на кострах.

От таких страшных рассказов у обывателей волосы подымались дыбом. Выходит, лучше умереть, чем сдаться.

Осада становилась невыносимой. С неба не сходило зарево от выстрелов и пожаров. Красноватые клубы порохового дыма и от пожаров медленно расплывались над городом и окрестностями. Стены рушились, башни падали, подсекаемые громадными ядрами вплотную приблизившихся к ним стенобитных орудий... Было страшно видеть, как в дыму и в огне башня вдруг склонялась набок и, немного продержавшись в таком положении, с оглушительным грохотом рассыпалась; ее камни откатывались на далекое расстояние от стены. Епископ, видя это из окна, горько заплакал. Пали вместе с этими башнями вековые устои рыцарства, обращалась в прах вместе с прадедовскими камнями, обросшими мхом, «святая старина ордена, некогда могучего, славного». Епископу Герману хотелось, как и всей знати Дерпта, чтобы время остановилось, чтобы старина осталась неизблемой!.. Чтобы меч и крест продолжали владычествовать над страной «неверных, грубых, невежественных туземцев-язычников, достойных поголовного истребления».

Дерпт разрушается, гибнет слава! Что может быть страшнее этого? О том ли мечтали предки «благородных рыцарей», когда забирали у славян землю?

— Ты хочешь погасить для нас свет слова твоего,— шепчет епископ в темноте, видя озаряемые огнем все новые и новые проломы в городской стене,— и сдвинуть с места драгоценный светильник твой; и наше верование, проповедание и песнопение, богослужение и чистое учение—все это хочешь удалить от нас! Посему умоляем тебя, господи! Окажи нам твою милость! Отгони от врат праведного града язычников!

. . . . .

Настало ясное, солнечное утро шестнадцатого июля. Московские пушки разом замолчали, но грохот их выстрелов все еще продолжал звучать в ушах. Не верилось, что пальба московитов кончилась. И только когда перед воротами Дерпта стража увидела смело шедших к крепости нескольких русских с белым знаменем мира в руках, осажденные поняли, что Шуйский хочет начать переговоры о сдаче крепости.

Посланцы Шуйского передали страже грамоту с условиями, на которых должен сдаться Дерпт.

Совет городских общин принял эти условия: отрядил нескольких старшин совета к епископу просить о принятии условий воеводы. Они находили их очень мягкими, вполне христианскими. По мнению старшин, московитский начальник—муж добрый, благочестивый, и ему можно довериться, хотя черномазый, глазастый, похожий на цыгана молодец, вручавший страже грамоту (Василий Грязной) не внушал особого доверия.

Магистрат города предложил собраться всем членам совета и их старшинам в залах замка. Там было разъяснено собравшимся, в каком безвыходном положении находится город. Были прочитаны и грамота Шуйского и безотрадный ответ магистрата. Начальник гарнизона заявил, что у него слишком мало людей, чтоб защищать замок и город. Борьба бесперспективна.

Протестантские проповедники прислали из своей среды двух человек; они тоже были согласны на перемирие, но только просили магистрат при заключении договора с Шуйским обеспечить сохранность и безопасность протестантских церквей.

Два дня длились горячие споры. Большинство было за сдачу—возможно ли сражаться с такою силою, какая у московита?

К епископу в погон без стука быстрою походкой, звеня серебряными шпорами, вошел высокий, красивый рыцарь, бургомистр Антоний Тиль, и сказал со слезами в глазах, голосом, полным негодования:

— Светлейший, высокодостойный князь и господин! Мы, несчастные люди, переживаем в высшей степени печальное время и с прискорбием должны видеть и чувствовать, как многие честные и добрые люди попадают в позорное подданство, а мы, другие, должны покидать наши дома, дворы и имущество, идти с женами и детьми в изгнание

и не знаем, где кончим свою жизнь, быть может, в нищете и печали. Страшусь лишиться той величайшей драгоценности, какую только имеем на этом свете,— чести! Боюсь, чтобы нас впоследствии не порицали и не бранили, что мы поступили малодушно, сдав город Дерт. Что нам жизнь, раз не будет чести? Я пожертвовал бы всем и своею жизнью, только бы никто не думал обо мне, что и я участвовал в сдаче города. Он еще может быть защищен и сохранен оружием и борьбой! Я прошу вашу высокодостойную милость дать мне письменное изъяснение: кто учинил эту сдачу, сделали ли то вы, ваша высокодостойная милость, или рыцарство, или капитул, или высокопочитаемый магистрат, или община, чтобы я мог оправдаться, по крайней мере, от напрасных клевет и сохранить свое доброе имя.

Тогда епископ со своими советниками и членами капитула скорбно вздохнули.

— Почтенный и высокоуважаемый господин, на этот вопрос его высокодостойная милость со своими советниками и членами капитула отвечают: напрасно было бы упрекать кого или обвинять в сдаче Дерпта; все это сделано только вследствие неизбежной и крайней необходимости, потому что высокодостойная милость не только вашей почтенной мудрости, но и всякому другому, кого это только касается, охотно об этом сообщает.

Тиль предлагал сражаться с русскими до последней капли крови.

Шуйский, услышав о несогласиях в замке, объявил, что он никого не принуждает силою принимать подданство царю. Каждый может жить так, как он хочет. Те, кто против Москвы, могут безопасно выйти из города и удалиться куда им угодно. Московское войско не будет мешать. Те же, что захотят перейти в русское подданство, пускай остаются со своим имуществом на месте. Никакого худа им причинено не будет.

Слова Шуйского сильно обрадовали население Дерпта. Сам епископ согласился на сдачу.

Всю ночь при свете монастырских фонарей составляли в замке условия сдачи крепости. Страхи, навеянные рассказами «о зверствах московитов», рассеялись.

Народ высыпал на улицы, стараясь вдоволь надышаться вольным воздухом после гнилых, сырых подземелий и погребов. А главное, отошла в сторону опасность неминуемой смерти от неприятельского оружия.



Епископ прежде всего начал хлопотать о себе, а потом уж о католичестве. И как городской совет ни пытался отодвинуть его на второй план, ничего не вышло.

### Условия епископа<sup>1</sup>

«Епископ желает, чтобы ему предоставили во владение благоустроенный монастырь Фалькенау, в двух милях от Дерпта, на Эмбахе, со всеми принадлежащими ему землями, людьми и судом, как издревле было определено, чтобы он мог в этом монастыре кончить свою жизнь в мире и чтобы не присоединяли этого монастыря от Ливонии к России.

Царь должен приписать к монастырю поместье, которое лежало бы, по возможности, около монастыря, а монастырь по смерти епископа переходит во владение монаха папского вероисповедания.

За членами капитула остается собор папской религии (католический), их имущество и дома под юрисдикцией епископа.

Дворяне, желающие быть под властью царя, остаются на жительство в Ливонии при их имениях, людях и имуществе и не будут уводимы в Россию, находясь под его, епископскою, юрисдикциею. Их хлеба, товары, съестные припасы, вина и всякие напитки, лес и все их имущество будут свободны от пошлин.

Над членами капитула, монастырскими монахами и над дворянством никто не производит суда, кроме его, епископа, и его совета.

Когда епископ будет высылать в Москву послов или в случае если он сам поедет к великому князю, то чтобы подводы, сколько их потребуется, были бесплатные как туда, так и обратно. Если его (епископа) люди окажутся виновными в городе по отношению к людям великого князя или кого-нибудь другого и будут привлечены к суду, то вина их может быть судима только маршалком его (епископа)».

### Условия магистрата<sup>2</sup>

Оставить жителей города при аугсбургском вероисповедании или лютеранском учении, не делая в том никаких

---

<sup>1</sup> Выдержки из подлинных документов.

<sup>2</sup> То же.

изменений и никого в том не принуждая. Оставить за ними церкви и школы со всеми орнаментами и всю администрацию по старине.

Дерптский магистрат не лишается ратуши. В его распоряжении остаются: житницы, хлебные и мясные лавки, тюрьмы, уставы, положения, монеты, аптеки, канцелярия, все дома городских служащих, конюшни, мельницы, поместья, рыбные ловли, весы, бракование, городские и торговые суды, богадельные и церковные дома, цеховые дома со всеми их рентами и доходами и все доходы, какие он имел с древних времен от вина, пива, меду и от всех напитков и товаров.

Рыцари будут судиться мечом по-старому.

Магистр и община могут со своими товарами, какого бы они наименования ни были, ездить и вне и внутри страны, также в Россию, Германию и куда нужно, причем с них не будет взимаемо никаких пошлин как вне и внутри города Дерпта, так и в России и в Ливонии.

Всем бюргерам и жителям должно быть разрешено и теперь, при сдаче города Дерпта, и впоследствии уезжать со своим имуществом, а чего они не могут взять с собой и оставить на хранение или у хороших друзей, или в собственных домах, то всё могут увезти после, когда к тому представится случай.

Дерптским ратным людям должен быть разрешен свободный выход из города с их имуществом и всем оружием, с выдачею им верных паспортов. Если окажутся бюргеры, которые не хотят оставаться в Дерпте, но не могут тотчас выехать из этого города с их женами, детьми, пожитками и челядью, то такие бюргеры могут спустя 8 дней или через несколько недель уехать из города при оказии, и им должно выдать верные паспорта.

Иностранные немецкие купцы, так же как и великого князя люди, могут с их товарами приставать у бюргеров в их домах, могут свои товары складывать в постоянных дворах и магазинах, могут торговать и совершать сделки, пока их магистрат дозволяет то. Гость с гостем, будь они немцы или русские, торговать между собою не могут, но только с городскими бюргерами по старине.

Бюргеры не могут быть отягощаемы в своих домах военными постоями. Царь не будет выселять бюргеров и жителей из Дерпта в Россию или какие-либо другие места насильно.

Если кто-либо, лифляндец или не лифляндец, провинится перед великим князем, открыто или тайно, то таковой преступник, если будет пойман в пределах ведомства магистрата, судится магистратом и его фогтами.

Магистр желает, чтобы апелляции на его приговоры по старине посылались в город Ригу и рижский магистрат, так как дерптские законы, по которым магистрат судит и дает приговоры, заимствованы из прав рижских, данных Риге императором и папою.

Во всякое время дерптские бюргеры могут без всякой помехи вывозить из России всякие хлеба и съестные припасы, а также мед и хмель, если им то понадобится.

В дни перемирия у воинов было много свободного времени.

Андрейка вспомнил о дедушке Ансе.

Быстро собрался и на коне поехал в знакомую ему деревушку недалеко от Дерпта.

Этот высокий сухопарый старик, весело улыбаясь, вышел навстречу Андрейке.

Весть о взятии Дерпта он выслушал с хитрой улыбкой.

— Наш бог Перкун знает, что делает. Жалобы латышей услышаны.

Сидевшие на скамье его внучки вздохнули. Дедушка Анс обратно вернул их из Полоцка, не боясь обиды со стороны русских.

Одна из них тихо сказала, что Перкун разгневался на рыцарей — они постоянно обижают латышей.

Дедушка сердито посмотрел на нее, поворчал по-латышски.

Внучка покраснела, притихла.

— Перкун не любит трусов, нет! Слушай, скажу я тебе...

Старик отложил сбрую, которую чинил, в сторону.

— Было то давно... У одного царя родился сын, и когда он родился, то Лайма<sup>1</sup> предрекла ему быть убитому Перкуном.

Царь опечалился и велел выстроить из железа крепкий-прекрепкий погреб. Наступил день, в который Лайма предсказала царевичу смерть. Загремел сильный гром. Царь

<sup>1</sup> Л а й м а — подобие христианской „святой девы“. Она же богиня судьбы.

торопил сына идти в погреб. Сын пошел, но только не в погреб, а на самую высокую гору. Царь же поспешил к погребу и накрепко его запер, думая, что там сидит его сын. Но только двери были заперты, как Перкун разгромил погреб одним ударом. Царь перепугался, думая, что с погребом погиб и его сын. Но перестал гром, царевич вернулся домой совсем здоров и невредим. Перкун его пощадил, потому что тот был храбр и не спрятался от грозы в погреб.

— И господа добились бы блага, кабы не прятались в замки. Камень — не защита! Перкун дал людям любовь к родине, сердце, руки, глаза, ноги, копыя, стрелы, мечи... Чего же еще? И кто будет помирать за чужое добро? Кнехты? Плати им золотом, корми их, пои вином, чтоб веселы были, давай им грабить чужое добро, а после посылай умирать?! Зачем ему умирать? Кнехт хочет набрать золота, разбогатеть войной, вернуться к себе домой. Ландскнехт живет грабежом. Он думает о том, как он вернется домой и как счастливо заживет со своей Бертою или Кларою. Латыши помирать за гермейстера, за дворян и епископов не желают. Что нам Москва? Замки не наши. Мы не прячемся. У нас нет каменных стен.

Дедушка Анс угостил Андрейку своим любимым кушаньем — путрой (крупя, сваренная с молоком и водой). После того дедушка, вместе с внучками, повел парня в соседнюю рошу, которую латыши прозвали «рощею мира».

Здесь были широкие, густолиственные дубы, высокие сосны и много цветов.

Дедушка Анс прошептал Андрейке на ухо, что Перкун, всемогущий бог латышей, живет высоко-высоко в небесах, куда ведут разные дороги. Только жаворонки могут долетать до его жилища, чтоб попросить у него либо жаркого лета, либо дождя, когда засуха... Только они по солнечному пути доходят до чертогов всемогущего бога — бога грома и молнии.

Там же обитает богиня счастья и судьбы — «матушка Лайма».

— А в этой роше, — рассказывал Анс уже громко, — живут богини любви и счастья, девы солнца.

Перед глазами Андрейки открылось красивое прозрачное озеро, окаймленное белыми водяными лилиями и крупными голубыми цветами.

По неподвижной поверхности озера тихо плыли лебеди:

впереди самед, за ним гуськом лебедята, позади их — самка. Услышав хруст сучьев, самец остановился, остановилось и все лебединое семейство.

Старик Анс с любовью наблюдал за птицами, горделиво разглядывавшими людей.

— Им не надо войны... не надо и рыцарства... Их никто не обижает тут... Перкун умирил орлов... Они не нападают на лебедей... В этой роще нет зла... Латыши отдыхают здесь... Злой Цукис, черт, не ходит сюда... боится! Перкун знает, что людям после работы нужен отдых... нужен покой...

Внучки деда Анса сели на берегу озера и, глядя задумчиво вдаль, спели песенку о матери лесов, которую называли «межамате», а когда Андрей попросил их спеть еще, они спели грустную песню о сиротке, у которой немецкие рыцари убили на войне отца. Солнышко на спрос пастушки: «Где медлило, что рано не взошло?» — дало дружеский ответ: «Я медлило за горою, согревая сироту...»

Из тех песен девушек Андрей понял, что латыши жили хорошо, счастливо только в древности, когда еще их не поработили пришедшие из-за моря немцы. Тогда все было полно жизни и счастья: и небо было яснее, и солнце теплее, и воздух благораствореннее; земля была плодороднее; жатвы были изобильнее. Сама Лайма ходила между людьми и украшала их жизнь цветами счастья.

Но когда в латышскую землю из-за моря явились пришельцы, только немногие рощи стали приютом Лаймы, и умолкли беспечные песни в латышских селениях. Только в этих рощах веселились птицы, только тут свободно росли дубы, только здесь пчелки могли «бросать перекладники между дубами».

Андрей полюбил деда Анса за его ласковый, добрый нрав, за то, что он умел трогательно рассказывать про свою старину, про древние войны латышей с немцами, про зверей, про птиц, про цветы. А внучки его были такие стройные, красивые девушки, и такие нежные у них были голоса! К ним очень шли венки из полевых цветов, которыми они украшали свои золотистые волосы. Они любили плести из цветов венки. И многие другие девушки и женщины в латышской деревне постоянно ходили с венками на головах, а одежды, белее снега, были украшены вышитыми цветочками и узорами.

Андрей сам отдыхал здесь, среди этих простых, мирных людей. О немецких рыцарях было противно думать.

И не один Андрей подружился с сельскими жителями. Многие другие московские ратники, словно к родне, в свободные часы толпами ходили к латышам в гости и обороняли их от нападавших на всех без разбора татарских всадников.

Любо было московским ратникам в деревнях слушать песни латышских девушек под нежную музыку струн куокле, напоминающую русские гусли.

Однажды Анс под струны куокле нараспев рассказал Андрею, как некий юноша помог выбраться старику из болота, в котором тот чуть было не завяз. Старик из благодарности подарил своему спасителю куокле, сказав: «Богатство тебе не нужно, возьми лучше эту куокле. Когда сделается тебе тяжело на душе, то играй на ней, и пропадут все печали твои и заботы. Людям часто недостает того, чего нельзя получить ни за золото, ни за серебро, ни силой, — недостает им покоя душевного. Играй на этой куокле и другим людям на утешение».

Нет! Разве это все?

Дедушка Анс, взяв в руки куокле, перебирая пальцами ее струны, старческим голосом спел печальную песню об одной девушке, уронившей в реку золотое кольцо. Она хотела его достать, но упала в воду и утонула. Она была самая младшая и самая любимая дочь в семье. Река унесла ее в море, а море выбросило ее бездыханное тело на берег. На том месте выросла кудрявая липа, у которой было девять ветвей. На девятом году пришли сюда братья утонувшей, срубили липу и сделали из нее куокле. Когда они стали играть на куокле в присутствии матери, мать горько заплакала и сказала: «Как жалобно звучит эта куокле! Так пела моя любимая дочь».

Старик кончил свой печальный сказ. В его глазах блеснули слезы.

. . . . .

День склонялся к вечеру, когда однажды Андрейка, погостив у дедушки Анса, поехал в свой лагерь. Дорога сначала шла полями, потом легла через сосновый лес, частью почерневший, оголившийся от лесного пожара. В лесу была удивительная тишина, нарушаемая лишь иногда криком какой-то птицы да топотом конских копыт. Сквозь

дальние сосны проглядывала красная полоса вечерней зари. Когда проехал гарь, казалось, стало еще тише. С обеих сторон плотно подошли сосны и ели. Насыщенный смолою воздух навевал воспоминания о родных местах Заветлужья. Такие же там сосны, и на усадьбе боярина Колычева всегда так пахло лесом, всегда хотелось видеть красавицу-боярыню... Редко-редко, но приходилось близко ее лицезреть... Всего только два раза она ему в окно улыбнулась, и уже навсегда врезалась в память, в сердце, во все, что есть кругом, эта чудесная добрая улыбка. Что будет с ней теперь? Так бы и поехал туда и жизнь бы положил за нее, чтоб она была в безопасности и не обижена никем.

Но тут же, как всегда, когда он думал о других женщинах, ему на ум приходила Охима, и становилось почему-то ее жаль. Да, боярыня — это чужое, недоступное, а Охимушка — красавица своя, близкая.. Но тут же сердце кольнуло словно иглой: Алтыш! Алтыш! Грешно думать, но уж лучше бы его убили на войне, чем когда-нибудь убьет его он, Андрейка! Господи, зачем так бывает, чтоб одну любили двое?

Но вот начался более редкий лес, покрытый оврагами, мшистыми буграми, зарослями раскидистых листьев папоротника. Повеяло сыростью. Сквозь стволы сосен блеснул пожелтевший от гаснущей зари край неба. Издалека доносились песни, вероятно, из московского стана.

Андрейке показалось, что кто-то поблизости разговаривает. Оглянулся. Никого нет. Конь напряг уши, беспокоится. Затем послышался хруст сухих сучьев. Андрейка хлестнул коня — упрямится, идет вперед неохотно. Кругом гулая тишина, сумеречная мгла обволакивает кустарники, стволы и куши сосен. Покрикивание Андрейки на коня и шлепанье кнута подхватывает эхо, относит в самую глубину леса. И хоть не робкого десятка был Андрейка, однако, и он оробел, — почудилась нечистая сила. И вдруг в то время, когда он пригнулся к шее коня, ласково уговаривая, поглаживая его, около самого лица парня простонала стрела. От ее пера на мгновение обдало холодом щеку Андрейки. Оглянулся — никого нет! Пусто, лес и овраги, заполненные мглою. Тогда Андрейка с диким гиканьем стал нахлестывать лошадь, и она, сорвавшись с места, бешеным галопом понеслась вперед по дороге. Вслед Андрейке просвистело еще несколько стрел, но ни одна не задела ни его, ни лошадь.

После недолгой скачки конь вынес Андрейку из леса в поле. Вдали видны были Дерпт и стан московского войска. Андрейка оглянулся назад, на лес, но никого там не увидел.

В стане было большое оживление. Из уст в уста передавалась весть о том, что епископ и магистрат прислали воеводе свои перемирные условия. В глазах ратников светилась горделивая радость.

— Э-эх, голова!—встретил Андрейку с веселой улыбкой его друг Вологда.— Покуда ты гулял, у нас тут в стане гости из Дерпта были. Князь Петр Иванович чем богат, тем и рад—встретил их с честью... Сдавать, видимо, хотят городишко-то... Как говорится, по гостям гуляй, да и сам ворота растворяй! Поработали мы с тобой, Андрюша, не зря. А против мира пойдет ли кто? Сделай милость: шапку выиграй, кафтан проиграй! Так вот и Дерпт! В воеводском шатре целый день споры с немцами. Говорят, в шатер людишки простые из города наведывались, плачут: «Не бей, мол, князь, Фому за Еремину вину!.. Сними, батюшка, осаду, нам ее не надо!.. Мы-де не лыцари!»

Вологду не узнать! Куда девалась его постоянная молчаливость! Разговорился, не остановишь. Впрочем, и у других воинских шалашей тоже шли веселые, шумные беседы. Всем было приятно, что, наконец, можно будет отдохнуть, да и с мирными людьми по-мирному встретиться. Худой мир все же лучше доброй ссоры.

Андрейка слушал товарищей, а у самого на уме было другое: кто бы это мог напасть на него в лесу? Латыши? Не верилось в это. Они так хорошо обходились с ним, Андрейкой, что никак того допустить нельзя. Кто же это?

Он, наконец, не вытерпел и рассказал о происшествии в лесу Вологде, а Вологда поведал Семке, Семка—Антипке, конюху Василия Грязного. И пошло!

И вот когда Андрейка уже собирался спать, к его шалашу на коне подъехал Василий Грязной. Он соскочил с коня, отвел Андрейку в сторону от шалаша и расспросил о случившемся. Андрейка рассказал все, как было. Тогда Грязной, хлопнув его по плечу, сказал:

— Собери товарищей и айда в поле!.. Караульте всю ночь, и коли заметите кого идущего или едущего из леса в стан, осведоми меня, разбуди, хоть бы я и спал... Смотри, не прозевай!

Андрейка собрал нескольких своих друзей из пушкар-



ского обоза и с ними отошел от стана с полверсты, раскинув товарищей цепью с той стороны, где виднелся лесок. Пушкари легли на землю, чтобы их не было заметно, и стали глядеть вдаль, на лес.

Ночь была лунная, поверхность поля светлая, серебристая — легко разглядеть не только человека, но и крохотных полевых зверьков.

Лежали тихо, не шевелясь.

Стан уже был охвачен сном, только лай собаки да ржание и топоты коней в табунах нарушали спокойствие этой теплой, насыщенной истомой летней ночи.

Вдали черным громадным бугром высился Дерпт со своим замком. Он тоже был погружен во мрак и глубочайшую тишину. Казался вымершим.

И вот в самую полночь из леса вышли два человека.

Пушкари встрепенулись: «Идут, идут!»

С замиранием сердца, загоровшись гневом, Андрейка следил за этими двумя, что вышли из леса. Это «они», конечно, они. Кто же будет в полночь шататься по лесам? Да и час уже недозволенный. Надо находиться в лагере.

Все ближе и ближе эти два человека!

Нетерпение охватило пушкарей, хотелось выскочить и бежать им навстречу, чтоб схватить их, но... лучше уж подпустить их совсем близко, чтоб не убежали опять в лес.

Еще, еще немного! Ну, теперь можно!

Андрейка шепотом сказал:

— Один направо, другие налево, а я пойду прямо на них!

Так и сделали. Вскочили и что было силы помчались навстречу этим двум неизвестным.

Прошла какая-нибудь минута, и в руках пушкарей оказались Василий Кречет и его приятель, татарин Ахмет, давно уже замеченный ратниками в воровстве.

Кречет пробовал было отбиваться ножом, но его повалили, отняли нож и надавали ему тумаков. У татарина взяли лук и две стрелы.

Андрейка пошел к шатру Василия Грязного. Разбудил его. Грязной быстро оделся и пришел к месту, где под охраной пушкарей стояли Кречет и Ахмет. У Кречета на голове еще была повязка, прикрывавшая рану, нанесенную ему Андрейкой. Грязной указал ему на повязку, усмехнувшись:

— Мало, видать, тебе этого!

Он отвел их в сторону от остальных ратников и спросил их, по своей ли они воле хотели убить Андрейку или по наущению. Долго они увивали от прямого ответа, но когда он сказал, что если они будут утаивать правду, то он, Василий Грязной, учинит им жесточайшую пытку, если же они скажут правду, будут прощены, Кречет чисто-сердечно покаялся в том, что он имеет зло против Андрейки и что хотел его убить, но на этот раз он пошел в лес вместе с Ахметом по наущению боярина Телятьева, у которого Ахмет служит конюхом. Телятьев подговорил Ахмета, а Ахмет его, Кречета. Оба они давно уже в дружбе, а потому и решили идти оба и получить в награду пятьдесят ефимков от боярина Телятьева.

Грязной отпустил их с миром, приказав никому не говорить обо всем случившемся. Хранить в тайне.

После этого он подошел к Андрейке и его товарищам и тоже приказал им молчать.

Пушкарки пошли в свои шалаши разочарованные, им ведь так хотелось по-своейски расправиться и с Кречетом, и с Ахметом, отомстить им за своего товарища пушкаря!

## V

Ответа московского воеводы в Дерпте ждали с лихорадочным нетерпением, а граждан, посаженных в тюрьму за сочувствие россиянам, поторопились выпустить на свободу. Стали дружить с ними, боясь их жалоб и оговоров Шуйскому, страшась мщения.

Бывшие узники ходили по улицам с гордо поднятой головой. Ведь они же давно доказывали, что надо сдать город, что русские не такие злые, как их расписывает магистр. Им не верили. Их бросили в тюрьму за это, а теперь... весь город только о том и думает, чтобы Шуйский подписал договор. Правда оказалась на их стороне.

Ночь на семнадцатое июля прошла в молитвах и гаданиях: подпишет или не подпишет? Женщины толпами ходили в замок с грудными детьми на руках, умоляя епископских советников согласиться на все требования воеводы... Бог с ним! Если он будет несправедлив, господь его накажет, но пальбы страшных русских пушек дольше переносить женщины и дети не могут.

Уже светало, а на улицах все еще бродил народ; сонные люди, собравшись в кучки, мучились сомнением: не

слишком ли дерзкие и неисполнимые требования предъявил воеводе епископ, да и магистрат тоже?

Томившиеся петерпением на городской стене немцы вдруг увидели всадников с белым стягом мира, медленно приближавшихся по дороге к замку... Кони дородные, красивые. Всадники в золоченых латах, ослепительных в лучах восходящего солнца, красиво гарцуют на виду у горожан.

Тревожные минуты: да или нет?

Воздух оглашается властным гулом боевых труб.

С визгом торопливо опустился скрипучий железный мост через ров, распахнулись широкие ворота Дерпта... Всадники, прямые, гордые, загорелые, бородатые, гарцуя, торжественно въехали в город.

Толпы народа бросились им навстречу.

Тихо выехали из замка, тоже верхами, советники епископа и члены городского магистрата. Встретились. Обменялись приветствиями. Неподвижно застыли, внимая грамоте воеводы.

— Слушайте, ливонские люди! — громогласно восклицал глашатай воеводы. — «По милости величайшего из государей, великого князя, царя и самодержца всей Руси Ивана Васильевича его слуга, воевода князь Петр Иванович Шуйский, условия епископа и магистрата принимает. Князь приказывает, кто имеет желание выехать из города, пускай собирает свое добро и свободно выезжает, куда хочет. Князь обещает приставить к ним свою, московскую охрану, дабы на них не было нападения со стороны грабителей. За себя, за своих жен и детей со стороны московских людей беды не опасайтесь!»

Прокричав грамоту, московские всадники уехали обратно в свой стан.

Поднялась великая суматоха. Не желавшие остаться в городе, под властью царя, стали спешно собираться к отъезду. Завтра утром, как только на башне пробьет восемь часов, они должны были оставить город. Обыватели рвали друг у друга лошадей, волов. Нагружали все, что можно было увести на телегах, в лодках, в челнах. («Не раздумал бы воевода! Надо торопиться!»)

Епископ велел спешно переправить часть своих сундуков и поклажи водою, а часть — сушею, на возах. Сам помогал своим людям укладываться.

Хлопот много. Всю ночь немцы возились со своим

добром, зашивали деньги в одежду; что не могли взять с собой, зарывали, на всякий случай, в землю: «А может быть?» И все-таки всего захватить и спрятать им не удалось; много добра осталось разбросанным, не убраным, не уместившимся ни в карманы, ни в потаенные места, ни на телеги, ни в лодки... Об этом проливали слезы, казали в карманах кулаки москвитам.

Девушки и юноши ссорились с родителями. Августа увозят в Ригу, а Маргариту родители оставляют при себе, в Дерпте. Родители Августа хотят, чтобы он ненавидел русских, а родители Маргариты желают принять русское подданство. Родители Августа называют родителей Маргариты и ее самой изменниками; родители Маргариты смеются над родителями Августа, считают их глупыми и трусами. И так во многих семьях. Вчерашние друзья стали врагами. Все население Дерпта раскололось на два лагеря. Люди первого лагеря называли себя «ливонской стороною», второго — «московской». Обе стороны пререкались, грозили одна другой втихомолку. Спор католиков с лютеранами пошел по новому руслу: противники обвиняли друг друга в измене, в предательстве.

Ровно в восемь часов утра восемнадцатого июля князем Петром Ивановичем была утверждена перемиренная грамота. Отворились городские ворота.

Первым выехал епископ. Он избрал путь к городу Фалькенау. Его сопровождала охрана численностью в двести всадников. Епископ плакал, благословляя из своего возка провожавших его горожан.

За епископом потянулись нагруженные доверху обозы бюргеров с женщинами, детьми, с домашним скарбом, с кошками, собаками, гусями, курами, привязанными к телегам коровами и иной скотиной. Шествие замыкали обозоруженные кнехты.

Для охраны ливонцев Шуйский выделил сильный отряд детей боярских и стрельцов. Они должны были проводить граждан Дерпта до Фалькенау.

Когда ливонские караваны медленно, подняв клубы пыли, ушли на запад, Шуйский потребовал, чтобы к нему явились из замка бургмейстер, ратманы и выборные от городской общины для сопровождения его самого с подобающим почетом в город.

В стан воеводы вскоре прибыли в повозках и верхах представители оставшихся властей Дерпта, среди них

лица римско-католического духовенства. Они почтительно кланялись Шуйскому и всем другим воеводам, выражая полную покорность и готовность честно служить Москве.

Московские полки торжественно тронулись в путь. Впереди поехал один из воевод с мирным знаменем. Громким голосом он кричал встречавшимся по дороге немцам, чтоб они жили в городе спокойно и ничего не боялись. Лицо его от натуги было напряженное, глаза блестели властной снисходительностью, вся его прямо сидевшая на коне широкая фигура говорила о том, что он посланник победителей.

За этим воеводой следовал другой воевода во главе отряда детей боярских и дворян. Им приказано было занять замок.

Третий воевода поехал со стремянными стрельцами, чтобы расставить караулы на улицах, рынках и на стенах города.

После занятия города и замка величественно, под гул труб и набатов, тронулся в путь верхом на коне и сам князь Петр Иванович Шуйский, со своими товарищами, воеводами Троекуровым, Курбским и Адашевым.

Член капитула Ордена в белой маптин с крестами, ратманы и выборные от городской общины поехали впереди князя. Они, как хозяева, показывали Шуйскому дорогу и делали знаки руками, что они отдают во власть московского царя город и замок.

У городских ворот Шуйского встретили члены капитула, посланные от магистрата и общины и, сдерживая рыдания, поднесли ему на серебряном блюде ключи от города и замка.

С легким поклоном Шуйский принял ключи, передав их тут же ехавшему около него дяку.

Обыватели, видя доброе отношение к себе московских воевод, с любопытством разглядывали въезжавших в город русских воинов.

Вскоре бирючи возвестили населению о том, что князь-воевода запрещает кому-либо, под страхом смерти, обижать мирных жителей. Бюргерам и торговцам строго-настрого было запрещено продавать русским воинам вино и другие напитки, в предупреждение несчастий.

Ратников разместили в замке, в садах и в опустевших домах, брошенных жителями.

Двух московских ратников, по приказу Шуйского, позорно выпороли на площади за то, что они присвоили себе оставленные жителями в одном из домов серебряные кубки. Ничего брать самовольно в домах Дерпта русским воинам не разрешалось. За этим особо следили люди, назначенные Шуйским.

Князь поручил нескольким боярам со стрельцами объезжать улицы города и предместья, забирать петрезвых и всех, кто вел себя «неподобающе». И тех и других арестовывали.

В государеву казну собрали по городу и замку такие богатства, что Шуйский невольно воскликнул:

— Дивлюсь неразумию людей! Да этакое богатство давно бы с лихою покрыло дань, которую требовал у Ливонии царь!

У одного только дворянина Фабиана Тизенгаузена, по доносу горожан, было отобрано восемьдесят тысяч деньгами, то есть на двадцать тысяч более суммы дани, которую требовал царь в покрытие долга.

Когда Петр Иванович окончательно обосновался в замке, магистрат и община прислали ему в подарок корзину с вином, пивом и разными другими припасами; прислали свежую рыбу и зелень. Все это он сначала дал попробовать людям, которые доставили ему припасы. Шуйский объявил представителям магистрата, чтобы со всякой жалобой на ратных людей жители обращались прямо к нему. Он сумеет наказать виновного и защитить невинного. А спустя несколько дней он пригласил к себе в гости весь магистрат, общину, эльтерманов, старшин и угостил их обильным обедом.

Воевода Шуйский приказал Дерпт считать русским городом и называть его по-старому—Юрьевом.

. . . . .

Весть о падении неприступного, хорошо вооруженного Дерпта напугала всех его соседей. Первым бежал из своего замечательного замка «Витгенштейн» фогт Берент фон Шмертен. Бежал без оглядки со своей дворней, оставив совершенно открытым хорошо защищенный крепкими стенами и крупными орудиями замок. За ним стали бросать свои владения и другие фогты. Зажиточные граждане оставляли все свое имущество и в страхе бежали куда глаза глядят.

Зато «черные люди» — латыши и ливы — с большою радостью встречали в деревнях и селах продвигавшихся дальше московских воевод и ратников. Воеводы обещали им защиту и поддержку царя всея Руси Ивана Васильевича, который знает о всех них — латышах, эстах и ливах — и печалует об их горькой участи под лихою властью жестоких орденских владык. Шуйский помнил наказ царя и всемерно стремился привлечь на свою сторону подневольный люд.

Он созывал их на работу: рыть окопы, насыпать валы, ставить частоколы, где требовалось. Оплачивал их труды щедро, давал хлеба, соли, мяса.

По войску вышел приказ: отнюдь не чинить в селах и деревнях никакого утеснения крестьянам. Виновным грозила смерть.

Василий Грязной прочитал этот приказ пушкарям.

Не всем он пришелся по душе. Особенно тем, кто до завоеванных девок и баб был охоч.

Андрейка спорил с товарищами, втихомолку роптавшими на воеводскую строгость.

— Не от себя приказывает воевода — царь так велел! — сердито заявил Андрейка, поглядывая в сторону Василия Кречета.

Этого было довольно, чтобы все присмирели!

## VI

Ревель.

Ночные сторожа (нахтвахтеры) уже просвистели два часа.

Неширокие, ломаные и гнутые улицы, узкие, многоэтажные дома с высокими фронтонами под крышей, с витыми лестницами, с кольцами у ворот для постукивания вместо колокольчиков, с окнами во двор, небольшие площади с фонтанами — объяты густым зеленоватым мраком безлунной приморской летней ночи.

Древние башни ревельских твердынь, поросшие на уступах мхом и кустарником, грозными тенями высятся над окрестностью. На гребнях городских стен осторожно перекликаются караульные кнехты. А совсем рядом шуршит сдержанный ропот седых морских волн, омывающих гряды подводных камней близ рейла.

Изредка в тишину ночи врывается тяжелый вопль цепей подъемного моста, опускаемого к ногам нетерпеливых

всадников, затем звонкая дробь взбега усталых коней по зыбким железным перекладам громадины-моста, снова скрип цепей, и опять покой и несмолкаемый ропот морских волн.

Недалеко от Рыцарского дома, в небольшом каменном флигеле ратмана Георга Шмидта, при слабом свете единственной восковой свечи, при тщательно завешенных окнах, происходило важнейшее собрание. Только что прибыл в Ревель из Або от королевича Иоанна, наместника шведского короля Густава в Финляндии, посол Генрих Классон Горн.

Его лицо, освещенное бледным огоньком свечи, было серьезно. Черты мужественной самоуверенности чувствовались во внешнем облике посла и в его манере говорить. Поглаживая рукою в драгоценных перстнях свою рыжую бороду, подстриженную «лопатою» и завитую волнами «по-египетски», он с небрежной неторопливостью доказывал, что у Ревеля нет иного спасения от русских, как перейти в подданство финляндскому королю Иоанну. Тонкие, подкрашенные черным, брови Горна, необычайно подвижные во время разговора, выразительно подчеркивали значение тех или иных его доводов. Говорил он, что его приезд, в сущности, не имеет официального значения, что сам король Густав, отец Иоанна, против вмешательства Швеции в ливонские дела, но для Ливонии явится не бесполезным, если шведский король будет больше знать, чем датский, о трудностях, переживаемых Ревелем. Германский император, покровитель Ливонии, находится далеко, и не особенно-то он вступает за Ливонию, а Швеция и Финляндия рядом. Тот же самый император Фердинанд пишет королю Густаву письма с просьбой заступиться за Ливонию. Он бессилен сам это сделать. А уж кто ближе-то к Ревелю, как не Финляндия?!

Горн, с кратким сочувствием в голосе, старался убедить магистрат Ревеля в том, что искреннее желание короля Иоанна клонится к сохранению совершенной самостоятельности Лифляндии, что он не потерпит утверждения в ней какого-либо иного королевства, и особенно Дании. И если ливонские власти не в силах будут отстоять самостоятельность и неприкосновенность Ревеля, то что же остается ему делать, как не отдаться под власть надежного соседа. Что касается короля Густава, то его можно будет уговорить, ибо кто ему досаждал более московского царя!



Последние слова Горн произнес с великою осторожностью, шепотом.

При упоминании имени московского царя во всех углах раздались тяжелые вздохи. Громадная, неотразимая опасность, как навязчивый призрак, как страшный сон, вновь со всею силою легла на сознание ревельских правителей.

— Царь!.. Да, царь! — тихо, с убитым видом, как-то невольно повторил ратман Шмидт.

Произнесенные им слова странным образом оживили Генриха Горна. Он, не глядя ни на кого и перебирая свои четки, с тихой улыбкой, в которой сквозило одновременно самодовольство и злорадство, вкрадчиво сказал:

— Вот вам и варвар и дикарь!.. Как часто люди тщетно негодуют в то время, когда надо действовать! Московит обязан своей силой не тому, что он варвар и дикарь... Нет! Он заставляет всех удивляться своей живой находчивости: он выстрелил именно тогда, когда ему подставили лоб. Этот дикарь вовсе не дикарь, как вы думаете; он умен, а жестокость его не может затмить в этом славы иных христианских государей... Болтовня про сию жестокость уводит королей в сторону от горькой правды...

И вдруг неожиданно он задал вопрос:

— А что делают в Ревеле офицер датского короля Христофор фон Мунихгаузен и его брат Иоанн Мунихгаузен? И почему он именует себя штатгальтером датского короля в Эстляндии, Гаррии и Вирланде? Откуда он такую власть взял?! Из чьих рук?! Что же говорить о русском царе, когда у вас, в Эстляндии, хозяйничает чужой король?!

Один из ратманов робко ответил, что оба брата Мунихгаузены хлопочут о том, чтобы нажить деньги путем передачи острова Эзель молодому брату датского короля, герцогу Магнусу, в епископство. Дания предъявляет свои древние права на остров Эзель. Этим и пользуются Мунихгаузенны. Оба они из Эстляндии не уйдут, не получив от датского короля за услуги денежную награду. Магистр против захвата Магнусом острова Эзель с городом Аренсбургом. Будет борьба между Магнусом и магистром Ливонии.

Взгляд Горна стал холодным.

Он неодобрительно покачал головой и сердито забарабанил пальцами по столу.

— И вы терпите таких мошенников?

Никто ему не ответил. Страшно было сказать что-либо плохое о Христофоре Мунихгаузене. Недаром он марширует со своими кнехтами ежедневно по улицам Ревеля. Каждый знает, от мала до велика, что кнехты, эти сорви-головы, принесли ему присягу в верности. Среди ревельских обывателей уже ходили слухи о скорой высадке на берегах Эстляндии войск короля Христиана. Это пахнет насильственным захватом Эстонии под видом спасения ее от завоевания Москвой.

Сам Мунихгаузен объявил однажды во всеуслышанье, что он дал обязательство датскому королю не допускать в Ливонском ордене перемен, не соответствующих интересам датской короны.

Хитрый посол финляндского короля угадал в этом молчании ревельских правителей трусость, тайное сочувствие своим словам и подавленную обиду ревельцев на датчан.

С этой ночи между Горном и городским советом установились тесные дружеские отношения. Горн дал Шмидту слово доносить ему все о датских и польских интригах в городе, обдумывал с ним вместе новые политические планы, возникавшие в среде ратманов, делился известиями с театра войны... Ратманы приняли все расходы Горна на свой счет, наперерыв один перед другим доставляя ему съестные припасы; заботились об удобствах его жизни, стараясь всячески доказать ему свою искреннюю преданность. В его лице они хотели найти себе полезного сообщника в интриге против датчан. Они так увлеклись этим, что стали забывать о том, что, не попав в руки датчан, они попадают в руки финского короля.

Горн не сидел сложа руки. Он завел себе сыщиков, которые ходили по площадям и рынкам, по гавани, везде подслушивая, о чем говорят между собою ревельцы, каковы их настроения. Иногда он лазил на крепостные стены, подкупал кнехтов веселыми беседами и вином, знакомился с вооружением города. Особенно же внимательно изучал Горн торговлю Ревеля, этого богатейшего порта на берегах Балтики. Вскоре у Горна появился как будто случайно встретившийся с ним в Ревеле другой швед — Фриснер. Приехал он якобы из Дании, где учился печатному художеству. Горн и Фриснер стали прогуливаться по городу и его окрестностям вместе. Всегда веселые, шутливо настроенные, они были щедры к нищим и убогим и поэтому заслужили репутацию «добрых христиан». А что

может быть выше этого в глазах верующего ревельского обывателя?

Фриснер оказался художником. Он с большой охотой рисовал стрельницы крепостных стен, дома видных граждан, окрашенные зеленой краской, железные решетки, окружавшие их; тщательно изображал фасады домов, обрамленных к морю, усердно обводя черными и белыми полосами, как в натуре, оконные рамы; готические колокольни, почерневшие главы церквей, аркады ворот—все привлекало его внимание.

Мало-помалу верным слугам Иоанна удалось добиться у ревельских властей симпатий к финляндскому герцогству. Особенно подружились с Горном и его товарищем ратманы города Иоанн Шмедман и Герман Больман.

Часто можно было их видеть в Розовом саду на высоком месте у Больших морских ворот, недалеко от городской башни «Длинный Герман». Сад этот был любовно взращен богатыми ревельскими купцами; отсюда они любовались видом на море и окрестности, а больше всего на свои нагруженные богатыми товарами корабли, плавно под распушенными парусами подходившие к ревельскому рейду и отплывавшие от него. Сад был обведен невысокою стеною, сложенною из необтесанного камня с прозеленью. Стена предохраняла Розовый сад от появления в нем коров, коз, свиней и всякой другой скотины.

Посредине сада росло высокое, роскошное дерево с длинными раскидистыми ветвями. Под этим деревом были поставлены скамьи. Вот тут-то и просиживали целыми часами финляндские гости с Шмедманом и Больманом, беседуя о ревельских делах.

В будни здесь было пустынно, безлюдно, и поэтому беседа друзей приобретала более домашний, интимный характер.

Оба ревельских ратмана тяжело вздыхали о том, что в происходящей в мире сумятице их родному свободолюбивому народу ни на кого нельзя опираться, кроме как на Финляндию. Она совсем рядом с Эстонией, и никто не может оказать ей помощи скорее, нежели герцог Иоанн.

Одно смущало ратманов: из Ревеля уехал в Германию фогт города Тоисбургга Генрих фон Колленбах; он — ярый сторонник немецкого владычества в Ливонии. Как бы не собрал он там войско да не высадился бы с ним в Ревеле?

Шведы посмеялись над этим — слишком слаба сама-то Германия. Где уж ей!

Но вот однажды их мирная дружеская беседа была нарушена тревожным завыванием сигнальных труб.

На площадь к ратуше толпами повалил народ. Туда же почти бегом устремились и финляндские послы. Оказалось, пришло известие о падении Дерпта. Непрístupная крепость, ключ ко всей Ливонии, находилась уже в руках Москвы.

Воздух огласился плачем, проклятиями.

К великому удивлению ратманов, шведские друзья их встретили это известие не только с полным равнодушием, но даже с некоторой долей удовольствия в глазах.

— Так и должно быть, — с дьявольской улыбкой сказал Фриснер, — Орден заслужил это.

Напуганные падением Дерпта, ревельцы послали магистру письмо, в котором писали:

«Мы должны пить и есть, на нашей обязанности укреплять стены города, закупать порох и оружие, наемывать кнехтов и стрелков, — средства же наши все истощены; мы много потеряли, послав осажденной Нарве 12 больших орудий, пороха и провианта. Каждый день мы должны быть готовы к встрече русских. Отстоять город собственными силами мы не в состоянии. К нам все обращаются за помощью, мы же вынуждены всем отказывать. Раз у человека на руке отбиты четыре пальца, пятому уже нечего делать. Пример Дерпта всего поучительнее. Как дети, покинутые своим отцом, мы взываем к вам, ко всем прелатам, господам и дворянам: помогите нам, иначе, доведенные до крайности, мы примем помощь от иноземных государей!»

Письмо писалось под диктовку датского представителя в Ревеле Мунихгаузена, заранее уверенного, что Ревель теперь отойдет к Дании. Затем письмо было тайно прочитано шведско-финскому представителю Горну, который его вполне одобрил, так как он был твердо уверен, что Ревель отойдет к Швеции.

И тот и другой были уверены в беспомощности самого магистра.

И тот и другой радовались неудачам ливонцев в Нейгаузене и Дерпте и при всяком удобном случае напоминали ревельцам, что ныне граница московских владений проходит совсем недалеко от Ревеля. Всего каких-

нибудь сто верст от Тольсбурга, в котором хозяйничают русские.

Торговый богатый город Ревель стал любимым местом для датских и шведских путешественников.

В Ревеле были убеждены, что падение Дерпта — следствие измены епископа! Уже давно многие подозревали его в тайных сношениях с Москвой. Поминали при этом опять-таки купца Крумгаузена и епископа-канцлера, уже ездившего тайком ото всех в Москву. Говорили, что епископ Герман давно на стороне царя, который порицал ливонцев за измену католичеству и за принятие лютеранства. А епископ — католик. Отсюда все и ведется. Царь перехитрил магистра.

После этого стали искать и у себя, в Ревеле, сторонников царя Ивана. Оказалось, что и здесь они уже объявились среди купечества. Хватали иных, бросали в тюрьмы. И когда только успел москвит соблазнить столько неразумных людей! И чем он привлекает их к себе. Пытали узников и ни до чего не допытались; кое-кого спустили на дно морское.

Великий страх родил взаимное недоверие.

. . . . .

Шумит, волнуется Балтийское море.

Герасим и Параша тихо бредут вдоль песчаной косы. Ветер гуляет по водяному простору; бежит на берег волна за волной. Конца не видно колеблющейся зеленоватой водяной пустыне. А там, где небо сходится с водой, медленно опускается солнце.

Среди пенистых гребней вечернего прибоя мелькает хрупкий рыбацкий челн. Он то исчезает в волнах, то снова появляется на гребне.

У самых ног ложатся седые неугомонные волны и, пенясь на сыром разбухшем песке, бесследно вновь тонут в пучине.

Солнце коснулось воды, и вот уже частица его погрузилась в море, а вскоре и все оно скрылось за горизонтом.

Рыбацкий челн вынырнул совсем рядом. Вышел из него высокий угрюмый эст в войлочном колпаке, зашлепал босыми ногами по воде, потянул челн за собой на длинной бечевке. Вытащив на песок, остановился, тоже залюбовался закатом. Когда солнце скрылось, подошел к

Герасиму, попросил его помочь; оттянули челн подальше от воды. Приподнял шляпу, поблагодарил Герасима.

— Умеешь ли по-нашему говорить?

— Мало умею... Мало! — устало ответил эст, сосредоточенно прикручивая веревку к колышку, вбитому в песок.

Из-под хмурых бровей глядели добрые голубые глаза.

— Много ль, добрый человек, вас тут рыбаков-то? — чтобы завязать разговор, спросил Герасим.

Эст снял шляпу, провел ладонью по лбу, по своим длинным волосам, доходившим до плеч, засмеялся.

— Много!.. Рыбы хватает... Всем хватает... И русскому хватит, и немцу хватит... эсту хватит... Много!

Параша и Герасим переглянулись. Рыбак, очевидно, понял так, что русские боятся, как бы эсты не выловили всю рыбу, не оставив ничего русским.

— Нам рыбы не надо... — покраснев, сказал Герасим. — У нас свои реки есть и озера, и там ой как много рыбы!

Эст посмотрел внимательно в лицо парню. И, указав на саблю, озабоченно спросил:

— Бить не будешь? Отнимать рыбу не будешь?

Параша весело рассмеялась.

Рыбак с удивлением на нее посмотрел.

— Чего смеешься?

— Полно тебе, дядя!.. — покачала она головой. — Мы не разбойники... За кого ты нас считаешь?

Рыбак выслушал ее слова с растерянным видом. Он указал на саблю.

— А это? Зачем?

Герасим ответил:

— Недруга бить...

Эст спросил, правду ли говорят люди, будто Москва взяла Дерпт и будто епископ у них в плену. Герасим не слышал ничего об этом. Он ответил, что впервые о том слышит, и то только от него, от рыбака. Эст вздохнул, сказав, что хоть и далеко от Ревеля Дерпт, но не миновать осады и Ревеля. В окрестных деревнях об этом все уже давно говорят. Но будет ли от того эстам лучше? И тут же он заметил: будет лучше или нет, но все эсты обрадуются, если рыцарей Москва побьет. «Хуже этих рыцарей никого нет!» — сказал он.

Лицо рыбака стало серьезным. Он приложил руку к сердцу.

— Слушай! Эсто, мал ребенок, говорит: «Ой, дедушка Тара<sup>1</sup>, куды мне деться? Леса полны волка и медведя; поля полны господ... Там кнут, депи... О, Тара, покарый моего отца, мой мать, пошто родил меня в такой стране!» У нас плохо...—и, указав на саблю:—У нас нет ее...—Эст развел руками.—Нет!

Герасим подарил ему небольшой кинжал. Тот сначала отказался, потом низко поклонился, вынул из короба крупную рыбу и отдал ее Параше, а затем, разглядывая кинжал, торопливо пошел вдоль берега.

Параша рассказала, как она жила в эстонской деревне после того, как эсты отбили ее у рыцарей.

— Великая бедность в их домах, земли у них нет, что добудут в лесу, тем и питаются, и каждым куском делились со мной. Они—язычники, а мною, христианкой, не тяготились и не принуждали к своей вере...

Незаметно подошли Герасим и Параша к шалашу, сплетенному из ветвей и поставленному между двух громадных камней. Отсюда хорошо было видно море и песчаные, усеянные большими гранитными глыбами берега. Местами нанесенный морскими волнами песок образовал целые холмы. Герасим сказал, что эти холмы называются дюнами.

— Давай посидим здесь,—предложил он.

Сели в шалаш.

— А в Дерпте-то жара. От зноя будто падают кони и люди. А здесь прохладно, влажные морские ветры разгоняют жару.

— Господь позаботился о нас с тобой, это правда,—тяжело вздохнув, произнесла Параша,—но каково там нашим? Помолимся о них, о нашем войске!

— Помолимся! Дай бог здоровья моему земляку Андрею!—перекрестился Герасим, обратившись на восток.

Помолилась и девушка.

— Где-то он теперь? Жив ли он? Свидимся ли вновь?

В несколько дней ратники возвели между Тольбургом и Ревелем городовые укрепления: рвы, частоколы, рогатки, построили вышки и огневые шести. Герасим был назначен начальником приморского займища. Его десятия примыкала к самому морю, и для береговой охраны против

---

<sup>1</sup> Тара — в древности высшее языческое божество эстов.

морских разбойников в воду были спущены ладьи, целых два десятка, с пиджаками и баграми.

И теперь Герасим находился на берегу не ради прогулки, а проверял бдительность стражи, разбросанной по побережью.

Разрасталась огромная темносерая туча. Подул сильный ветер. Заворчал грозное море. Повеяло холодом. Сквозь вой ветра и рев волн до слуха донеслись женские и детские голоса.

Параша выглянула из шалаша.

Много женщин с грудными младенцами на руках, окруженные толпой босоногих, полураздетых ребятишек, прибежало к берегу. Море бурлило, кругом страх и смятение. Женщины беспомощно толпятся на берегу, тревожно вглядываясь в бушующую даль. Шалый ветер рвет с них одежду, развеивает их волосы, осыпает их песком, а они, несмотря ни на что, стоят и беспокойно ищут глазами в море рыбацкие челны... Там их отцы, мужья, братья, сыновья! Немало уже поглотило ненасытное море рыбаков, немало осиротело семей из-за него; оно, как и люди этой страны, живет и движется в вечной борьбе и смятении... В такую бурю в морской глубине теряют свою власть добрые духи, лишь злые — русалки и ундины — носятся по ее безмерным пространствам... И кто может поручиться, что не наметили они себе в жертву кого-нибудь из рыбаков! Женщины перепуганы, еле дышат от страха и усталости; дети плачут, с испугом тараща глазенки на матерей...

Замелькали черные точки в волнах: они то вздымаются, то скрываются в пучине волн, и кажется, что они уже больше не появятся, но вот налетает новый шквал, и опять они на гребнях...

Параша подошла к женщинам. Их страдальческие лица были обращены к морю. Они ничего не видали, кроме этих черных точек, которые становились все ближе и крупнее. Вот уже видны люди, сидящие в челнах. Но удастся ли рыбакам спастись? Шквал усилился. Волна за волной покрывают ладьи.

Параша сама с трепетом следила за рыбаками, но, как всегда, старалась владеть собой. Она принялась успокаивать женщин, взяла на руки одного маленького, худенького мальчика, которому в рубашечке было холодно, прижала его к себе, стала отогревать. Герасим ушел



далеко, в пески, к морю, присматриваясь к рыбачьим челнам. Они теперь крутились совсем близко от берега, то бросаемые волнами к пескам, то снова уносимые мощным потоком назад в море. И вот, когда казалось, что спасение близко, вдруг оба челна сильной волной подбросило над песками и разбило; люди оказались в воде... Они барахтались, стараясь выбраться на берег, но их отбрасывало снова в море.

Герасим побежал к челну, стоявшему на земле около шалаша, столкнул его и с большим трудом стал вылавливать из воды изнемогавших от борьбы со стихией рыбаков. Временами челн скрывался под водой, но каждый раз, когда он снова появлялся на поверхности, Параша видела в нем еще нового человека. Стараясь подавить страх, следила она за ладьей Герасима. Чем все это кончится?! Сидевший у нее на руках мальчик прижался личиком к ее щеке, и ей было от этого легче. Наконец с большими усилиями Герасим привел свой челн благополучно к берегу.

Навстречу ему бросились женщины, среди них и Параша с ребенком на руках. Спасенные русским ратником рыбаки горячо благодарили его. Жены их плакали — слишком много пережили они за эти несколько минут.

Параша с гордостью смотрела на мокрого, красного, с трудом переводившего дыхание Герасима, окруженного эстонскими рыбаками и их женами. Ей пришлось расстаться с ребенком. Мать, обрадованная благополучным возвращением мужа, поблагодарила Парашу и повела мальчонку за руку домой в деревню.

Распрощавшись с рыбаками, Герасим сказал Параше: — Ну, и сердито море! Я думал — утону. Из сил выбился.

Лицо Параша, разругавшееся, довольное, пленяло Герасима добротой серых, так просто, дружески смотревших на него глаз.

Со стороны моря понеслись песчаные вихри, засыпая песком зеленые дуга, засоряя глаза... Сверкнула молния, загредел гром. Началась сухая гроза. Тяжелые синие тучи низко дзигались над морем и песками, уходя на запад.

Молния ярко освещала бурное море, песок, камни. Вокруг ни души! Вдали мрачной серой громадой высился замок Тольбург.

Гром гремел непрерывно.

Огненные стрелы с оглушительным треском падали то в море, то в полях, то над видневшимся вдаль лесом.

— Страшно, Паранька? Боишься?

— Нет! Ничего! — робко перекрестилась она. — Потопимся.

Стали видны шатры береговой стражи. Скоро ночлег. Уже вечереет.

## VII

Со взятием Нейгаузена, Дерпта и других более мелких замков вся восточная Ливония оказалась в руках московского войска. На севере, от самого Чудского озера и вплоть до Финского залива, — покоренные царем земли. Берег Балтийского моря занят русскими на протяжении более ста верст.

Воеводы не поскупились уделить из своего войска большое число ратников для охраны завоеванного берега. Они сами по очереди с хмурым любопытством совершали объезды приморских земель, дивясь не виданным никогда ранее загадочным далям водяной пустыни. Часть орудий, привезенных сюда из покоренных замков, расставили по берегу, повернув их дулом к морю.

Ближайшие к Дерпту города — Феллин, Оберпален и Вейсенштейн — опустели. Многие обыватели сжигали свои жилища и укрывались за стенами городов.

Имя московского царя по всей Ливонии произносилось с трепетом.

Обрадованные взятием древнейшей царской вотчины Юрьева — Дерпта, воеводы послали в Москву к царю с воеводским донесением лучших воинов из боярских детей и дворян, а к ним впридачу и лучших пушкарей. Старшими над гонцами были поставлены Василий Грязной и Анисим Кусков. Попал в число посланных к царю и лучший из пушкарей — Андрей Чохов. На него указал сам Василий Грязной, выказывавший особое расположение к нему.

Запасшись едой, фуражом и лучшими конями, а также захватив с собой связку немецких знамен, гонцы весело двинулись в путь.

Июль был на исходе. Родные луга и поля ласкали глаз обилием желтых, лиловых и белых цветов и пышных трав, леса — обилием грибов, сочных, ярких ягод и плодов. Ливо-

ния осталась далеко позади, — теперь была своя, родная, горячо любимая земля!

Грязной дорогой шутил, смеялся, вспоминая про схватки с неприятелем под Нейгаузенем и Нарвой. Видно было по всему, что он с большой радостью вырвался из военного лагеря, что его тянет в Москву. Он подъезжал зрелыми к Андрею и дружелюбно расспрашивал его:

— Ну, как, добра ли была к народу боярыня?

— Добра и уветлива, батюшка Василий Григорьевич. Любил ее народ.

— Вот поди ж ты, такому старому барсуку этакая краля досталась. Обидно! Ну, жаль тебе ее, что ль? Как она одна-то там теперь?

— Бог ведает! Плохо, гляди, ей, плохо!..

— Ну, а жаль тебе боярыня-то?

— Сперва-то было вроде как жаль, а теперь ничего... Господь с ним, с Никитой Борисычем... Лют был покойник, лют! Что уж тут! Добрым словом едва ли помянешь.

— Хлебородна ли земля-то у вас?

— Благодаренне господу богу! Жаловаться грешно. Земля добрая.

— Любил ли народ боярыня-то?

— Нет! Нет! Куды тут! — сморщившись, покачал головой Андрейка. — Медведь за ним гонялся... Так и думали — прощай, боярин! Ан нет! Вывернулся! Бедовый был.

Кусков часто молился. Андрейке удивительно было такое усердие его. Сам Андрейка тоже иногда обращался с молитвою к иконе, которую носил за пазухой, но Кусков молился на свою икону беспрестанно, украдкой, стараясь, чтоб не заметили другие. В самом деле, не шуточная статья явиться перед грозные очи царя. Так уж повелось, что у царя очи обязательно «грозные». «Царский глаз далеко сягает!» — говорили про Ивана Васильевича.

Однажды Кусков, молясь, заметил, что Андрейка за ним наблюдает, и смутился:

— Земли плоха округ моей усадьбы... Молюсь, чтоб лучше она стала и умножилась... А ты, парень, о чем молишься?

Андрейка большею частью молился о боярыне Агриппине и об Охиме и чтоб бог простил ему прегрешения его, а им обоим дал здоровья и счастья, да еще о пушке о большой, чтоб ему ее ладно сделать, молился он. Ну, как

тут ответишь на вопрос Кускова? Он с любопытством ждет ответа.

— Я и сам не ведаю, о чем молюсь... Так! Обо всем!

Лукавая улыбка заиграла на лице Кускова.

— Молись, чтоб царь был милостив ко мне, — первым человеком сделаю тебя после войны на своей усадьбе. Люблю таких горячих до работы, как ты.

Андрейка вздохнул.

— Ладно, помолюсь. Ох, ох, господи! Прости грехи наши тяжкие!

Дорогою Кусков не раз начинал размышлять, что он будет говорить царю. О чем его просить? Всяко думал, но, как бы там ни было, он надеялся выслужиться — у него есть о чем донести царю, дабы не было порухи государеву делу. Из бояр кое-кого приметил он, — про царя неладно в лагере судили и его, государеву, волю к войне охаживали, бражничали во Пскове, с неохотой шли в поход и сиживали сложа руки в шатрах, когда надо было врага истреблять. С врагом милостивы были не по чину. Да разве только это?! Слышал он, Кусков, от людей, будто с псковскими и новгородскими купцами бояре тайно сносятся и посулы от них берут. У самого Петра Ивановича Шуйского рыло в пуху, а уж про его родственничка Александра Горбатого и говорить нечего. Всем им по душе и новгородские и псковские обычаи. Любо им, что и по сию пору эти города считают себя выше Москвы, богаче, славнее ее и что дух мятежный, независимый силен там. Со шведами, Литвой и немцами у Новгорода и Пскова старинная дружба. Своенравие, дух независимый и богатство новгородцев и псковичей по душе боярам да князьям. Долго ли тут и до измены! И кто знает, чего ради воеводы так уж милостивы с лифляндскими дворянами и командорами?! Правда, царь не приказал учинять насилий в завоеванной стране, но и обниматься с врагами-немцами приказа тоже не было. Нет ли и тут чего? Нет ли какого злоумышления?! И что во вред, что на пользу — как понять? Да и татар стали воеводы частенько обижать и над царевичами их насмеяться... И все по злобе к царю. А уж про князя Курбского и говорить нечего. Выше всех себя ставит. Литовских людей полюбил, гулял с ними во Пскове у всех на виду. Про Курбского есть о чем донести царю.

Многие незнатные дворяне думают так же. Вон дворянин Курицын из Пушкарской слободы кое про кого уж словечко молвил. И царь сотником его сделал да ласковым словом одарил, но и тех совсем не тронул, на кого слово было сказано. Может, время не пришло?

Дерзай, Анисим! Ведь недаром же бояре говорят, что царь «новых» людей ищет. Недаром Курбский в шатре говорил Телятьеву, что «писарям князь великий zelo верит, избирает их не из шляхетского рода, не от благородна, но паче от поповичей или от простого всенародства и, ненавидяще (бояр), творит вельмож своих, подобно проку глаголющу: хотяще один веселиться на земле». Накипело на душе у бояр. Такие речи не раз вылетали из их уст в походе. Вдали от Москвы языки и развязались, да еще на чужой-то земле, за рубежом.

Господь бог что ни делает — все к лучшему!

— Эй, Анисим, ты о чем задумался? — окликнул Грязной Кускова. — Конь-то у тебя в канаву свалится!.. Не горюй, всем будет, кто чего заслужил: кому чин, кому блин, а кому просто шиш... Не унывай, блин будет!

Глаза Грязного сверкали лукавством.

— Ну, а ты, пушкарь, чего приуныл? — обратился он к Андрейке. — Аль о боярыне задумался?.. Грешно! У тебя уж есть... Помнишь, я к тебе на свадьбу жаловал? Такова была государева воля. Чай, уж все зажило, прошло давно? Не сердчай на меня.

Андрейка вздрогнул, сердце загорелось гневом, но он сдержался. Обернулся лицом к своему начальнику. В холопных глазах — мгла.

— Да вот... думал я... не теми бы пушками крепости разбивать. Ужели люди все так и будут долбить хилым боем крепостные стены? Ужели мы сильнее ветра не станем? И сколь велик убыток государю от верхового кидания! Нешто велика честь, коли из десятка ядер осьмерка попусту перескакивает... Вон под Дерптом башню разбивали, срамно думать о том! Пять десятков ядер и каменных и огневых полбашни насилу расклевали... Гоже ли это?

— Ишь ты о чем! Мудрить начал. Будь доволен малым — над многим тебя поставят, — рассмехал Василий Грязной.

— Оно так! — через силу улыбнулся Андрейка. — Да вот море-то веслом не вычерпашь, токмо воду замутишь. Шуму много, а толку мало.

Кусков нахмурился, подозрительно, исподлобья посмотрел на пушкря.

— Уж ты не ропщешь ли? Царь-батюшка о всех нас печется и в меру сил своих обороняет нас и согласно воле божьей всячески творит... Не нашего ума то дело... Помолчи!—сказал он вразумительно.

Андрейка покраснел. Некоторое время ехал молча, а затем спокойно сказал:

— В чужом доме не указывают, а в своем бог велит... Коль пушку такую царю дадим, чтоб башню сбивала, так от того никому не приключится беды, кроме врага...

Кусков надулся. Неужели с мужиком спорить? Унизительно! А Василий Грязной рассмеялся и отъехал прочь. Кускову было чересчур досадно, что воеводы послали к царю вместе с ним человека «подлого рода» как ровню. А главное, «этот лапотъ» совсем не ценит того, что рядом с дворянами едет и что дворяне беседою его устаивают, не брезгают. Довольно! В походе повольничали, с дворянами из одних луж воду лопали! Довольно! Теперь не на поле брани. «Пожалуй, с боярами легче справиться, нежели с этими! Их ведь—целая земля! Мажь мужика маслом, а он все дегтем пахнет. Кровь! Другая кровь, чем у нас!»

Чтобы немного рассеяться, Кусков соскочил с коня и, сдав его Андрейке, стал собирать цветы в канаве около дороги.

Собирал и думал: «И цветы-то не для них растут! Разве поймем он приятность цвета?»

Поймав себя на том, что снова стал думать о смердах, Кусков плюнул и со злостью бросил цветы в канаву.

На востоке вспыхивали зарницы, яркие, неожиданные, грома не было слышно.

— Эй, вы, молодчики!—крикнул Кусков.— Поторпливайтесь! Гроза бы не захватила! Доехать бы до села нам...

— Гроза в Москве... А тут только молнии...—усмехнулся Грязной и, подъехав к Андрейке, спросил:

— Ты о чем все думаешь?.. Ишь губы растрепал. Сказывай!

— А беда вот в чем... Не свезут такую пушку ни кони, ни волы, никакая тварь. Чем ее двигать-то?

— Какую пушку?—удивился Грязной.

— Такую... большую... большущую!.. Чтоб ядро каменное не менее пяти десятков весило, а чугунное и все бы сто...

Кусков покосился на парня с легким испугом: «Не рехнулся ли дядя с радости, что к царю едет?» Пришпорил коня. «Бог с ним!» Отъехал далеко в сторону.

— Каково же весить будет пушка? — поинтересовался Грязной.

— Тыщи две с приварком.

— Слазь с коня, парень, помолись богу! Пускай отгонит от тебя бесов... Довольно блудословить! Не смеши людей!

Андрейка громко рассмеялся, глядя на Грязного. Тот в недоумении тарашил на него глаза.

— Помочи голову, пушкар! Вот моя баклажка! Не думай о пушках... не надо... с ума сойдешь. Думай, как бы нам боярыню колычевскую сберечь да землю ту к рукам прибрать.

— Любо ту пушку на Москве поставить, чтобы о силе она говорила. Пушки, что и человеки, расти могут. И вырастут. И большущие будут! И всяк недруг струхнет, коли будут они у нас.

Грязной махнул рукой, плюнул и, напевая себе под нос, поскакал вперед. Ему показался очень забавным Андрейка. Василий Грязной не гнушался простым народом, как Кусков. Напротив, он всюду прислушивался, присматривался к черному люду и любил вступать в разговоры с мужиками, подшутить над ними. «Глупо не знать рабов, когда собираешься властвовать!» — так рассуждал он, когда его начинала упрекать жена за панибратство с конюхами.

Кусков вздохнул, притих, трусливо оглядываясь в сторону Андрейки. Мелькнуло: «Заговаривается! Бог с ним!»

Грязной опять повернул коня к Андрейке. Начал расспрашивать, как же так можно подобную пушку отлить. Андрей с увлечением принялся рассказывать Грязному о том, о чем он давно уже думает, — «об убоистых пушках, с которыми удобнее осаду чинить».

Начинало темнеть, зарницы сверкали все реже и реже. Неумолчно стрекотали кузнечики в траве. Усталые кони шли тихо. На пригорке обозначилось село с ветряными мельницами, с церковью. Тянуло ко сну.

Грязной сказал с усмешкой, дослушав Андрейку до конца:

— Ну, сам посуди: зачем нам крепости долбить? Скучно. Надобны легкие пушки, чтоб душа в поле разгулялась...

. . . . .

Царь встретил гонцов просто, по-домашнему—в голубой шелковой рубаше, подпоясанной пестрым татарским кушаком, в темносиних бархатных шароварах. На голове его была шитая золотом тафья.

Лицо его светилось приветливой улыбкой.

Гонцы опустили на колени, положив к ногам царя отнятые у ливонцев знамена. Василий Грязной вручил ему воеводскую грамоту. Царь со вниманием прочитал ее, а затем стал разглядывать полотнища знамен. После того поднял за руку каждого из гонцов и поочередно поцеловал.

В это время из внутренних покоев вышла Анастасия с царевичем Иваном.

Гонцы поклонились царице; Анастасия ответила им также поклоном. Царевич Иван, держа мать за платье, улыбался. На голове его был шлем, а в руке деревянная сабля.

Кусков и Грязной начали было прославлять царскую мудрость и доблесть русских воинов, но Иван Васильевич остановил их: «Обождите! Спасибо за службу, но хвалиться обождите,—неровен час, и сглазите!»

Царь с улыбкой принял знамена от гонцов, сказав жене:

— Вот в левой руке Нейгаузен, а в правой—Дерпт... Мои люди знают, какие подарки я люблю. Спасибо им!

И тут же он приказал кравчему Семенову отнести знамена в государеву переднюю палату. Сел в кресло. Рядом с ним Анастасия. Постельничий Вешняков и другие царедворцы стали по бокам царской семьи.

— Ну, поведайте нам, добрые молодцы, про что знаете, про что слышали, да и что видели. Храбро ли защищались орденские люди—немцы в Дерпте?

Грязной рассказал про осаду Нейгаузена и Дерпта, упомянул и о смерти Колычева. Царь, как показалось Андрейке, одобрительно кивнул головой.

И царь и царица слушали Грязного с большим вниманием. Царевич Иван и тот притих, с любопытством разглядывая воинов.

Ознакомившись с донесением воевод, царь сказал, что немца Бертольда Вестермана, который помогал царскому войску вести переговоры с нарвскими властями, надо щедро наградить, чтобы знал он, что русский царь полезную службу никогда не забывает.



Иван Васильевич особенно подробно расспрашивал о командоре Нейгаузена Уксиле фон Паденорме и о бургомистре города Дерпта Антонии Тиле. Много рассказов слышал он о них и прежде. Знал, что Тиль был яростным противником Москвы, и, тем не менее, Иван Васильевич улыбнулся:

— Нашлись, однако, храбрецы! Ну, что ж, други! Хвала и честь тому войску, которое имеет таких противников!.. Легкие победы не могут радовать истинного воина. Боюсь, не возомнили бы о себе мои люди и не ослабили бы! Война впереди! Вот о чем бы надо всем подумать. Воины должны даже перед концом войны думать, что она только начинается. Тогда мы всегда будем непобедимы...

Кусков сказал, что войско по одному мановению руки его великой царской светлости готово в любую минуту лечь костями во славу своего мудрого государя.

Иван Васильевич посмотрел в его сторону, хмуро, неодобрительно покачал головой.

— Не те слова молвишь! Мне надобны сила и победа, а не похвальба и не кости! На что мне кости? Ви-дел я их!

Кусков покраснел, растерялся: «Зря сунулся. Пускай бы говорил Грязной!»

— А что молвите мне, други, о нашем наряде? Приметчив ли он? К осаде удобен ли? И много ль попусту ущерба нашей казне от недолета и перелета ядер? Об этом думали ли вы?

И вдруг указал пальцем на Андрея:

— Сказывай!

Парень вздрогнул, смутился: царь спрашивал именно о том, о чем он постоянно думает.

— Ущерб государевой казне, батюшка-царь, превеликий от худого стреляния... А того скрывать, ради верности, не буду.

— Говори, прямо, не бойся! — ободряюще кивнул головой Иван Васильевич.

Грязной метнул недружелюбный взгляд в сторону пуш-каря.

Андрейка посмотрел на дворян, помялся, помялся да и сказал:

— Соломиной не подопрешь хоромины... тож соломи-ной и не разобьешь хоромины... А камень в Ливонии крепкий, столетний кирпич, неуступчив огненному бою.

Густые черные брови Ивана удивленно приподнялись. На губах скользнула улыбка. Он посмотрел на жену. Та тоже улыбнулась. И ей понравилась смелость парня.

Андрейка продолжал:

— Неубойстые выстрелы чинятся от многих неустойств как в самом стрелянии, так и от малости пушек... Огонь простора, дальнего боя, силы просит, а мы не даем...

Кусков побледнел, грозно покосился в сторону пушкря. Но вот он заметил, что царь наклонился в сторону Андрейки, со вниманием слушает его, и тогда Кусков изобразил доброе выражение на своем лице.

— Каковы же причины неубойстого стреляния?— продолжал царь.

— Коли сердечник нехорошо и непрямо вставлен, либо при литье сдвинулся, либо при просверливании погрешность была... Бude пушка неладно в станке лежит, да мост если под нею покот, либо не крепок и нагибается... Бude пушка пристойного заряда не восприняла, отчего либо высоко, либо низко выстрелится. Аль середина непрямо сыскана, аль расстояние неведомо...

Царевич, положив руки и голову на колени матери, задремал под мерную, спокойную речь пушкря. Его маленький шлем давно в руках царицы. Анастасия слушала пушкря со вниманием. Она смотрела на него ласково, ободряюще.

Андрейка говорил и о разной тяжести ядра, о ветре, о дожде и снеге... Все это тоже влияет на точность выстрела. И порох неодинаковый—тоже нехорошо.

Царь с нескрываемым любопытством слушал Андрейку. Он задал ему вопрос о том, какие ядра лучше оказались: литые или кованые, угластые или круглые?

Андрейка ответил, что круглое ядро лучше воздух разбивает, нежели угластое. Литые и кованые ядра Андрейка хвалил и говорил, что они государю дешевле стоят, нежели свинцовые или каменные, ибо от них больше пользы в бою. Свинцовые ядра и тяжелы, и разбиваются, и расплющиваются, они обходятся государю вдвое, а то и втрое дороже железных.

— Да что и в каменном ядре? Оно само разбивается о каменную стену, а стена от него лишь поцарапана...— говорил Андрейка раскрасневшись.

Иван рассмеялся.

— Каменное ядро пообветшало, истинно!— проговорил он.— Им ворон бить, а не замки. А про то, чем плохи пушки наши, ты мне не сказал... А ну-ка!

— Невелики они, государь, в вих той ярости нет, коя надобна... Заморские мастера у нас на одной мере стоят... Далее не двигаются... У немчинов видел я великие пушки... А нам надо еще больше, еще убоистее...

— То же и я думаю, молодец,— нам нужны такие пушки, чтобы врагу неповадно было... Однако от великости ли одной убоистость?! О том поспорить можно. Но речи твои любви мне. Кусков, гляди, какой у тебя литец знатный!— И, обратившись к остальным гонцам, проговорил:— Что скажете, дворяне?! Побольше бы вам таких холопов.

— Есть они, батюшка-царь, у нас, есть, и немало: и в вотчинах, и в поместьях...— ответил Грязной, вытянувшись перед царем.

— Слушайте их, и в руках держите, чтобы гордынею ума не восхитились бы и более того, что богом определено холопу, не возомнили бы о себе. Мудрость и покорливость иной раз не уживаются вместе.

— Постоим, батюшка-государь, за порядок дворянского обычая! — сказал Грязной.

Кусков опять выскочил вперед:

— Голову сложим, батюшка-государь, за тебя.

Царь строго посмотрел на него.

— Голову сложить, храбрец, тоже не велика мудрость. Достойнее голову обратить на пользу государю и родине. Таковую голову, как его,— Иван кивнул в сторону Андрейки,— надо беречь; мы оставим его при нас, в Москве, на Пушечном дворе. А ты, Кусков, отправляйся вспать, к Шуйскому, прикажи ему от царского имени, чтоб всех мастеров-литцов, что есть у него, гнал в Москву... Буде, погуляли! Пора в литейные ямы... Готовиться надо к большой войне. Ну, идите. Господь с вами. А ты, Василий, останься.

Все опустились на колени, поклонились царю и, сопровождаемые постельничими, вышли из палаты, кроме Грязного.

Царь поднялся с кресла.

— Ну, что скажешь, царица?

— То же, что и ранее говорила. Велика земля твоя и многими полезными людьми удобрена...

— Ну, теперь ты иди, погуляй в саду с царевичем, а мы тут побеседуем о делах ливонских.

Царица поклонилась царю; отвесил преувеличенно низкий поклон и очнувшийся от дремоты царевич, вызвав улыбку на лице Ивана Васильевича. Любовным взглядом проводил он жену и сына.

— Ну, докладывай,— кивнул он Грязному, когда они остались вдвоем.

На следующий день царь Иван собрал в своей рабочей палате мастеров-иноземцев и лучших литцов пушечного дела из московских людей, а с ними был и Андрейка. Царь пожелал знать, нельзя ли, не увеличивая размера и веса пушки, сделать ее дальнобойнее, а может быть, порохов и зажигательные составы удастся сделать злее, пускачее. О ядрах царь желал знать, можно ли ковать их легче весом, но могущественнее в действии. Царь знает, что камень летит быстрее пера, коли их бросать рядом, а стало быть, и тяжелое ядро пускачее, нежели легкое, но, быть может, его заострить наподобие копья и тем облегчить лёт! Нужно, чтоб легкие пушки были разрушительны, ибо тяжелые пушки — великая обуза войску в походе...

В сильном смущении слушал Андрейка царя, беседовавшего с немецкими и швейцарскими мастерами. Вчера ведь он доказывал царю, что нужны большие орудия, что они разрушительнее и приметчивее, а сегодня царь настаивает на малости орудий.

Чем более вслушивался Андрейка в разговор царя с иностранцами, тем яснее для него становилось, что царь озабочен улучшением полевой артиллерии, а не осадной.

Иван Васильевич рассказал иностранным мастерам, как велики были трудности с большим нарядом при походе на Казань. Пришлось разбирать орудия на части и везти их к Казани водой... Благо, коли над Казанью одержали победу и пушки остались при войске, ну, а случись иное — войску пришлось бы все орудия побросать на добычу врагу.

Кто-то из иностранцев сказал с подобострастием:

— Вашего царского величества войско непобедимо... Вам тут нечего опасаться...

Иван Васильевич посмотрел на него нахмурившись. Немного подумав, он покачал головой:

— Нет большей опасности, нежели та, когда ты хочешь казаться сильным, не обладая истинной силою. Не о том стараться, чтоб о нашей силе повсеместно болтали, а о том, чтоб она у нас в руках была, а тебя бы почитали слабым...

Опять царь опровергает мысли его, Андрейки, — ведь ему хочется сделать такую пушку, чтоб при виде ее все приходили в ужас, и поставить эту пушку на самом виду. Пускай, глядя на нее, иноземцы думают о том, какою силою обладает Москва. А царь говорит: не надо казаться сильным. Вот и пойми!

Когда беседа закончилась, Иван Васильевич, отпустив иностранных мастеров, остался с московскими пушечными литцами. Он сказал им, чтобы они изготовили одну пушку пудов на пять, с длинным дулом, и другую такую же пушку, широкодульную, но короткую. Ядра он также велел для этих пушек сковать и шарообразные и угластые.

— Будем добиваться своего! — сказал он. — Не нам чужими головами жить!

Он приказал держать все это в тайне от иноземцев.

Вечером царское семейство молилось в дворцовой церкви. Митрополит Макарий служил молебен по случаю взятия ливонских крепостей.

По окончании богослужения он раскрыл библию и громко, торжественно, при свете двух больших свечей, которые держали двое иподьяконов, прочитал:

«Пределы твои — в сердце морей: строители усовершили красоту твою; из синарских кипарисов устроили все мосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать мачты; из дубов васанских делали весла тебе; скамьи из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Хиттимских; узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса и служили стягом твоим; жители Сидона и Арвады стали гребцами у тебя; фарсисетские корабли стали караванами в твоей торговле, а ты сделался богатым и славным среди морей; от вопля кормчих твоих содрогнутся государства и в сетовании своем поднимут плачевную песнь о себе! Аминь!»

После того митрополит сошел с амвона, и царь и митрополит обнялись и облобызались.

В глазах у Ивана Васильевича — раздумье. Он тихо сказал:

— Земному владыке не будет гордыни в том, если он станет молиться о бессмертии своего царства.

В полночь царь потребовал к себе князя Воротынского. В открытое окно дворца виднелась освещенная луной Москва-река. Сосны, дерквы, избы Замоскворечья — все было объято сном, даже не слышалось обычного тявканья псов.

Иван Васильевич остановился против окна, всей грудью вдохнул в себя легкий, после дождя, воздух. Пахло липовым цветом. «Люди спят спокойно, спят, потому что бодрствует царь!» — подумал царь Иван, прислушиваясь к кремлевской тишине. В саду нежно шептались деревья; повеяло влагой полночного тумана со стороны Москвы-реки. Прохлада скользнула по лицу, задула свечи. Большой своей рукой царь прикрыл ставню.

Постучали в дверь.

— Входи! — громко сказал Иван, обернувшись.

Низко кланяясь, вошел Воротынский, помолился на иконы. Заспанное лицо выражало недоумение.

— Садись, Михайло Иванович. Пошли-ка там гонца за Телятьевым. Пускай из войска едет в Москву. Нужда тут в нем: понадобился царю.

Воротынский, не сядя на скамью, поклонился.

— Слушаю, государь!

После этого Иван Васильевич развернул чертеж расположения русского войска в Вирляндии<sup>1</sup>.

— Гляди! Надобно сильную, храбрую сторожку разверстать у берега моря, воп глянь! Отсюда и досюдова, от Нарвы до Гольсбурга... Пошлем туда князей Одоевских, Темкиных, Хованского, Лобанова да дворян: Грязного Тимошку, Старикова Яшку, Татищева Гришку с казаками и стрельцами... Скажи, я приказал! Слушай! Берегите море, крепко сторожите земли по Нарве... Объяви: испомещены будут в той земле и денежно жалованы те, что усторожливы. Беспоместные дети боярские на моей стороне стоят крепко. Да из простых людишек примечай к пожалованию, дадим по двадцати четей на человека... Чтоб каждый был о двух быстроногих конях, не забудь! Разъезды частые с нарядом от Нарвы и до моря учини; стаицы раскинъ, стояли бы все за государево дело крепко. Табуны добрых коней сгоните из Новгорода в Приморье,

---

<sup>1</sup> В и р л я н д и я (Вирланд) — округ города Везенберга.

нужды чтоб в них не было; харчевников из Новгорода и Пскова сведите туда же. Довольно уж нам пьяных новгородских купцов ублажать и непотребных женок!.. Со всех земель навезли они их! Увы мне — оные златолюбцы! Доберусь я до них! Хлеба, сена возьми у них. Не щади! Кто же, как не ты, о сторожах позаботиться мочен?! Они — наша защита... Обездолили их в бывшие времена... не думали о них... На полевых сусликов да на лесного зверя рубежи оставляли. Мысль я имею: не в это лето, так в другое, созвать засечных голов с рубежей в Москву и порядок единый, твердый с ними обсудить, а тебя поставлю воеводою над ними... Говорил не раз о том и сделаю так. Служи правдою!

Воротынский дал боярское слово царю приложить все свое старание к устройству крепчайшей охраны приморской земли, отвоеванной у ливонцев, поклонился и ушел.

Царь Иван после его ухода снова распахнул окно. Глубокими вздохами вобрал в себя прохладу. Близка зоря. Слышны одинокие голоса петухов. Бледнеет небо. Под самым окном, на набережной, сонными, хриплыми глотками выкрикивают сторожа:

— Слу-ша-й!.. Тула!

— Гля-ди!.. Москв-а-а-а!

Удары в било, дребезжа, таранят торжественную тишину Кремля.

. . . . .

На берегу моря, в окрестностях Ревеля, одиноко бродил пастор Бальтазар и все думал, думал: «У гордеца, как у плохого ваятеля, можно видеть нелепейшие изображения его деяний,— говорил Сократ.— То же самое происходит и с зазнавшимися рыцарями нашего древнего Ордена. Московский дарь торжествует, а наши рыцари падают ниже и ниже».

После Дерпта русские взяли крепости Везенберг, Пиркель, Лаис, Оберпален, Ринген и другие замки. Московиты движутся от Дерпта на север к Ревелю.

Вчера из Ревеля, бросив свой замок и город, бежал ревельский командор. Он передал свои обязанности Христову Мунихгаузену, приказав населению считать Ревель городом короля датского, и сказал, что «москвиту» придется за Ревель биться не с Ливонией, а с Данией.

Мунихгаузен отправил королю Христиану в Данию по-

слов с ключами от города, прося у него покровительства и защиты от «московита».

Однако из Дании были получены неутешительные известия. Датский король не хочет ссоры с царем Иваном, отказывается принять город Ревель под свое покровительство.

Бальтазар в последние месяцы постарел, осунулся. Ревель готовился к обороне лениво, небрежно, но не жалел времени на то, чтобы досадить «московиту»: русские церкви обратили в оружейные склады и живодерни, у московских купцов, оказавшихся в Ревеле, отняли все их достояние.

Бальтазар Рюссов, глядя на все это, начал оправдывать московского царя, и, увы!—он, немец, ливонский гражданин, любящий родину, с горечью записал в свою летопись:

«...Магистр ливонский, архиепископ рижский и епископ дерптский с умыслом отвергли все напоминания о долге, о неправдах, творимых с русскими купцами и тем ведут себя к собственной гибели, и сердце их, как фараоново, пребывает окаменелым; поэтому царь должен был начать войну с ними, испытать их страхом и побудить к справедливости. Но они все еще остаются непреклонными; поэтому они должны страдать, будучи теперь наказываемы мечом и огнем. И это не его, а собственная вина ливонцев...»

Бальтазар плакал, набрасывая эти строки. Он вписывал их в свою «Ливонскую хронику» для потомства как предсмертный стон умирающей родины.

Вот он выходит из своего маленького домика, увитого плющом, на берег, с грустью вслушивается в рокот волн бушующего моря... Из гавани отплыл, слегка накренившись под ветром, корабль, набитый беглецами-дворянами. Свой скерб, вместе с домашними животными, целый день они погружали на корабль, покидая родной край.

Корабль треплет ветром, сильно качает на волнах, будто само море разгневалось на трусливых ревельских обывателей...

Дания! У многих на устах это слово. Но... если ты обрек на гибель свою родную мать, может ли мачеха питать к тебе любовь и доверие? Она должна ждать еще большего зла от такого приемыша. Трудно спасти того, кто сам добивается своей гибели.

Так думал Бальтазар.



Вчера в Ревеле появилась старая Клара, служанка Колленбаха. Она рассказала Руссову о том, что русская девушка, та, что была в доме Колленбаха, жива и здорова и находится в русском стане под Тольсбургом. Она повенчалась с начальником порубежной стражи. Ее, Клару, они отпустили через рубеж беспрепятственно и дали ей на дорогу хлеба и денег.

Бальтазар поблагодарил бога за то, что хоть одним злодеянием у рыцарей стало меньше.

На днище опрокинутого челна сел он. От порывов ветра, от мелкой водяной пыли, освежавшей лицо, от рева волн ему становилось легче.

Это унылое, пасмурное небо, как нельзя более соответствовало его душевной скорби.

Бальтазар взглянул в сторону города, затем вынул из кармана книгу пророка Иезекииля, с которой последнее время не расставался, наугад раскрыл ее и стал тихо читать:

— «Так говорит господь бог: вот я на тебя, Тир, подниму многие народы, как море поднимает волны свои.

... И разобьются стены Тира и разрушат башни его. И измету из него прах его и сделаю его голою скалою.

... Местом для расстилания сетей будет он среди моря, и будет он на расхищение народам.

... И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя все мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю и будут содрогаться и изумляться о тебе.

... И поднимут плач и скажут тебе: «Как погиб ты, город мореходцев, город знаменитый, который славился силою на море, и жители его, наводившие страх на всех обитателей его?!»

Холодный пот выступил на лице пастора. Судорожною рукой он сунул книгу опять в карман.

Буревестники метались над самою головою. Волны со звоном разбивались о громадные камни на побережье. Тучи ползли низко, почти касаясь поверхности моря; чудилось, они задевают верхушки башен на замке, обволакивая их своими черными косами. Море дышало холодной тоской, леденило кровь однообразным, унылым ревом... Серое, безотрадное, беспокойное небо!

Пастор закрыл глаза... Ему всего только тридцать три года, но лицо его изборозжено морщинами и в волосах уже белеет седина. Он, немец, жалеет, что родился и живет

«среди немцев в эти дни позора и гибели любимой своей родины...»

. . . . .

Как у себя дома, беззаботно перекликаются новгородские петухи на берегу Балтийского моря.

После нескольких дней ненастья наступила хорошая погода.

В шатре душно от первых же лучей восходящего солнца. Герасим поднялся с ложа, поцеловал спящую Парашу, оделся и вышел на волю.

Над взморьем играли белые орлы.

Они то сталкивались грудь с грудью, нахохлившись и часто взмахивая своими серебристыми крыльями, то начинали делать бесчисленные круги сверху вниз, как бы догоняя один другого, а затем с беспечно-самодовольным видом плавно разлетались в разные стороны, чтобы через несколько минут снова начать свой веселый поединок.

Палевые пески пышными косами раскинулись в тихой воде. В заливчиках между ними дымились клочья едва заметного тумана.

Под навесом у коновязи стоял Гедеон; приветливо заржал, увидев хозяина. Крупные, выразительные глаза его, показалось Герасиму, говорили: «Где же ты там пропадал?» Как бы стыдя Герасима, конь качал головой. Герасим чувствовал себя и в самом деле провинившимся.

Давно бы надо было встать и напоить коня.

Герасим ласково погладил его теплую шелковистую шею. «Недаром ты Паранька любит! Ишь гладкой!» И тут же поймал себя на мысли: «О чем бы ни думал, всегда приходит на ум Параша!» Ну, что ж! Теперь она его жена. Поп в Тольсбурге обвенчал их по-христиански. Теперь он оседлый порубежник.

Вчера ночью к стороже подобралась толпа всадников, пыталась врасплох напасть на станичников, да не тут-то было... Герасим во-время вышел к ним навстречу. Произошел копейный бой на конях. Вот когда вспомнил Герасим московского стрельца, обучавшего его копейному бою. Ой как сгодилось! Он один выбил из седла несколько всадников, оказавшихся ревельскими конными кнехтами-датчанами. И остальные ратники поработали на славу. Только пять человек было ранено в засеке. А когда датчане обратились в бегство, в преследовании их приняла участие даже и Па-

раша... Она ловко стреляла в них из лука. Достоянная стрелецкая дочь!

Эсты, приходя на засеку, рассказывали, что из Дании в Ревель много наехало воинских людей и купцов. Датский король на словах хоть и не считает город своим, но не хочет его уступить и швейскому королю. Датский король и швейский враждуют меж собой и никак сговориться не могут, а теперь, видимо, швейский король не мешает датчанам плыть в Ревель. Он хитрит, бережет силы, а потом нападет на датчан.

— Теперешняя Ливония — что девица, вокруг которой все танцуют,—сказал один бывалый эст, недавно приехавший в деревню к своим землякам из Ревеля.

Параша тоже проснулась. Наскоро оделась. Стали вместе умываться. Воздух чистый, легкий. Параша смотрит на море, Герасим старается заглянуть ей в глаза.

— Ну, что ты уставился на меня?—говорит она, отвертываясь.

— Стало быть, на тебя теперь и смотреть никак нельзя?—смеется он.

— Не посмотрелся!..

Параша идет к Гедеону, гладит его шею, а украдкой косится на Герасима.

— Ну, ну! Иди! Я не буду больше на тебя смотреть!—кричит он.

— Ты думаешь, я и впрямь застыдила тебя? — храбро пошла она навстречу Герасиму, делая усилия над собой, чтобы не смутиться.— Оседлай коня! Я на море поеду. Купаться хочу.

Герасим послушно выполнил ее строгий приказ.

Параша ловко вскочила на коня и рысью поехала к морю. Несколько раз дорогою оглядывалась на Герасима, погрозила ему пальцем. Он провожал ее влюбленными глазами.

Герасим мечтал, чтобы станица у моря стала прочною русской землей, где бы он всю жизнь провел с Парашею и со своими детьми, которых пока нет, но... они могут быть!..

Невдалеке, освещенный восходом, горделиво высился замок Тольбург. Красиво развевался на нем стяг с двуглавым орлом — стяг, с которым Герасим мысленно связывал всю свою и Парашину судьбу, свое боевое счастье и думы о долгой мирной жизни в будущем.

В Москве на Печатном дворе все оставалось попрежнему. Иван Федоров и Мстиславец с товарищами продолжали трудиться над Апостолом.

Охима слегка похудела. Андрейку встретила она бурно. Сначала с восхищением осмотрела его статную в кольчуге и шлеме фигуру, затем крепко его обняла и поцеловала, а потом стала ругать. За что?! Ей думалось, будто он ей изменил... Она пристально глядела ему в лицо и со слезами в голосе говорила:

— У-у, бесстыжие глаза! Ишь как смотрят!.. Пошто они у тебя красные?

— От дыма, от пыли, от ветра...

— От какого дыма?

— Постреляй из пушки, в те поры узнаешь!

Охима подозрительно покачала головой.

— Много баб видел?

— Ни одной!

— Вот ты и насмехаешься надо мной. Прежде того не было... Ты надо мной никогда не смеялся... Неужели ты не видел ни одной бабы?

— Видать видел, да што в том! — как-то неестественно зевнул Андрейка.

— А чего же тебе еще надобно?

Глаза Охимы почернели, округлились, как у хищной птицы, и голос ее стал похож более на шипение разгневанной орлицы.

— Охима!.. Никак слезы?

— О, Пургинэ<sup>1</sup>, накажи его!

— Чего ревешь? Чай, я не Алтыш! Нечего меня пытать!

Охима мгновенно перестала плакать.

— Не поминай Алтыша!

— Что так?

— Мне жаль его. Он — мордва, он не такой, как ты.

— Вестимо дело, кабы он был такой, как я, звали бы его Андрейкой, и глаза у него были бы такие же, как у меня, и волосы...

Охима вдруг набросилась на Андрейку, опять стала его целовать.

— Задушишь! — нарочито испуганным голосом закричал Андрейка. — Что ты! Опомнись! Пусти!

---

<sup>1</sup> Гром.

— Бестолковая я, не сердись! Нет! Нет! Ты все такой же, как и был... Такой же хороший!

— Ну, вот! А я уже собирался уходить. Изобидела ты меня!

— Ужели ты, Андрейка? Ужели это ты?

— Я самый! — гордо произнес парень, довольный тем, что его любят.

— О, спасибо богу, спасибо!

Охима прижалась к Андрейке. Он слышал ее взволнованное дыхание. Ему почему-то сделалось жаль ее. Почудилось даже, что он и впрямь в чем-то провинился перед ней.

Он крепко поцеловал ее.

— Сам царь приходил ночью к нам, будто стрелец... Думали, ночной обход... но то был не стрелец... Все узнали его... Что было! Все на колени упали... Испугались! Он рассмеялся, велел встать всем... Смотрел на работу Федорова и благодарил его, сказал, чтоб скорее сделали книгу... А меня ушпишу на дворе... Ох, какой он! Глаза, страшные глаза!

— Ты что? Уж не полюбила ли ему?

Охима, как бы дразня Андрейку, с улыбкой произнесла:

— Не знаю... Федоров сказывал — полюбила! Что же ты теперь на меня уставился? Не ради меня приходил царь. Из-за моря станки и бумага в Нарву идут... На колених мы благодарили его.

Андрейка задумался: «Рано радоваться! Бог ведает, что будет! Дадут ли царю владеть морем? Против него и против моря уже в воеводских шатрах втихомолку ропщут. Надежи, мол, нет на такое дело. Справиться ли Ивану Васильевичу со всеми царствами? А уж опохмелиться слезами придется. Пугают людей шептуны. Вот и выходит, постой да подожди! А пушки лить надо, не мешкотно, а с усердием. Нужны хорошие, убойные пушки! Нужно много таких пушек. И удивления достойно, как о том не думают люди!»

— Ты чего нахмурился? — толкнула Охима парня. — Столь долго не виделась, а ты каким-то бирюком сидишь!

— Эх, ты, Охима!.. Ничего ты не понимаешь! — вздохнул Андрейка. — Сердце мое беспокойно... Нерадивы мы!

— Алтыш теперь, чать, долго не придет? Чего же ты кручинишься?

Андрейка грустно покачал головой в знак согласия.

— Долго... Боюсь, что и совсем сгинет... твой Алтыш! Охима вскочила от удивления.

— Што ж ты! Никак разлюбил меня?

— Полно, Охимушка, садись! Не о том я! — вспыхнув, стал оправдываться Андрейка. — Попусту не шуми.

— Нет! Нет!.. Говори... Надоела я тебе, — плачущим голосом затараторила Охима, теребя его за руку. — Вот какой ты! А я думала, ты хороший! Я думала...

— Постой!.. Постой!.. Полно тебе! Уймись!

— А я-то!.. Я-то, глупая!.. День и ноченьку все о тебе думала!

Андрейка совсем растерялся.

— Да слушай! — громко крикнул он, зажав уши. — Чего не чаем, то может сбыться. Вот о чем! Вчера из Посольского приказа подъячий Егорка приходил, сказывал такое, што я и по сию пору не могу опомниться...

Охима села за стол, закрыв лицо руками.

— Все, видимо, идет по божьему веленью, а не по нашему хотенью, — продолжал Андрейка тихим, печальным голосом. — Войне, болтал подъячий, и конца не предвидится... Пушек много будем ковать и лить. И народу будут собирать видимо-невидимо. Будто дарь имел совет с боярами, а на том совете дарь так разгневался, что стало ему плохо и под руки его увели в государевы покои... Несогласие! А врагу того только и надобно... Вот что! Города берем, а что из того выйдет, коли несогласие?

— Стало быть, тебя опять угонят? — взволнованно дыша, вцепилась в Андрея Охима.

— Да разве я о том? Глупая! Худых людей много около царя! Вот что! То одного воеводу посылает он в Ливонию, то другого, а иных в Москву возвращает... Ровности нет.

Шепотом Андрейка передал Охиме на ухо, что боярина Телятьева, того, что заставлял Андрейку стрелять плохим ядром, царь вернул с войны и будто в подклети у себя держит, пытается. А советники царские отстаивают Телятьева, наказаньем божьим царя пугают. Особливо Сильвестр.

— Ты меня-то пожалей... меня... глупый! Что тебе боярин? Нужен он нам! Туда ему и дорога!

Андрейка махнул рукой.

— Бабе хоть кол на голове теши, она все свое.

Обнял ее крепче прежнего.

— Давно бы так-то,—прижалась Охима к нему, оживившись.—О тех делах пусть старики судят да бояре, а ты со мной...

— Чего?

— У тебя иные дела есть. Ты молодой.

Рассмеявшись, Андрейка сказал:

— Эх, у тебя сердце, что котел кипит!.. Еще тот на свете не родился, чтоб ваш поров угадать...

— Буде! Ровно ребенок малый!.. Не угадать!..

Уходя на заре от Охимы, Андрейка, смеясь, сказал:

— Кто с вами свяжется, тот уж царю не слуга.

Охима лукаво улыбнулась:

— Приходи вечером...

Андрейка вздохнул.

— Э-эх, нам царь урок задал! Вся Пушкарская слобода над ним потеет... выйдут ли такие пушки, какие требует царь, не знаю!

— Придешь, што ль?

— Ладно, приду!

— Не «ладно», а приходи! На баб не смотри! Коли увижу, худо тебе будет.

— Какие бабы?—с невинным видом переспросил Андрейка.—Кроме пушек, я ничего не вижу. Пушку больше всех люблю!

Охима так сердито покачала головою, что Андрейке показалось, будто и на пушки ему нельзя смотреть.

С тяжелым вздохом, утомленный беседой с Охимой, хмуро почесав затылок, Андрейка ушел. «Ну и ну! Хоть бы Алтыш скорее приехал!»—усмешливо подумал он.

За окном изморось. Серенький денек. Иван Васильевич сидит в своей рабочей палате, окруженный посольскими дьяками. Перед ним на широком нарядном пергаменте крупными черными завитушками раскиданы строки письма датского короля Христиана. В них тревога, гнев, мольба.

Лицо царя хранит суровое спокойствие.

— Думайте, что отписать королю.

Висковатый смотрел куда-то в угол и вздыхал. Никто не решался начать говорить первым.

— Изобидел меня король, но обиды не надо казать. **О** чем он просит? Поощадить немцев?

Царь улыбнулся. Зашевелились дьяки.

— Великий государь,— произнес Висковатый,— Христиан, его величество, пишет, что-де Нарва издавна принадлежит Дании. Будто датских королей признали своими владыками Эстония, Гаррия, Вирланд и город Ревель с давних пор. Дерзкое, несправедливое самомнение!

— Ныне поднимается в королях алчность, ненависть, вражда...— сказал Иван Васильевич.— Будут задирать они нас, неправдою и насилием досаждают нам, но... блажен миротворец! Не станем чинить обиды, скажем твердо: Нарва была и будет нашей! Воля божья отдать ее нам, и никто не должен стать нам на дороге.

Висковатый заметил, что лучше самому Ивану Васильевичу не отвечать на письмо короля Христиана. Ответить должен наместник Нарвы.

Царь одобрил это и продиктовал Висковатому, как надо королю ответить:

«Чужих пределов и чести не изыскиваем, но, уповав на бога прародителей наших, чести и вотчин своих держимся и убавить их никак не хотим. Еще великий государь и князь Александр Храбрый на лифляндцев огонь и меч свой посылал, и так было из поколения в поколение до мстителя за неправду, деда нашего государя Ивана, и до блаженных памяти отца нашего великого государя Василия, а мне, смиренному преемнику их, подобает ли забыть их великие труды и заботы и пролитую кровь народа нашего и отдать землю ту неведомо кому, неведомо зачем? И пускай наш брат Христиан подумает о том и отстанет от бездельного писания, ибо мы не скупости ради держим лифляндские города, но ради того, что они— наша извечная вотчина. И огонь, и меч, и расхищение на лифляндцев не перестанет, покудова не исправятся, но мы, как и ты, у бога, сотворителя милости, просим, чтоб дал бог промеж нас бранной лютости перестать и доброе дело чтоб учинилось». Так ему, Иван Михайлович, и отписали.

На лице царя было выражение удовлетворенности. Он поднялся со своего места.

Иван Васильевич вслух прочитал псалом: «Хвалите имя господне!..»

Псалом длинный, восхваляющий мудрость бога, «из пра-



ха поднимающего бедного, из брения возвышающего нищего, чтобы посадить его с князьями народа его...»

Дьяки в непосильном усердии отбивали поклоны, разлохматились, искоса с подобострастием поглядывая на царя.

После молитвы они обратились с земным поклоном в сторону царя и один за другим, склонив головы, вышли из палаты.

Наедине Иван Васильевич долго рассматривал письмо Христиана. Мял пальцами пергамент, смотрел через него на свет и с видимым удивлением покачивал головою. «Хитры немцы! — думал он. — Надо и нам такую бумагу!»

А в это время в приемной царя стоял у окна в ожидании приема хмурый Сильвестр. Косо посмотрел он на выходящую из покоев Ивана Васильевича толпу дьяков, поклонившихся ему холодно, вяло.

Узнав от окольного, что его хочет видеть Сильвестр, царь поморщился.

— Пусти!

Сильвестр, войдя, усердно помолился на иконы, затем поклонился царю. Иван Васильевич холодно ответил ему поклоном же.

— Прошу прощения, великий государь!.. Осмелюсь обратиться к тебе, как и встарь, с добрым советом на пользу государства и твоей царской милости... Дозволь правду молвить!..

— Все вы ко мне приходите с правдой и говорите мне о ней. Но может ли правда моих подданных нуждаться в том, чтоб ее называли правдой? И найдется ли кто из моих людей, который бы, придя к царю, сказал: «Я пришел тебе говорить неправду»?

Иван Васильевич смеющимися глазами смотрел в растерянное лицо Сильвестра.

— Когда я был дитёю, меня восхищали слова о правде в устах моих холопов. Было отрадно их слушать. Но, когда у меня выросла борода и после того, как довелось мне видеть несправедное, злое, обличенное в словеса честнейшие, я захотел видеть честь и правду в делах. Однако говори, слушаю тебя! Садись.

Сильвестр опустился на скамью в простенке между окон, чтобы лицо его оставалось в тени. Он заговорил тихо, в голосе его слышалась обида:

— Святой псалмопевец царь Давид рек: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут... Уповай на господа и делай добро...»

Царь поморщился.

— Опять ты, отче, поучаешь меня?

— Сам господь бог призвал меня охранять благоденствие и покой моего возлюбленного государя...

— Чего же ты хочешь?

— Волю дал ты малым людям, незнаемо откуда появившимся, безродным, невоздержанным, своевольникам, не почитающим древности... А старых бояр, подобных Телятьеву и покойному Колычеву Никите, позоришь, в опалу низводишь...

— Добро!— царь метнул гневный взгляд в сторону Сильвестра.— Ранее пугал ты меня чародействами, какими-то детскими «чудищами», сатанинскими проказами, ныне ты пугаешь меня моими верными слугами, преданным мне дворянством... Мнится мне, волшебство не столь страшно вам, как мои служилые люди... Ты о царстве думай. Коли ты да я состаримся, да умрем, кто-то должен на наше место ступить?!

Глаза Сильвестра расширились от удивления. Он почувствовал свое бессилие перед доводами царя.

— Мы тоже служим тебе верою и правдою...

— Плохо стали служить... Худо! Не вижу дела! Слышу одни укоризны. Скажи, что делает Владимир Андрееч, мой брат и князь? На охоту ездит да на богомолье... А о чем вы в монастырях молитесь? Ты любишь правду, так скажи мне: о царе ли своем молитесь вы, о победах ли нашему войску? Спроси и матушку князя Евфросинию... Сколько раз проклинала она меня на молитве? Молви честно... Ответь мне! Ведомо тебе то?

Сильвестр поднялся со скамьи и, указав рукой на икону, сказал:

— Бог видит, нет против тебя умыслов у князя Владимира Андреевича, нет грешных мыслей против царского трона... Не верь изветам ласкателей! Чести добиваются они себе, губя других. Такое нередко мы видим кругом, государь!

Иван внимательно смотрел в лицо Сильвестру, перебирая четки на руке.

— Слова свои ты почитаешь «правдою»?

— Да! — смело сказал Сильвестр.

— Тот человек, который, видя тяжкий недуг царя, пытался перебить у его сына — законного его наследника — престол и не добился того, волен давать любую клятву в верности, но царь ему не поверит! Не его ли родительница, княгиня Евфросиния, говорила в те поры: «Присяга невольная — ничего не значит». И не один мой брат почитает ту присягу несправедливой, вынужденной, навязанной... Знаю я!

Сильвестр хотел что-то возразить царю.

— Государь! — воскликнул он.

Но Иван Васильевич перебил, нахмурившись:

— Буде! Не хочу я слушать вас... Не пугайте, не грозите, не малое дитя я!.. Бог царей в пужде не оставит! Не по своей воле владычествую я, а по воле всевышнего. Людей, преданных государю, есть много и без вас! Иди!

Сильвестр, побелев от гнева и обиды, поклонился и вышел из покоев царя, пошатываясь, дыша с трудом.

Первый раз так резко и властно говорил с ним Иван Васильевич за всю его службу при царе.

В эту минуту Сильвестр со всею ясностью понял, что время его ушло, что никогда уже более не быть ему влиятельным вельможею, каким был он два-три года назад. И в первый же раз у него появилось недоброе чувство к царю. Захотелось, чтоб царя постигло какое-либо горе, какое-то большое несчастье, чтобы Иван Васильевич вновь обратился к своим советникам. Не так ли было одиннадцать лет назад, когда сгорела Москва! «Пожар! Да, пожар!» Мысли пришли в смятение: «Хоть бы Ливонская война потерпела ущерб!» На ум пришла и хворь царицы Анастасии... «Может быть, умрет?! Ее братья, Романовичи, немало зла принесли и ему, Сильвестру, и Адашеву, и Курбскому, и всей «избранной раде».

Жаль царя, но что делать! Только беды направляют его на праведный путь!.. Это испытано. Надо поднять все силы против Романовичей, против выскочек-дворян, окруживших царя... Или победа, или поражение, позор и смерть! Все силы, чистые и нечистые, земные и небесные надо призвать на борьбу с царем.

Охваченный такими мыслями, возвращался к себе в дом, ничего не видя перед собой, широкой, размашистой походкой поп Сильвестр.

• • • • •

В Столовой брусляной избе, близ Благовещенского собора в Кремле, где в царском обычае было вершить посольские дела, сошлись царь Иван Васильевич и Алексей Адашев.

Царь и Адашев затворились в государевой горнице.

Первым повел речь Адашев. Лицо его было невеселое, унылое. Он даже как-то пожелтел. Пышные светлые волосы беспорядочно всклокочены.

— Не узнаю тебя, государь Иван Васильевич! Суровы нынче и подступен для своих первых советников, то приметили даже и литовские посланники. Возвеличиваешь ты людей Посольского приказа выше меня и помимо меня ведешь совет с Висковатым, с Федором Сукиным и другими, словно бы у Посольского приказа главы, кроме них, нет... Их возвеличиваешь, меня унижаешь...

Иван Васильевич перебил Адашева с усмешкой в глазах:

— Зеленые листья лавров, возложенные рукою цари на холопа, украшают главу его, но кровь холопьяго рода не меняют... Из гноища, снизу, призвал я тебя веселить меня, бражничать со мной, помогать мне, но возвеличивать я тебя и не думал. Сны вам такие снятся, что вы — первые люди в царства и что царь живет, как то угодно вам... Разбудил я вас, прогнал сновидение! Прошу простить! Возвеличиваю токмо сан самодержца, а людишек своих перебираю, как то мне вздумается... Старые мы с тобой друзья, а понять ты меня так и не можешь!

Низко поклонился Адашев.

— До самой кончины дней моих буду молиться за оказавшую мне тобою, великий государь, честь. Но чести для верных холопов твоих мало. Им надобно оправдать ее великими, угодными царю делами, а я вижу, что дело, порученное мне, не по моей вине делается иными руками. У меня — честь, у Висковатого да у моих дяков — твоё доверие и твои поручения... Остался я с одной честью, но без дела... Непривычно мне так.

Иван Васильевич весело рассмеялся:

— То я и вижу! Честь тяготить вас начала, ибо на одном месте она, лукавая, застоилась!.. Честолюбцы подобны пьянице... Тот пьет вино, выпьет чарку, берет сулею, — мало! Хватается за жбан, а после за кувшин — опять мало! Лезет к бочке и, слава тебе господи, тут и опивается. Стали опиваться и вы, дружки мои! Жалко мне вас, а как

удержать? Коль пьяницу оттащишь от бочки, он бесится, то ж и с честолюбцами... Трудненько царю с вами! Пожалейте его! Не жалуйтесь на обиды! Может ли царь до конца измерить степень заслуг ваших? И коли где он недомерит, где перемерит,—не имейте обиды, ибо он царь, а не бог, а вы—слуги царства, но не токмо Ивана Васильевича...

— Честолюбцем я никогда не был,—вспыхнув от негодования, громко возразил Адашев.—Я думал и ныне думаю лишь о благе государства и о твоём, великий государь, благе!

— Думает о благе царства и о моем благе и простой мужик и черный люд из Дорогомилова... Тем сильно наше царство, но не велика в том заслуга царедворца!.. Как же не думать царедворцу о благе царя, коль из его рук он получает богатство и славу? Умный ты человек, Алексей, а говоришь дурость! Дела мне нужны прямые, полезные, а не словословие и клятвы.

— Тяжко, государь, ближнему к тебе сызмальства человеку слушать это... Был ли я когда-нибудь льстецом? С малых лет ты меня любил за правду, а ныне отвернулся от меня, малым даешь большие дела, мне—малые...

Нахмурившись, царь произнес строго:

— Добрый человек к благополучию не пристрастен. Человек, имеющий силу, здоровье, легко сносит жар и холод и поднимает тяжелое и не гнушается поднять легкое... Так и истинно добрый, правдивый слуга царя, любящий родину, с одинаковым усердием делает малое и большое, ибо забота его лишь об одном, чтоб то дело было лучше сделано. Но обиды он в том не видит никакой. Будь и ты оным мудрецом!.. Скоро ты узнаешь—дам я тебе другое дело... Выполняй его честно, во имя блага родины... Не гневайся на меня, Алексей, и не ропщи! Какое бы малое дело ни получал ты от меня, знай, что оно—государево.

Царь повернулся и вышел из горницы.

Адашев низко поклонился ему вслед.

. . . . .

Никогда в Успенском соборе не горело столько свечей и лампад, как в эту субботнюю службу. Никогда так много не собиралось духовенства и народа в соборе, как в этот вечер прибытия в Москву послов от цареградского

патриарха. Царь и царица стояли на своих местах: Иван Васильевич у первого столба на троне Владимира Мономаха под золоченым шатром, поддерживаемым четырьмя резными столбиками с государственным гербом; царица под другим шатром, с левой стороны.

Службу отправлял митрополит Макарий.

Послы вселенского патриарха привезли в Москву соборную грамоту, подтверждавшую наследственные царские права византийских владык за московским великим князем Иваном Васильевичем.

Грамоту прочел сам митрополит, а в ней говорилось, что великий князь Иван Четвертый должен «восприять власть, как и прежде царствовавшие цари, и быть святейшим царем богоутвержденной земли, быти и зватися ему царем законно и благочестно, быти царем и государем православных христиан всей вселенной от востока до запада и до океана, быти надеждою и упованием всех родов христианских, которых он избавит от варварской тяготы и горькой работы».

Грамота гласила, что цареградский собор молит бога об укреплении Московского царства, которое должно явиться сменою Византийской империи, и о возвышении руки государя: «да избавит повсюду все христианские роды от скверных варвар, сыроядцев и страшных язычников, агарян!»

В Успенском соборе в эту субботу молились богу печатник Иван Федоров и Андрей Чохов.

Они только издали могли наблюдать за царем и видели лишь его спину, но во всей осанке его могучей фигуры чувствовалось спокойное, властное внимание к патриаршей грамоте. Царь держался так, будто он все это принимает как должное, не умножающее и не уменьшающее его величия.

— Да не погрязнет корабль великого твоего державства в волнах бесчестия! — громко закончил Макарий, обведя хмурым взглядом боярскую знать.

Иван Федоров шепнул на ухо Андрею: «Осифляне победили!». На лице его была радость. Андрей теперь хорошо понимал, в чем суть борьбы между нестяжателями и осифлянами; уже не раз ему говорил Иван Федоров, что если бы не митрополит Макарий, — Печатного двора не было бы. Митрополит — главный заступник, он защитник его, Федорова, от нападок нестяжателей, вас-

сиановцев, заволжских старцев и их покровителей из болгарской знати.

Когда Макарий вручил грамоту приближавшемуся к амвону Ивану Васильевичу, монахи, стоявшие рядом по обе стороны амвона, запели громкую, торжественную «осанну».

Приняв благословение от митрополита, царь приложился к евангелию и иконам. Все это делал он с величественной неторопливостью, останавливаясь перед каждой иконой и некоторое время внимательно вглядываясь в нее. Духовенство и бояре в эти минуты стояли не шелохнувшись, смиренно поникнув головами.

Но вот к царице подошел митрополит и возвел ее на амвон. За царицей рында нес большой расшитый шелками самой Анастасией образ святого Никиты, в честь своего старшего брата, который был ближе всех к царю. Она тем самым снова подчеркнула дружбу и сплоченность семьи Юрьевых-Захарыных, против которой злобствовали бояре.

Она принесла эту икону как дар, как память о знаменательном событии — признании вселенским цареградским собором святителей ее мужа, царя Ивана, самодержцем и главою православных христиан всех земель своих и иноземных.

С песнопениями священники внесли царицын образ в алтарь, где митрополит окропил его святой водой.

Макарий и его иподьяконы смиренно поклонились царице, благодаря ее за драгоценное приношение.

После службы бояре расходились по домам молчаливые, угрюмые. Надежды на оспаривание самостоятельности государя и его «державства», якобы перешедшего от последнего византийского императора к московскому великому князю, рухнули. Сам патриарх константинопольский и вселенский святиТЕЛЬСКИЙ СОБОР из-за рубежа подали свой голос в пользу царя Ивана.

Федоров торжествовал. Всю дорогу он расхваливал царя и митрополита Макария, которые сумели мудрой политикой привлечь на свою сторону византийское духовенство и даже самого патриарха. Начитанный и бывалый Федоров сказал, весело улыбаясь:

— Не могут служители церкви одни управиться и оборониться от еретиков и супостатов!.. Цареградские монахи и попы ныне сиротами стали. Кто защитит мечом слово божие? Константин потерял не токмо император-

ский сан, но и Византию. Попусту глумятся нестяжатели над нашим благодетелем, батюшкой митрополитом. Царь обороняет божью церковь и дарами награждает ее служителей. Тем она и сильна. Тем крепок и царь. Вассиан укорял дая, что-де «тебя патриарх не признал», патриарх-де был выше императора в Цареграде... И все болтали об этом: по всей Москве, по всей земле, а ныне...

Иван Федоров рассмеялся:

— Поди, старец Вассиан теперь ума рехнется.

Андрейка сказал равнодушно:

— Ему и помереть пора. Чего он там?! А царю без них вольготнее будет. Хушь бы войне, дьяволы, не мешали! Воевать ведь мешают!

— Вестимо, вольготнее... Да и нам лучше. Печатать учнем многие книжицы. И Апостола кончим скорее и Псалтирь. Царь ждет, торопит митрополита, а святитель — меня.

Так, незаметно, в беседе о царе, о печатном деле, о войне, Федоров и Андрейка добрались по осенней распутице Никольской слободы до дома.

На следующее утро в Посольском приказе Висковатый в торжественной обстановке объявил созванным в Приказ иноземным послам о грамоте византийского патриарха, прося их написать о том своим правительствам.

Висковатый особо выделил слова грамоты о том, что русский царь отныне является не только главою русских православных христиан, но и всех православных людей, живущих в других государствах, за московскими рубежами. Всем им он — отец и защитник, а потому может ли государь сложить оружие и не воевать Ливонию, коли там происходили и происходят надругательства над православными христианами, находящимися в подданстве у зазнавшихся немецких владык?

Еще и еще раз Висковатый повторил свою просьбу к послам, чтобы они довели до сведения своих государей, что Иван Васильевич — защитник своих единоверцев во всех странах.

В полдень у двора толпился народ.

Царица Анастасия щедро оделяла деньгами и разными подарками бедняков и их детей, говоря каждому из них: «Молитесь о своем государе и великом кнзе Иване Васильевиче».



Самых бедных детей, по ее приказанию, уводили в Столовую избу на царевом дворе и там кормили их вареным мясом, рыбой и всякими сладостями.

## VIII

Сильвестра не стали узнавать даже его друзья. Похудел, высох, глаза стали беспокойными, временами злыми. Раньше он старательно расчесывал волосы на голове, слегка подстригал бороду, одевался опрятно, часто менял шелковые рясы, теперь оброс клочкастой бородой, ходил со спутавшимися в беспорядке косами, а рясы, как будто нарочно, носил выцветшие с заплатками.

Сплетничали, будто царь недавно при всех вельможах назвал его невеждою. И теперь, если его спрашивали о каком-либо государственном деле, он отвечал тускло, неопределенно, заканчивая свой ответ одними и теми же словами:

— Не нашего ума то дело. Поклонись царю Ивану Васильевичу. Я невежда.

А когда говорил он это, на губах его появлялась улыбка. Злая, насмешливая. Скорбные глаза не могли скрыть затаенного озлобления.

Раньше Сильвестр был общителен. Ходил в гости к излюбленным князьям и боярам, ныне стал избегать и их. Впрочем, многие князья и бояре сами стали всячески его сторониться, особенно после того, как он заступился за Телятьева, у которого по причине опалы отписали вотчину на государя, точно так же, как и у покойного Никиты Колычева. Его вотчину царь отдал во владение двум десяткам дворян. И в первую очередь испоместил в ней врага колычевского — «выскочку» Василия Грязного, а Телятьева сослал в монастырь замаливать «какие-то грехи». Говорят, сам царь пытал его, а Телятьев, по малодушеству и спасая свою шкуру, наговорил нивесть чего на многих бояр. Вот к чему привело заступничество Сильвестра!

Большую часть времени первый царский советник проводил в молитве, посте и прогулках по кладбищам, где покоились прежде жившие вельможи и знатные инок.

К царю его звали все реже и реже, а когда он и появлялся в государевых покоях, то был излишне смирен

и почитителен и со всем, что царь говорил, соглашался. Это раздражало царя еще более, чем прежние споры.

И вот однажды Сильвестр сам явился во дворец, попросив доложить о нем. Иван Васильевич обрадовался тому, что наконец-то Сильвестр сбросил с себя свою замкнутость и гордыню и первый обратился к нему.

Он принял радушно первого советника в своей рабочей комнате. Налил ему чарку только что полученного фряжского вина. Но Сильвестр был темнее тучи и от вина отказался.

— Пришел я, государь, просить тебя смиренно, чтоб оказал ты мне свою царскую милость — отпустил бы меня за тебя богу молиться на вечные времена в Кирилло-Белозерский монастырь. Послужил я тебе в прошлые годы верой и правдой, а ныне так же послужу и за монастырским алтарем.

Иван с удивлением взглянул на Сильвестра.

— Российское самодержавство было всегда сильно тем, что почитало благочестие прежде всего, — могу ли я чинить противность в том своим ближним слугам, хотя бы служба их была полезная, доброхотная и прямая? Однако чарку царского вина ты выпьешь. Без того не уйдешь в монастырь.

Брови царя стали подвижными, что указывало на взволнованность его. На щеках выступил густой румянец. Он взял своей большой рукой чарку с вином и порывисто, так, что вино немного расплескалось, подал ее Сильвестру, который и поспешил ее принять своей бледной дрожащей рукой. (Ему вдруг пришло в голову: не отраву ли подносит царь?)

— Во здравие твое, государь, за правду и счастье! — произнес Сильвестр в сильном волнении.

— Нет! — прервал царь. — За победу нашу над врагами!.. Победим — и царь будет здоров, а копь в беду впадем — и царь занедужит!

Сильвестр нерешительно, маленькими глотками выпил вино. Царь настороженно, с трудом сдерживая гнев, следил за ним.

— Но хотел бы я знать, — тихо сказал он, — до сего дня разве ты не молился за своего самодержца? И неужели мои вельможи, лишь уйдя в монастырь, возносят молитвы о своем царе? Не иная ли причина послужила твоему чело-  
битью?

Выражение испуга и растерянности застыло на лице Сильвестра. Его мучила мысль: что он выпил? Яд или вино? Собравшись с мыслями, он сказал:

— Воля твоя, государь, думать, как тебе твое сердце, умудренное божией милостью, внушает, но у нас тоже есть сердце, исполненное преданной любовью к своему земному владыке, любящее крепко и горячо родину.

— Не такое нынче время, друже, чтобы царю забавлять себя слушанием ласковых речей. Огонь и меч должен быть у нас перед очами, а не любезные поклоны царедворцев. Не украшенная фарисейским смирением речь и не убогое речение мытаря, а крепкое слово воителя надобно нам ныне, завтра и далее того! Боевой меч — зеркало, в котором царь яснее всего видит прямые и кривые лица своих подданных.

На губах Ивана появилась насмешливая улыбка. Сильвестр побледнел: «Кажется, яд!». Тяжело дыша, охрипшим голосом сказал:

— Не слушаешь ты своих советников. Раньше слушал, теперь нет. Ласкатели твои стали между нами и тобой. Царь должен быть только главою и любить мудрых советников своих, яко свои уды<sup>1</sup>, ничего не предпринимать без глубочайшего и многого совета.

Сощуренные глаза царя впились подозрительно в лицо Сильвестра.

— О ком ты говоришь? Кто те «ласкатели» и что есть «между нами»? Между кем?

— Между тобой и избранною радю, в которую введены мы тобою же,— осмелел Сильвестр. («Нет, не яд!»)

— Кто мы?!

— Адашев, я, Курбский, Челяднин и другие твои преданные слуги.

Царь с сердцем хлопнул ладонью по столу.

— Молчи! Знай одно: слушал я вас долее, чем того заслужили вы и чем то было полезно царству нашему. Иди в монастырь! И молись там не обо мне, а о себе и о своих товарищах. Держать тебя не буду. Прощай!

Сильвестр низко поклонился и вышел из царских покоев. После его ухода царь кликнул Вешнякова:

— Гони Ерошку! Куда побрел поп Сильвестр? Досмотрите!

---

<sup>1</sup> Члены своего тела.

После того Иван Васильевич вызвал к себе Данилу, Никиту и Григория Романовичей Захарьинных и рассказал им о размовке с Сильвестром.

— Давно бы пора ему!.. — вздохнул с недоброй улыбкой Никита. — Пускай молится.

Иван Васильевич посмотрел на него с грустью.

— Ни один владыка не знает, когда наступит час расставания его с любимым вельможею, бывшим полезным ему в то или иное время. Сам бог указывает — нам полезнее станет, коль Сильвестр отойдет от нас! Таких умных и добрых людей, как Сильвестр и Алешка Адашев, немного... Но бывают времена, когда малоумный царедворец меньше вреда принесет царю и родине, нежели умный. Алексея тоже надо удалить. Жаль мне его, но далее ему на Москве делать нечего.

Братья переглянулись.

— А Сильвестру, — продолжал он, — оставлю я все его имущество, ему и его сыну. Царь помнит старое доброхотство. Анастасия просила меня не обижать попа. Они ее повсюду всяко и называют Иродиадой, а кто же более нее охлаждает мой гнев против них? Слепые! Сколь много неразумного творят они с той поры, что пошел я своей дорогой... Так тому и быть надлежит: ступив ложно на иную тропу, нежели я, они стали все дальше и дальше удаляться от меня. Оправдываясь и клянясь в верности, они обманывают и себя и меня... Не тем ли путем дошел до Гефсиманского сада и предатель Иуда?

В этот момент в царской палате появился Вешняков. Низко поклонившись, он сказал:

— Великий государь! Отец Сильвестр поехал к дому Курлятихи. Там же с полдня бражничает его светлость князь Владимир Андреевич.

— Спасибо, иди! — кивнул Вешнякову царь.

После его ухода царь задумался.

— Предвижу я великую свару, — вздохнул он. — Не было того в мире, чтоб противные стороны кончили борьбу свою молитвами друг за друга. Не верю я молитвам Сильвестра.

Царь тихо рассмеялся.

Романовичи почтительно молчали.

— Правителю нужна рука Давида, чтоб разметать врагов своих, а я слаб... слаб... Не чувствую силы в себе. Но бог милостив! Добрые люди помогут. Одних слуг у царя господь

бог прибирает, других дает... Радостную весть сегодня поведал мне Висковатый: Данциг, Гамбург и другие немецкие города отказались давать Ливонии оружие. Нам легче станет.

Поднялся Данила Захарьин.

— Батюшка Иван Васильевич, надежен ли ныне Курбский? И не опасно ли то, что ты его поставил наистаршим надо всеми в войске?

Оба других царских шурина вздохнули, покачали головами, как бы подчеркивая тем самым свое единомыслие с братом.

— Вот уже два года, как мы воюем... Двадцать городов и замков в наших руках... Попытки германского императора, Литвы, свейского короля, Дании и Крыма помешать нам разбиваются о наш меч... И, как вижу, этот меч искуснее всех держит Курбский. На кого же я могу иметь надежду, как не на него? Сам я ему сказал: «Либо я, либо ты». Кроме—кого поставлю хозяином того великого дела? Курляте и Репнин дозволили десятку тысяч лифляндцев взять в виду всего нашего войска Ринген и истребить защитников твердыни. Не хочу думать, что то измена, а похоже.

Все трое Захарьиных опять вздохнули.

— Нашего войска впятеро было больше, как же так?—развел руками Никита.—Михаил Репнин неспроста отказывался идти на войну.

Иван Васильевич, ничего не сказав в ответ на это, налил всем вина.

Дружно выпили Захарьины, поднявшись со скамьи, за здоровье царя.

Иван Васильевич был молчалив. Иногда только отрывисто, как бы отвечая сам себе, он говорил: «Ну, что ж, добро, коли так!»

Самый смелый и расторопный из братьев Захарьиных, Никита Романович, приложив руку к груди, громко сказал:

— Мудрое слово молвил, государь! Есть верные рабы у царя. Вот мы!.. Скажи мне царь: влезь на колокольню и бросься оттудова головою вниз. И не буду думать я, и в сей же час богу душу отдам за пресветлого государя...

— Мы также!.. Слово царя для нас равно божьему слову,—проговорил Григорий, приложив к груди в знак преданности руку, украшенную перстнями.

Иван еще и еще налил вина. Видно было, что он сегодня хочет много пить. Слова шурьев ему пришлось по душе.

— Да и то сказать... Добрые люди не перевелись на Руси, и они составляют опору великую державе Российской—государя любят, государя славят, за государя умирают... Война народом моим поддержана.

Иван Васильевич выпил один, не дождавшись никого, свою чарку, стремительно поднялся из-за стола. Заложив руки за спину, он принялся ходить из угла в угол просторной палаты.

— Стало быть, вы думаете, худо не будет от расставания с такими людьми, как Сильвестр и Адашев?—тихо спросил он.

И, не дождавшись ответа шурьев, сам ответил себе:

— Нелегко. Тяжко! И вот теперь, в ту минуту, когда я наложу на них опалу, мне чудится, что превысил я гнев свой... Ищу вину им и с трудом нахожу ее, а найдя, не вижу тягости в ней... Но знаю, чую: расстаться нам надо!.. Жалко мне их, жалко и себя...

— Батюшка государь, но ведь есть же добрые слуги, честные, преданные тебе люди... Они заменят их!—воскликнул Григорий.

— Кто?—быстро спросил царь, остановившись среди палаты.—Уж не Алешка ли Басманов? Не Васька ли Грязной? Иль, может быть, Афонька Вяземский? Их много, таких-то. Их жалую! И буду жаловать, но рядом с Сильвестром и Адашевым никогда не поставлю! Никогда! Знаю я их! Они еще скорее обошьются славой...

Захарьины притихли. Царь с пренебрежением перечислял всех своих новых приближенных, своих любимчиков. Слава тебе, господи, что не упомянул их, Захарьиных!

Иван Васильевич подошел к столу.

— Что же вы? Ну-ка, Гриша, наполни нам чарочки... Фряжское вино, из дальних стран привезли мне его. А все же наше лучше!

Стоя выпил свою чарку и опять стал ходить, искоса поглядывая в сторону братьев царицы.

— Ты, Григорий, мужик не глупый, однакоже все не то говоришь. Угодничаешь, а тебе того не надо, ты—брат царицы! Пошто тебе угодничать? Да разве правому делу в государстве одни хорошие, честные люди пользу приносили?.. Никогда не было того ни в одном земном царст-

ве... Вот у Эрика швейского Георг появился, Перссон. Хорош ли он? Христианин ли он в человечестве? Нет такого ца, который бы не постыдился назвать его своим братом, и, однакоже он у Эрика — первый человек, в канцлеры смотрит... А кто ж тот Перссон? Весь мир знает, что сыщик он, кровосмеситель и кат, и христианского ни кровинки в нем нет, человеческого тоже. Им же сильна швейская держава! А ему и всего-то три десятка годов... Так-то, Никита! Не одни добрые христиане и преданные государю люди помогают добрым государственным устройствам... Такого бы, как Перссон, и я бы непрочь иметь. Васька Грязной, Гришка, его брат, Федор сын Басманов и много их, молодчиков, воровских дел не чуждаются, девок портят, без содомлянства не обходятся... Но уже немалую пользу принесли они не только мне, а и всему народу. Государь должен быть справедлив во всем и, хуля врагов, не думать о добродетелях своих друзей больше того, что они имеют.

Захарыны смущенно переглядывались между собой. Им показалось, что царь о них думает так же. Стало жутко. А главное, никак не угадаешь, что сказать, чтобы государю понравилось. Ни так, ни этак! Всё невпопад! На все он возражает.

— Два года войны с немцами, — продолжал царь, — многому научили меня. Война помогла мне разглядеть истинных друзей и разгадать своекорыстных. Мои воеводы, увы! думают, что скоро кончится война и настанет мир... Они жгут села и деревни и убивают безоружных. Это легче, нежели покорять. Не один раз мы били немецких рыцарей-собак, а покоренною страной Ливонию не назовет и глупец. Но я поклялся всем государям, что мир настанет лишь тогда, когда наша истинная вотчина — Англия — со всеми городами, со всем нашим добром отойдет к нам! Когда это будет, один бог ведает! Моего терпения хватит на всю войну, но хватит ли его у моих воевод? Наиболее тверд Андрей Михайлович — ему я и доверил свое войско, хотя он и адашевский друг. Он тверд, и войское дело любо ему. Ошибаюсь я или нет, но доверять ему буду.

В доме дьяка Сатина, родственника Адашева, глубокое уныние. Оправдалось предсказание одного прохожего странника, почевавшего в сатинском доме, что 1560 год будет несчастливим для Федора, Андрея и Алексея Сати-

ных. Долго тогда думалось: почему несчастье должно постигнуть всех трех братьев, а не одного?

И вот случилось...

Неужели князь Андрей Михайлович Курбский, победоносно ведущий новое наступление в Ливонии, взял крепость Фелли для того, чтобы в нее на воеводство был сослан его ближайший друг—Алексей Адашев? А случилось именно так. О, этот несчастный для всех адашевских родственников и друзей июль 1560 года!

Братья Сатины, а с ними князья Ростовские, Шаховские, Темкины, Ушатые, Львовы, Прозоровские и многие другие горько оплакивали в молитвах перед иконами попавших в опалу Сильвестра и Адашева.

Вся Москва заговорила об этом событии с удивлением и страхом. Кажется, нашествие на Москву крымского хана так бы не волновало москвичей, как это.

Федор Сатин, от природы живой, ловкий человек, теперь не вылезал из своей горницы, стал пить. К нему присоединился сначала Андрей, а потом и младший, Алексей. Пили и ворчали на царя. Всему виною Ливонская война! Не захотел Иван Васильевич послушаться своих советников! Что будет он делать без Адашева и Сильвестра? Пропадет! Погубит все государство! Много ли еще таких умных голов слышь?!

Митрополит будто бы ходил просить о помиловании Сильвестра и Адашева, но ничего не добился. Будто бы царь сказал, что Сильвестр «по своему желанию» удалился в монастырь; Алексея Адашева он, государь, почтил саном воеводы. Постыдно такому мудрому человеку во время войны быть писарем, сидеть в Посольском приказе.

Вот и пойми тут: смеется царь или впрямь честит Алексея?

Но и малый ребенок видит, что царь охотно расстался со своими первыми советниками.

Князь Семен Ростовский под хмельком залез на колокольню, хотел броситься с нее вниз головой, однако пономарь Никишка стащил его вниз, только ногу ему немного вывернул. Хромать стал князь на другой день.

Не лучше случилось и с князем Василием Прозоровским. Ушел рано из дому и бросился в глубокий бочаг Москвы-реки. Стал тонуть, испугался. Закричал о помощи. Как раз царь Иван Васильевич возвращался со стрельцами с рыбной ловли. Велел спасти князя. Насилу вытащили.



— Ты как попал в сей ранний час в воду, и в рубахе и портах?— спросил он князя Прозоровского.

А тот буркнул в ответ:

— Яз, батюшка-государь, ума рехнулся!

Царь приказал его схватить и запереть в «безумную избу» и оттуда не выпускать его, «докедова вновь не помучает».

Обо всем этом много толков было в доме Сатиных. Осуждали они царя и за его «демонское упрямство».

Приезжали в Москву послы из Литвы и Польши, из Дании, из швейцарской земли и все просили от имени своих королей прекратить пролитие крови в Ливонии. А он твердит одно: «Ливония — извечная вотчина государей российских, и буду биться за нее, докудова нам бог ее даст!»

И всем боярам и князьям казалось это смехотворным. Ради моря столько крови проливать! На что оно Москве? Ну, если бы кто-нибудь обидел, оскорбил бы его род, или жену его, или царевичей, а то, извольте... море ему понадобилось, как будто своей воды мало! Чудно! Да и есть оно уже... То же Балтийское море... Но нет! Ему нужна Нарва... Торговый порт... Не поймешь его! Все делает в ущерб державе. А главное... Сильвестр и Адашев! Без них теперь все погибнет: и бояре, их друзья, и воеводы, и дьяки, ими оставленные, и вся Россия!

Да одни ли Сатины так думали? Во всех Приказах со страхом шептались о том же. Мороз по коже пробирал. Многим казалось, будто все хорошее, что в государстве делалось, все это от них, — от Адашева и Сильвестра и от их друзей бояр, а царь за их спиной и вся родина благоденствовали, жили весело, безопасно. А вот когда царь стал сам править, так и началась эта проклятая война, а вместе с нею и поборы, и увод людей на поля сражений, и неурядицы на южных границах, разоряемых крымскими татарами... Если бы царь по-старому слушался своих советников, ничего бы этого не было. Жил бы спокойно, радовался бы на своих деток, ездил бы по монастырям, богу молился, веселился бы в своих царских хоромаш с ближними боярами, на охоту бы ездил... Господи, чего ему не хватало? Нет! Все что-то придумывает, мудрит. Вишь, за море его потянуло, торговать, плавать в иные страны, будто своей земли мало! Гибель! Гибель грозит государству без мудрых правителей Адашева, Сильвестра и таких, как Челяднин либо Курлятев, а уж теперь, после

удаления Сильвестра и Адашева, какие они слуги государю!

Только вид будут казать услужливый, чтоб царя не обидеть, а дело свое праведно не поведут. Страха ради — не служба!

Что-то будет? Многих мучила эта мысль. В церквях молились, дабы бог помиловал родину, не допустил бы внутренних смут и измены и охранял бы родину от враждебных ей королей.

Потянулись дни, недели, месяцы, овеянные постоянной тревогой за судьбу государства, в сомнениях и полной подавленности.

Юродивые и кликуши на базарах и церковных дворах предсказывали кончину мира.

Были нападения на Печатный двор — многим казалось, что во всем виновата «сатанинская хоромина». Стрельцы хватали нападавших, пороли, запирали в тюрьму.

То и дело извещали Ивана Васильевича его зарубежные друзья о совещаниях, происходивших в Европе, направленных против Москвы. Всякий раз, получая донесения о том, он сердито говорил: «Спать не дает немцам Москва».

Третьего марта 1559 года — рейхстаг.

Первого мая 1559 года — аугсбургский рейхстаг.

А в скором времени немецкие владыки собирались созвать обширный депутативонстаг в городе Шпейере, и все по поводу «московской опасности».

Шведские политики под влиянием Фердинанда стали вновь предлагать европейским державам свой старый план нападения на Россию. Остановка была теперь только за Англией, с которой у царя установились деловые отношения. Шесть лет тому назад шведский король Густав Ваза склонял Марию Английскую, Данию, Польшу и Ливонский орден к одновременному нападению на Московское государство. Сам он предлагал вторгнуться в Россию со стороны Финляндии. Польша, соединившись с Ливонией, должна была напасть с запада. Густав Ваза носился с планами оттеснения России от моря далеко на восток. Он говорил, что от Москвы надо отгородиться «китайской стеной».

В ответ на донесения, поступающие из-за границы, Иван Васильевич стал еще более укреплять прирубежные города, строить новые, связывать их между собою земля-

ными валами и рвами и увеличивать стражу. Он обратил особое внимание на улучшение вооружения засечников. К рубежам сгонялись породистые конские табуны для скорой связи между засеками и внутренними городами России.

Посольский приказ тоже работал дни и ночи. Сам царь принимал участие в составлении писем иностранным государям. Он стал стремиться к еще более тесной дружбе с Англией. Постоянная распря между Швецией и Данией давно привлекала его внимание. Его симпатии были на стороне Дании. Он послал лучших своих дьяков для налаживания союза с датским королем.

Иван Васильевич с пышной торжественностью принимал в Кремле германских послов, прибывших в Москву с целью заступничества за Ливонию. Он окружил их большим почетом.

Во время приема царь жаловался на коварство немецких правителей в Прибалтике, постоянно обманывавших его, причинявших его стране большие убытки и мешавших Москве сноситься с европейскими государствами.

— Коли они почитают себя немцами, — говорил Иван Васильевич, — надобно бы им прежде всего обратиться за советом и добрым посредничеством в распре с нами к своему исконному главе, к императору римскому, цесарю Фердинанду, но не так, как делают они... Прежде того она поклонилась польскому Жигимонду, потом дацкому Христиану, после того свейскому Густаву... Передайте моему брату, великому цесарю, что лифляндские земли не перестать нам доступать, докодова нам их бог даст!

В честь германского посольства во дворце состоялся богатый пир, на котором с начала и до конца присутствовал сам царь.

На другой день Иван Васильевич передал послам собственноручное письмо на имя императора Фердинанда.

Это письмо было доставлено послами лично императору.

Письмо Ивана Васильевича написано было в таких загадочных, нелесных выражениях, что даже при помощи двух знатоков русского языка император Фердинанд не мог вполне разобраться в смысле царевой грамоты. Царь писал, что если императору угодно, то пусть он пришлет в Москву кого-нибудь из своих советников, ему царь докажет свои права на Ливонию.

Висковатый подмигивал дьяку Писемскому после написания этого письма, шепнув ему, что батюшка царь хит-

рит, будто он сторонник католицизма, в угоду Габсбургам, ибо в наследственных землях их господствует «папская вера». Фердинанду по губам «медом мажет». А царь писал о ливонцах, что раз они так легко изменили католической вере, то нетрудно им стало изменить и своему владыке-императору.

Германский император не на шутку перепуган был успехами русского оружия. Выпустить из рук прибалтийские земли, отдать вновь Москве захваченные предками у русских богатство и море! Нет! Этого не будет!

Он писал письма не только царю Ивану, но и королям Дании и Швеции. Он писал им, что война России с Ливонией касается не только одной Германии, но и всех соседних с Орденом государств. Он обращался к королям Дании и Швеции за советом и помощью и просил их «пожалеть бедных ливонцев». «Дании и Швеции,— писал он,— тоже будет грозить опасность, если московский царь утвердится на берегах Балтийского моря. Одною Ливониею вряд ли царь удовольствуется. Он захочет идти дальше на запад, начнет воевать прусские земли, а там придет очередь и за Данией». Всем соседям Ордена он советовал подумать над тем, как сохранить за империей ее форпост на востоке.

Датский король и шведский отвечали императору Фердинанду в тусклых, неясных выражениях, из которых было видно, что они не намерены ввязываться в войну. Они, в свою очередь, побаивались пруссаков и не вполне доверяли уговорам Фердинанда.

. . . . .

Тысяча пятьсот шестидесятый год был особенно тяжел для Ливонии. Новый гермейстер, молодой талантливый Готгард Кетлер, несмотря на свою природную храбрость, принужден был искать помощи на стороне.

Сначала... Дания! Но хотя король и считал Эстонию «своей», ввязаться в войну с Москвою не желал.

Польша? Отказ!

Шведы? Всею душою хотели помочь Кетлеру, но ведь Ливония их не поддержала в войне с Московией! Обманула! Этого не забудешь!

Гермейстер — слуга императора и знатного рыцарства; ему дан наказ: кому угодно отдать Ливонию, только не Москве.

Германский канцлер писал гермейстеру, что рыцарству хорошо известно единовластие царя. Для них не секрет, как Иван строг к своим боярам и чего ждать от такого владыки епископам и фогтам, управлявшим по-княжески «своими» городами, замками и вокруг них лежащими землями. Они те же удельные князата, которых так недавно разгромили у себя московские цари. Горе будет немцам, коли царь овладеет Ливонией; он отдаст их на растерзание латышам, эстам и всякому другому черному люду.

Со стороны Швеции рыцарство не боялось королевского самоуправства.

Дания? Она больше всего прельщала рыцарство.

В течение 1558 года в Данию ездили из Ливонии бесчисленные посольства. Особенно частым гостем у короля Христиана III бывал Мунихгаузен, мечтавший стать наместником короля в Эстляндии, а пока Мунихгаузен, при поддержке кнехтов, крепко держал в своих руках Ревель, объявив себя правителем Эстляндии, оттеснив ливонские власти, которые добивались у датского короля протектората. Христиан после долгих переговоров предложил Ливонии свое посредничество между нею и Москвою. За свои услуги он требовал у Ордена уступки ряда приморских провинций в Эстляндии, но, ведя переговоры с Орденом, Христиан с опаской поглядывал и на Москву, и на Швецию. Больше же всего он боялся именно Швеции, которая могла бы нанести ему удар с севера. Швеция следила за каждым шагом Дании, Дания следила за каждым шагом Швеции. Вот почему Христиан действовал нерешительно и неопределенно.

Однако и сама Дания жила под угрозой вторжения в ее границы соединенных войск герцогов Веймарского, Саксонского, Франции, Испании, Лотарингии и Любека. Ходили даже слухи о том, что вторжение грозит Дании с моря.

С приходом царских войск в Гаррийской области Эстонии восстали крестьяне против помещиков.

— Не надо нам господ! Конец терпению! — кричали на сходках гаррийские жители: крестьяне, охотники, мелкий рабочий люд. — Дворяне берут с нас большие оброки, мучат нас барщиной, а как неприятель пришел, так они попрятались, а нас на погибель отдают!

Восставшие объединились в большие отряды, вооружились и начали разорять и жечь дворянские усадьбы, уби-

вать владельцев замков и имений. Некоторые из знатных дворян были схвачены крестьянами и умерщвлены. Повстанцы послали своих людей в Ревель, звали жителей города и бедняков соединиться с ними для борьбы с дворянами. Они говорили, что больше не хотят быть рабами рыцарей, что надо истребить их. С горожанами восставшие желают жить в мире.

Сильный повстанческий отряд осадил замок Лоде, куда сошлись многие спасшиеся от мятежа дворяне. Мунихгаузен с толпою хорошо вооруженных огнестрельным оружием дворян напал на осаждавших. В этом бою было убито множество эстов, латышей и ливов, а вожди их были взяты в плен и частью зверски казнены у ворот замка Лоде, частью на площади в Ревеле. Им отрубали головы, руки, ноги...

Немцы придумали своим пленникам — ливам, латышам и эстам — самые страшные мучения: выкалывали им глаза, рвали языки, сдирали кожу с живых, сжигали в домах целые семьи. Зарево пожаров охватило небо над всей Гаррийской провинцией.

Восстание эстов и ливов против немцев распространилось по всей Эстонии. Мунихгаузен старался показать себя спасителем Ливонии.

Ревельские власти винили в восстании русских ратников, подстрекавших якобы простой народ к неповиновению немецким господам. Пустили слух, будто бы у эстов русское оружие.

Говорили: прав германский канцлер, — и от царя, и от простого народа, в случае присоединения к России, ливонское рыцарство добра не жди!

. . . . .

Нарва становилась новым оживленным портом на Балтийском море.

Потянулись сюда и иноземные торговые люди. На пристанях, у амбаров купеческих шалашей звучала речь на разных языках. К услугам приезжих купцов были построены «немецкие избы». Здесь они получали ночлег и еду. Здесь же находились и толмачи-переводчики.

Днем и ночью, распустив паруса, к пристаням подплывали красавцы-корабли.

Сукно, медь, олово, соль, оружие и прочие товары перегружались с кораблей на телеги. Громадные обозы уходили в Москву и в иные русские города. Московские

купцы продавали иноземным купцам кожевяное сырье, лес, мед, пеньку, лен и хлеб.

Наехали в Нарву, боясь утраты прежнего влияния в торговле, новгородские купцы. Им хотелось быть первыми и в Нарве. С Новгородом соперничали псковские гости. Но трудно было им бороться. Иноземцы высоко ценили новгородский лен. Разбирали его варасхвят. Денег не жалели, чтобы закупить его побольше. Он был длиннее и чище, чем у других. Нужды нет, что цена несколькими рублями с пуда выше, чем у остальных.

Московская торговля с трудом завоевывала признание на рынке, хотя московским гостям покровительствовал сам царь. Трудно было Москве бороться с Новгородом и Псковом. Еще ее и на свете не было, а новгородцы да псковичи на всех морях известны были своими товарами.

Бальтазар Рюссов, видя, что Ревель теряет силу в торговле, писал:

«После того, как Ливония начала продолжительную войну с московитом и запретила торговать заграничным и ливонским купцам, особенно плохо пришлось любекским купцам, у которых не было никакой неприязни к русским. Они стали ездить в Нарву мимо нашего Ревеля большими толпами, доставляя в Россию товаров много больше того, что полагалось по старым соглашениям ганзейских городов. Наши ревельские немцы снарядили на свой собственный счет несколько кораблей с орудиями, чтобы нападать на любчан и русских купцов и мешать им ездить в Нарву и из Нарвы. Отсюда возникла сильная ненависть иноземных купцов к ревельцам. Раньше же они жили, как родные братья. Теперь Нарва расторгнула эту дружбу.

Любчане публично объявили, что им была дарована старыми шведскими королями привилегия свободно ездить с кораблями в Россию. Им было дозволено и римским (германским) императором беспрепятственно торговать в общих ливонских гаванях с московитом. И при всем том они и теперь явились не первые в Нарву. Раньше их прибыли в Нарву с товарами ревельские же купцы, которые указали и любчанам дорогу в Нарву. Если ревельцы торгуют со своим открытым врагом, то почему бы того не делать любекским купцам? Ведь у них совсем нет никакой вражды к Москве. А теперь не только любекские купцы на Балтийском море, но и все франдузы, англичане, голландцы, шотландцы, датчане и другие боль-

шими группами отправляются в Нарву и ведут там богатую торговлю различными товарами, золотом и серебром.

Ревель стал пустым и бедным городом. Наши ревельские купцы и бюргеры подолгу стоят в Розовом саду и на валах и с большой тоской смотрят, как корабли плывут мимо Ревеля в Нарву.

И хотя многие корабли тонут в море и попадают в плен военным кораблям шведского короля и к морским разбойникам, не доходя до Нарвы, однако плавание в Нарву не уменьшается, а увеличивается.

Ревель—печальный город, не знающий ни конца, ни меры своим несчастьям!»

Влюбленный в свой родной Ревель, всею душой преданный немецкой старине, ливонский летописец Бальтазар Рюссов решил покинуть родную землю и уехать за границу.

Однажды приплывшие на многих кораблях любчане подняли невообразимый шум около воеводской избы в Нарве. Чуть ли не со слезами на глазах кричали они вышедшему к ним дьяку, что до них дошел слух, будто англичане добиваются у царя монополии на нарвскую торговлю.

— Своекорыстия англичан нет пределов!—говорил с возмущением один немецкий купец, рослый, бритый человек, размахивая кулаками.—Мы будем топить их корабли, коль они будут к вам плавать! Мало им Студеного моря! Захватили они его! Хотят захватить и Балтийское... Не дадим! Не пустим!

Вышел сам воевода и заявил, что великий государь Иван Васильевич никому не мешает торговать в Нарве и что это болтовня досужих людей либо врагов Москвы.

Воевода, однако, знал, что английские купцы действительно добились у царя некоторых преимуществ в торговле с Нарвой, но промолчал.

«Нарва для всех!»—такой приказ пока получил нарвский воевода из Москвы.

Слова воеводы успокоили любчан и других немецких купцов.

## IX

Во второй половине июля на Арбате вспыхнул пожар.

Лето было знойное, засушливое. Нагретые солнцем бревна в домах быстро воспламенялись. В течение нескольких минут были охвачены огнем десятки домов.



Над Москвой поплыли клубы зловещего черного дыма. В нем утонули очертания кремлевских стен, соборов, башен.

Оседая в узких улочках и переулочках, дым сгущался, никнул к земле, застывал в неподвижности.

Временами с шипением на землю шлепались горящие головки, выброшенные силой пламени вверх.

Иван Васильевич в это время сидел в опочивальне жены. Накануне она почувствовала себя плохо и теперь не вставала с постели. Побывали у нее все английские и немецкие врачи, но лучше ей от этого не стало.

В открытое окно царь вдруг увидел тучи дыма, медленно растекавшиеся в безветренном воздухе над зубцами кремлевской стены у Тайнинской башни.

Охваченный тревогой, он вскочил с места, подошел к окну и сразу все понял. Опять пожар, большой пожар! На кремлевском дворе раздались частые, тревожные удары в било и громкие выкрики дворцовой стражи.

В царицыну опочивальню вбежала мамка Варвара Патрикеевна и, упав перед царицей на колени, истошным голосом вскрикнула: «Матушка государыня, горим!»

Анастасия испуганно вскочила с постели. Затряслась, стала шептать про себя молитвы.

Царь грозно нахмурился и с силой вытолкнул Нагую вон из опочивальни.

— Не бойся, красавица-царица! Не бойся! Все обойдется... Патрикеевна ума лишилась! Дура!

Он осторожно помог Анастасии снова улечься в постель, прикрыл ее одеялом, поцеловал и, приоткрыв дверь, крикнул Вешнякову:

— Вели подать царицыну повозку! Да зови митрополита! Лекарей тоже! В Коломенское отвезем государыню!..

Вернувшись к постели, он сказал:

— Чтoб докуки и беспокойства тебе не было, поезжай-ка ты, Настенька, с митрополитом в Коломенский дворец... Там отдохнешь!.. Скоро и я там буду... Взглянуть мне надобно на огонь да наказ людям дать... чтоб еще большей беды не случилось.

В окно стал проникать запах гари. Иван Васильевич захлопнул ставни.

Анастасия умоляющим взглядом смотрела на мужа.

— Поедем со мной!.. Не оставайся один!.. Боюсь я за тебя!.. Страшно! Не они ли опять подожгли Москву? Да

и тебя хотят погубить... Не ходи туда!.. Горяч ты! Погибнешь! Напрасно ты опалился на «сильвестрову орду»... Не они ли?

— Полно, государыня, не кручинься!.. Царь я! Кто смеет стать против меня? А кто станет, того и самого не станет! Лютой казнью уничтожу... Не бойся, матушка, ныне не так, как в те времена. Ваську Грязного возьму с собой! А робят малых заberi, вези тож и их в Коломенское!

— Иван Васильевич! Батюшка!.. Сердце мое болит... Недоброе ты задумал!.. Худа бы не приключилось! Несчастья! В дверь постучали.

Царь отворил. Вошел Вешняков.

— Игнатий! Ваську да Гришку Грязных сыщите. На пожар поскачем...

— Повозка подана, батюшка Иван Васильевич! Митрополит в ожидальной палате!.. Лекаря тож.

— Ну, Настенька! Подымайся!.. Игнатий, кличь баб!.. Вешняков ушел.

Вскоре в опочивальню на носках, испуганно озираясь по сторонам, вошли Варвара Нагая и любимая царицына мамка Фотинья. Сенных девушек и боярышень царица отослала обратно. Варвара и Фотинья одели царицу. Иван Васильевич внимательно следил за тем, как они ее одевают. Иногда помогал им.

Поддерживаемая Варварой и Фотиньей, Анастасия Романовна усердно помолилась на икону. Потом взглянула на царя и несколько минут смотрела на него с грустной улыбкой.

— Непослушный ты! — тихо сказала она, в глазах были слезы.

— Можно ли мне, бросив стольный град в несчастьи, бежать, словно зайцу?.. Государыня, не склоняй к малодушню! Люблю тебя, но... Москва! Подумай! Москва горит...

Голос его дрогнул, он, крепко обняв жену, поцеловал ее, оттолкнул Варвару Нагую и Фотинью, поднял царицу на руки и понес ее через покои дворца к выходу.

Находившиеся на крыльце и около него люди низко опустили головы, не смея взглянуть на царицу. Видны были только их согнутые спины и руки, касавшиеся кончиками пальцев земли. Стало так тихо, словно толпа придворных и дворцовых слуг сразу окаменела, стала безжиз-

ненной. А некоторые и вовсе пали ниц и лежали на полу, не шевелясь.

Около повозки, ожидая царицу, стоял митрополит Макарий. Он благословил царя и царицу, когда царь передал ее боярыням. Иван Васильевич сам усадил ее и детей в повозку. Еще и еще раз поцеловал ее и детей, помог сесть митрополиту и двум лекарям. Окна плотно завесили занавесками. Царицу никто не достоин видеть.

Полсотни стремящихся стрельцов на лихих скакунах окружили повозку под началом Алексея Басманова.

Царь приказал Басманову не гнать коней, ехать тихо, не беспокоить царицу криками и шелканьем бичей, соблюдать тишину, а в Коломенском дворце поставить крепкую стражу. Басманов, сидя на коне в шелковом голубом кафтани, расшитом золотыми жгутами, склонился, слушая распоряжение царя.

Иван Васильевич озабоченно осмотрел коней и отряд стрельцов и, найдя все в порядке, махнул рукой.

— Ну, с богом!

Запряженный осьмеркой сильных вороных лошадей, большой шестиколесный возок, привешенный на ремнях вместо рессор, тихо выехал в раскрытые ворота.

Иван Васильевич долго смотрел с крыльца вслед возку, пока он не скрылся из глаз, затем помолился, окинул строгим взглядом людей, собравшихся около крыльца.

Григорий и Василий Грязные уже были тут с толпою своих стражников, ожидая приказа царя.

— Коней!—громко крикнул Иван Васильевич.—На по жар поскачем! Берите конья, багры, кадушки с водой! Проворь!.. Где горит?

— На Арбате, великий государь!—отчеканил Василий Грязной.—Шибко горит!

Быстро собрали обоз с бочками, с баграми, с лестницами.

Царь, переодевшись в простое платье, мало отличавшееся от одежды простолюдина, вскочил на своего коня.

— Гайда!—крикнул он.

Всадник и обоз помчались к Троицким воротам... Впереди всех скакал на коне с гиканьем, размахивая плетью, вихрастый, горластый Василий Озорной, как звали Грязного в Кремле. За ним два стрелецких сотника, потом сам царь, а позади всех Григорий Грязной с десятком конных копейщиков.

На Арбате творилось что-то страшное.

Дышать нечем, душило смрадом, копотью; раскаленный воздух обжигал лицо, а царь скакал все вперед и вперед, в тот конец слободы, где еще огонь не успел распространиться с такой силой, как посреди Арбата. Поперек дороги удушливой стеной перекинулась мутная, непроницаемая мгла пожара. Василий Грязной осадил коня, оглянулся на царя; тот выхватил саблю и указал ему скакать дальше.

Не задумываясь, Грязной нырнул в смрадное марево, за ним стрельцы и сам Иван Васильевич. Ударило жаром, стиснуло глотку, голова одеревенела, в ушах начался гул, кони полезли на дыбы, но еще, еще несколько скачков... и снова размах бушующих огней и клубы уходящего столбами к небу густого дыма.

В иных местах строения догорали, в иных уже сгорели, а местами еще загорались. Туда-то и отправил царь свой обоз.

Толпившиеся здесь бояре и дворяне, увидев царя, низко поклонились ему.

Подъехав к пожару, Иван Васильевич сбросил с себя саблю, соскочил с коня, выхватил у стрельца багор и побежал к ближайшему только что вспыхнувшему дому.

Василий Грязной приставил лестницу к крыше. Пламя билось под крышей. Надо было дать огню выход. Царь крикнул Грязному, чтобы тот отодрал тесины. Сам тоже полез на крышу, приказал, чтобы ему подавали воду.

Стрельцы поднимали бадью за бадьей. Царь выхватывал их и, приближаясь к раскрытым Василием Грязным местам в крыше, обдавал их водой.

На это со страхом взирали бояре, оцепеневшие внизу при виде царя. Огонь полыхал рядом с царем,—казалось, он уже коснулся его одежды. Но вот царь скинул с себя кафтан и рубаху и бросил их вниз, оставшись по пояс обнаженным. Народу, возившемуся внизу с бочками и растаскивавшему горящие балки, бросились в глаза могучая волосатая грудь царя, его широкие плечи и мускулистые руки.

Среди пламени и дыма видно было, как царь и Грязной с двух сторон гасят огонь водою из подаваемых им снизу бадеек.

Устыдившись, бросились в пучину огня и дыма спасать соседние строения бояре и дворяне.

Кое-кто срывался с горящих домов, разбивался, иные проваливались в горящие здания и погибали там.

С почерневшим от копоти лицом Иван Васильевич обернулся к суетившимся внизу людям и велел им окапывать Арбат. Вмиг набежал народ с лопатами, мотыгами—мужчины, женщины, дети.

Царь потребовал копье, стал копьём сбрасывать на землю еще продолжавшие гореть балки. Внизу их засыпали землей, топтали ногами.

Большой, грязный, покрытый сажей и копотью, размахивая копьём, царь привел в движение всех, кто только находился здесь. Малые ребята и те стали копошиться около огня, помогая старшим.

Василий Грязной лазил по самому карнизу высокой хоромины, как кошка; казалось, вот-вот он сорвется и упадет, но нет! В опасный момент он ловко заваливался в сторону, сохраняя равновесие.

Потушив огонь в этом доме, царь остановился, разгладил рукою волосы, провел ладонью по груди, выпрямился, осматривая другие горевшие в соседстве дома, и крикнул, что есть мочи, охрипшим голосом:

— Васька! Айда вон в ту хоромину!..

Блеснули большие, страшные белки под густой бахромой почерневших от сажи ресниц. Царь быстро слез на землю и побежал с копьём в руке к соседнему дому.

Пожар бушевал несколько дней, и все время принимал участие в тушении пожара сам царь.

— Нет такого огня, который мог бы сжечь Москву!— сказал царь с гордостью, когда покончили с пожаром.— Москва мир переживет!..

А через несколько дней царь со своими телохранителями, кавказскими горцами, под началом князя Млашики поехал за Анастасией Романовной в село Коломенское.

. . . . .

В кремлевских домах страх и тишина. У всех ворот конная и пешая стража: на кремлевских стенах караульные пушкарки; площади и улицы в Кремле опустели: свирепо таращат глаза, держа наготове арканы, псарки; они ловят бродячих собак.

В боярских теремах перешептываются, вслух не говорят. Из уст в уста передается весть, будто в ночь, когда царя привезли в Кремль из села Коломенского, под ок-

нами царицыных покоев черная косматая собака вырыла глубокую яму.

Царь велел изловить провинившегося пса и сжечь его живьем в печи, а сторожей-воробтников посадить в земляную тюрьму и пытать, откуда взялась та негодная тварь, чья она и кто об этой яме пустил слух, да и собака ли вырыла ту яму, могла ли она изъять столько земли из недр? Сам Иван Васильевич осматривал яму, и ему показалось, что рыта не собачьими лапами, а либо мотыгой, либо лопатой. Но все же пса должны сжечь, чтоб злодеи знали, что с ними будет поступлено так же.

В расспросе сторожа-воробтники крест целовали, что они тут ни в чем не повинны и что собака та, по их мнению,—нечистая сила, которая пробралась на царский дворик невидимо и неслышимо, а не собака. Оборотень! Они ее поймали и доставили в дворцовый сарай.

Когда царю донесли о том, он задумался; велел, чтоб собаку жгли при нем: он, царь, по естеству сразу увидит, настоящая та собака или наваждение. Так и было сделано. Царь взял в руки обгорелые кости и шерсть сожженной собаки и деловито осмотрел их. Кости как кости; он остался при своем убеждении: собака настоящая, никакого волшебства в ней нет, визжала она так, как визжит всякая тварь, если ее жгут. И мясо, и кости, и шерсть—все земное, плотское, а сторожей, за то, что они хотели обмануть царя, Иван Васильевич приказал бить плетью нещадно, пока «голоса не станет».

Все это делалось в полнейшей тайне от царицы. Под страхом лютой казни запрещено было царедворцам, слугам, царицыным бабкам рассказывать Анастасии Романовне о собаке и об яме.

Дошло до царя, что Сильвестр обмолвился в монастыре, куда удалился на покой, про Анастасию: «Иезавель нечестивая, не царица она кроткая! Все прикидывается! А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего царя и супруга своего!»

В хоромах Владимира Андреевича и вовсе молились о том, чтобы бог прибрал «болящую рабу Божию Анастасию». Особенное усердие к тому прилагала его мать, княгиня Евфросиния. Она даже свечи в своей моленной ставила зажженным концом книзу, а когда огонь с шипеньем угасал, придавленный к подсвечнику, приговаривала: «Упокой, господи, душу новопреставленной рабы Анастасии».

То же самое делали боярыни во многих теремах. Проклинали там не только Анастасию, но и весь род Захарьиных, ее братьев — Данилу, Григория и Никиту, судачили, что все через них: и война с Ливонией, и опалы на бояр, и то, что царь променял бояр на иностранцев, татарских князьков, казаков, дворян незнатных и дяков-писарей. Все ставилось в вину Анастасии и ее родичам.

А разве можно когда-нибудь простить своенравному деспоту, что он, вопреки боярской воле, взял себе жену из рода Захарьиных-Юрьевых? И можно ли помириться с тем, что эта проклятая Ливонская война начата против желания боярского круга? Никогда, никогда этого не простит царю и царице гордая своими предками и заслугами боярская знать!

Борьба, Иван Васильевич, не кончилась!

Она будет продолжаться в страшных, позорящих тебя и твою семью сплетнях, в измене людей, на которых ты больше всего надеешься, в запугивании тебя разными знамениями и приметами, в тайных молитвах о наказании недугами и несчастьями царской семьи, в воеводском самоуправстве и неисполнении московских приказов по областям и уездам, и в поругании твоей церкви заволжскими старцами, и во многом, где царь бессилен не только найти виновных, но где он бессилен все это сыскать, узнать, услышать. Глупый да пьяный проговорятся, а лукавый — никогда. Он хорошо знает: «что насечешь тяткой, того не сотрешь трыпкой». И клевета никогда не проходит даром — что-нибудь да остается.

Кто кого — еще посмотрим! И хотя царю никто этого не смел сказать, он часто читал такое в глазах неугодных ему людей.

И в самом деле, так думали многие князья и бояре, так рассуждали они в своем тихом, замкнутом кругу под сенью дворцовой кровли князя Владимира Андреевича.

Сильвестр и Адашев удалены, но этим дело не кончилось...

. . . . .

С невероятным трудом бояре и их жены скрывали свою радость, которая охватила их, когда внезапно раздался печальный звон всех кремлевских колоколов, известивший о кончине царицы Анастасии.

Случилось это в пятом часу дня 7 августа 1560 года.

Сначала у царицы сильно болело под сердцем, потом ее начало рвать, она бросилась на пол, каталась по полу. Иван Васильевич не мог ее удержать, а когда притихла, он поднял ее с пола и на руках донес до ложа, склонился над ней и, едва дыша, обезумев от ужаса и горя, тихо спросил:

— Голубушка царица!.. Я здесь... с тобой... Что же это такое?

Она открыла глаза.

В комнату, волоча по ковру куклу и переваливаясь, вошел крохотный царевич Федор. Он остановился, с улыбкой стал следить за отцом и матерью. Вбежал царевич Иван в шлеме и с мечом через плечо и тоже остановился. Он сразу заметил, что происходит что-то неладное с матушкой, какое-то худо; испытующими глазенками стал следить за отцом и, увидев на щеках слезы, заплакал: «Матушка!». Глядя на него, принялся плакать и малютка Федор. Оба вцепились ручонками в одежду отца.

Громкий стон матери, беспомощно свесившаяся с постели рука ее, разметававшиеся по подушке черные косы, обнаженные плечи и страшное лицо отца окончательно сбили с толку детей, напугали их.

Они, забившись в угол, подняли громкий плач.

— Анастасия! Юница моя!.. Очнись!.. — склонившись еще ниже, в припадке отчаянья кричал отец.

— Дети!.. Государь... — тихо, едва слышно, проговорила Анастасия, на минутку остановив на лице мужа тусклый, полный ужаса взгляд.

Иван Васильевич схватил обоих детей на руки и поднес их к царице, подавляя подступившие к горлу рыдания.

Дети вцепились ручонками в холодеющее тело матери: «Матушка!». Шлем с царевича Ивана со звоном упал на пол.

— Нет! Уйдите! — задыхаясь, проговорил царь, сняв с постели детей. — Уйдите! Эй, Варвара, уведи их!..

Вбежала старая мамка Варвара Патрикеевна Нагая, схватила плачущих царевичей и понесла их из царицной опочивальни.

Долго еще слышался горький плач испуганных детей.

Царь в отчаянии прильнул высохшими губами к лицу жены. Оно было неподвижно, глаза полуоткрыты. Большие черные ресницы перестали трепетать.



— Настя! Настенька! Юница моя! Горлица!—вдруг вскрикнул Иван Васильевич.

Черное одиночество и мрак смертельной тоски навалились на согнувшегося, растерянно смотревшего в лицо покойницы царя Ивана. Все кругом медленно поплыло куда-то.

Невольно поднялся, вытянулся, как бы страхивая с себя какую-то тяжесть, сделал неуверенными движениями руки крест над телом Анастасии. Застыл на мгновение с поднятой рукой, подозрительно оглядевшись по сторонам.

В сером полумраке чуть-чуть светили в драгоценной оправе лампы, любимые ее лампы, которые опраивались только ее, царицыными, руками.

На белой занятнанной кровавой рвотой подушке неподвижно застыло покинутое последним трепетом жизни лицо царицы.

Иван блуждающим взором оглядел царицыну опочивальню. На круглом столике лежало неоконченное царицыно рукоделье, два больших румяных яблока. Одно — уже надкушенное.

Толстые стены дворца в его глазах расплылись. Вечерние тени бесшумно скользили, ткали серые пятнистые кружева за окном. «Анастасии больше нет!» — беззвучно кричало ржавое холодное небо.

Затяжным, тягучим, медленным плачем наполнилась опочивальня царицы. Царь крепко припал к любимому, такому дорогому для него, родному, милому телу, теперь холодеющему, неподвижному...

— Прости! Анастасия! Прости!—вскрикнул царь, крепко стиснув уже похолодевшую руку жены.

Оторвавшись от постели, он на носках, как всегда, когда находился в царицыной опочивальне, чтоб не разбудить царицу, подошел к столу. Яблоки! Яблочный спас... В кремлевских садах много яблонь... Сегодня он сам сорвал и принес царице несколько румяных крупных яблок.

Осторожно дрожащей рукой Иван взял надкушенное яблоко и долго смотрел на него.

Вот следы ее зубов, ее маленьких, сверкающих, как перламутр, зубов...

Царь оглянулся; бескровные губы плотно сжаты. Никогда уже не будет на них солнечной, весенней улыбки, которая покоряла буйное сердце его, Ивана, но... яблоко!

— Душно мне! Анастасия, душно!..—Он облокотился на косяк окна, жалкий, согнувшийся, такой ничтожный теперь, трясаясь в лихорадке.— Анастасия!—вырвался у него из груди дикий, полный отчаянья вопль, и большой, сильный Иван Васильевич грохнулся на пол, забившись в припадке отчаянья.

. . . . .

Вслед за кремлевскими печально загудели колокола всех московских сорока-сороков.

Весть о кончине царицы Анастасии быстро облетела всю Москву.

Когда переносили тело царицы из дворца в девичий Вознесенский монастырь, толпы народа собрались на пути следования похоронного шествия. С трудом пробивалось сквозь толпу шедшее впереди гроба духовенство. Все плакали, а неутешнее всех — бедный люд, называвший Анастасию матерью. Нищие отказывались от милостыни в этот день.

Царь шел за гробом, поддерживаемый своими братьями — князьями Владимиром Андреевичем и Юрием Васильевичем и татарским царевичем Кайбулой. Он с трудом сдерживал рыдания, делая мучительные усилия над собой, чтобы не показаться народу слабым.

Вся жизнь с любимой женой, каждый день близости с ней проходили в его памяти. Все горести и радости, которые он делил с ней, своей подругой, — все это гнездились теперь в его больной, отяжелевшей от горестных дум голове.

Андрейка с Охимой были в толпе. У обоих из глаз текли невольные слезы. Андрейка не узнал царя — так он изменился. Высокий, широкоплечий, теперь согнулся, стал каким-то обыкновенным, не похожим на того царя, которого Андрейка не раз так хорошо, так близко видел. Царских детей несли на руках ближние бояре рядом с царем. Мальчики с удивлением и испугом оглядывались по сторонам.

Унылое пение монахов, плач провожающих женщин и серый, ненастный день еще более омрачали печальную картину похорон.

Под тяжелыми сводами Вознесенского монастыря в мрачной торжественной тишине уныло звучали слова Псалтыря:

«...Обратись, господи! Избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей, ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя?..»

Царь Иван вместе с царевичем Иваном каждый день ходил в монастырь и подолгу простаивал около гробницы Анастасии, горячо, со слезами молясь «об упокоении души невинной юницы, благоверной, праведной царицы Анастасии».

Царь приказал — в собор, в его присутствии, кроме ближних родственников покойной, до погребения никого не допускать. У дверей собора стояла почетная стража, над которой начальствовал Алексей Басманов.

. . . . .

Выйдя из Фроловских ворот после похорон царицы на Пожар<sup>1</sup>, Андрейка и Охима спустились вниз по берегу к Москве-реке. Небо серое, неприветливое. Тихо, тепло и влажно, как бывает летом перед ненастьем. Плывут ладьи с сеном, яблоками, с корьем. В ладьях сидят задумчивые люди. Унылым эхом расплывается над рекой и побережьем строгий, печальный благовест соборных звонниц.

На пустынном берегу ни души. В осоках копошатся дикие утки с утятами.

В этот день по случаю похорон царицы Анастасии в Пушкарской слободе не работали.

Андрейка сочувственно смотрел на заплаканное лицо Охимы. Пошли по тропинке близ воды.

— Не горюй, Охимушка, не печалься... Всего горя не переплачешь, слезами не поможешь...

— Хорошо тебе говорить, а мне-то каково!

— Ну, а что тебе? Девка ты добрая, пригожая, кровь с молоком, сто годов проживешь...

— Дурень! Да нешто я о себе?

— А коли о царице, то что о том тужить, чего не воротить?

— Да и не о царице я!

— О ком же? О царе-батюшке, об Иване Васильевиче? Бог его не оставит... Бог лучше знает, что дать и чего не дать. Царь наш сильный, перенесет и это горе гореванное! Не впервой ему горевать.

---

<sup>1</sup> Пожар — Красная площадь.

— Да и не о царе я! — сердито молвила Охима, нагибаясь и срывая белый водяной цветок.

Андрейка с недоумением посмотрел на нее.

— О ком же ты?

Охима дерзко взглянула ему в лицо и громко сказала:

— Об Алтыше!.. Не слышно о нем ничего и не видно его уже третий год... Подсказало мне мое сердечушко, что убит он и не вернется домой уже никогда... Расклевали тело его коршуны в поле да воронье проклятое!

— Ты хочешь, чтобы он вернулся?

— Да. Что мне! Пушай он живой будет... А ты бы хотел?

— Хотел. Пушай он опять увидит свою невесту ненаглядную, Охимушку!

Охима остановилась, лицо ее стало сердитым.

— Стало быть, ты меня не любишь? — крепко сжав руку ему, спросила она.

— А ты меня любишь?

— Люблю, соколик, люблю! — виновато улыбаясь, проговорила Охима. — Так я, вспомнила об Алтыше, когда царицу хоронили...

— А коли любишь, зачем же тебе тогда Алтыш? Зачем тебе вспоминать?

— Тебя люблю, а его жалею! — после некоторого раздумья ответила она.

Андрейка остался доволен ответом Охимы. Пускай жалеет! Он и сам всех жалел, и Охиму он полюбил за ее доброе сердце. Но тут же Андрейка стал поучать Охиму:

— Посмотри на государя Ивана Васильевича! Схоронил он дочку Анну, да дочку Марию, да Митрия-царевича, да Евдокию-царевну, а ныне и супругу свою любимую Анастасию, да и всякую грозу перенес и к новой грозе готов... Зря, что ли, мы днем да ночью в Пушкарской слободе куюм да льем пищади и пушки?! Бог силы на все ему дает!.. А ты об Алтыше плачешь и вздыхаешь. Не зорно ли?

Понизив голос, Андрейка сказал на ухо Охиме:

— Спаси бог! Все иноземные царства будто поднимаются на нас. Литовский король мутит. Как тут быть? А ты об Алтыше горюешь! Э-эх, тюря! Тужит Пахом, да не знает о ком! Не убит твой Алтыш, но, как и Герасим, где-нибудь на Ливонской земле в войске стоит... Говорю, война будет великая!.. Вот его и держат... Царь

наш, Иван Васильевич, горд. Ни перед кем шапки не ломает! Ну-ка, сядем здесь, на пригорочке, да подумаем.

Андрейка и Охима сели у самой реки.

Вода тихая, только водяные пауки скользят по ней да мелкая рыбка играет поверху. Невдалеке, на том берегу, в осоках, две цапли дремлют, стоя на одной ноге.

В сыром, влажном воздухе все еще чувствуется запах гари недавнего пожара. Лицо Андрейки задумчиво.

— Наша матушка Русь испокон веков одним глазом спит, а другим за забор глядит... Так исстари ведется. Что толку, коли идет княжна: на плечах корзина, а в корзине мякина! Иван Васильевич мякину-то в корзину не кладет, что и зрим... В заморских краях волдырь надувается! Ливония да море, кое воевали мы, не дает им покоя, а коль дополна волдырь надуется, то и лопнет... Вот оно что! А ты об Алтыше! Побойся хоть своего Чам-Паса!..

Охима рассмеялась.

— Ты и бога нашего запомнил?!

Андрейка тоже рассмеялся.

— Запомнил, да уж и нагрешил ему немало. Двум богам грешу! Все тут зараз... Тьфу!

Он плюнул и перекрестился.

— Прости ты меня, господи! Слаб я... слаб... каюсь!

Охима шлепнула Андрейку ладонью по затылку.

— Буде! Не смейся над нашим богом! Не обижай меня! Мордва тоже за Русь стоит!

— Легше! Чего ты? Нешто я смеюсь? Ведь ты и сама знаешь... грешный я или нет?

На этот вопрос Охима ничего не ответила. На ее щеках выступил румянец, на губах улыбка самодовольства.

— Не стыдись, око мое чистое, непорочное!

— Говори, говори, Андреюшка, я слушаю!

— Шестьдесят цариц на тебя не променяю!

— Говори, милый, говори!..

Го юва Охимы уже на груди у него. Осмотрелись кругом — никого нет! Упало несколько капелек с неба на опущенные веки девушки. Увлажнились густые ресницы.

— Виноградника, солнышком согретая!

— Го..во...ри...

Он вздохнул, сладко улыбнувшись и вобрав в себя приятный, освежающий воздух.

— Да нет, моя лапушка, лучше помолчим!..

«Зачем умирать?!» — думалось Охиме. Ей казалось в эту минуту, что для нее только — жизнь, молодость, любовь, а смерть, старость, болезни — это для других людей, о которых необходимо поплакать, которых следует пожалеть... Грех не плакать о болящих, об умирающих — надо быть добрыми, а самим оставаться вечно такими, какие есть.. Ну, и только!.. Так лучше.

Андрейка гладил ее волосы своей рукой, пропитанной маслом, со следами ожогов, и тихо говорил:

— В небе мгла серая, неприветливая, а на душе у меня светит солнце, как в ясный день, и кругом яркий маковый цвет, будто в саду, и мы в том саду сидим, и ничего нам не надо, всего у нас много... Мы богаче царя, богаче всех купцов наших и иноземных... И только у нас правда, и только для нас мир нетленный есть...

Охима, словно сквозь сон, тихо говорила:

— И будто ты в Пушкинской слободе не работаешь и все сидишь со мной, с одной только мной...

И, закрыв глаза, она тихо запела по-мордовски:

Пойдут мои подруженьки, матушка,  
По зеленому лугу гулять,  
По зеленому лугу гулять,  
С листка на листок наступать,  
Цветок за цветком срывать,  
Цветы-бубенчики набирать.  
Они, матушка и мою долю не оставят,  
Они и мою часть сорвут...

Андрейка вдруг очнулся от своих сладких размышлений, покосился на Охиму, огляделся кругом. Мощные стены и башни Кремля с бойницами на пригорке, громадный, прекрасный, вновь строящийся на площади, близ Фроловских ворот, собор Покрова поразили своим величием, напомнили о том, чем живет Москва: о войне, о литье, о пушках...

— Вставай, Охимушка!.. Время домой, — сказал он разочарованно, почесав затылок.

Охима не шевельнулась, будто не слышит...

. . . . .

Удаление от двора Сильвестра и Адашева порадовало многих из бояр, особенно родственников покойной царицы. Бояре Шереметевы весело встретили известие об этом. Иван Васильевич Шереметев после кончины царицы Ана-

стасии был приближен к дарю, как и другие близкие роду Захарьиных. Но больше всех выдвинулись теперь боярин Алексей Басманов, сын его кравчий Федор, князь Афанасий Иванович Вяземский, Василий Григорьевич Грязной, Малюта Скуратов (из князей Бельских) и другие. Вокруг дара собирались новые люди, к которым он на глазах у всех был весьма милостив.

В первые дни после похорон супруги Иван Васильевич несколько дней сидел безвыходно во дворце, играл со своими детьми, ласкал их. И четыре раза в день вместе с ними ходил в домовую церковь молиться об упокоении души покойной Анастасии Романовны.

Панихиды служил любимый царицею настоятель Чудова монастыря архимандрит Левкий.

Наконец, после горестных дней траура по царице, Иван Васильевич выехал из дворца. Первым долгом он посетил Пушкарскую слободу, затем занялся посольскими делами.

Он велел Висковатому послать английской королеве составленное им самим во время сидения во дворце письмо:

«...Надобны нам из Италии и Англии архитекторы, которые могут делать крепости, башни и дворцы, доктора и аптекари и другие мастера, которые отыскивают золото и серебро. Послали мы тебе нашу жалованную грамоту для таких, которые захотят прибыть сюда служить нам, и для таких, которые захотят послужить нам по годам, как те, которые прибыли в прошлом году, и для таких, которые захотят служить нам навсегда; чтобы и те, которые захотят приехать к нам служить здесь навсегда, и чтобы всякого рода твои люди: архитекторы, доктора и аптекари по сей нашей грамоте приезжали служить нам, и мы пожалуем тебя за твою великую милость по твоему хотению, а тех, кто захочет служить нам навсегда, мы примем на свое содержание и пожалуем их, чем они захотят; а тех, кто не захочет долее служить нам, мы наградим по их трудам, и когда они захотят пойти домой, в свое отечество, обратно, мы отпустим их с нашим жалованьем в их страну без всякого задержания по сей нашей жалованной грамоте. И писана сия наша жалованная грамота в государствия нашего двора граде Москве».

В следующем письме царь просил королеву, чтобы она дозволила своим купцам возить в Нарву из Англии всякого

рода пушки, снаряды и оружие, нужные для войны, а также корабельных дел мастеров.

Ночи не спал царь Иван, думая о том, как бы усилить свое войско, чтобы оборониться от готовящегося на него нападения со стороны других государств. Ему, как всегда, казалось, что он что-то упускает из виду и что время у него уходит бесплодно, что бояре его слишком ленивы, беспечны.

По мере подготовки к большой войне участились ссоры царя с боярами, усиливался и ропот бояр...

. . . . .

В ответ на развившуюся между Москвой и Англией торговлю увеличилось число немецких, датских и шведских корсаров в Балтийском море. Торговые корабли из Англии, а также из Любека и других ганзейских городов стали приходить в Нарву хорошо вооруженными артиллерией. Немало разбойников погибло от купеческих пушек. В Балтийском море происходили целые сражения между купцами и пиратами, среди которых были пираты и немецких курфюрстов.

Король польский Сигизмунд вслед за владельческими немецкими князьями тоже стал покровительствовать разбою. Он начал писать письма английской королеве.

### П е р в о е п и с ь м о

«Ваше пресветлейшество, видите, что мы не можем дозволить плавание в Московию по причинам, не только лично до нас касающимся, но и относящимся к религии и ко всему христианству; ибо, как мы сказали, враг посредством пропуска<sup>1</sup> научается, — что важнее всего, — владеть оружием, необычным в его варварской стране; научается, — что почитаем наиболее важным, — самими мастерами, так что даже если бы к нему ничего более и не привозили, то уже одними трудами этих мастеров, которые, при существовании этого плавания, будут иметь свободный к нему доступ, легко будет в одно и то же время выделывать в самой варварской стране его все те предметы, которые требуются для ведения войны и которых даже употребления до сих пор там не знают».

---

<sup>1</sup> Разрешение английским купцам плавать в Россию.



## В т о р о е   п и с ь м о

«Мы видим, что благодаря плаванию этому, весьма недавно учредившемуся, Москаль — этот не только временный враг короны нашей, но и враг наследственный всех свободных народов,— чрезвычайно преуспел в образовании и в вооружении, и не только в вооружении, в снарядах и в передвижении войск, что хотя и много значит, но что, конечно, легко возбранить, но и в других предметах, против которых нельзя достаточно предостеречься и которые могут оказать ему большую помощь: говорю о самих мастеровых, которые не перестают переделывать врагу оружие, снаряды и разные тому подобные предметы, доселе невиданные и неслыханные в его варварской стране. Кроме сего, следует обратить величайшее внимание на то, что знание всех наших, даже сокровеннейших, предприятий немного времени спустя доставит ему возможность знания, чего у нас нет, изготовить погибель всем нашим (союзникам). Подлинно не считаем возможным, чтобы можно было ожидать, что мы потерпим такого рода плаванию остаться свободным...»

## Т р е т ь е   п и с ь м о

«...как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашему вел-ву, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свободы под небесами, Москаль, ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда ему доставляются не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера и художники: благодаря сему он укрепляется для побеждения всех прочих (государей). Этому нельзя положить предел, пока будут совершаться эти плавания в Нарву. И мы хорошо знаем, что вашему вел-ву не может быть известно, как жесток сказанный враг, как он силен, как он тиранствует над своими подданными и как они раболепны перед ним! Казалось, мы доселе побеждали его только в том, что он был невежествен в художествах и незнаком с политикою. Продолжись это плавание в Нарву, что останется ему неизвестным? Поэтому мы, лучше других знающие сие, будучи с ним в пограничном соседстве, не можем, по долгу христианского государя, во-время не присоветовать прочим христианским государям, чтобы они не предали в руки варварского и жестокого врага свое

достоинство, свободу и жизнь свою и своих подданных; ибо мы ныне предвидим, что, если другие государи не воспользуются этим предостережением, Москаль, тщеславясь тем, что ему привезли эти предметы из Нарвы, и усовершенствовавшись в военном деле орудиями войны и кораблями, сделает этим путем нападения на христианство, чтобы истребить и поработить все, что ему воспротивится, от чего да сохранит бог! Некоторые государи уже послушались этого нашего предостережения и не посылают кораблей к Нарве. Прочие же, которые будут плавать этим путем, будут захватываемы нашим флотом и подвергнутся опасности лишиться жизни, свободы, жен и детей. Итак, если подданные вашего вел-ва воздержатся от этого плавания в Нарву, им ни в чем нами не будет отказываемо. Пусть ваше вел-во взвесит и обсудит поводы и причины, побуждающие нас останавливать корабли, идущие к Нарве. В остановке этой, как мы уже писали к вашему вел-ву, нет никакой вины со стороны наших подданных».

Королева, преследуя цели выгоды, оставила эти письма, так же как письма других королей о том же, без внимания, продолжая покровительствовать торговле английских купцов с Россией. А в одном из своих писем, которое, по словам королевы, являлось «тайной грамотой», известной, кроме королевы, только одному королевскому тайному совету, она уверяла царя Ивана в своей искренней дружбе к нему, закончив письмо следующими словами: «Обещаясь, что мы будем единодушно сражаться нашими общими силами противу наших общих врагов и будем исполнять всякую и отдельно каждую из статей, упоминаемых в сем писании, дотеле, пока бог дарует нам жизнь, и это государским словом обещаем». Польза для Англии от сношений с Россией была явная, и королева в своих письмах к царю этого не скрывала.

. . . . .

На Москве-реке пустынно. В Замоскворечьи приземистые обывательские избы как-то съезжились, почернели после захода солнца, будто чего-то испугались. Слышен пронзительный, тревожный крик пролетевшей над Москвой-рекой стаи гусей. Пахнет осенью, воздух свеж и прохладен, но окно в царский садик открыто.

Сторожа притаились в кустах, не спят.

Умирает лето... В грустной тишине отдыхающего от дневной толчеи Кремля слышится дарю прощальный шепот золотистой листвы прадедовских лип... Может быть, в этом, едва уловимом, шелесте мирного увядания таится грусть предков над несбывшимися надеждами, неоконченными сказками и разбившей их суровой былью! Может быть, то — невидимое присутствие Анастасии?

В руках Ивана Васильевича любимые им гусли, подаренные ему соловецкими иноками, а на китайском столике перед ним большие листы бумаги, испещренные крючковатыми знаками, кружочками и черточками. Ниже — рукописные строки псалмов.

Жизнь царя — это не всё!.. Приказы, дьяки, воеводы в этот ясный сентябрьский вечер кажутся сном... Там, куда рвется душа, — райский простор, лазурь небес и цветники чудесных светил... Там херувимы и серафимы, покой и безмятежность. Там... Анастасия!

«Господи, воззвах к тебе, услыши мя...»

Иван Васильевич закрыл глаза, веки его вздрагивают, на щеках слезинки... Руки тянутся к струнам...

Сторожа, притаившись под окном, замерли, едва переводя дыхание.

Они слышат голос царя, гусельные вздохи:

Милость и суд воспою тебе, господи!  
Пою и разумею пути непорочные,  
Творящих преступление возненавидех,  
Державу твою возвеличу делом моим,  
И украшу обитель свою цветами разума,  
И совершу суд правды над видимым и невидимым врагом,  
Жажду приять страдание во имя твое,  
Не убоюсь слез и воздыханий чад моих...

Жмутся друг к другу ночные стражи и робко крестятся, прислушиваясь к словам псалма...

Голос царя, то тихий и грустный, то громкий и гневный, кажется страшным, непонятным...

«Земля — жилище человека — не есть ли ты сосуд человеческого труда и страданий для живых и безмолвное пристанище мертвым, равняющее счастливых и несчастных, властелинов и рабов, царей с холопками?»

Струны умолкли.

Глаза царя вшиваются вопросительно в сгущающийся за окнами мрак.

Мысли растут:

«Из всех племен человеческих, успевавших возвыситься на крайнюю степень благосостояния, довольства и могущества, ни одному до сих пор не удавалось на ней удержаться... Несчастья рождаются вместе с человеком...»

Прав Вассиан: «Не ищи себе благополучия на земле, все проходит и все подвержено тлению...»

Но прав ли будет царь всея Руси,—спрашивает себя мысленно Иван Васильевич,—если он, убоясь тленья, страшась смерти и полагаясь на милость божью, оставит на попечение бога своих подданных и не станет ими управлять так, как ему, царю, кажется оное к лучшему?

Увы! Человек редко делает разумный выбор между добром и злом, и еще реже владыка, творя добро родине, не причинял бы тем кому-либо зла...

Есть ли в мире сила благодетельнее солнца? Однако не от него ли происходит и наивысшее зло — засуха и пожары? Но... кто на земле захочет отказаться от солнца?»

Лицо Ивана Васильевича оживляет улыбка: нет такой твари на земле, чтобы могла жить без солнца!

Владыки мира сего созданы богом — вершить добрые и злые дела во благо своих народов.

Снова пальцы касаются струн.

Ах, как бы хотелось одним сильным, громким ударом по струнам выразить всю эту страстную внутреннюю убежденность в благодетельность единой власти для людей!

Дрогнули гусли.

Громкие властные звуки струн вторили мощному, выражавшему не то гнев, не то приказ, голосу царя.

Глаза Ивана Васильевича устремлены ввысь.

«Бог дарует человеку часть своего величия. Царь земной повинен охранять этот дар от посрамления, оберегать божеское как в вельможе, так и в черных людях, и никто не должен чинить ему помехи в том! Помню твои слова, моя незабвенная юница!»

Гусли умолкли.

Зашуршала бумага — царь торопливо ставит причудливые знаки на бумаге, отмечая ими понижение и повышение своего голоса, печаль и смирение перед божеством и сменяющее их торжество мысли, мысли царя и владыки.

Отложив гусли в сторону, Иван Васильевич быстро поднялся и, отворив дверь, крикнул постельничего.

Вошел Вешняков, низко поклонился.

— Бог спасет!— ласково кивнул головою царь. — Ожидаю. Напомни святителю.

Ни перед кем и никогда Иван Васильевич не открывал своей слабости к «гусельному гудению», а тем паче к собственному песнетворчеству и песнопению. Одному митрополиту Макарию он поверял эту свою тайну. Царь и сам поддерживал духовенство в его борьбе с «игрищами еллинского беснования», и не причислены ли «гусли, и смыки, и сопели» Стоглавым собором к этим игрищам?! Царю ли нарушать обычаи, им же, вместе со святыми отцами, установленные?

Иван Васильевич подозрительно покосился на раскрытое окно. Почудилось, будто в саду кто-то разговаривает. С сердцем прикрыл его.

На лицо легла тень досады.

Увы, и царю приходится таиться! Вседержитель милостив к царям, он прощает их слабости, но никогда не простит народ царю нарушения закона, церковью установленно.

Горе государю, преступившему свой закон!

Он снова выглянул в окно, там никого не было, значит просто так показалось. Никто не слышал гуслей и песнопения. Смерть тому, кто услышит это! Уже пойманы люди и пытаемы жестоко, обвиненные в словах о «безбожии» государя. А люди те — монахи и, видимо, вассиановцы, хотя и упираются, не признаются в еретической связи с заводжскими старцами. Мutilи народ — царя хулили!

Раздался стук в дверь. Царь Иван вздрогнул.

На пороге в черной рясе стоял старенький, седой митрополит Макарий. Глаза его, черные, умные, встретились с глазами царя.

Иван Васильевич, смущенно склонившись, подошел под благословение.

Сухими руками, крест-накрест, митрополит размашисто благословил царя.

Сначала опустился на скамью царь, затем митрополит.

Иван Васильевич молча указал на лист, исписанный им напевными «крюками» и знаками, и на гусли. Макарий с любопытством стал разглядывать написанное.

После этого Иван Васильевич подошел к столу с гуслиями, взял их и, глядя в бумагу, провел пальцами по струнам.

Макарий всегда поддерживал в царю его любовь к пению. Не раз сравнивал он Ивана Васильевича с Давидом-псалмопевцем. И это было лучшею похвалою царю за его пение.

И теперь Макарий с глубоким вниманием слушал Ивана Васильевича, почтительно отойдя в сторону.

Увлечшись пением, царь поднялся во весь свой громадный рост и, держа перед собою лист с крюковыми нотами, стал петь полным голосом, четко отделяя один слог от другого. Щеки его покраснелись; ряд больших сверкающих белизною зубов слегка сдерживал мощный поток сочного баса.

Окончив пение, Иван Васильевич несколько раз перекрестился. Помолится на иконы и митрополит.

Оба сели на скамью. Грудь царя высоко поднималась, слышно было неровное, взволнованное дыхание ее.

Митрополит с горячею похвалою отозвался о прослушанном.

— Сладковнушительное пение и бряцание гуслями, — вразумительно произнес Макарий, — украшало не токмо величественную святую церковь, но и мудрых мужей венценосцев. Давид перед царем Саулом, ударяя в гусли, злого духа, находившего на Саула, бряцанием и пением отгонял. Тако писано в Книге Царств. Благодать святого духа нисходила на псалмопевца, егда под бряцание гуслями он восклицал велиим голосом... Тоже было и со святыми апостолами, егда они, собравшись, пели и веселились во славу божию... Дух святой снизошел и на них...

Иван Васильевич с приветливой улыбкой слушал слова митрополита.

— Еллинские мужи Пифагор, Меркурий, Иллиний, Орион и подобные им светлые умом люди не гнушались песнопения и бряцания, слышал я, — произнес царь.

И, немного помолчав, тихо, с усмешкой добавил:

— Птица и та вольна предаваться всяческому пению, а мы то почитаем позорищем. Поистине запуганы мы... Вассиан и Максим Грек, хотя и узники, но сильнее нас с тобой... боимся мы их и теперь...

Макарий, горячо сверкнув глазами, сказал:

— Вассиан и Максим Грек — завистливы и чернили то, что им, по воле божией, недоступно. Подобно тому, как пастырь радуется и веселится, видя, как его овцы досыта питаются мягкой травой и чистой водой, так и царь пра-

ведный и благочестивый веселится, коль скоро видит благодеяние подвластного ему народа.

— Однако,— возразил царь,— и мы осуждаем «бесовские гудебные сосуды»... Свирели и гусли почитаем дьявольскою забавою и угрожаем карою чернецам и священнослужителям по Стоглаву...

Макарий тяжело вздохнул.

— Многое произошло от неразумия самих же православных христиан. Меры не знают они в весельи.

Иван Васильевич нахмурился.

Слушая митрополита, он думал о том, что хотя Макарий и ближе к царскому престолу, нежели какое-либо другое духовное лицо, хотя он и единомышленник его, царя своего, но многое остается между ним и Макарием недосказанным, неясным... Царю хорошо была известна тайная симпатия Макария к Максиму Греку. Не он ли писал ему: «Узы твои целуем, но помочь ничем не можем». И почему-то Ивану Васильевичу хотелось спросить о Печатном дворе, являвшемся делом рук его и Макария.

— Скоро ль увидим мы святую книжицу, сиречь Апостол?

— Делу великому, коему суждено возвеличить имя моего государя превыше имени византийских владык, немало помех больших и мелких стоит на пути. Но ни Вассиан, ни Максим Грек нам не чинили в том никакой помехи. Немцы — истинные враги наши... Многие творят неустройства Печатному двору. Твой гнев на ливонских господ — достойное им наказание.

— Но церковники-иосифляне также косятся на то дело...

Макарий тяжело вздохнул.

— Много врагов у нас, государь, слов нет. Тьма са-таны застилает разум не токмо заволжским старцам. Порою и сами мы в иных делах стоим на распутьи: что благо и что в ущерб церкви и царству? Враги наши лютуют, но, поверь, государь: у них больше упрямства, нежели веры в свою правду.

Иван Васильевич словно того только и ждал. Он подошел к Макарию, склонился над его ухом, обдав горячим дыханием старца, спросил:

— Не они ли отравили Анастасию?

Митрополит вздохнул.

— Не ведаю, государь!

Наступило продолжительное молчание. Царь, отвернувшись к окну, тяжело дышал.

После ухода Макария из царских покоев Иван Васильевич, убрав гусли и написанную им бумагу, сел в кресло и глубоко задумался.

Вассиан, Максим Грек, Макарий и многие другие учителя и философы любят разглагольствовать «о свойствах благоверного царя»... Максим Грек, муж мудрый, бывалый, пришелец из заморских краев, говорил, чтобы цари «великою правдою и страхом Божиим, верою и любовию полагали на небесах сокровища неистощимые милостыни, кротости и благодати к подвластным».

«Неразумные мудрецы!»

Лицо Ивана Васильевича стало хмурым, суровым.

Не они ли во всех писаниях укоряют вельмож и монахов в любостыжании, насилиях и многих неправдах? Разве не Максим Грек обвинял монахов в «губительном лихоимстве и в том, что бичи их истязуют монастырских крестьян»?

Но кто же тому препятствует, коли царь будет «великою правдою и страхом Божиим, верою и любовию полагать на небесах сокровища неистощимые милостыни, кротости и благодати к подвластным?»

И не больше ли царь сотворит блага для людей, коли в строгости и немилосердном гневе станет искоренять неправду, коли огонь, меч и вериги в царских руках послужат к укреплению страха перед царем и богом?

«Кротость и благодать к подвластным?!»

Не это ли и сгубило великого Константина в Царьграде?

Изо дня в день прославляли подданные его величие, мудрость, благодать и кротость, а Византию не смогли защитить, сдали ее неверным, показали трусость и слабость на полях сражений.

Внушив своему владыке, что он должен быть кроток, добр, причислив его к лику святых, они расслабили, обезоружили царскую власть и стали беспастушным, лишенным воинской отваги и стойкости стадом.

Не этого ли хотят от него, царя всея Руси, греческие и отечественные мудрецы?

«Нет! Не быть по-ихнему! Клянусь тебе, Анастасии, расплачусь за тебя с врагами!»

Пускай мудрствуют отцы церкви, ведут споры на все-



ленском соборе, раздирая писания святых апостолов в угоду той или иной церковной партии, пускай цепляются за буквы древних рукописаний, но не мешают царю поступать так, как того он хочет!

Сияние и тепло святительского поучения не должно обессиливать железного меча земного властелина... Царская воля должна быть превыше власти священноначальников, святая кротость пускай украшает священнослужителей, а не царей.

Может ли внук и сын великих князей Ивана Третьего и Василия Третьего, не дойдя до вершины единодержавного могущества, над созданием коего трудились они, остановиться на полдороге и предаться кротким размышлениям о небесной благодати, о безмятежном райском покое?

Это нужно врагам царства, а не друзьям его.

Нет! Этого никогда не будет!

Меч карающий, железный меч мщения и смерти царь будет еще крепче держать в своей руке!

## Х

В густой зелени ясеней, кленов и дубов на берегу величественного Рейна приютился маленький чистенький городок Шпейер — кучка выглядывающих из зелени старинных крохотных домиков с черепичными крышами, с белыми остроконечными башенками. Самое большое, красивейшее здание — собор — свидетельствует о мире, вековом уюте и погруженности в молитвенное раздумье. Этот собор — святыня, чтимая всей Германией. Здесь ставка протестантского епископства рейнских земель. Под сенью этого именно собора нашли себе тихое пристанище «почившие в бозе» многие немедкие владыки, начиная с императора Конрада Второго и кончая семьей Фридриха Барбароссы.

Но было бы непростительной ошибкой довериться первому впечатлению мира, тишины и нерушимого покоя, которым веяло от городка Шпейера.

Многих ужаснейших кровопролитий и споров между католиками и протестантами был он безмолвным свидетелем. Не раз враждующие партии пытались сжечь его и разрушить до основания, не щадя и своего прекрасного собора.

Шпейер — место постоянных всегерманских съездов и всяких иных сборищ, где сталкивались в отчаянных схватках государственные и церковные партии. Немногие

другие немецкие города могли бы в этом поспорить со Шпейером.

Здесь и открылся 11 октября 1560 года всегерманский депутатионстаг.

Тут были и представители императора — граф Карл фон Гогенцоллерн, Цезиум и Шобер, и посланники шести курфюрстов, епископов Мюнстерского, Оснабрюкского и Падерборнского, герцогов Померанского и Брауншвейгского, аббата Верденского, графа Нассауского и городов Любека и Госляра.

На имя депутатионстага поступили письменные заявления от многих владетельных особ Германии, не приславших своих представителей. В числе таких были Иоанн Альбрехт Мекленбургский, Генрих младший Брауншвейгский и Люнебургский, Иоанн Фридрих Саксонский, архиепископ рижский и другие.

Сюда же явился и Ганс Шлитте. Его призвали как человека, бывавшего в Москве и хорошо знающего повадки царя.

Этот купец, которого мытарства прославили на всю Европу, которого одни считали шпионом Москвы, другие, наоборот, шпионом Германии, был невзрачного вида, пожилой, серьезный человек, худой, болезненный на взгляд, плохо одетый.

Он скромно приютился в углу, на самом конце громадного, в форме полукруга, стола, стараясь быть незаметным.

Громадный мрачный купол с узкими готическими окнами, застекленными желтыми, синими, красными стеклышками, почерневшие от времени, в разных инкрустациях, пропитанных пылью, стены, желтовато-синий полумрак — все это придавало собранию курфюрстов, герцогов и епископов какой то таинственный, сказочный вид.

На дворе был день, правда, день пасмурный, осенний; свечи в массивных бронзовых подсвечниках тускло освещали коричневую суконную поверхность стола.

Председествовавший на депутатионстаге уполномоченный немецкого императора граф Карл фон Гогенцоллерн, пожилой, статный мужчина, сказал, что император созвал представителей князей в Шпейер с тем, чтобы совместно обсудить, как помочь ливонцам. Предметом обсуждения данного собрания высокородных господ будут также заявления некоторых правителей соседних с Москвою

вией государств о быстром усилении Москвы и ее воинской мощи и о происходящей от сего опасности всем имперским землям великого императора и его вассальным королевствам и княжествам.

Прежде всего депутаты князей и императора заслушали письма магистра Кетлера и епископа рижского Вильгельма. Кетлер жаловался на Любек и другие немецкие города, которые, во вред всему христианству, не прекращают свои рейсы в Нарву. Многие свои личные выгоды предпочитают общему христианскому делу. В Нарву везут они русским оружие, порох, дробь, селитру, серу и военные снаряды, провиант: сельди, соль и многое другое. Вот почему царь так успешно ведет войну с Ливонией. Кетлер просил запретить торговлю с русскими. Он жаловался на то, что Ливония бедна, а немецкие государи ей не помогают. Все лето 1560 года русские стотысячным войском громили несчастную Ливонию, предавая ее огню и мечу. Почти все крепости Эстонии, Гаррии и Вирланда в руках врагов. Бороться с русскими нет больше сил. Стали волноваться кнехты, не получающие жалованья, бунтуют крестьяне, перебегают в лагери русских... Влияние московского царя на подневольных людей в рыцарских владениях велико. Кое-где уже начались бунты крестьян против владетельных князей, как, например, в Гаррии.

Письмо епископа Вильгельма говорило о планах московского царя, готовящегося осадить Ригу. Всем должно быть ясно, что это будет равносильно полному покорению царем Прибалтийского края. Он упрекал Гамбург, ослепленный выгодами торговли с русскими. Московит подобен леопарду или медведю, он стремится подмять под себя все. За Ливонией та же участь угрожает и Пруссии и остальным балтийским княжествам.

Затем собрание выслушало письмо герцога Иоанна Альбрехта Мекленбургского. Герцог выражал сердечное сочувствие депутатионстагу и пожелание успеха его работам.

От лица герцога выступил его прелат, бледный, безволосый человек. Тоненьким женским голоском он воскликнул:

— Зверь-царь погубит христианский просвещенный край земли! Многоплеменными ордами он вторгнулся в мирную ливонскую епископию... В его войске мы видим турок, татар и многих незнаемых диких языческих всадников,

жестокосердие коих превосходит все слышанное нами доселе. Они не щадят ни возраста, ни пола, они разрубают на части маленьких детей и употребляют их в пищу... Поджаривают на кострах и тут же едят их... Пленных убивают без различия сословия и положения... Зимой русские возьмут Ригу и Ревель—и все будет кончено! То же ждет Прусское, Померанское и Мекленбургское княжества и Вестфалию.

Прелат захлебнулся слезами и порывисто сел в кресло, закрыв лицо руками. В зале среди депутатов пронесся шепот, слышались крики возмущения и гнева.

Поднялся молодой рыцарь в легких нарядных латах, надетых на бархатный камзол. Он также от лица Мекленбургского герцога заявил:

— Нашему герцогству грозит явная опасность. Московское нашествие и на герцогство его светлости неизбежно. Московиты уже строят у Нарвы флот. Торговые суда, принадлежащие городу Любеку, они захватили в свои руки и обращают их в военные корабли... У них уже появились свои кораблестроители. Необходимо настоять, чтобы все европейские государства перестали доставлять московским дикарям оружие, порох, селитру и другие товары. Истинно, что московиты — враги всего христианского мира...

Последние свои слова рыцарь громко прокричал и стукнул изо всех сил кулаком по столу. Звякнув доспехами, сел на место. Раздались голоса, что надо обратиться за помощью к Испании, Франции и Англии, а также к герцогам Баварии, Вюртемберга и Померании.

В тишине, наступившей после этого, зазвучал густой бас старца-великана, обросшего пышной седой бородой, — представителя Ливонского ордена. Он был одет в серый бархатный костюм, поверх которого накинут был белый плащ с черным крестом. На пальцах у него сверкали драгоценные камни. Во всем его облике и одежде видна была сановитость, пресыщенность роскошью и усталость.

— Я стар, мне осталось немного жить... Пожил я во времена богатого расцвета Ливонии... пожил в свое удовольствие, взял от жизни все, что мог... но хотелось бы мне и умереть достойно, а не быть зарезанным татарской саблей. Стотысячное войско Москвы разоряет и поработывает нашу страну, а кругом все государи спокойно созерцают это. Лучшие рыцари Ордена убиты или томятся в плену... Балтийское море в руках Москвы! Слышанное

ли это дело? Подумайте! Мы исполнили свой долг перед немецкими государями. Как честные немцы, мы сдерживали эту дьявольскую силу. Мы мешали Москве, пока было можно, но держаться далее у нас нет сил: восставать стали наемные кнехты... Волнуется чернь... Эсты... Не получая жалованья, кнехты грозят перейти на сторону московского Иоанна. Буйствуют и не повинуются нам. Мир христианский гибнет! Хотелось бы умереть, не видя сего позора!

Старец чинно поклонился на все стороны, приложил руку к груди и сел на свое место, смахнув с бархатного рукава пылинку.

Синие и желтые отсветы из окон зажигали лучистые огоньки радуги в хрустале бронзовых бра на консолях по стенам.

Померанский депутат, высокий, светлорусый юноша в голубом плаще, отделанном темносиней тесьмой, и в таком же трико, сочным, молодым голосом сказал:

— Не вижу я искренности во всех негодующих словах, кои здесь слышу! Мы проклинаем Москву и плачем о Ливонии, но думаем не о спасении ее, а о том, как бы нам самим овладеть тем, либо другим приморским местечком, гаванью для себя... Честно ли поступают Пруссия, Мекленбург, Швеция, Дания, Польша и сама империя, коли сами все ищут дружбы с Москвой? Зачем она им нужна? Не хотят ли они с Москвой поделить несчастную страну, находящуюся в когтях у московского медведя? Когда же проснется в нас совесть? Когда же христианские чувства будут выше своей выгоды? Не пора ли перестать нам друг перед другом лицемерить?!

На молодом лице выступили пятна волнения.

— Или дело Москвы правое, а наше ложное, и оттого мы топчемся на месте, не решаясь ни на что?

Среди депутатов произошло замешательство.

Посланец рижских властей, угрюмый человек в колете из полосатого шелка, тихо загудел, жалуясь на московского царя. Когда он говорил, то остроконечную бородавку подымал вверх, запрокинув голову назад, ибо ему мешало непомерно пышное накрахмаленное жабо. Ничего нового он не сказал. Как и предшествующие ему ораторы, он описывал успехи русского оружия и говорил, что, как скоро русские успеют занять Ригу, всякая помощь будет уже напрасна, и Ливония и Германская империя погибнут!

Сказав это, он смущенно опустил на свое место. («Хватил через край»).

Совсем неожиданно со своего места поднялся депутат рыцарства эстонских провинций — фогт замка Тольсбург фон Колленбах.

Вытянув худое, желтое лицо, страшно выпучив глаза и как бы обнюхивая по-собачьи воздух, он воскликнул пронзительным голосом:

— Смерть москвитам! Смерть варварам!

Жуткими красками он описал «неслыханные жестокости и вероломство московских воевод и солдат». Он обвинял русских в отвратительных насилиях над немецкими, латышскими и эстонскими женщинами и девушками! Тут же он клялся в том, что немцы не позволяли себе никаких насилий и неправд в отношении к русским людям и их женщинам. Он уверял, что напрасно ливонских рыцарей обвиняют в распутстве и распушенности.

— Ливония падает, она падет! Горе тогда будет всей благородной немецкой нации! — закончил он свою речь.

Представитель императора, граф фон Гогенцоллерн, слушал запугивания ливонских депутатов с нескрываемой улыбкой, ибо он знал, что император Фердинанд, посвятивший ливонскому вопросу несколько сотен писем, не склонен вмешиваться в войну Москвы с Ливонским орде́ном, ибо он ни на минуту не забывал о все возрастающей связи между Москвой и Англией. Он боялся своим вмешательством в войну поспособствовать еще большему сближению этих двух стран.

Карлу фон Гогенцоллерну, кроме того, был дан наказ не давать согласия на какие-либо меры, могущие потребовать от империи больших расходов и жертв людьми.

Поднялся с места, коренастого сложения, ярко и богато одетый депутат города Любека купец Рудольф Мейер.

Он упрекнул собравшихся в несправедливости возводимых на торговый город Любек обвинений. Это стало модой. Люди говорят неправду. Рисуется своею якобы прямою.

Лицо его было широкое, бородатое, скуластое. Волосы на голове беспорядочно взбиты. Во всей одежде проглядывало богатство, соединенное с небрежностью. Развязным тоном своей речи, манерами и одеждой он как бы говорил: «Уважайте меня таким, каков я есть! Вот и все. А главное, я богаче вас!»

Ударив кулаком по столу, он громким, сердитым голосом сказал:

— Кто может запретить торговцу торговать? Где такой закон? Царь-варвар и тот понимает это и покровительствует торговым людям. Посмотрите, в какой он дружбе с английскими купцами! Царю, этому могущественному государю, тяжело быть отрезанным от общения с Западом и видеть, как вся русская торговля сделалась монополией ливонцев. Вначале он надеялся на мирное соглашение, но в Ливонии не захотели этого. Они начали тайные переговоры с Польшей о войне с Москвой. Магистр Кетлер даже скрыл от своего народа заключение договора с королем Сигизмундом. Обманул свою страну! Ливонцы стали захватывать немецкие, нидерландские и английские корабли с товарами, закупленными царем... К царю едут немецкие мастера на службу, а ливонцы их задерживают и сажают в темницы... Царь посылал молодых людей учиться в зарубежные страны, а ливонцы их не пускают, заковывают в кандалы... Вот где несправедливость, высококоротные господа! Настала пора, когда нам самим надо добиваться дружбы с русскими! Нет никакой причины для вражды с Россией. Варварство большое мы видим и во Франции, и в Испании и в Нидерландах... Что может сравниться с ужасами инквизиции?! Ничто! Что может сравниться со зверствами англичан и испанцев на захватываемых ими островах и других землях?!

Разразился дикий шум. Представители Ливонии не кричали, а ревели, потрясая в воздухе кулаками. Посыпались возгласы: «Торгаши!», «Хриstopродавец!», «Негодяй!», «Иуда!».

Рудольф Мейер оглядел всех с насмешливой улыбкой, приложил руку к груди, поклонился на все стороны и сел.

Вскочил другой представитель ганзейских городов, лохматый толстяк. Ударяя себя в грудь, он закричал неистовым голосом:

— Не верьте ему! И я купец! Кто же более нас опасается захвата берегов моря русским варваром? Кому это на пользу? Английским торговцам! Вы забыли об Англии! Наша торговля погибнет, коль то случится! Пускай уж лучше Польша, нежели Англия. Он — протестант! Лютеранин!.. Инквизиция — святое дело.

После этого шум еще больше усилился. Началась перепалка между католиками и лютеранами.

Когда стихло, Карл фон Гогенцоллерн назвал для всех загадочное, крайне любопытное, прославленное по всей Европе имя Ганса Шлитте. Всем было известно, что «этот авантюрист, кажется, был близок к московскому царю и, кажется, хорошо знает московскую политику...»

Ганс Шлитте с невинной, почти детской, улыбкой поднялся, поклонился. Все взгляды были обращены в его сторону. Искключительное внимание присутствующих к его особе смутило Шлитте

— Господин Шлитте, мы будем рады услышать ваше суждение,— с некоторой долей иронии произнес Гогенцоллерн.

Шлитте скромно, тихим голосом ответил:

— Я хвораю. У меня стала плохая память после того, что я испытал в любекских и ливонских казематах. Я бы просил господ депутатов извинить меня!.. Мне трудно говорить... а тем более мне трудно лгать... Можно солгать перед лицом депутационстага, но нельзя обмануть (Шлитте указал рукой на небо) того, кто надо всеми нами,— вечного судию.

Тяжелый вздох вылетел из груди Шлитте.

Депутаты стали удивленно переглядываться и перешептываться. Чей-то голос прозвучал недовольно: «Богу ответим все вместе».

Гогенцоллерн ласково обратился к Шлитте:

— Депутационстаг созван во имя правды, а не во имя обмана и лжи. Вы можете быть спокойны за слова правды... Моя честь, честь слуги императора, честь немца — тому порукой. Не бойтесь! Говорите смело!

Ганс Шлитте поклонился Гогенцоллерну.

— После всевышнего для меня нет никого на земле достойнее императора!.. Да будет все согласно воле его римско-кесарского величества!

Шлитте опять остановился: на лице его застыла какая-то фальшиво-блаженная улыбка.

Нетерпение присутствующих возросло до крайних пределов. Тогда Шлитте громогласно и смело заявил:

— Сказать правду вам, господа,— царь Иван действует так, как его заставляют обстоятельства жизни Московского государства, а к немецким государям и народу немецкому он питает искреннее расположение. То могут подтвердить все бывшие у него на службе наши мастера.



Царь постоянно расспрашивал нас о немецких обычаях и нравах, о наших дворянах и крестьянах, о горах, о лесах, об охоте... Даже в те времена, когда император Карл отказался от дружбы с Москвою, Иван внимательно выслушивал немцев, выражая свои похвалы немецкой нации... Митрополит хотел насильно одного немца обратить в православие, но царь воспротивился, заставил митрополита уплатить несколько тысяч рублей штрафа за это.

Гогенцоллерн перебил Шлитте:

— Да не будет то неясным, господин Шлитте, какие же обстоятельства вынуждают царя завоевывать ливонские города?

Шлитте, не моргнув, ответил:

— Турция, крымские ханы, Польша и Литва теснят Москву с юга и юго-запада на север и северо-запад, но и туда ему нет дороги. Ливония и Швеция не пропускают в Московию идущие морем корабли с закупленными царем товарами и военными и иных дел мастерами... Много убытка Польша и Швеция с Финляндией учинили московской торговле... Судите сами, высокородные господа, что было бы с Московским государством, если оно не стало бы воевать! Да и почему внять одну Москву? Судьбу Ливонии стремятся решить также Польша, Дания и Швеция!

Гогенцоллерн улыбнулся.

— Но ведь немецкому Ревелю немалое огорчение видеть, как торговые корабли из разных стран проплывают мимо? Если вы немец, вы должны то понять!

Вдруг раздался пронзительный выкрик какого-то любекского купца:

— Шведские и ревельские пираты не дают нам плыть к Нарве! Разоряют нас! Топят немцев в море!

Послышались крики:

— Мы приветствуем союз Москвы с Данией! Мудрый союз!

— А мы — союз Польши с Москвой!

Опять поднялся сильный шум. Многие депутаты повскакали с руганью: «Торгаши! Совесть потеряли!».

Шлитте скромно уединился в углу на своем месте, довольный тем, что в этой расправе забыли о нем.

Кто-то и вовсе заорал на весь зал:

— Лучше Ревель кому-нибудь продать, нежели отдать Москве!..

Гогенцоллерн стучал ладонью по столу, стараясь остановить расхаживших депутатов, а когда стихло, он сказал строго и внушительно:

— Швеции никогда не видеть Ливонии. Кто из вас, господа, желает говорить дальше?

На усталых лицах депутатов выразилось безразличие. Гогенцоллерн повторил свой вопрос, но опять общее молчание было ему ответом.

— Тогда я позволю себе, господа, познакомить депутатионастаг с письмом, полученным императором от герцога Альбрехта Баварского. Альбрехт пишет императору, что он находит необходимым союз империи с Россией ввиду турок. Императору, по мнению Альбрехта, не следует обращать внимания на Польшу и другие государства, не одобряющие союза с Москвой, а напротив, — поддерживать отношения с могущественным восточным государем.

Гогенцоллерн добавил:

— Сближение России с империей не может пугать ливонских немецких правителей — Ливонии от того будет лучше. Всем известно, что этого сближения опасаются Польша и Швеция, что не может не вызвать удивления у благоразумных господ. При всем том я должен заявить, что император не предпринимает никаких шагов к союзу с Москвой. Испуг некоторых персон необоснован. Мы слишком умны для того, чтобы поступать с Москвой по-христиански. Москва недостойна этого.

Началось совещание: что же теперь делать? Какие меры принять против Москвы?

И удивительно: те, которые больше всех, не жалея красок, описывали зверства и алчность «восточного деспота», теперь совсем притихли и робко переглядывались между собою. Один только депутат смело и как-то вдохновенно заговорил о войне с царем Иваном. Это был все тот же светлорусый юноша из Померании. Он призывал всех христианских рыцарей прославить свое оружие боевыми подвигами на полях нечестивой Московии, уверяя, что Москва не выдержит натиска благородного рыцарского воинства, под ударами которого палет великое насилие и всякая неправда, творимая москвитами. Речь юноши была горяча, цветиста, но малоубедительна — понятия о правде и насилии, а тем паче о христианстве, давно уже смешались в головах европейских дипломатов во что-то сумбурное, трудно отличимое одно от другого.

Ведь не гнушался же христианнейший из королей — французский — войти в союз с магометанской Турцией, этим бичом христианских народов, надругавшейся над самым гробом господним! Союз Франции с Турцией был направлен тоже против христианских народов, и в первую очередь против Германии.

«О юноша! — думали маститые депутаты. — Нельзя не позавидовать чистоте и неиспорченности твоей молодой души!» И вздыхали. Молодой померанский посол окидывал победоносным взглядом присутствующих, как бы говоря: «Любуйтесь на меня! Ничего не боюсь!»

Гогенцоллерн был хмур. Он понимал, что папский престол уже не тот, что был при крестовых походах, что слово римского первосвященника уже не может двигать сотни тысяч людей на край света для распространения римской церкви. Да и сами крестоносцы, познакоившись с арабскою ученостью, во многом разочаровались и разуверились. И не это ли породило безбожного Фридриха Гогенштауфена, Гуса, Лютера и Кальвина?! Пришла в упадок папская власть, пало и ее творение — духовные рыцарские ордена. Гогенцоллерн знал мнение своего императора о «последних рыцарях». Ливонское рыцарство тоже обречено на гибель: не русские, так поляки, датчане и шведы сделают Ливонию своей провинцией.

Он прочитал письмо императора Фердинанда, адресованное депутационстагу. Император часть вины слагал на самих ливонцев. В письме он особенно подчеркивал их беспечность. Указывал, что они заняты междоусобными распрями и политическими интригами, несвоевременными тяжбами и своекорыстием. Он удивлялся их безучастному отношению к опасностям, которыми окружена их страна. «Если внутри Ливонии такие смуты и беспорядок, — писал он, — то всякая помощь напрасна!» При своем письме Фердинанд приложил копии с писем ему Гамбурга и Любека. Оба города отказывались от денежной помощи Ливонии.

— Я бы хотел, чтобы, обсуждая то, для чего мы съехались сюда, — сказал Гогенцоллерн, — мы не забывали о могуществе Оттоманской империи. Знаменитый вождь турок Солиман подобен глыбе, которая каждый день грозит задавить Европу и Азию новыми ударами войск своих, и не в нашей воле ручаться за то, что ему не помогут некоторые из христианнейших соседей наших. И упаси боже, если он войдет в союз с Москвией... Мы не долж-

ны допустить этого. Есть слухи, что они обмениваются дружественными письмами...

Бывший епископ дерптский, вестфалец Иодек фон Реке, рассказал депутатам, столпившимся после собрания на галерее замка, о распушенности и отсутствии государственного порядка, которые царят в Ливонии. Судьба ее предreshена. Он сожалел о том, что, будучи немцем, будучи дерптским епископом, не смог ничего сделать для исправления нравов Ордена.

Разговоров о Ливонии и о царе на этом депутатском собрании было немало. Однако ни к чему существенному так и не пришли.

Решено было отправить посольство к царю с просьбою о прекращении войны в Ливонии и оказать денежную помощь прибалтийским немцам. Запрещение купцам ездить в Россию тоже можно записать в протокол, но запретить купцам плавание по морям не в силах не только депутатский совет, но и сам император.

С тем депутаты и разъехались. Время потекло обычным порядком. Герцоги и курфюрсты погрузились в свои дела, быстро забыв о Ливонии.

В итоге ни один из намеченных на депутатском собрании пунктов не был выполнен. Благие пожелания остались в протоколах депутатского собрания.

## XI

Таяли туманы. Дышали прелыми травами луга.

Свет месяца чуть заметно серебрил верхушки рощ по песчаным обрывистым буграм. Желтая листва дубов, переплетаясь с кружевом красных, похожих на звезды, кленовых листьев, воздушными чертогами раскинулась в предутренней мгле.

Пробравшийся верхом на коне через лес Андрей Чохов невольно залюбовался тихим, безмятежным пробуждением осеннего утра. Вот на холме темная стройная ель начала нежно розоветь. Так юная послушница улыбается, разбуженная утренней истомай... Нет, нет! Прочь грешные мысли!

Андрей снял шапку и молитвою встретил зарю.

Было о чем молиться. По приказу царя Василий Грязной дал Андрею наказ. Не по своей воле пустился он в путь. Наказ тайный, никто не должен знать, зачем он,

Чохов, едет в Устюжну-Железнопольскую. И в провожа-  
тые царь никого не велел брать. Подарил Грязной Андрею  
в дорогу легкую пищаль иноземного дела и острую саблю  
да сильнее всякого оружия — царскую охранную грамоту.  
Благословил: «Уми, но тайну не выдавай!».

Много всего пришлось претерпеть дорогою!

Как ни скрывался и ни прикидывался странником  
Чохов, а один старик, у которого в избе он заночевал,  
прямо сказал ему:

— Не простой ты! Видать сокола по полету, а добра  
молодца по походке.

Пришлось показать «опасную» грамоту.

Бородатый дядя почтительно приподнялся на скамье,  
поклонился парню.

— Так мне и думалось. Не простой ты человек. Добро,  
братец! Помогай царю против супостатов.

Это польстило Андрею. Всем понятно, какую особую  
милость оказал ему царь, доверив свое государево тайное  
дело. А заключалось оно в том, чтоб разведать в Устюж-  
не, сколь железа сможет дать Устюжна Москве дляковки  
ядер, скоб судовых да гвоздей, ножей, оковочного и пру-  
тового железа.

Грязной приказал Андрею привезти с собою в Москву  
десятка два лучших литцов и кузнецов. Купить им в госу-  
дарев счет коней и вывезти их из Устюжны «конными  
и оружными».

Теперь, пробираясь лесами и полями, Андрей думал  
только об одном, как бы ему не осрамиться перед царем.  
Найдется ли в Устюжне столько изрядных кузнецов и  
литцов, кои не уступили бы литцам и кузнецам москов-  
ским? Плохие мастера царю не надобны.

Совсем рассвело, когда Чохов, выбравшись из леса,  
увидел вдали какую-то церковь, окруженную рощей. Он  
направил свой путь туда. Около церкви обязательно должно  
бы быть селение или барское усадьбище!

Оказалось — монастырь, обнесенный высокою тесовою  
стеною. Андрей подъехал к ней, встал на коня и загля-  
нул внутрь. Десятка два чистеньких изб, обшитых тесом,  
с крышами, покрытыми дерном. Нетрудно было догадать-  
ся, что это кельи. Рядом с храмом — две бревенчатые  
звонницы. Одна поменьше, другая побольше.

У ворот толпились крестьяне, дожидаясь, когда их впу-  
стят во двор. Они сняли шапки и низко поклонились Андрею.

— Чего же вы тут, добрые люди, стоите?  
— Да вот не пускают, батюшка... не пускают.  
— Какой это монастырь-то, добрые люди?  
— Бабий, батюшка, бабий... Прежде были тутотка и мужики... Ноне угнали их... За грехи угнали... Свой монастырь строят, скулят без привычки...

Ждать пришлось недолго. Вскоре ворота открылись. Крестьяне повалили всей толпой прямо в церковь, широкую, приземистую, подновленную кое-где свежими бревнами.

Андрей соскочил с коня, узнал у привратницы, в какой избе живет игуменья. Попросил проводить. Две угрюмые старухи в дубленых полушубках молча повели его в глубь двора к большой, на сваях, избе. Указали пальцем на дверь и пошли обратно.

Привязал Андрей к дереву своего коня, поднялся по лестнице. Постучал. Дверь тихо отворилась.

Навстречу вышла вся в черном монахиня. Она тихо сказала Андрею, чтобы следовал за ней. В ее голосе Чохову послышалось что-то хорошо знакомое. Когда вошли в маленькую чистую горенку без окон и Андрей при свете лампад пристально взгляделся в лицо игуменьи, сердце его похолодело: он стоял растерянный, озадаченный.

— Боярыня?! — прошептал он в великом изумлении.

— Андрейка?! — дрожащим голосом спросила она.

— Точно, боярыня! Я — Андрейка, холоп ваш.

— Садись, господи! Как ты попал сюда?

Сели рядом на скамью против икон. Встреча была такою неожиданною и невероятною, что ни он, ни Агриппина не могли начать разговор. Первое, что бросилось в глаза Андрею, — худоба и бледность ее лица. Ему стало так жаль Агриппину в этой мрачной, черной схиме, в этой темной келье, а не в боярской хоромине, что он еле-еле мог сдерживать слезы. Голос все такой же кроткий, нежный и взгляд больших голубых глаз такой же детский, добрый, доверчивый.

— Царь-батюшка сослал меня сюда... Вотчину отписал на себя, а потом отдал ее дворянам...

— А дитё? — как-то невольно вырвалось у Андрея. Он и сам испугался своего вопроса. — Покойник боярин дитё ожидал... Радовался!..

— Умре! Так сказывали мне люди... — грустно, потупив очи, ответила она. — Бог простит мне то!.. Молюсь!..

Не боярское было оно, не колычевское... Грех тяжкий лежит на мне... Об этом денно и ночью молюсь...

Андрей задохнулся от волнения: как не боярское?!

— Кто же тот злочестивец? — еле слышно спросил он.

По щекам Агриппины потекли слезы.

— Бог ему судья!.. Одна я виновата... Молюсь, молюсь, соколики!..

— Да кто же он будет?

— Пошто тебе знать?! У царя он теперь, говорят, слуга ближний...

Андрей больше не стал допытываться. Ему было больно, горько и обидно. Ведь он считал боярыню чище, святее ангелов божиих, и вдруг...

Некоторое время сидели молча.

— Покойника боярина после смерти обвинили в кривде против государя.— Тяжелый вздох вырвался из ее груди.— Вечное заточение и мне... Прости меня! У всех своих людей в вотчине, по обычаю, просила я прощения перед пострижением, но не было тебя...

Она встала на колени.

— Прости, коли согрешила перед тобою! Коли обижала чем-либо тебя...

Андрей ничего не мог сказать; грудь стиснула тоска, дышать трудно. Он встал, большой, сильный, оперся рукой о стену, делая над собою усилие, чтобы не заплакать.

. . . . .

После повечерия, за трапезой, Андрей рассказал Агриппине, как окончил свою жизнь боярин в ту ночь под Нейгаузенем. Рассказал о том, что случилось в последние два года в Москве. Скончалась царица Анастасия. Иван Васильевич сильно убивался, молился и плакал по ночам. Подолгу просиживал он около детских постелей. Думали, ума лишится. Вся Москва тоскует по царице.

Но, как ни велико горе царя, он готовится к большой войне.

И ходит слух по Москве, что хочет он взять себе в жены чужеземку из далеких гор... сестру князя Темрюка...

Ни одного дня не проводит он без дела. Через несколько дней после кончины царицы посетил Пушкинскую слободу, а затем ездил в поле смотреть на стрельяние из новых пушек; к морю, для охраны, лично снарядил сильную стражу с пушками.

Агриппина слушала с большим вниманием.

— Бог не оставляет нас без своей милости,— продолжал Андрей.— Наше войско, по приказу царя, заняло два десятка городов и замков. Князь Курбский бьет ливонцев под городом Вольмаром, а сам магистр ливонский Фюрстенберг попал в плен к русским при взятии города Вендена... Два главных города мы никак не можем взять: Ригу и Ревель. Ну, и их возьмем.

Андрейка одной только Агриппине выдал государеву тайну. Во многие города разослал царь верных людей за мастерами, работными людьми и за железом. Вот и он, Андрей, как большой мастер, на примете у царя,— послан в Устюжну, что на Железном поле, за нужными людьми и за железом.

— Не женился ли уж ты, Андреюшко?— вдруг спросила Агриппина.

Вот чего парень никак не ожидал. Что ответить? Как сказать про Охиму? Сказать, что без попа венчаны, что согрешил перед двумя богами: перед русским и мордовским? Что никого лучше Охимы нет на свете? Что Алтышу, как своих ушей, не видать Охимы?

— Ты молчишь?— пытливо посмотрела на него Агриппина.

— Боюсь, матушка-боярыня!.. Жениться-то раз, а плакаться-то целый век...

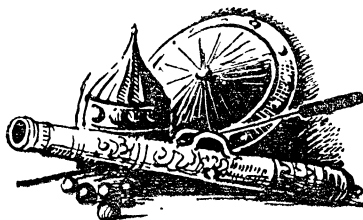
Андрей хмуро мям в руках свою шапку, потом встал, низко поклонился.

— Прощай, боярыня! Надо до свету в Устюжну доскакать. И то долго еду я. Не прогневать бы царя-батюшку!..

— Посиди еще...

— Нет, недосуг... Прощай, прости, боярыня! Увидимся ли еще? Грозное времечко приходит.

И, быстро повернувшись, Андрей вышел на двор, вскочил на коня и поскакал прочь.





## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая . . . . .	7
Часть вторая . . . . .	147
Часть третья . . . . .	287

Иллюстрации *С. М. Закржевской*  
Переплет *В. И. Авериной*

Редактор *А. П. Зарубин*

Технический редактор *Л. И. Немченко*

Корректор *В. М. Плотникова*

---

1952 год. Изд. № 2263. Бумага 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—14,25 бумажных—23,37 печатных—25,27 уч.-изд. листов. Тираж 15000 экз. Подписано к печати 17/1 1952 года. МЦ 01915. Заказ № 5217.

11-я тип. треста „Росполиграфпром“ Росполиграфиздата при Совете Министров РСФСР  
г. Горький, ул. Фигнер, 32.





